Библиотека
всемирной литературы

Серия третья * * *

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

САДРИДДИН АЙНИ

РАБЫ

ПЕРЕВОД С ТАДЖИКСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1975

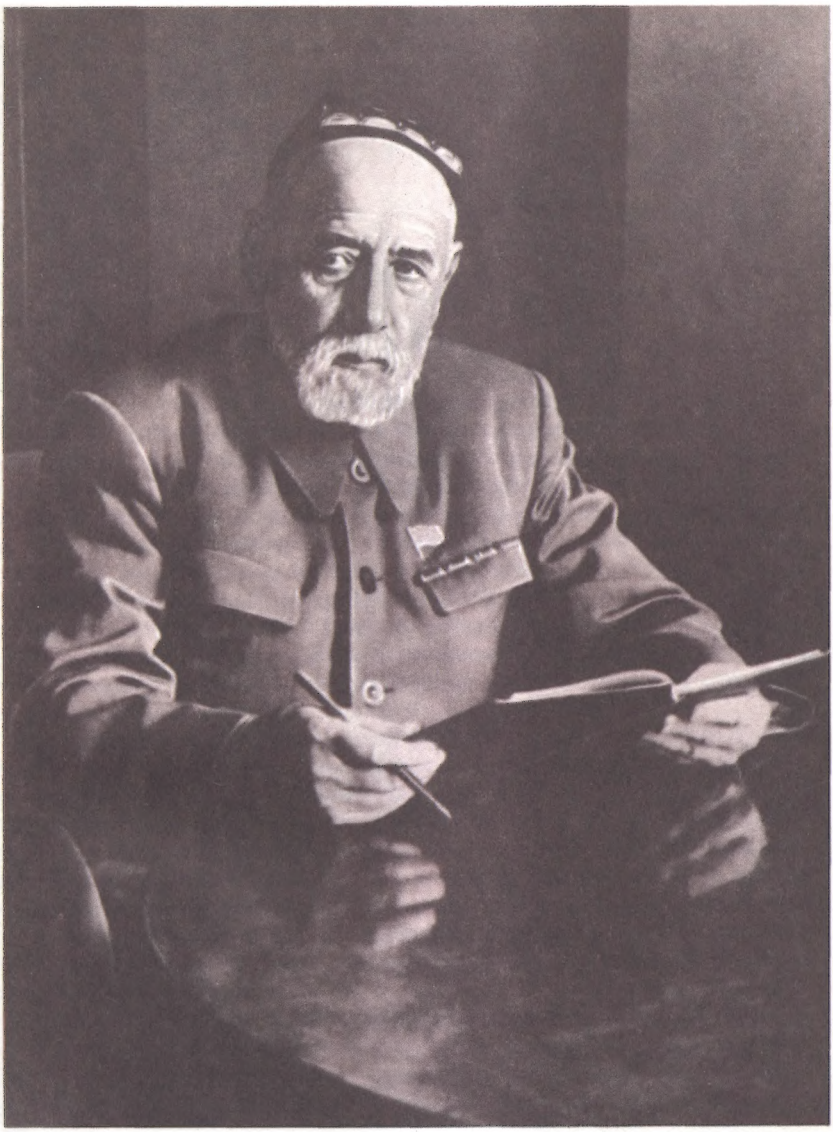
Вступительная статья
М. Турсун-заде

С (Тадж) 2
А 36

А $\frac{70303\text{-}102}{028(01)\text{-}75}$ подписное

Иллюстрации художника
К. Туренко

© Издательство «Художественная литература», 1975 г.



НАШ АЙНИ

Нечасто бывает так, что биография одного человека почти полностью слилась с биографией его народа, как это произошло у Садриддина Айни. Жизнь его неразрывно связана с жизнью таджиков — от черных лет беспросветного прошлого до счастливых дней настоящего времени. И если проследить год за годом, шаг за шагом бурный поток событий в течение почти целого века, когда жил Айни, то это будет рассказ о судьбе целого народа, рассказ о том, как из нищеты и бесправия трудовой люд поднялся к счастью и свету, построив одну из пятнадцати республик многонационального социалистического Советского Союза. Сначала ребенком, потом юношей и, наконец, зрелым человеком, Айни видел и пережил то, что видели и пережили его соплеменники. Поэтому жизнь Айни стала для нас символом страдного пути, пройденного его народом.

На первую половину жизни выдающегося таджикского писателя падает сумрачная тень бухарского эмирата. Вторая половина — проходит в новое, светлое время, когда свежий ветер Великого Октября смел с лица нашей земли феодальные отношения, основанные на эксплуатации человека человеком. В братском Союзе Советских Социалистических Республик расцвел и окреп талант писателя-патриота. Своеобразный талант Айни впитал в себя все богатство тысячелетней культуры таджиков, бережно хранившееся в неисчерпаемых сокровищницах непокоренной народной души. Писатель сумел донести до наших дней прекрасную песню о любви к человеку, к свету и счастью.

Обратимся же к его собственным свидетельствам, как литератора и гражданина, как современника жизни, навсегда ушедшей в прошлое. Обратимся к Айни — историку нашего народа и к истории народа от времен Рудаки до последних часов эмирата. Сколько великих имен и скорбных судеб!..

В нищете и изгнании закончил свои дни замечательный поэт Рудаки — родоначальник классической таджикской поэзии.

Более двадцати лет скрывался от преследования султана Махмуда гениальный Фирдоуси.

Десятилетиями скитался вдали от родины великий таджикский мыслитель, ученый-энциклопедист Абу Али ибн Сина.

В водах Амударьи был утоплен вольнолюбивый поэт Адиб Собир Термези.

Камола Худжанди заточили в крепостное подземелье, и он умер вдали от родной земли.

Это — славные предшественники Айни, на протяжении десяти веков передававшие из рук в руки факел свободолюбия и гуманизма. Подобная же горькая участь постигла и многих его старших современников, учителей и друзей.

Ахмад Дониш (Калла), ученый и писатель, «самая яркая звезда на темнем небе Бухары», как образно назвал его Айни, жил в постоянной нужде и неоднократно подвергался преследованиям за «чернокнижие», то есть за прогрессивные взгляды.

Образованнейший поэт своего времени Зуфунун, резко обличавший в своих стихах правящую клику эмирата, вынужден был прикинуться безумным.

По приказу эмира был убит поэт Сахбо. В нищете, в горячке туберкулеза умерли поэт Шохи́н и ближайший друг Айни, талантливый поэт-просветитель Хайрат.

Государственная машина феодализма, политический и религиозный гнет эмирской Бухары безжалостно уничтожали всякое свободомыслие. Лучшие умы таджикского народа гибли в темницах эмирата, как гибли в душном мире царской России великие русские писатели и мыслители — Грибоедов и Пушкин, Лермонтов и Белинский.

Впрочем, разве и сегодня судьбы многих художников слова, подлинных сыновей своих народов, таких, как Пабло Неруда, Назым Хикмет, не напоминают нам о том, что уготовано реакцией свободолюбивому поэту.

Но народ бессмертен. Его могучую силу нельзя сломить и нельзя уничтожить. Об этом говорит нам правда нашей эпохи, об этом свидетельствует история всего человечества.

Народ бессмертен. В условиях жесточайшего угнетения и эксплуатации таджики сохранили и развивали свой язык и литературу, донесли до нашего времени образцы своего героического эпоса и проникновенной лирики. Под мечом и кнутом, в условиях феодальных раздоров, захватнических и междоусобных войн и набегов, разорявших и опустошавших страну, народ возделывал землю, возводил города, создавал изумительные памятники зодчества, прокладывал оросительные каналы, сочинял прекрасную музыку и слагал замечательные песни.

История таджикского народа до Октябрьской революции — это не только история его богатой культуры. Это история его борьбы за свободу и счастье, против угнетения и порабощения трудящихся масс.

В своих произведениях Айни воссоздает и образ легендарного героя таджикского народа Муканну, возглавившего борьбу против арабских завоевателей в VIII веке, и мужественного воина Темур Малика, защитника города Ходжента от полчищ Чингисхана, и рабочих ремесленных цехов Бухары начала XX века, отстаивающих свои человеческие права, и процесс пробуждения самосознания Дохунды — жителя гор,— его приход в ряды активных борцов за новую жизнь, за создание и укрепление Советской власти в родном краю.

Детство и юность Айни прошли в гуще народа. Он болел с ним одной болью, радовался одной радостью. Из преданий и легенд узнает он о героическом прошлом таджиков и через всю жизнь проносит чистую любовь и восхищение славными подвигами своих предков. Каждая пядь нашей земли овеяна этой славой.

Отец Айни, Саид Мурод-ходжа, был потомственным ремесленником, причем человеком грамотным, ценителем художественного слова. У своего отца перенял будущий писатель любовь к поэзии и понимание ее.

Жизнь в маленьком кишлаке Соктаре и Верхней Махалле — местах, где протекало детство Айни,— отражала в себе все особенности общественного строя феодальной Бухары. Лишь один воздух не был обложен там налогом. Так жили все крестьяне окрестных деревень, так жили труженики в ремесленных кварталах Бухары, куда приходит юноша Айни после смерти отца для того, чтобы получить образование.

В душную и темную келью медресе вела узкая дверь, сквозь которую не могли проникнуть человек, воздух и солнце одновременно. И если в келью проходил человек — значит, солнце и воздух оставались за ее порогом. Эта келья как бы олицетворяла собой весь мир старой Бухары.

Нищета для сотен тысяч и богатство для единиц, бесправие народа и ничем не ограниченное жестокое самовластье — такова была горькая правда жизни, и никаким туманом благочестивых молитв нельзя было скрыть ее от зорких глаз и пытливого сердца.

Становясь зрелым человеком, Айни выковал в себе решимость бороться за правду, нести в народ истину и просвещение. Он неустанно искал пути к этой правде, восторженно принял и продолжил просветительские идеи Ахмада Дониша. Эти искания, не подкрепленные знанием революционной теории марксизма, приводили порой Айни к заблуждениям. Так, первоначально он примкнул к буржуазно-националистическому движению джадидов, искренне поверив их фальшивым декларациям.

В своем благородном стремлении помочь народу Айни смело и честно шел по избранному им пути. Он принимал активное участие в создании «новометодных школ», писал для них учебники и вел преподавание. Когда по приказу эмира школы были закрыты, Айни продолжал свою просветительскую деятельность в рядах тайного общества «Воспитание юношества», ставившего своей целью распространение новой литературы и критику отдельных недостатков эмирского режима. В ту же пору Айни активно сотруд-

ничает в первой газете на таджикском языке «Бухорои шариф» («Благородная Бухара»).

Все это не могло не навлечь на Айни гнева бухарского духовенства и правящей знати. Он стал силой, опасной для государственного строя эмирской Бухары, и, как бунтовщик и мятежник, был схвачен палачами и приговорен к семидесяти пяти палочным ударам, и каждый удар был направлен в сердце народа. Ведь любовь к справедливости и свободе, пылающая в сердце Айни, была выношена веками в народном сердце и передана ему по наследству как передовому человеку своего времени, как достойному сыну отечества.

Бухарские палачи просчитались. Мужественный дух писателя не был сломлен, как не был сломлен мужественный дух всего таджикского народа, подвергавшегося двойной эксплуатации Бухарского эмирата и царского самодержавия.

Айни был освобожден из заключения русскими революционными солдатами. Так, еще до крушения Бухарского эмирата, он ощутил теплоту дружеских рук и братскую помощь русского народа. А вскоре и весь таджикский народ был освобожден от рабского гнета и произвола феодализма благодаря братской помощи Советской России, в результате исторической победы Великой Октябрьской социалистической революции.

Айни признался мне однажды: «Если бы не поэзия, я сошел бы с ума в эмирской Бухаре, в этом заповеднике палачей, мракобесов и ханжей».

Думаю, учитель мой преувеличивал. Свидетельством тому служит его обширная и многообразная общественная и просветительская деятельность, деятельность полулегальная, а то и нелегальная вовсе, деятельность, приносившая ему лишь моральное удовлетворение.

Однако стихи Айни действительно начал писать еще с юношеских лет, великолепно овладев техникой классического стихосложения, и они пользовались неизменным успехом у знатоков и ценителей.

Эти стихи — газели и мухаммасы — были традиционно украшены всем набором цветистой риторики,— ведь сердечную боль приходилось скрывать как можно глубже. Но она прорвалась, сметая все условности, когда поэт узнал о том, что его младший брат Хаджи Сираджиддин в 1918 году казнен эмиром:

Не спрашивайте больше у поэта
Стихов о розе, милой, сне и яви...
И вот они идут, гремя о мести,
Стихи вражды, без рифм и без заглавий.

(Перевод Б. Лапина и З. Хацревина)

Но это написал уже новый Айни, ставший поэтом революции.

Непокоренный народ таджиков во все века слагал и пел свою свободную песню. Певцов народа кидали в темницы, но заставить их замолчать не удалось никому. Передаваясь как эстафета от поколения к поколению, священная песня свободы прошла вечно живой и могучей через тысячи лет и

вылилась наконец в «Марш свободы» Садриддина Айни, который прозвучал как прямой и открытый призыв идти вперед к великому счастью мира, труда и братской дружбы.

«Марш свободы» был написан на мотив «Марсельезы». Он был силен своей обнаженной правдой революции, своим агитационным и пропагандистским накалом, но вызвал чувство недоумения у знатоков и ценителей классической поэзии, осудивших преподавателя медресе, эрудита Айни, за то, что он отказался от всяких поэтических традиций.

Однако таджикский народ сразу же восторженно принял «Марш свободы». Ведь в нем звучали простые и понятные слова, как хлеб, земля и вода, слова, знакомые по первым декретам Советской власти.

Отныне свобода свободна от пут.
Отмщенье царям и эмирам!
Отныне да властвует миром
Лишь труд! Свободный труд!

(Перевод И. Сельвинского)

Великая Октябрьская социалистическая революция пришла на землю таджиков, как долгожданная весна. Она живительным теплом обогрела сердца трудового народа, осветила дорогу к счастью, подняла и возродила к жизни все народы Средней Азии, в том числе и таджикский народ, подняла и подлинно возродила как писателя и гражданина и Садриддина Айни. Теперь он осознал величие и силу учения марксизма-ленинизма и принял его всей душой.

Великая революция произошла не только в окружающем Айни мире, но и в самом сознании писателя. «Сорокалетним учеником встретил я Октябрь и в этом возрасте поступил в школу Октября. Эта школа воспитала меня, и, пройдя ее, я словно заново родился»,— говорил он.

Не абстрактное просветительство, а конкретная борьба за новую жизнь, за идеи коммунизма, вдохновенный труд на благо народа, служение революции художественным словом определяют с этих пор каждый день жизни Садриддина Айни.

Первым значительным вкладом Айни в общенародное дело был «Марш свободы». От этой крылатой песни, исполненной боевого революционного духа, мы начинаем летоисчисление нашей таджикской советской литературы, социалистической по содержанию и национальной по форме. И Садриддин Айни нашел свое место в строю бойцов за коммунизм, став основоположником таджикской советской литературы, впрочем, не только художественной литературы, но и журналистики. В 1919—1921 годах он регулярно, из номера в номер сотрудничает в первом таджикском советском журнале «Шуълаи инкилоб» («Пламя революции»), издававшемся в Самарканде литографским способом.

А педагогика? Айни стал первым таджикским учителем в советской школе, автором и составителем первых учебников для детей и взрослых.

Правда, в составлении букварей и учебников он принимал участие всю свою жизнь, всегда оставаясь просветителем в самом лучшем и широком смысле этого слова.

В 1925 году Айни принимается за составление первой антологии таджикской литературы от древнейших времен до наших дней. Пройдя школу Октября, писатель заново пересматривает и оценивает культурное богатство тысячелетней истории своего народа, отбирая из накопленных сокровищ все лучшее, передовое, прогрессивное, необходимое народу на новом этапе его развития. Этой работой открывается первая страница таджикской классической филологии как науки, которая родилась в борьбе с происками пантюркистов, начисто отрицавших историю таджикского народа, как одного из древнейших народов Средней Азии, отрицавших его самобытную богатейшую культуру.

К этому времени Айни был уже хорошо известен читателям как автор острой разоблачающей сатиры «Бухарские палачи», которая явилась своеобразным памфлетом, бичующим уже свергнутый, но еще не добитый эмират, и как автор повести «Одина» — первой реалистической повести в истории таджикской литературы. Каждое из созданных им произведений было направлено на утверждение нового, социалистического уклада жизни.

Наряду с писательской и научной деятельностью Айни принимает активное участие в общественной и политической жизни республики. Его многогранная работа, отражающая интересы, устремления и задачи страны, еще раз показывает единство и неразрывную связь писателя с его родным народом.

После повести «Одина» Айни обращается к созданию более крупных полотен. Он пишет романы «Дохунда» и «Рабы», в которых показывает духовный рост своих земляков, их революционную борьбу за народное счастье.

Советский читатель по праву называет «Рабы» летописью жизни нескольких поколений таджикского народа. На самом деле в этом романе Айни рисует целую галерею положительных образов, прослеживая исторически закономерно складывающиеся отношения и судьбы отдельных людей и различных классов общества на протяжении более чем ста лет.

В первой части романа перед нами раскрываются страшные картины феодального разбоя. Мы видим, как людей навсегда отрывали от родины и угоняли в рабство на чужбину, как люди становились рабами на своей земле, где родные пастбища и родные реки превращались в руках баев и помещиков в орудия угнетения и эксплуатации широких народных масс.

В последней части романа мы знакомимся с героями наших дней — трудовыми советскими людьми Эргашем, Сафаром, Кулмурадом и Хасаном, которые вдохновенно строят новую жизнь на освобожденной счастливой земле. Потомков бывших рабов писатель показывает в дни торжества колхозного строя, когда трудовой народ выступает полноправным хозяином своих богатейших земельных и водных просторов.

Особо следует отметить заслугу Айни в создании образа женщины-таджички. В среднеазиатской классической литературе почти нет героических женских типов. Те редкие исключения, которые известны, касаются только борьбы женщин за свое личное счастье. Во всех остальных случаях героини классических произведений — это, как правило, пассивные и безответные страдалицы, при всем своем обаянии существа «низшего порядка», которые не принимают и не могут принять участия в общественной жизни. Таково было отношение к женщине, определенное и узаконенное шариатом, и классическая поэзия, в силу своей исторической ограниченности, не осмеливалась выступить против сложившихся феодальных традиций. Лишь великий Фирдоуси сумел создать образ женщины с гордым и сильным характером, исполненной беспокойства за судьбу своей родины и смело возвышающей голос в ее защиту.

В своих романах «Дохунда» и «Рабы» Садриддин Айни впервые в таджикской литературе вводит новые женские типы, такие, как Гульнор, Мухаббат или комсомолка Фатима,— типы женщин-героинь, верных подруг, самоотверженных борцов и талантливых строителей новой жизни.

В романе «Рабы» Айни показывает не только угнетенные массы, но и дает беспощадную характеристику представителям класса эксплуататоров и их идеологам — джадидам, мечтавшим о реставрации оплота контрреволюции — старой Бухары. Образ Шакира-аки убедительно свидетельствует о том, насколько чужд интересам народа был джадидизм, насколько закономерно он превратился в движение реакционное, враждебное интересам трудящихся людей.

Наиболее яркими выразителями народных мечтаний и борцами за осуществление этой мечты выступают в романах Айни образы коммунистов. Это были первые образы коммунистов-таджиков и представителей других народов Средней Азии, запечатленные в таджикской советской литературе.

Сейчас, в наши дни, роман «Рабы» не потерял своей остроты и актуальности. В нынешнем веке нет уже работорговли в том виде, в каком показал ее Айни, однако во многих местах земного шара существуют еще нищета и голод, угнетение и геноцид.

Вот почему и сегодня так близок Айни всему прогрессивному человечеству. Вот почему в странах зарубежного Востока так популярны его книги. Вот почему на конференции писателей стран Азии и Африки в Каире среди четырех писателей двух континентов, признанных учителями собравшихся, было названо и записано имя Садриддина Айни. Вот почему труженики Советского Таджикистана, перечитывая этот роман, с еще большей гордостью и любовью смотрят на свою родину, где трудятся, творят и созидают потомки раба Некадама — сегодняшние государственные деятели, инженеры, архитекторы, руководители богатейших и красивейших колхозов-миллионеров.

Наши ученые объединены в многочисленных институтах; центром научной мысли стала Академия наук Таджикистана, первым президентом ко-

торой был Садриддин Айни. Еще в 1925 году в антологии «Образцы таджикской литературы» он впервые ввел в научный обиход многих малоизвестных и неизвестных вовсе литературных имен, разработал новую концепцию развития таджикской литературы. Его исследования, посвященные Рудаки, Абу Али ибн Сине, Фирдоуси, Саади, Бедилю, Навои, и посегодня остаются образцами замечательного научного анализа. На работы Айни о национальной музыке и знаменитых музыкантах прошлых дней, на исследования по истории древнейших архитектурных памятников Самарканда и по сей день ссылаются все специалисты.

Писатель обязан быть энциклопедистом — учил нас Айни и сам показывал образец удивительной эрудиции и широчайшей образованности. Я имею в виду не только его филологические и искусствоведческие работы, не только исторические исследования по истории эмиров мангытской династии и очерки Бухарской революции, но и романы.

Романы «Дохунда» и «Рабы», в которых писатель художественно проанализировал процесс роста самосознания таджиков, показал их революционную борьбу, были новаторскими не только по содержанию, но и по самому принципу изображения жизни. Эти произведения создавались Айни в период его учебы у великого русского пролетарского писателя Максима Горького.

В 1934 году в Москве состоялся Первый съезд советских писателей. За столом президиума рядом с Алексеем Максимовичем Горьким сидели дагестанский ашуг Сулейман Стальский и основоположник таджикской советской литературы Садриддин Айни. До этой встречи Айни был уже знаком с бессмертными героями горьковских книг, много раз перечитывал его произведения, впервые редактировал на таджикском языке переводы повестей и романов великого писателя. И Айни стремился скорее познакомиться с самим Алексеем Максимовичем. По рассказам Айни, мы знаем, что во время заседания съезда он пристально следил за каждым движением Горького, стремясь понять душу и мысли великого художника. И нам, сидящим в зале, казалось, что три носителя культуры трех разноязычных народов без слов понимали друг друга.

Мне вспоминается рассказ Н. С. Тихонова о том, как он гостил у Сулеймана Стальского в Дагестане. Старый ашуг попросил, чтобы гость прочел стихотворение.

Н. Тихонов сказал, что его стихи будут непонятны, потому что прочесть их он сможет только на русском языке. На что Стальский ответил ему, что «поэт поэта узнает по голосу».

На Первом Всесоюзном съезде советских писателей зазвучали самые разнообразные голоса певцов нашей новой, социалистической жизни. Эти голоса, сливаясь с могучим голосом Алексея Максимовича Горького, обретали новую силу. Именно благодаря учебе у Горького эти голоса окрепли и возмужали, и сейчас мы с гордостью говорим о замечательном многоголосии самой передовой в мире литературы.

О влиянии Горького на творчество Айни лучше всего сказал он сам. «Творчество великого писателя являет прекрасный пример того, как нужно писать для народа. Читаешь его произведения и поражаешься глубине знания жизни, умению касаться тончайших струн народной души. И поэтому образы, характеры его произведений так типичны, так понятны народу... Мы, писатели братских советских республик, считаем Горького своим великим учителем... Творчество Горького очень многому меня научило и, нужно прямо сказать, оказало решающее влияние на формирование меня как советского писателя».

Айни как писатель глубоко интернационален. И несмотря на то что по форме его произведения сугубо национальны, подлинно народный характер его творчества и привел его к пролетарскому интернационализму.

Айни создал образы представителей всех народов Средней Азии, у которых была общая судьба в прошлом и которые вместе боролись за установление Советской власти. Резкими штрихами воссоздает Айни картины дореволюционной жизни Узбекистана и Туркменистана, чтобы затем провести своих героев в послереволюционное время, по уже знакомым читателю местам и показать героический труд народов Средней Азии, их борьбу за социалистические преобразования родного края.

Судьба всех этих людей близка сердцу Айни, и не только за один свой народ — за все народы Востока радуется он, воочию наблюдая, как Великая Октябрьская революция широко распахнула перед простыми тружениками дверь в будущее, открыла пред ними путь к счастью. Со словами дружбы, признательности и привета обращается он и к великому поэту России Пушкину:

В те дни народ России жил в печали,
Нужда и горе грудь его терзали,
Душа томилась гневом и тоской,
Стонало сердце, но уста — молчали.

(Перевод Ц. Бану)

С болью, горечью и возмущением Айни адресует эти строки не только к пушкинской России, он думает и о прошлом своего народа. Вместе с тем он выражает свою глубокую признательность вольнолюбивой музе гениального русского поэта.

Айни стал подлинно интернациональным писателем, его произведения переведены почти на все языки братских народов Советского Союза, на десятки и десятки языков мира.

Честно спетая песня летит далеко. Мне довелось встретиться с его романом «Дохунда» на берегах Ганга еще в начале пятидесятых годов, когда еще был жив сам автор. С той поры появились десятки переводов этой книги на самые разные языки мира.

Интернационализм Айни позволил ему стать продолжателем лучших традиций классической литературы народов Средней Азии. Еще в XV веке

основоположник классической узбекской литературы Алишер Навои одинаково талантливо писал как на узбекском, так и на таджикском языке. Садриддин Айни тоже создавал свои произведения на двух языках. Вот почему так велика его заслуга и перед литературой братского узбекского народа.

В годы Великой Отечественной войны весь накал своего творчества Айни подчинил одной цели — вдохновить народ на победу. Созданные им в ту пору исторические повести были обращены прежде всего к задачам насущным, к заботам сегодняшнего дня.

Это очень своеобразные повести — «Герой таджикского народа Темур-Малик» и «Восстание Муканны», по своим жанровым особенностям стоящие на грани очерка и исторического исследования.

Действительно, скрупулезный научный анализ и историческая достоверность каждого факта, казалось бы, дают основания считать их близкими к исторической прозе.

Однако образы и Темур-Малика — славного защитника Ходжента от полчищ Чингисхана, и Муканны — предводителя восстания против арабских завоевателей в VIII веке воспринимались и воспринимаются прежде всего как образы, символизирующие несокрушимость народного духа, верность отчизне, ведущей кровопролитную справедливую войну с ненавистным врагом. Именно этим и объясняется популярность этих произведений в тяжелые для советского народа годы борьбы с фашизмом.

В послевоенные годы Айни работает над главной своей книгой — знаменитыми «Воспоминаниями», которая сразу же завоевала широчайший успех. Помнится, с каким мы нетерпением ждали появления каждой новой главы в журнале. А один из моих друзей принялся расспрашивать у Айни, имея в виду обширный конкретный исторический материал, который отразился в мемуарах,— была ли у него записная книжка? Айни ответил, что единственной записной книжкой была его память.

Читая «Воспоминания», отдаешь невольную дань восхищения и удивления не только тонкой наблюдательности Айни, но и его колоссальной памяти, которая стала хранителем тысяч человеческих судеб, хранителем содержания долгих и разнообразных бесед, множества прочитанных книг и прослушанных песен. «Слова и события, слышанные или виденные мною, я никогда не забываю»,— пишет Айни в «Воспоминаниях». Поэтому все исторические факты и герои в этих воспоминаниях выписаны так точно и правдиво. Для своих мемуаров Айни избрал форму цикла новелл, в котором можно было со всей полнотой отобразить прошедшие перед ним события и человеческие типы. Смелая и решительная девушка Хабиба, силач Лутфулло, старая сказочница Тутипошшо, замечательный мастер Усто-Ходжа, хвастун Саид-Акбар и многие, многие другие, оживая на страницах книги, волнуют читателя и уводят его за собой в интереснейшее путешествие по длинным дорогам прошлой жизни, по городам и селам старой Бухары.

В своих «Воспоминаниях» Айни рассказывает о тяжелой доле кресть-

ян — своих односельчан, их безрадостном труде, о представителях разных профессий, бедняках ремесленниках и искусных народных мастерах.

Меткими сатирическими штрихами раскрывает Айни истинный облик имущих классов Бухары — скупых и жадных торговцев, жестоких хозяев ремесленных мастерских, корыстных судей, ростовщиков, невежественного и реакционного духовенства. Характеризуя темный и мрачный мир, противящийся проникновению в него даже самого слабого луча света, Айни рассказывает о страшной судьбе сторонников новшеств, которые жадно стремятся к новой культуре, к культуре России.

Такова история Муллы Тураба. Из Самарканда в Бухару привозит он записанные по-арабски русские слова, привозит и русскую обувь, заменяя ею свои ичиги и кауши. Мулла Тураб изучает русский язык, и это становится впоследствии причиной его гибели. Деталь с ичигами и русской обувью — на первый взгляд кажущаяся незначительной, на самом деле еще резче подчеркивает душную атмосферу феодальной Бухары.

В четвертой части «Воспоминаний» мы встречаемся с «модником» Кори Нуруллой, страстным приверженцем всяческих новшеств, который, собираясь в путешествие, взгромождается с чемоданом на осла, хотя это и страшно неудобно. Казалось бы, маленький смешной факт, но за ним скрывается глубокая мысль писателя. Айни показывает судьбу всего нового в ту тяжелую для таджикского народа пору, и мы видим, как безобидного Кори Нурулло предают казни за «отклонение» от норм феодальной морали.

Так каждый раз по-новому раскрывает Айни мракобесие и жестокость эмирской Бухары, изображает безжалостных и тупых бухарских палачей-правителей. Страшная правда о прошлой жизни народов Средней Азии впервые раскрыта с такой убедительной силой и прямотой, так правдиво и просто.

Недаром писатель В. Каверин говорил:

«О детстве, подобном рассказанному Айни, я никогда еще не читал... В наш кругозор входит мир, представляющий из себя нечто экстраординарное во всех отношениях. Чем дальше я читал эту книгу, тем шире раскрывались глаза... и я с каждой страницей поражался все больше и больше».

Сила книг Айни — прежде всего в их большой человеческой правде. «В какой-то мере роман «Рабы» является историей и моей собственной жизни»,— говорил писатель. Это признание относится ко всему творчеству Айни, к его удивительной судьбе, воплотившей в себе судьбу всего таджикского народа.

Садриддин Айни родился в 1878 году, умер в 1954 году. Зрелым человеком встретил он Великую Октябрьскую революцию, принял ее как свою, и в горниле революционной бури родилось и закалилось его писательское мастерство.

Он умел любить и ненавидеть. Гневно отвергая прошлое, связанное с жестоким, эксплуататорским режимом бухарского эмирата, он восторженно

встретил победу социалистического строя и в своих произведениях славил трудовой народ, строящий свое светлое будущее.

Надо было по-настоящему ненавидеть, чтобы создать образ такого паука-кровососа, как Кори-Ишкамба (повесть «Смерть ростовщика»), который по праву стоит в одном ряду с такими стяжателями, как бальзаковский Гобсек, гоголевский Плюшкин и щедринский Иудушка Головлев.

Надо было по-настоящему любить, чтобы так ярко нарисовать в «Рабах» три поколения борцов за народное счастье — раба Некадама, его сына — батрака и борца Эргаша и внука — комсомольца Хасана.

Надо было по-настоящему любить, чтобы впервые в литературе Средней Азии создать образ женщины-борца, женщины-подруги и матери.

Надо было по-настоящему любить, чтобы даже безымянные герои не превратились в толпу, а оставались во всех случаях людьми, каждый из которых сохранял свой неповторимый индивидуальный облик.

И каким нужно было быть подлинным патриотом, подлинным гражданином социалистического отечества, чтобы до конца дней своих посвящать каждую минуту жизни своему народу, принимать участие в развитии всех отраслей нашей науки и литературы, быть редактором, журналистом и педагогом, советчиком и воспитателем молодых литераторов и ученых, государственным деятелем и мудрым, заботливым другом. Как депутата Верховного Совета СССР мы неоднократно встречали его среди избирателей, как председателя президиума Академии наук приветствовали на очередных сессиях, прислушивались к его голосу на заседаниях и советах.

Как неиссякаемы могучие воды наших горных рек, так неистощима была и энергия Айни, энергия, направленная на дальнейший расцвет советской литературы, родного народа — всей нашей социалистической родины.

М. ТУРСУН-ЗАДЕ

РАБЫ

ПЕРЕВОД С. БОРОДИНА

1825—1878

1

Тяжелые песчаные холмы тянулись в необозримых просторах пустыни. На сотни верст вокруг не было ни озер, ни рек, ни ручьев,— сушь, зной, безводье. Верст на десять друг от друга зияли бездонной глубиной с незапамятных времен врытые в земные недра колодцы.

Там, в их бездне, в их тьме, таилась вода.

Кое-где росли в песках ползучие сухие травы, верблюжья колючка с голубыми шариками жестких цветов, бледные стебельки каперсов, полынь да редкие заросли саксаула, похожие на остатки сгоревших рощ.

Верстах в десяти — двенадцати друг от друга над песками высились глиняные купола и потрескавшиеся под зноем сторожевые башни.

Такова была Туркмения тогда.

В этой пустыне находился просторный рабат, окруженный толстыми глинобитными стенами.

На карнизе, над воротами двора, лежали череп верблюда и череп барана, принесенные в жертву в благодарность за благополучное завершение постройки и во имя благоденствия и процветания нового рабата; а между черепами в разукрашенных черной краской треснувших кувшинах стояли связки увядших, но еще не засохших цветов. Высохшие пятна жертвенной крови еще темнели на песке и на стенах, хотя солнце уже засмуглило стены, и ветер намел к ним песок и рыжие шары перекати-поля.

Видно, хозяева боялись сглаза и, чтобы отвратить его, по обычаю, принесли жертву и положили жертвенные черепа и цветы над входом.

Внутри рабата, над колодцем, над темной глубиной, с тяжелого ворота свешивался огромный, сшитый из двух кож, бурдюк.

Возле колодца, задумчиво пожевывая пушистыми губами, безмолвно стоял верблюд. К его подпруге был подвязан конец веревки, намотанный на ворот, а к другому концу этой веревки был привязан бурдюк. Если надо было поднять из колодца воду, верблюда отгоняли в сторону. Отходя, он тянул за собой веревку, и тяжелый скользкий бурдюк, полный воды, поднимался наверх к вороту. Одного такого бурдюка хватало, чтобы напоить коз и овец.

Внутри двора, невдалеке от ворот, вырыли обширное углубление и обвели его отвесной стеной, достигающей человеческого роста. Здесь могло поместиться с тысячу овец. Это углубление заменяло хозяину хлев и загон.

Невдалеке от него стояло несколько черных юрт. В их тени маленькие ребята пряли на веретенах верблюжью шерсть. Немолодая туркменка кипятила шерсть в котлах с купоросом, а в корчагах ждали эту шерсть краски — желтая, красная, сиреневая, розовая, синяя, голубая, черная, зеленая. Несколько туркменок погружали в корчаги прокипяченную и высушенную шерсть.

По краям чисто выметенных ровных площадок желтели крепко вбитые деревянные колья. Между кольями, туго натянутые, блестели нитки основы ковров.

Перед основами, ссутулясь, крепко сжав беззубый рот, ветхая старуха сосредоточенно чертила острой палочкой на земле четкие рисунки. Каждый раз новые, каждый раз сложные. По этим ее чертежам молодые ковровщицы ткали различные знаки и узоры.

Черная большая юрта стояла в стороне от всех, напротив ворот рабата. В юрте на пестром молитвенном коврике то вставал, то садился семидесятилетний, а может быть, семидесятипятилетний старик. Отсюда виден был ему весь двор, ворота, стена с вбитыми в нее крючьями, чтобы привязывать лошадей для выстойки после больших переходов. Видны были и крючья, вбитые в землю, чтобы привязывать лошадей, отстоявшихся, остывших и отдохнувших, которых уже можно было поить, кормить, готовить в новую далекую дорогу.

Отовсюду был виден и этот молящийся старец. Его белая баранья шапка, два оборота чалмы вокруг шапки, пучок щетины,

воткнутый в чалму, четки из тысячи и одной финиковой косточки, лежавшие на коврике, как змейка,— все это было обычно для набожных суфиев.

Дорогой красивый войлок застилал землю внутри юрты, где, несмотря на жаркий летний день, горел костер, облизывая прозрачным алым языком почерневшую медь кувшина, свисавшего над огнем как знак хозяйского гостеприимства.

Ружье с подставкой, меч, сабля, щит, броня, копье, аркан — все это, развешанное внутри юрты, напоминало о боевых делах хозяина.

И хотя старец стоял на молитве, он то недовольно морщился, то хмурил свой морщинистый лоб, то вдруг улыбался, скаля зубы, подобно волку, то сжимал, как бы спохватившись, редкую свою козью бородку, словно норовя удержать что-то такое, что вот-вот выскользнет из его ладони навеки. Видно, мысли его, улетев с тесного молитвенного коврика, бродили далеко от бога, по суетной, по просторной земле, по просторам времени, давно ушедшего. И грустью сменялась радость, сладостные воспоминания уступали горьким думам, а в жилах жила и клокотала, не смиряясь, гневная кровь.

Так молился старик, когда во двор въехало несколько всадников.

Они спешились и повели коней к стене, остывать.

Пока всадники покороче привязывали коней к крючьям, навстречу им из женской юрты вышла старуха Кумри. Ее голову венчала чалма, огромная, как гнездо аиста на бухарском минарете.

Старуха подошла к одному из приехавших и, не соблюдая туркменского обычая длинных приветствий, спросила:

— Сардар! Что слышно о молодых?

Широкоплечий пятидесятилетний мужчина недовольно отвернулся и, не глядя на старуху, пошел к юрте хозяина, ответив на ходу:

— Будут живы — вернутся с честью. Примут смерть — падут за веру.

Молодцы шли следом за сардаром, и старуха с грустью отошла от них.

Старец, опустив глаза, читал молитву, делая вид, что ни до прибывших, ни до иных земных дел он не снизойдет сейчас, когда беседует с самим богом.

Потом он неторопливо прочел длинное благодарение за благополучное окончание молитвы, взял четки и, перебирая их по косточке, забормотал славословие и громко воскликнул:

— Куф!

Это означало, что заклинание окончено.

Повесив четки на гвоздь, он с опущенными глазами пошептал еще что-то, как бы повторяя доносящиеся до него затихающие голоса неба.

Кончиками пальцев обобрал соринки и стебельки трав, приставших к халату.

Медленно и задумчиво, все еще не поднимая глаз, сосредоточенный, как бы пробуждаясь, сказал:

— А! Сардар Абдуррахман! Входи!

И так же спутникам сардара:

— Входите!

Сардар поклонился старцу, все еще стоявшему на молитвенном коврике.

— Как жизнь ваша, сардар? — сказал ему старик.

— Как ваша жизнь, халифа-ага? — ответил сардар.

— Ты пересек пустыню, ты встречался там с пророками, с Хызром и Ильясом, ты и начни!

— Вы добрый раб божий, денно и нощно молитесь вы за нас, вы старше нас, вы, прошу вас, вы и начните. Как течет жизнь ваша?

После того как обе стороны выразили этими словами свое уважение друг к другу, старик спросил:

— Благодарение богу! Жив?

Сардар отвечал:

— Слава богу!

— Здоров?

— Слава богу!

Старик расспросил о скоте, об имуществе, о пище, об обители, о доме, о племени и о роде, о взрослых и о детях, и на все вопросы ответил сардар:

— Слава богу!

И когда стариковы вопросы были исчерпаны, в том же порядке сардар спросил старца и получил такие же ответы.

Молодцы, прибывшие с сардаром, в том же порядке каждый, спросили старика.

Это приветствие заняло много времени.

Так поздоровавшись, халифа сказал:

— Добро пожаловать, сардар! Добро пожаловать, славные молодцы!

И он пригласил гостей сесть, а сам опустился на тот же пестрый молитвенный коврик.

Гости, сложив руки на животе, говоря «спасибо, спасибо!», сели вокруг костра в соответствии со своим возрастом.

Старик простер к небу руки, и за ним все подняли руки, вверх ладонями, и, слушая, как старик читает молитву, возглашали: «Аминь!»

После долгого чтения старик провел ладонями по лицу, по бороде и, протянув руки к стене юрты, достал мешочек, до того замусоленный, что трудно было угадать, из чего он сшит.

Разделенный на три кармана, мешочек был раскрыт. Запустив в один из его карманов руку, халифа достал горсть табаку и набил им головку пузатого хивинского кальяна, выточенного из орешника.

Самый молодой из гостей, сидевший с краю, вскочил, принял кальян от старца и, словно железными щипцами, выхватив пальцами пылающий уголек из костра, опустил его на табак.

Раскурив как следует кальян, он передал его старшему гостю.

От сардара кальян поочередно обошел всех гостей.

В юрту вошли две девочки, украшенные ожерельями из бухарских тенег, иранских туманов и афганских рупий.

Девочки внесли чайники, чистые пиалы, шерстяную скатерть с завернутыми в нее лепешками и, расстелив скатерть, разложили лепешки перед гостями и расставили пиалы. Затем, опустив головы, поклонились сардару и ушли.

Старик из другого кармана своего мешочка вытащил горсть зеленого чая и засыпал его по чайникам.

Один из молодых гостей заварил чай и перед каждым гостем поставил по чайнику и по пиале. Он наполнил опустевший кувшин холодной водой из большого медного кувшина и повесил опять над огнем. Подбросив в костер несколько веток саксаула и взяв себе последний чайник, он сел с гостями.

Старик наломал просяные лепешки на куски и разложил их перед гостями.

Гости принялись за чай в сплошном дыму от загорающихся веток и в густой пыли, которую ветер бросал внутрь юрты.

Старик развязал узелок, лежавший рядом, достал оттуда куски сахару и положил их на скатерть.

Затем он сунул руки в третий карман своего мешочка, вынул оттуда горстку кукнара, бросил щепотку себе в рот и запил его глотком воды. Он роздал кукнар по щепотке и всем гостям, предложив им запить кукнар чаем.

Когда потекла беседа, старик высказал немало всяких благочестивых назиданий.

Он говорил о непостоянстве мира и о том, что всякому рабу божьему нужно заслужить счастье в жизни будущей.

Но постепенно разговор перешел к земным делам.

Старик, жалуясь, что времена оскудели, что исчезла благодать божья, сказал:

— Чем я перед богом провинился? Не знаю. Воля божья, но в прошлом году от песчаных бурь и от стужи погиб весь мой скот. Опустели мои хлевы и загоны. Живу кое-как только тканьем ковров, но и этот труд меня плохо кормит.

Он помолчал, занявшись чаем, и все молчали, ожидая его слов.

— Прежде я хорошо жил. Я не жаловался. Восемь жен у меня работало. Четыре из них разведенные, я их вывел из брака, но оставил при доме. Они ткали ковры, переметные сумы и другие изделия, и это давало мне хороший доход.

Он опять отпил чай и пожаловался, грустно вздохнув:

— В прошлом году я ошибся. Перевел двух брачных жен в разводки, а за пятнадцать тысяч бухарских тенег купил двух красивых способных девушек. Они очень хорошо ткали ковры. Их ковры на бухарских базарах шли лучше всех. Ну, я думал, дело мое пойдет. А вышло хуже,— скот мой весь погиб. И теперь не только у меня, но и во всей Марыйской степи нет шерсти. Моим ткачихам не из чего ткать ковры, и на пропитание, даже на просяные лепешки, не хватает. И вышло, что теперь я даром кормлю эти десять голов.

— У меня то же! — сказал сардар Абдуррахман.— Но я прогнал трех жен — из тех, что были разводками, и этим немножко сократил расход.

— И мне придется! — понимающе кивнул головой старик.— Придется в конце концов так же сделать.

На его лице проступили отчаяние и уныние.

Наполнив снова свою ладонь кукнаром, старик бросил себе в рот щепотку, а остальное опять роздал гостям. В опустевшие чайники он засыпал чай.

И тот же юноша заварил чай, налил холодной воды в кувшин, повесил кувшин над огнем и подкинул в костер несколько веток саксаула.

Дым костра, пар от чайников, пар над кувшинами, дыхание людей, пыль — все это сгущалось, как мгла, внутри черной юрты, и лишь искры от разгоравшегося саксаула взлетали, как молнии.

Старик высыпал последний сахар на скатерть, а тряпкой из-под сахара вытер свое лицо.

Он положил сахар в пиалу и налил затем чаю. Затянулся несколько раз из кальяна и запил сладким чаем.

Затем он снова налил себе чаю и сказал:

— Так-то вот, брат мой Абдуррахман, не ценили мы времен Шах-Мурада Сарыка. Нет, не ценили, не понимали! В те времена,

если ты терял пятьсот баранов, на другой день имел тысячу. Шахово иранское войско от страха сразу исчезало, если Шах-Мурадовы воины появлялись на границе. Тогда перед нами были открыты все дороги — хоть до Мешхеда, хоть до Казвина!

Снова запил щепоть кукнара глотком чая, снова затянулся табаком. И захмелел халифа.

Расправив плечи, разведя руками, он глубоко вздохнул. Юноша по движению его бровей догадался снова приготовить кальян.

— Ладно! — сказал, повеселев, халифа.— У меня есть дети. Есть брат. Уповая на бога, я послал их к Астрабаду. Бог милостив, они чего-нибудь там добудут.

Опьянение возрастало, разговор разгорался.

Дым, пар, зной, запахи пота сгущали воздух, и уже не понять было, от чего кружилась голова и веселело сердце. Но гости, закаленные на солнце Марыйской степи, легко сносили все, сидя в черной юрте.

Абдуррахман-сардар уже не звал старца наставником. Он говорил ему бесцеремонно:

— Клыч-ага! Твое время было временем благоденствия, достатка, удач. Когда под твоим началом мы совершали набеги, мы не возвращались без добычи. Ни один наш поход не встречал ни преград, ни сопротивления, ни опасностей. Дворы наши были набиты скотом, рабаты наши полны рабов.

Сардар смочил глотком чая пересохшее горло и продолжал, обращаясь к старику:

— Когда ты отказался от походов, от мирских дел и уединился, благодать кончилась. Мы не только не торгуем рабами, я теперь сам должен делать то, что пристойно лишь рабу. Невыносимо жить. Нет больше моих сил так жить. И я решил: «Пойду к наставнику, посоветуемся, поговорим». Вот взял с собой молодцов, пришел к тебе за твоим словом.

— Рад тебя видеть! — ответил Клыч-ага.— Я всегда тебя поминаю в своих молитвах. А слово мое: «Не падай духом!» Отчаяние — это от дьявола. Пока крепок телом, пока тверд духом, дерзай! А перед сильным и дерзким земля просторна!

Старик, подняв чайник, единым духом опустошил его через носик и протянул юноше, приказав заварить свежего.

С помолодевшим лицом, с загоревшимися глазами, он приподнялся, глядя куда-то далеко, словно там сквозь кошму юрты вились разбойничьи тропы между песков и за песками темнели сады, а за садами — открытые города, набитые золотом, нарядами, беззащитными, покорными людьми, стадами скота, верблюдами, караванами, шатающимися под грузом сокровищ.

— Я слышал,— сказал он,— в Афганистане произошли какие-то беспорядки. Там ссорятся двое братьев из-за царства: Шах-Заман и Шах-Махмуд. А границы там сейчас без хозяина. Без хозяина остались и земли Герата. Пытай счастье! Ступай туда!

— Ты щедр и зорок! — ответил сардар.— Я уже думал об этой прогулке. Я и пришел тебя об этом спросить. А ты сам все видишь и отвечаешь. Ты свят и прозорлив! А если ты посылаешь меня туда, удача нас отяжелит добычей!

Может быть, десятый чайник осушил сардар, пока поднялся.

— Помолись за нас. Благослови нас!

Наставник дал каждому по просяной лепешке и, обратившись в сторону Мекки, встал на молитву. Остальные встали позади Клыча-халифы, и он, подняв руки, молился.

Когда дочитали молитву и все ответили «аминь», халифа сказал:

— Берите в руки, но не давайтесь в руки! Покоряйте, но не покоряйтесь! Да помогут вам Хызр и Ильяс и да будет с вами помощь божья!

Так, помолившись, вышли они из шатра, и вскоре в пустыне заклубилась пыль, поднятая копытами коней Абдуррахмана-сардара.

А во дворе Клыча-халифы все замерло, кроме женских рук, ткавших ковры, да крутящихся веретен, за которыми мальчики пряли пряжу.

2

Одна семья на берегу реки Герируд в окрестностях Герата, на севере Афганистана, вырастила и возделала большой сад.

От покушения прохожих сад был огражден глинобитной стеной, сверху покрытой колючками.

Рядами росли там яблони и груши, сливы и персики, разнообразные сорта винограда, а на грядах — дыни, арбузы, тыквы.

Кроме длинного навеса, никаких строений не было в этом саду. А под навесом жили не люди, а голуби; для них к балкам были прибиты доски, и в этих желобках голуби устраивали свои гнезда и выводили птенцов.

От голубей собирали столько удобрений, что их хватало на весь сад.

Между рядами винограда и под деревьями на солнечных местах тянулись площадки, густо и гладко смазанные глиной, где сушили виноград, славные гератские сливы и персики.

Гератская слива славилась во многих странах. На гератских базарах ее покупали для лечения многих болезней и расхваливали

под названием бухарской, а на базарах Бухары, Самарканда и Ташкента ее покупали тоже как лечебную, но, расхваливая, называли гератской.

Сбор этой сливы в Герате считался самым разгаром полевых работ. Но в этом году, хотя сливы давно уже созрели и готовы были осыпаться, хозяева не шли в свой загородный сад на сбор урожая.

В стороне от сада стояло селение, окруженное высокими, как городская крепость, стенами.

Здесь жила семья, взрастившая голубиный сад. Здесь жили и еще многие садоводы и земледельцы.

Глава семьи Хасан ежегодно раньше своих соседей выходил на работу в сад, раньше других собирал урожай, и тогда у Хасана работало много людей, помогавших ему в саду: Хусейн и Хамид — два его брата, их старшие сыновья — Риза, Махмуд и Али,— все они работали под началом Хасана.

Но в прошлом году на уборке слив случилась беда: во время работы на сад напали туркмены и всех мужчин, кроме Хасана, захватили и увели в плен. И никто не знал, в какой уголок земли продали их туркмены в рабство.

У Хасана никого не было в этом году. Некому было помочь ему на работе, кроме женщин, девушек и малолетних детей.

Весной и летом Хасан ходил в сад один.

Он там перекопал гряды, посадил семена, поливал всходы, промазал площадки для сушки плодов. Но собирать плоды одному было невозможно. Водить туда женщин и детей, когда в любой день грозил новый туркменский набег, тоже было опасно.

И вот проходило время, плоды переспевали и начинали осыпаться, а Хасан все не решался вести в сад свою семью. А ехать туда одному ему было бесполезно.

Только и пользы было за все лето от сада, что принес Хасан несколько корзин винограда, несколько дынь и арбузов — столько, сколько смог принести сам.

Но в это время из Мешхеда прибыл караван, и прибывшие говорили, что нигде на расстоянии двух-трех дней пути никаких туркменов нет; что из-за засухи все туркмены оттуда откочевали в сторону Серахса и Абиверда; что за последние семь-восемь месяцев туркмены лишь раз или два наезжали на мешхедских крестьян, но оба раза безуспешно; что шахские войска с иностранными пушками и бесстрашными воинами, подобными Рустаму и Исфандиару, несколько раз нападали на туркменов и нагнали страху на них; что туркмены дали шаху подписку больше не нападать, не уводить в плен и не продавать в рабство никого из людей.

— Поэтому,— говорили караванщики,— мы от Мешхеда до Герата не встретили ни одного туркмена, тогда как прежде на этом переходе не раз приходилось отбиваться от них.

И правда, за последний год ничего не было слышно о туркменских набегах.

Слова караванщиков всех успокоили, деревня пришла в движение. Если до того дня мужчины выходили в сад со страхом и дрожью и возвращались, боясь оглянуться назад, теперь они всеми семьями решили выехать в свои сады.

Вместе с ними собрался и Хасан.

Еще не забрезжил осенний день, еще в прозрачной синеве неба поблескивали звезды, еще воробьи не вылетали из гнезд, еще куры не спускались с деревьев, а дети уже проснулись.

Детвора, обычно безмятежно спавшая до завтрака, сегодня помогала матерям в их сборах, чтобы скорее отправиться в сад.

Семилетний Рахимдад, проснувшийся позже всех, упрекал свою мать:

— Ты почему не разбудила? Из-за тебя я проспал!

Он будил свою трехлетнюю сестренку Зебу:

— Вставай скорей! Я тебе поймаю воробышка. Мы же уходим!

А Зеба, не открывая глаз, потянулась.

— Сейчас. Еще минуточку. Сейчас!

Сборы закончились.

Жена Хасана Зулейха привязала своего грудного сына за спиной, а трехлетнюю дочку Хадичу взяла на руки. Жена Хусейна, попавшего в прошлом году в плен, взяла на руки трехлетнюю Зебу, а Рахимдад сам, впереди всех, побежал на улицу.

Оставив дом с имуществом на попечение Хасановой тещи, еще до восхода солнца все вышли в путь.

Хасан, заткнув за пояс старинную саблю, а кремневое ружье вскинув на плечо, пошел впереди.

Путь был недалек. И хотя из-за детей шли медленно, через час уже пришли в сад и принялись за работу.

Рахимдада, который шел в сад, чтобы поймать воробья, мать тоже заставила работать.

— Сынок! — сказала она Рахимдаду.— При твоем отце мы были спокойны. Вместе со своим братом он делал всякую работу. А когда все они попали в плен, твой старший дядя выбился из сил. Все приходится делать ему одному. Если мы ему не поможем, он скоро устанет, и мы все останемся без кормильца. Теперь работай ты за своего отца.

Рана́ взяла корзину и влезла на дерево, на подрезанную сухую ветку повесила корзину и принялась собирать сливы.

Рана не слушала и не слышала, как просилась к ней маленькая Зеба.

— Ты собирай и складывай в коробку все до единой осыпавшиеся сливы! — приказала она сыну. Маленькая Зеба тоже трудилась.

Остальные женщины на деревьях и под деревьями собирали сливы и с грустью вспоминали тех, кто в прошлом году попал в плен, собирая здесь, с этих же деревьев, такие же вот тяжелые, сочные, спелые сливы. С молитвой на устах они обращались к богу и Шахимардану сохранить от беды оставшихся.

Хасан здесь, в саду, перед лицом пустыни, приуныл.

Он увидел, как легко появиться разбойникам из-за любого песчаного холма, с любой стороны, отовсюду.

И хотя он не высказывал своих тяжких мыслей ни женщинам, ни девушкам, сам он думал лишь об одном — о таком близком, возможном, неотвратимом несчастье и ломал голову над тем, как его предотвратить.

«В минувшем году я оплошал: когда собрались мы в саду собирать урожай, надо было мне почаще выглядывать из сада, присматриваться к пустыне,— не видать ли врагов. Сам виноват: нам с братьями надо бы отбиваться, когда враги напали, а я первым кинулся бежать».

С этими мыслями вышел Хасан из сада, пошел в соседний сад, поговорил с соседями, работавшими там. С ними обсудил он, как отразить врага, если враг все же появится,— враг, вся сила которого во внезапном, неожиданном набеге.

— Если мы струсим, растеряемся, все попадем в плен. Я так советую: всем надо броситься на помощь тому, кто кричит о помощи. Объединившись, мы, мужчины, преградим путь врагу и дадим возможность убежать и спастись женщинам, девушкам и детям.

Он воодушевился:

— Если мы вместе окажем сопротивление, то хотя и не спасемся, но и умрем не все, и в плен не все попадем. А порознь никто не отобьется. Поодиночке пропадем все.

— Надо поочередно выходить и наблюдать за пустыней! — предложил сосед.— Дозорный увидит людей в пустыне, прибежит и скажет всем.

— Слава богу, у каждого есть что-нибудь вроде сабли. Меч, кинжал, нож найдется у каждого. Мы постоим за себя! — сказал кто-то.

— А у Хасана есть ружье. Он один может сбить с седла нескольких туркменов, пока они успеют ускакать,— добавил другой.

Укрепив подставку ружья на песке, Хасан, целясь в воображаемого врага, ответил:

— Сегодня наблюдать выйду я. В другие дни будут выходить другие.

И, взяв тяжелое ружье на плечо, помолившись, он ушел от соседей в пески.

Хасан обошел и осмотрел все низины, впадины, все укромные места в окрестных песках.

Все вокруг было пусто, спокойно.

Он поднялся на высокий бугор и осмотрелся. Нигде не было никаких человеческих следов, ничто не предвещало появления туркменов.

Со спокойным сердцем, глубоко и облегченно вздохнув, он лег на землю.

Несколько времени спустя он снова осмотрел все вокруг. И снова все было спокойно.

Тянулись песчаные холмы, подернутые неподвижной, застывшей рябью, изредка прошмыгивала ящерица или кое-где на склоне холма вставали столбиками дозорные суслики. Нигде не поднималась пыль.

Так он вставал, ложился, вставал и опять наблюдал за пустыней.

Все было тихо.

Сердце Хасана успокоилось. Страх постепенно угас. А чем больше затухал страх, тем самонадеяннее становился Хасан, и, наконец, показался он себе столь сильным и храбрым, что ему представилась пустяком победа даже над десятком врагов.

Теперь Хасан уже сожалел, что вышел сюда, досадовал на утренний страх и, вспомнив о нем, посмеялся над собой.

Теперь он уже меньше наблюдал за пустыней, больше лежал и спал.

Вдруг ему почудилась какая-то мелькнувшая по краю бугра тень. Она тотчас исчезла. Это бросило Хасана в дрожь. Сердце его неистово забилось. Он услышал стук своего сердца и вспотел.

— Жаль! — сказал он.— Я попал в плен, не успев ничего сделать. Это уж ладно, что сам я попал в плен,— скверно, что я не помог убежать детям.

Но, полежав, покорно ожидая врага, он никого не дождался. Медленно и осторожно он встал и направился к бугру. Едва он приблизился, нечто черное поднялось там и подпрыгнуло.

Хасан, вздрогнув, похолодел и выронил ружье.

Потом он понял, что это черное было грачом, который, увидев Хасана, поднялся в воздух.

Но что-то другое, тоже черное, вдруг скользнуло совсем рядом с Хасаном и скрылось за холмом.

Не сразу он понял, что это всего лишь тень взлетевшего грача.

Постепенно успокоившись, он обошел опять и осмотрел все кругом. Но так ничего и не обнаружил, кроме грача.

Но грач улетел куда-то в пустыню, и больше ничего не оставалось живого ни на небе, ни на земле.

Снова Хасан посмеялся над своим страхом. Снова зашагал, надменно глядя на пески.

Но он проголодался.

— Эх, надо бы захватить с собой хлеба и воды.

Он очень проголодался.

Но если он — как ему казалось — смело сопротивлялся опасностям, возникавшим вокруг, если так дерзко вышел он один навстречу туркменам, то с голодом он не мог так легко справиться.

В пустыне не было ни воды, ни травы.

Все давно здесь выгорело.

Голод можно было утолить лишь у себя в саду. Только там. Там, кстати, надо было узнать, как идет сбор урожая, пообедать и тогда уж снова прийти сюда наблюдать.

Так он и решил.

Он еще раз посмотрел в безлюдную даль пустыни и смело направился к своему саду.

3

До полудня женщины успели многое сделать в саду. Подошло время обеда. Некоторые, устав, прилегли в тени под деревьями. Другие еще продолжали собирать плоды, хотя спины уже ныли, а пальцы утратили гибкость.

Но о главе семьи, о Хасане, никто ничего не знал. Он никому не сказал, когда уходил, и о нем уже начали беспокоиться.

— Странно, куда же он ушел, никого не известив, не сказав ни слова? Господи, не случилась ли с ним беда... Не дай бог, ведь никаких плохих признаков не было...

Такие сомнения больше всех тревожили жену Хасана.

В это время Хасан появился.

— Ой, что случилось? Где вы были? — воскликнула жена Хасана.— Помилуй бог, в душу мне дьявол занес такие страхи, сердце чуть не разорвалось!

— А что могло случиться? — ответил Хасан.— Я ходил в сад к Шахимардану и потолковал там с людьми.

— Когда у дяди есть такой трудолюбивый сын, ловкий и спорый, как Рахимдад! — воскликнула Рана, мать маленького Рахимдада.— При таком сыне можно куда угодно уйти. Дядя Рахимдада! Скажите ему: «Молодец»,— он сегодня работал, как его отец.

— Молодец! — одобрил Хасан.— Молодец! Идем со мной, вместе сядем обедать. Возьми и от моей доли, ты сегодня сделал часть моей работы.

— Он не голоден,— сказала Рана.— Он бросал одну сливу в корзину, один ломтик хлеба в рот. Так он все утро и работал.

Рахимдад, возгордившийся в начале этого разговора, застеснялся и спрятался за дерево, как только речь зашла о хлебе.

Женщины и дети сели на зеленой траве, как на пушистом ковре, вокруг скатерти с хлебом. Чуть поодаль от них, повесив на дерево саблю и ружье, сел Хасан, прислонившись к стволу сливы.

Жена принесла ему в платке хлеб и виноград.

Но едва Хасан протянул руку к хлебу, невдалеке от него с веток засохшего карагача раздался отвратительный крик совы. Считая крик этой птицы зловещим, женщины вздрогнули и переглянулись.

Хасан проворно вынул свой нож и отковырнул комок земли, чтобы спугнуть сову.

Пока он вставал, пока шел к дереву, сова поднялась и улетела. Хасан пожалел, что не успел ударить по птице, и посмотрел ей вслед.

И тут он увидел из-за стены сада ряд высоких мохнатых черных туркменских шапок.

Хасан обмер. Он вдруг застыл, ничего не чувствуя, словно оледеневший.

Он уже не помнил ничего из того плана самообороны, который придумал за утро в пустыне.

* * *

Десяток туркменских шапок, неподвижных, притаившихся за стеной, решили судьбу Хасана.

Он стоял, ожидая хозяина, он стоял покорный — пленник, раб.

Повезут его в Бухару, или в Самарканд, или еще куда-то, продадут. Продадут этих женщин, этих детей. Они станут служанками, невольницами. Их задавят непосильной работой на чужих жестоких людей.

Ведь матери с колыбели пугали их:

— Молчи! Сиди тихо! Туркмен пришел. Не будешь слушаться — отдам туркмену!..

Частые набеги туркменов на соседние деревни, прошлогодний

набег на этот сад, когда пропали все родные Хасана,— все это умножало его страх.

В это время, совсем так, как описано в сказаниях о войнах Рустама, за спиной Хасана прогремел страшный голос, потрясший небо и землю:

— Молчать! Ни звука! Вяжите друг другу руки! Кто пикнет, тому конец!

Хасан смог лишь оглянуться.

Оглянувшись, он застыл без движения, как мгновенно застывает капля воска, скатившаяся с горячей свечи.

Шагах в пятидесяти позади себя Хасан увидел высокого, поджарого туркмена. Чернолицего, седеющего, черноглазого. Черные брови его были густы. Усы сбриты.

В правой руке туркмен держал меч, за спиной висело ружье, поясница опоясана в несколько рядов длинным арканом.

Левая рука его опиралась о рукоятку ножа, засунутого за пояс.

Он решительно и насмешливо смотрел на Хасана.

Сверкнув белыми зубами, туркмен спокойно, и от этого спокойствия еще страшнее, сказал:

— Слышал? Иль оглох? Связывай своих! И потом дай себя связать! Ну! Тебе говорят!

Меч в туркменских руках показался Хасану мечом судьбы. Голос — велением неба. И голос давал отсрочку смерти, повелевая, давая право двигаться, исполнять повеление и тем даруя жизнь.

Хасан заторопился использовать эту маленькую надежду, но руки его не слушались. Он высохшим языком попросил:

— Могучий хан! Не имею сил, не могу. Будьте милостивы, свяжите сами!

— Да будет так! — повеселев, сказал туркмен.— Подними руки, высунь запястья из рукавов. Иди так ко мне. Иди ко мне. Не бойся, не бойся.

Дрожа, еле живой, тихо, словно боясь зашуметь, Хасан подошел к разбойнику, не сводя взгляда с его глаз.

Туркмен снял аркан с пояса и крепко связал Хасану руки за спину. Затем ударил прикладом ружья в спину и свалил его наземь.

Поочередно туркмен обошел женщин, девушек, детей, неподвижно лежавших под деревьями, полагая, что так они надежно спрятались. Туркмен, не торопясь, связал им руки их же платками и приказал:

— Молчать, пока я не вернусь. Кто крикнет, того убью! И с места не двигаться.— Он вышел из сада.

Его долго не было.

Пленники постепенно очнулись и заговорили. Они сетовали на свою судьбу. Оплакивали свалившееся на них несчастье. Голоса их постепенно становились громче, но сдвинуться с места никто из них не смел.

Прошло полчаса. Туркмен вошел, кривя улыбкой стиснутые зубы.

Услышав голоса, он поднял свою саблю и засверкал ею над головами пленников.

— Я приказал молчать! А вы? Молчать!

Рахимдад, увидев солнечный отблеск на сабле, взвизгнул.

Одним прыжком разбойник оказался над головой мальчика.

— Если ты пикнешь, отрублю голову!

И он приставил саблю к горлу Рахимдада, а затем, устрашая, царапнул его ухо.

— Видишь свою кровь? Будешь кричать, всю твою кровь пролью до смерти.

Всех охватил ужас. Все смолкли.

— Вставайте! — сказал туркмен спокойно.— Идите передо мной, выходите из сада.

Пленники встали. Тех, кто от испуга не мог двинуться, он поднял ударом сапога или уколом сабли.

Пленники вышли из сада.

Перед садом стоял десяток таких же несчастных, захваченных в других садах.

Поджарые, высокие текинские кони, вытянув длинные, как у оленей, шеи, пытались достать листья с деревьев. Широкогрудые, узкозадые, они были украшены пестрыми ковровыми уздечками. Через седла у них, вместо переметных сум, перекинуты были грубые мешки.

Туркмен из Хасанова сада вскочил на крупного гнедого коня.

Здесь же стояли два молодых туркмена. Один из них спросил:

— Сардар-хан, шапки можно убрать?

— Да, собери их! — ответил сардар, вставил в рот два пальца и, глянув в сторону деревни и в сторону степи, дважды свистнул. Другому туркмену он велел:

— Отвязывай, брат, коней. Посади людей да привяжи их.

Юноша принялся сажать пленников по двое и по трое на каждого коня. Под конскими животами он крепко связал пленникам ноги шерстяным арканом.

Хасан с высоты коня взглянул с досадой на свой сад, на дорогу, по которой они пришли сюда из деревни. Теперь он ясно понял, что он навсегда разлучается с родными и со своей родиной.

С тоской смотрел он на деревья, на стену, из-за которой виднелись вершины яблонь, заметил даже колючки на стене, когда-то

вмазанные в глину заботливой его рукой. Хоть он и молчал, но сердцем и взглядом, прощаясь со своим садом, послал последний свой привет.

Он видел, как с этих колючек туркмен снял бараньи шапки и тиснул их всей кучей в мешок. Это были те шапки, от которых оцепенел в своем саду отважный Хасан.

На сардаров свист пришло двое туркменов со стороны селения и двое с дороги на Теджен. Это были сторожевые, посланные сардаром, чтобы следить за опасными дорогами. Если б со стороны селения появились люди с палками, или афганские солдаты, или караван со стороны Теджена, это сорвало бы охоту на людей.

Караван был опаснее для сардара; караванщики часто вооружались хорошим оружием и, хотя отстреливались всегда без всякого толку, случайно могли убить, а это не входило в планы сардара.

Поэтому-то из семи людей четверо сторожили дороги, пока трое забирали пленных. Они захватили около двадцати человек. Сардар еще раз все вокруг окинул внимательно взглядом и приказал:

— Гоните лошадей!

Двое юношей сели в седла и повели за собой в поводу по пяти коней с пленниками.

Сардар ехал впереди, а четверо всадников поехало по обе стороны пленников, то пуская коней рысью, то возвращаясь назад. Они опасались нечаянной встречи с пограничными солдатами.

Выносливые кони туркменов легко несли пленников, не отставая от нетерпеливого сардара. Степные кони, словно понимая опасность, бежали без понуканий, лишь изредка перекликаясь коротким ржанием.

Их усталость стала заметной лишь после трех часов стремительного пути.

Горячий ветер. Раскаленный песок, доходивший временами до конских колен. Пустыня без воды, без травы. Все это утомило коней.

Они бежали, высунув языки, как собаки. Они явно страдали от жажды. Но голубое облачко далеких садов давно пропало позади всадников. Вокруг со всех сторон тянулась без конца и без края накаленная песчаная пустыня. Но кони все же шли, не убавляя скорости, словно надеялись на какую-то стоянку на берегу чистого родника. Лишь вдали плескалось что-то похожее на огромное озеро, но туркмены знали, что это не вода, а марево. Это был не берег спасения, а гибельная бездна для тех, кто поверит своим глазам. И это знали не только туркмены, но и кони их, даже не смотревшие в сторону заманчивых видений.

Солнце село. Луна еще не взошла. Землю охватила тьма.

В этой густеющей вечерней тьме конь сардара отбежал от дороги в сторону и остановился у незаметного бугорка. И остальные кони кинулись к нему, прижимаясь друг к другу.

Кони начали бить песок копытами.

Один из молодых туркменов сошел с коня. Он вытащил из мешка лопату с короткой ручкой и принялся разгребать песок. Он вырыл глубокую яму под бугорком и вытащил из-под земли большой белый комок, облепленный песком.

Отбросив лопату, юноша вынул из ножен свой нож и нарезал, словно дыню, белые ломти.

Другой юноша роздал лошадям эти ломти. Каждый конь, проглотив этот ломоть, сразу успокаивался, точно напился воды и отдохнул. Каждый встряхивал гривой, отфыркивался, был готов снова пуститься в путь.

Это было сало, бараний курдюк. Опытные разбойники, направляясь в Герат, через каждые три-четыре часа пути закапывали глубоко, аршина на два вглубь, это сало. Долго скакавших, разгоряченных лошадей поить было опасно. А ломоть сала утолял и жажду и голод коней.

И кони, много раз ходившие в долгие походы по безводным пескам, хорошо запоминали место, где зарыт белый жир, спасающий их от мук и гибели.

Утолив жажду коней, туркмены снова погнали их вскачь.

Много раз останавливались они так: ночью, на рассвете, среди раскаленного полдня, вечером. Снова ночью. Снова днем...

Наконец достигли жилья, где можно было дать коням остыть, напоить их, накормить травой.

4

Все так же наметало ветром песок к стенам.

Между песчаными холмами, сорвавшись с корня, катились прозрачные шары перекати-поля.

Во дворе Клыча-халифы женщины ткали ковры и тихо, почти одними губами, разговаривали.

В тот день челнок слишком часто падал из рук биби Чаргуль, нитка пылилась на земле, к ней приставали соринки.

— Что с тобой, Чаргуль? — спросила другая ткачиха, глядя на нее.

— Ты же знаешь, что я разводка и что у меня нет детей. Что это мне сулит?

— А что?

— Сегодня он прогнал Джахангуль. И прогнал Тутыгуль. Завтра он может прогнать и меня. Я думаю об этом. Кто может поручиться, что завтра это не произойдет со мной. Беда может упасть и на мою голову.

— Ты искусная ковровщица. Ты трудолюбивая. Халифа тебя не тронет.

— Какая ему польза от моего мастерства: шерсти-то нет по всей Марыйской степи!

Помолчав, биби Чаргуль вздохнула:

— Если бы в хозяйстве было изобилие, я бы не боялась, заработала бы хлеб. Но сейчас чем я заработаю? Мне и этой просяной лепешки не оправдать, которую он дает. Я боюсь потерять просяную лепешку. Думаю об этом. Вот и дрожат руки. Тогда голодная смерть.

— За сколько он тебя купил? — спросила ткачиха, желая перевести разговор на другое.

— За пять тысяч тенег и одного верблюда,— ответила биби Чаргуль.

— Видишь, как дорого он за тебя заплатил.

Биби Чаргуль уловила в словах женщины попытку оправдать халифу на тот случай, если он прогонит бесполезную биби Чаргуль. Прогоняя ее, он тоже пострадает: деньги и верблюд окажутся отданными попусту. А может быть, она хотела сказать, что халифа пожалеет денег, заплаченных за нее...

— Мне от этой цены нет пользы, халифе — нет убытка. Деньги за меня получил мой дядя. Их у него давно нет. Когда меня продали, мне было пятнадцать лет. А теперь мне тридцать пять. Не жалея глаз, я ткала ковры халифе двадцать лет, и он получал от меня дохода по тысяче тенег в год. Не меньше. Я думаю, что гораздо больше. Но будем считать так. Значит, я за свою жизнь заработала ему двадцать тысяч тенег. А дядя давно прожил те деньги, которые должны были бы обеспечить меня в случае развода. Их уже двадцать лет как нет.

Видно было, что давно все это ею обдумано, все подсчитано, все взвешено. Но, опустив глаза, она скрывала это от всех. И только теперь, когда беда вот-вот может случиться, она раскрыла свой затаенный страх.

Вытирая кончиком рукава лицо, она посмотрела сквозь слезы на свою подругу Чаманбак.

— Двадцать лет работаю. Только пять лет из них я была женой халифы. Когда мне исполнилось двадцать лет, халифа купил еще несколько девушек, а мне дал развод, и я стала разводкой в его доме. Ты счастливее — у тебя от него два сына, Хасан и Хусейн. Тебя не прогонят. А ведь и я за те пять лет дважды рожала.

Оба они умерли, в один день оба от оспы. Нет! — зарыдала Чаргуль.— Он меня прогонит.

Чаманбак сидела в раздумье. Что она могла ей сказать, чем утешить? Доводы бездетной разводки прозвучали неопровержимо.

Из отдаленного шатра вышла старуха бабка Кумри в своей огромной чалме.

— Чаманбак! — крикнула она.— Эй, Чаманбак! Иди сюда!

— Иду! — откликнулась собеседница Чаргуль и, поспешно вскочив, побежала на зов.

На лице бабки Кумри было раздумье. Она стояла, приложив руки ко лбу и глядя в землю. Она, казалось, даже не заметила, как подошла Чаманбак.

Тогда Чаманбак спросила:

— Кумри-биби! Вы меня звали? Что вы хотели сказать? Все благополучно?

— Халифе ничто не грозит. Все благополучно. Но я думаю о моих сыновьях. Им пора было вернуться на прошлой неделе. А их нет! Почему? Что с ними? Задержались, прислали бы весточку. Может, попали в руки персиян? Может, попали в плен, погибли? Но кто-нибудь уцелел бы, пришел бы сказать. Все не могли погибнуть!

Чаманбак пытливо посмотрела на старуху:

— А меня-то вы зачем звали?

— Да, чуть не забыла. Как у тебя работа? Старик еще вчера сердился: ковры медленно вы ткете. Сказал: «Съедят остатки зерна, а ковров не кончат. Не давай больше одной лепешки на каждую. А Чаргуль, как только кончит свой ковер, прогоним». Он так и сказал.

Подумав еще, Кумри добавила:

— Я все время думаю о детях. Сил больше нет! Будь ты моими глазами, следи за ткачихами ты! А Чаргуль скажи: «Тебя не прогонят», а не то она нарочно затянет работу над ковром. Пусть быстрее ткет! И пойди пошли ко мне Сахибжамал и Янгакгуль.

Вскоре к ней явились две шестнадцатилетние девушки — жены халифы. Чинно поклонились старухе.

Кумри сидела в углу, перебирая в развязанном узле одежду своих пропавших сыновей.

Кумри, увидев их, ласково сказала:

— А, маленькие женки! Садитесь! Сюда, Сахибджамал. А ты, Янгакгуль, сюда.

Обе покорно, уныло опустив глаза, сели боком к старухе.

Внимательно осмотрев их, Кумри велела:

— Смотрите на меня!

Но лица их не повернулись к ней. Полные слез глаза не взглянули на нее.

— Смотрите на меня, говорят!

Обе не шевельнулись.

Старуха, не сводя с них глаз, пожевала беззубым ртом.

— За сколько тенег халифа купил вас?

И на этот вопрос она не дождалась ответа.

Тогда она ответила на свой вопрос сама:

— Халифа на вас истратил пятнадцать тысяч тенег. Да еще целыми кошельками он тратит деньги на вашу одежду, на вашу еду, на ваши прихоти. А зачем? Чтобы вы его услаждали? Нет, ему молодых жен уже не нужно: ему семьдесят пять лет. У него и без вас восемь жен. У него сыновья — богатыри: Абдул и Кушат. У него пятеро внуков, больших и маленьких. А он тратится на вас. Вам это надо знать да не забывать. Зачем он вас взял? Для работы взял! Ковры ткать. А вы? А вы за два месяца даже одного коврика не выткали. Хоть бы один молитвенный коврик! Длиной в какие-нибудь два аршина коврик! Если вы будете так работать, ваша работа не окупит и тех двух просяных лепешек, что вам дают.

Девушки продолжали молчать, отвернувшись.

Кумри поняла, что они не боятся ее слов. Она помолчала, пожевав губами. Потом встала и отослала их:

— Идите! Работать надо лучше. Не то халифа накажет.

Выйдя из юрты, Сахибджамал шепнула:

— Чтоб ему провалиться, этому халифе!

— Вместе с этой старой вороной-правительницей,— добавила Янгакгуль.

5

Никаких вестей о сыновьях старой Кумри не было.

Вместе с дядей своим Уразом-сардаром Абдул и Кушат уехали в сторону Астрбада.

Невестки Кумри-биби, дочери ее и внуки, жена Ураза-сардара и дети его вместе с Кумри-биби не знали покоя, дни и ночи проводили в тревоге, уже готовые услышать самые страшные вести.

Лишь Клыч-халифа сидел с неизменным спокойствием на своем пестром коврике, перебирая четки, обратив свой взор на запад.

Многое видел он на своем веку. Отведал и горького и сладкого. Многие события пережил. Он видел, как в три дня делались дела, на которые, казалось, нужны были месяцы. А бывало и так, что пустячное дело оказывалось неодолимым. Всего насмотрелся.

Но сам он, что бы ни начинал, всегда доводил до конца, сколько бы трудов, сил и времени ни понадобилось. К этому приучал он и своих детей, и младшего своего брата Ураза.

Он был уверен, что если они задержались, значит, не вернутся с пустыми руками. Ждал, что приедут, ведя за собой рабов и рабынь, гоня перед собой стада коз и овец, с верблюдами, шатающимися под тяжестью захваченных сокровищ.

Они смелы и сильны. Смел и Абдуррахман-сардар, и этот никогда не возвращается без добычи. Не мужское дело беспокоиться о них. Он гнал от себя всякое беспокойство и другим не позволял тревожиться.

Но женщины, скрывая от халифы свои страхи, каждый день посылали в пустыню шестидесятилетнего деда Камбара, сохранявшего память о былых походах халифы при Шах-Мураде.

А у ворот рабата стояла начеку маленькая Кумуш, глядя вдаль, не идет ли дед Камбар.

В этот день она вдруг вскрикнула и кинулась к своей бабушке.

— Камбар-бобо показался. Он не идет, он бежит.

— Бежит? Значит, несет добрые вести! — поцеловала внучку Кумри и вместе с невестками, дочерьми, внуками заспешила к воротам рабата.

— Есть новость? — крикнула она Камбару, когда тот был еще далеко.— Хорошие вести?..

— Я стоял во-о-он на той крыше,— ответил, задыхаясь, дед Камбар.

Он подошел, едва переводя дыхание. Все терпеливо смотрели на него, наблюдая, как он собирался с силами, чтобы сказать еще несколько слов.

— С той стороны,— махнул он рукой в сторону Ирана,— и с той вон тоже,— махнул он в сторону Герата,— поднялась пыль. Пыль с иранской стороны такая, как бывало, когда с похода шел Шах-Мурад Сарык. В той стороне пыль заволокла всю пустыню. Видно, ханские сыновья везут весь Иран.

Камбар ханскими сыновьями называл детей халифы. Обрадовавшись, Кумри не стала больше слушать. Она повела деда Камбара к юрте своего мужа.

Поставив перед халифой Камбара, она сказала:

— Он видел, что...— И радостно она рассказала халифе все, что слышала только что сама.

Клыч-халифа не шевельнулся. Он по-прежнему сидел будто каменный, перебирая четки, словно все это ничуть его не касалось. Лишь чуть-чуть нахмурил лоб, чтоб показать этим своей старшей жене, что все это дело не стоит таких волнений.

Не встретив сочувствия у мужа, Кумри опять заспешила к воротам.

Как писали прежде: «Пыль осыпала пустыню с головы до ног», и вот показались из пыли груженые верблюды, люди.

И у ворот зоркие, нетерпеливые глаза подсчитали, что овец не менее пяти сотен, верблюдов шло двадцать, а люди были пленниками — рабами и рабынями, посаженными в седло по старому способу: у каждого из них ноги были связаны под животами коней.

Караван вели сыновья старой Кумри — Абдул и Кушат и дядя их Ураз-сардар.

А со стороны Герата прибыли Абдуррахман-сардар и его спутники.

Халифа по-прежнему сидел на своем молитвенном коврике и перебирал четки. Может быть, мысленно он посещал сейчас рай, наслаждался красотой гурий и юношей и думал о том, как выгоднее поделить добычу и пленников, чтобы ему досталась доля побольше, и как продать свою долю на базаре подороже.

* * *

Зарезали баранов.

Установили котлы.

Зажгли костры, растопили печи для хлеба.

Закипели жирные похлебки, поспели горячие кукурузные лепешки.

Ободрав молочных ягнят, повесили над раскаленной ямой, чтобы обжарить.

Но кипящие котлы, измазанные салом руки и ложки виднелись лишь на одной стороне рабата.

А на другой стороне находилась причина торжества — добыча.

В углубление, вырытое для скота, загнали пленников.

Их связали по пять человек и свалили, как делалось это в темницах бухарского эмира.

Пока победители поглощали огромные куски мяса и сала, так что пухли их животы, о пленниках никто не вспоминал.

О них не забыл и позаботился лишь старый дед Камбар.

Он принес им то, что посмел для них взять,— бурдюки с водой и сухие, заплесневевшие просяные лепешки.

И если б он не сделал этого, многие не пережили бы того дня.

Победители провели всю ночь, празднуя и торжествуя. Они веселились, ели, смеялись и развлекались играми. Бродячий пе-

вец, услышав о победе, явился сюда и сложил и пропел песню, взяв в руки домру:

Клыча-халифы сыны-богатыри,—
Что перед ними жемчуг, золото, коралл?
Где б ни проскакали,— сам ты посмотри,—
Как пожар, их гнев неверных покарал.
Рушили врага они каменный оплот,
Где был Астрабад, осталась лишь полынь,
Ураз-ага, Абдул, Кушат окончили поход,
К нам рабов пригнали, привезли рабынь.

Сокол среди битв Абдуррахман-сардар!
Гнездо где его? Мары, Байрам-Али, Теджен.
Молнией разит врага его удар,—
Непокорных, дерзких не берет он в плен.
Помолившись, он пошел на дальний край,
Сам Клыч-халифа его благословил.
Эй, гератский голубь! Больше не летай:
Ведь Абдуррахман-сардар там проходил! [1]

Еще пальцы певца судорожно бились о струны, а уж Клыч-халифа велел дать певцу за такую лестную песню одного барана.

Абдуррахман-сардар не хотел отставать от Клыча-халифы, он послал в подарок певцу трехлетнюю сестренку Рахимдада — маленькую Зебу.

6

После пира поднялись поздно, около полудня.

Пили чай. Запивая глотком сладкого чая, проглотили по щепотке кукнара.

Поели холодного мяса, жирных просяных лепешек.

И лишь после всего этого приступили к дележу добычи и пленников.

Повинуясь каждому слову Клыча-халифы, строго соблюдая давние обычаи, дележ провели без ссор и споров.

Предстояло два дела: первое — отделив долю каждого, отдать ему в руки; второе — каждому назначить отдельный базар, чтобы не оказалось на одном базаре сразу много рабов и цена на них не упала бы от этого.

Теперь предстояло оторвать отцов и матерей от их детей, жен от мужей, братьев от сестер.

Надо было так провести дележ, чтобы в одни руки не попали ни муж с женой, ни брат с сестрой, ни люди, между собой близ-

[1] Стихи на страницах 42, 104—107 и 109 переведены В. Державиным, остальные С. Бородиным.— *Ред.*

кие. Ведь известно, что раб ли, рабыня ли, имеющие привязанность к кому-либо, кроме хозяина, будут дешево стоить на базаре: если жена окажется с мужем, мужа купят, а она пойдет с ним задаром, потому что как женщина она уже не будет ничего стоить. Мать ли понадет вместе с ребенком, она о работе будет думать меньше, чем о своем детище, а хозяйских детей может забыть ради своего.

Если даже это дело действительно было трудным, то не для наших «победителей», ибо у них были твердые сердца — плач и мольба несчастных, вся эта скорбь, все это вызывало у них хохот, безудержный смех...

Вопреки всему, задуманное было выполнено. Плач и вопли женщин, разлучаемых с мужьями, и мужей, отторгнутых от жен, рыдания и мольбы малолетних детей, отнятых у родителей, вопли отцов и матерей, лишенных детей, поднимались в небо и смешивались с облаками. Не слезы, а кровь текла из глаз, вместо вздохов из груди вырывалось пламя.

Это прискорбное событие напоминало время окота овец, когда маленьких ягнят отделяли от своих матерей и отрезали им головы, чтобы содрать с ягнят драгоценные каракульские шкурки. Разница была лишь в том, что там бедствие обрушивалось на бессловесный скот, на бессознательных животных, которые вскоре забывали о своей утрате, на животных, обреченных не сегодня, так завтра погибнуть под ножом.

Но сейчас разыгрывалась трагедия над людьми, понимающими свою беду. Над способными по природе своей преобразовать мир и утверждать благополучие, всеобщее спокойствие, над людьми, которые в сотворении не отличались от своих притеснителей.

Победители послушали, изощряясь в шутках, причитания и жалобы. Но шутки иссякли, а жалобы не затихли. Если не прекратить криков силой, эти люди до самой смерти будут кричать, выкликать друг друга и стонать.

С этим надо было покончить раз и навсегда. Ведь если обнаружится горе рабов на базаре, кто станет покупать, кто даст за них настоящую цену? Дорог тот раб, что идет к покупателю покорно и охотно.

Жалости не знали, чтобы отучить пленных людей от их прежних привязанностей.

Малолетним детям крутили и надрезали уши, взрослых били плетками по спинам, по бедрам, по ступням. Упрямцам надрезали ступни и в раны втирали соль.

Так одну боль заглушали другой болью. Высушили глаза, заткнули рты, каждому внушили мысль, что, если еще раз изда-

дут они хоть какой-нибудь звук, им вырвут языки, перережут горла.

Пленникам внушили, что, если и случится так, что нечаянно где-нибудь встретятся муж с женой или дети с родителями, они даже виду не подадут, что когда-то знали друг друга. Та жизнь, которая была, когда они друг друга знали, окончилась, прошла навеки. Прошла, как поутру проходит сон.

Часть рабов и рабынь привезена была из-под Герата — из Афганистана. Они исповедовали ту же веру, что и бухарцы, суннитскую. Они были подданными афганского шаха. И то и другое не годилось: на базарах Бухары и Туркестана было запрещено продавать суннитов в рабство. Между Бухарой и Афганистаном об этом был заключен строгий договор. Из этого же договора следовало, что подданных афганского шаха продавать в рабство решительно запрещалось.

Узел, затянутый этим договором, надлежало разрубить или лучше — осторожно развязать. И Клыч-халифа нашел выход.

Имена афганских суннитов были изменены.Ератцам велели забыть родину, забыть названия родных мест — взамен им дали персидские имена, а родиной своей они должны были назвать города или деревни Ирана.

Но и этого было мало. Кто-нибудь мог на базаре заговорить с ними. Конечно, им не позволят там произносить речей или затевать разговоры. Но, жалуясь, вздыхая или прося о чем-нибудь, они должны были говорить на персидском языке.

Для этого к ним приставили деда Камбара.

Камбар обучал их основам шиитской веры, он терпеливо, длительными упражнениями, приучал их персидскому произношению пятнадцати или двадцати слов.

Это давалось не легко. Ушло несколько дней, пока люди забыли свое имя и запомнили новое, пока отвергли основы прежней веры и приняли новые основы, пока родным языком не стал персидский язык.

Некоторые упрямились, у других язык не мог произносить непривычные звуки. Упрямцев исправляли плетками, языки, неподатливые к чистому произношению необходимых слов, калечились. Даже семилетнему Рахимдаду, который никак не мог выговорить слова по-новому, Абдуррахман-сардар шилом проколол язык.

— Учись без упрямства, негодяй! Повинуйся тому, чему тебя учат. Забыл, как чуть не убил тебя в саду, когда ты вздумал реветь. То было в твоем саду, когда ты не слушался, плакал. Будешь упрямцем, я тебе не только язык вырву, я голову с тебя сорву. Торопись, учись, чему учит тебя дед Камбар.

Дней за десять пленники научились кое-чему необходимому для их поработителей.

Сунниты запомнили по порядку имена пяти святителей и двенадцати святых шиитской веры.

Теперь путь на базары был открыт, а товар готов к продаже.

Лошади отдохнули вполне, бока их залоснились.

Отдохнули и победители.

Настало время ехать на базар.

Каждый из разбойников забрал свою долю и двинулся к тому городу, который был ему предназначен.

Одни — в Хиву, другие — в Бухару, третьи — в сторону Карши и Шахрисябза.

Певец, получивший в подарок маленькую сестру Рахимдада, трехлетнюю Зебу, поручил туркмену продать ее вместе со своей добычей. Этот туркмен отправлялся в Карши.

Певец долго объяснял туркмену, как добросовестно надо отнестись к товару, порученному для продажи: чтоб он продал девочку так же выгодно, как будет продавать свой собственный товар; чтобы не схитрил — продав выгодно, не скрыл бы ее цены.

— Дорогие наши предки говаривали: если в караване купцов имеется что-либо отданное под залог, доверенное для продажи, великий грех причинить ему что-либо недоброе. Если же честно относиться к доверенному, никакая опасность не коснется каравана честных купцов.

И, делая вывод из этого древнего поучения, певец сказал:

— Из сего следует, что караван нечестных купцов подвергнется всем опасностям и не достигнет благополучия. Не дай бог! Не дай бог! На караван падет беда, и на купцов падут великие несчастья. Вот с этим и возьмите мой товар с собою в Карши...

Этими словами певец внушил туркменам опасения.

Эти слова слышал Рахимдад, догадавшийся, что речь идет о его маленькой сестренке Зебе, которую сейчас увезут далеко, навсегда.

«Карши?» Никогда он не слышал этого слова.

Что это за город, большой или маленький, близкий или далекий?

— Карши! — сказал он вслух, вслушиваясь в звук этого слова, чтобы запомнить его на всю жизнь.

Караваны отправились в путь.

Однако двор Клыча-халифы на этот раз не опустел.

Теперь загон был полон овец. В сараях стояли верблюды.

И младший сын халифы — Кушат остался дома, поручив свою долю старшему брату — Абдулу.

Караваны ушли, а здесь надо было заняться скотом, найти пастуха, заготовить корм.

Кушат посадил Камбара на коня и послал его в соседнюю деревню за прежним их пастухом. В прошлом году, когда погиб весь скот, они прогнали этого пастуха. Теперь он снова понадобился.

К вечеру дед Камбар пригнал шестидесятилетнего Турды с двумя его сыновьями-подростками.

Поздоровавшись со стариком, Кушат сказал:

— Ну, спрашивай, дядя Турды!

Но у Турды-аги не было ни сил, ни охоты соблюдать длинный порядок приветствий.

Лицо его осунулось. Под глазами вздулись серые отеки. Бледный нос заострился. Малокровные губы побелели. Видно было, что давно уже старику не приходилось утолять голода.

Вместо приветствия Турды-ага ответил:

— Да буду я за тебя жертвой! Много жестокости в прошлом году перенес я от твоего отца. Он забыл, что тридцать лет служил я ему за просяную лепешку. А когда свалилась беда на его скот, он крикнул мне: «Вставай, убирайся отсюда, работы для тебя нет, а значит, и хлеба тебе не будет». Я позвал старшего сына, и мы ушли. Зима была сурова, снег глубок, одежда дырява, хлеба достать было неоткуда и не на что. Ни топлива, ни работы найти не удалось.

Он с жалостью взглянул на своих сыновей-подростков.

— Ничего не было. С тем и покорились судьбе. Ни жена моя, ни две мои дочки не выдержали холода и голода, я их схоронил.

Комок слез душил его. Говорить ему стало невмочь.

Он помолчал, отвернувшись.

Кушат сказал:

— Ничего, к кому смерть придет, тот умирает. Кому суждено жить, живет.

Дед Камбар, стоя в стороне, прошептал:

— Почему же к вам эта смерть не приходит? Она боится тех, у кого животы полны!

Но его никто не услышал.

Турды-ага, вытерев глаза, продолжал:

— После этого я решил у вас не работать. Но когда человек проработал на одном месте тридцать лет, оставил там и молодость и силы, одряхлел и выброшен с этой работы, где он может найти другую работу? Вот я приплелся опять сюда. И со мной мои сыновья. Теперь все в ваших руках,— мы будем работать, но и вы кормите нас, чтоб не голодали мы больше.

— Если мы будем сыты,— ответил Кушат,— и ты будешь сыт. Если мы будем голодать, и ты будешь голодать. Молись, чтобы удача не отвернулась от нас.

Он считал разговор оконченным, но потом подошел к старому пастуху ближе и тихо ему сказал:

— Ты этих речей перед моим отцом не произноси! — Он развел руками: — Отец отрекся от земных забот, приблизился к богу. Его молитва — это благо. Наши деды говаривали: «Не проси золота, проси молитвы». Разве молитва не золото? Он, не дай бог, может обидеться на тебя, тогда все для тебя пропало.

— Нет, сын мой! — ответил Турды-ага.— Я тебя считаю своим сыном. Ведь ты родился и вырос при мне. Я тебе высказал все, что у меня наболело. А отцу твоему какое до меня дело? Я его хорошо знаю. Я боюсь не его молитвы, а его обиды. Куда ж тогда мне деваться с этими моими мальчиками? С этими моими старыми руками?

Певец, получивший барана за песню, привел с собой двух чьих-то осиротевших двенадцатилетних мальчиков. Они присоединились к работникам халифы.

Дело у халифы пошло на лад: шесть жен-разводок, четыре брачных жены, дочери, невестки — все они опять занялись тканьем ковров под началом старой Кумри, давно получившей от халифы развод, но оставшейся в доме за старшую жену.

Дед Камбар с двенадцатилетним помощником качали воду из колодца, поили скот, заготовляли корм, чистили стойла.

Турды-ага с пятнадцатилетним помощником собирали в степи хворост и дрова и свозили на верблюдах ко двору.

Двое сыновей Турды-аги пасли стада в пустыне.

Всеми ими распоряжался Кушат.

Только Клыч-халифа не менял своего положения.

Целые дни по-прежнему сидел он на своем молитвенном коврике, перебирая четки, просил у бога удач для людей и здоровья для овец, долгой жизни для сыновей, скромности и послушания для слуг, безопасных путей для странствующих с пленниками своих родственников, а рабам и рабыням — щедрых покупателей.

7

В караван-сарае Паи Астана в Бухаре настали горячие дни.

Дворники выметали и чистили кельи, навесы, подвалы. Поливали дворы, вывозили навоз и мусор, выносили и вывозили вон ненужный хлам, за долгое время накопившийся во всех углах.

Некоторые из келий для купцов убрали с особой заботой, застелили дорогими паласами и коврами.

Деревянные колья в подвалах, к которым привязывали ослов и лошадей, выдернули. Вместо них вбили в землю железные кольца.

В одном из подвалов сделали так, как сделано было в темницах бухарских эмиров,— концы толстого длинного столба пропустили под каменные стены подвала и обили гвоздями с большими шляпками. В темницах к таким столбам привязывали узников. Здесь это готовили для рабов.

Комнату для омовений тоже заботливо подмели и расставили там медные кувшины разных размеров.

На кухне над очагами вмазали большие котлы для пищи и котлы для кипячения воды.

Словом, весь вместительный караван-сарай сверху донизу преобразился, словно готовясь к приему очень важных людей или к празднику.

Всадник на вспотевшем коне подскакал к воротам двора. Соскочив с седла, он отдал повод служке и приказал остудить коня. Сам же, словно выполняя какое-то очень важное поручение, пощелкивая плетью, торопливо вошел во двор и поклонился хозяину, сидевшему в средней келье.

Оттуда спросили:

— Разве уже подъезжают?

— Часа через два будут здесь.

— А где ты их видел?

— В Пайкенде. Передал им от вас поклон и сказал: «Меня послали в ваше распоряжение». Караван-баши ответил: «Рад! Рад! Арендатор караван-сарая Акрам-бай мне старый близкий друг. Если б он и не готовился принять нас, мы бы все равно нигде, кроме его двора, не остановились бы».

— А потом?

— С их караваном я доехал до Чарбакра. Там они остановились почиститься и помыться с дороги. А меня хозяин каравана послал к вам сказать: «Подготовьте постоялый двор, а со двора удалите посторонних людей».

— Товара-то у них много?

— Очень много. Верблюдов пятьдесят с яблоками. Несколько верблюдов с чугунными котлами, с чугунными кувшинами и со всяким железным товаром. На нескольких верблюдах — кованые сундуки. Всего верблюдов до двухсот, и все — под товаром.

— Этот товар они у нас сгружать не будут. Это выгружают в Ургенчском караван-сарае. Ты говори мне о товаре для нашего двора.

— Я видел человек двадцать пять рабов и рабынь. Большей частью — красивые женщины и девушки. Есть стройные юноши и дети с красивыми лицами. Если их хорошенько вымыть да приодеть, на базаре их засыплют золотом.

Акрам-бай, арендатор караван-сарая, выслушав все эти утешительные вести, громко рассмеялся. Он повернулся к юноше, который сидел напротив него в тенистой келье, и опять рассмеялся.

— Кликни писаря! — велел он.

— Сейчас, господин,— ответил мальчик и, вскочив, кинулся в глубь двора.

Минуту спустя из какой-то отдаленной кельи торопливо пришел, сутулясь, уткнув в грудь жидкую острую бородку, старик. Узенькие глаза его слезились. Длинное лицо было печально, тонкие губы бескровны.

В ответ на низкий поклон старика арендатор показал ему место, где следовало сесть.

Кланяясь, старик сел, положил перед собой пенал и раскрыл подставку для письма.

Когда старик отдышался и приготовился к письму, Акрам-бай сказал:

— Мирза, пишите. Быстро. Письмо от моего имени. Землевладельцам, а также скупщикам рабов. В Гиждуван, Шафрикан, Вабкент и в Зандане. Известите их, что прибывает караван. Письмо пишите красиво и так, чтобы раздразнить их. Чтобы всякий, получив его, думал: «Хоть и не намерен я покупать рабов, а съезжу, гляну-ка там на красивых молодых рабов и рабынь».

И снисходительно пояснил писцу:

— Это надо нам, чтоб оживить торговлю, чтоб покупателей съехалось побольше. Больше будет покупателей, выше поднимется цена. По хорошей цене сбудут товар, нам будут благодарны, лучше заплатят, подарят кое-что. И вам на чай и на терьяк дадут.

Письма были написаны и отосланы Акрамом-баем в уезды со специальными всадниками.

А караван уже входил в Бухару через Каракульские ворота.

Арендатор послал своих людей навстречу, чтобы узнавать и сообщать сюда, по каким улицам идет караван, как он выглядит, что о нем говорят на улицах, по которым он идет.

Караван тяжело навьюченных верблюдов шел медлительным шагом. Раскачивались пышные кисти на узде переднего верблюда. Раскачивались тюки, покрытые тканными текинскими паласами с длинной бахромой, покачивался мерно и неотвратимо, как грядущий час, колокол последнего верблюда.

Люди каравана все были хивинцами, туркменами. Все они обычно останавливались в Ургенчском караван-сарае. Только там

могли они останавливаться, продавать свои товары,— торговать на каком-нибудь ином базаре или дворе хивинцам запрещалось.

Поэтому караван, дойдя до Ургенчского караван-сарая, не пошел дальше. Верблюды остановились. Люди, разминая затекшие ноги, сошли с седел.

Но сам караван-баши, Карим-бай, скупщик рабов и торговец рабами, отделился от каравана и свернул в квартал Паи Астана, ведя за собой коней и верблюдов, груженных этим его главным товаром.

Базаром работорговцев в Бухаре издревле был квартал Паи Астана, с его большими и приспособленными для такой торговли караван-сараями.

Работорговец Карим-бай и арендатор Акрам-бай обнялись и расцеловались еще в воротах.

Такому желанному гостю приготовили особую келью. Там он и остановился.

Рабов и рабынь ввели в подвалы и заперли их там.

Некоторых, наиболее упрямых и строптивых, заточили в колоды. Некоторых связали, а веревки пропустили через железные кольца.

Верблюдов, с вьючными переметными корзинами для перевозки людей и имущества, вместе с погонщиками отослали за город.

Работорговец позвал к себе Акрама-бая:

— Сегодня никого во двор не пускайте. Никого, кто назовется покупателем. Ни рабов, ни рабынь не показывайте никому. Завтра я напишу послание и сделаю подарок его высочеству эмиру. Если последует его высочайшее разрешение, тогда и откроем торговлю.

Акрам-бай немедленно поставил у ворот привратника, приказав не впускать никого, кроме своих работников, а ворота запереть и ни перед кем не отворять.

На кухне закипел котел с похлебкой. В другом котле зашипел жир, плавясь для плова.

В углу кухни нагревался огромный котел воды. Нагретую воду в ведрах уносили в комнату для омовений и разливали там в большие медные кувшины, в объемистые глиняные корчаги.

Рабов и рабынь специально выделенные люди караван-баши поочередно выводили туда, там они мылись теплой водой, вытирались сухими тряпками, а потом получали свежую одежду и, одевшись, вновь отправлялись в подвал.

Красивых женщин и девушек мыли дольше. Им давали душистое мыло, тщательно расчесывали волосы, заплетали косицы, завивали опытной рукой локоны на лбу и на висках. Выщипы-

вали брови, сурьмили веки, на лица ставили искусственные мушки. И одежду им дали, сшитую из новых тканей, каждой по росту и по сложению.

Одна четырнадцатилетняя девочка и один шестнадцатилетний мальчик были вымыты особо тщательно, по нескольку раз, на них надели новую одежду и отвели в келью Карима-бая.

Он вызвал к себе с базара самого искусного цирюльника и велел ему расчесать им волосы, выправить и подтемнить брови. Несколько раз мастер менял им прическу, подстригал, заплетая, завивая волосы, пока не добился тех причесок, которые украсили их лица, бледные, испуганные, растерянные и безропотные.

Потом их опрыскали крепкими духами, изготовленными на розовом масле.

На пальцы их надели золотые перстни с яркими рубинами, в уши вдели серьги с жемчужинами. Голову мальчика покрыли золототканой тюбетейкой, а девочке, поверх золототканой тюбетейки, надели шитые золотом повязки на лоб, а на шею — ожерелье в три нитки.

Одежду на них надели из шелка и семицветного бухарского бархата, которая в те времена носилась в гаремах эмиров.

8

Ранним утром, когда Регистан, главную площадь Бухары перед эмирским дворцом, полили и подмели, бухарские зеваки и завсегдатаи всяких зрелищ собрались у ворот дворца, у соборной мечети Пайанда и разместились там вдоль стен и даже на прилегающих крышах, чтобы поглядеть, чем начало этого дня будет отличаться от прежних.

Кони придворных, явившихся, по обычаю, во дворец, чтобы приветствовать повелителя, стояли, сдерживаемые конюхами, вдоль медресе Дарушшифа лицом к югу.

Бухарские бездельники переговаривались на своих местах, делясь догадками и обмениваясь слухами: кого сегодня его высочество будет истязать или казнить, кого повесит, кого сбросит с высоты своего дворца, кому, как барану, перережут сегодня горло, а кого осыплют милостями, почестями и дарами.

Эти праздные люди, собиравшиеся сюда по утрам изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, чувствовали себя как бы участниками тех великих исторических событий, коими повелевало солнце Бухары — его высочество эмир.

С благоговением, словно эмир сидел среди них и с ними сообща решал судьбы вселенной, они, почти не дыша, тихонько пе-

реговаривались: что сулит им, какими зрелищами взволнует и обогатит их этот очередной начинающийся день благородной, священной Бухары?

Путники, которым надо было проехать через Регистан со стороны ли ворот имама, со стороны ли купола Тиргарана, обязаны были спешиться, взять лошадь под уздцы, а осла гнать перед собой и идти, обернувшись лицом к дворцу и кланяясь. Лишь перейдя Регистан, могли они снова сесть в седло или влезть на осла и продолжать свой путь.

В это утро какой-то крестьянин, редко бывавший в городе и не знавший его порядков, продолжал ехать через Регистан верхом.

Увидев это, один из стражей, стоявших с дубинками на деревянных мостках перед воротами Арка, страшным голосом заорал на крестьянина:

— Сле...е...зай! С ко...оня долой! Слезай! Слезай!

Оцепенев от этого страшного крика, крестьянин хотел было слезть с седла, но зацепился за стремя и упал.

Не успел он подняться, как выбежавшие из Арка есаулы с палками в руках набросились на него, схватили и поволокли к дворцу. Они подняли его на мостки, поставили перед приставом, раздели и дали ему пятнадцать ударов палкой. Потом велели помолиться за здоровье его высочества и лишь после этого великодушно вернули ему халат и отпустили. Так дан был наглядный урок почтения к этому высокому месту.

Для скучающих зевак это было «лепешкой, испеченной сразу же, как замесили тесто». А по-русски говоря: «Сделано начало, полдела откачало». И действительно, случай этот был началом предстоящих зрелищ.

И зрелища разворачивались.

На помосте перед воротами показалось двое узников из Абхапы — дворцовой темницы, помещавшейся в проходе, ведущем от ворот внутрь Арка.

Руки узников были связаны не сзади, а спереди. Один из зрителей, заметив это, не для других, а больше для себя самого, воскликнул:

— Бедняги!

Ибо руки, связанные спереди, означали, что узников сегодня казнят.

Вперед вышел человек в широком халате, расшитом золотом, опоясанный позолоченным поясом, с роскошной шапкой под чалмой, держа меч с серебряной рукояткой.

Это был «владыка ночи», начальник ночной охраны в Бухаре

и исполнитель высшего гнева эмира, наблюдавший за совершением казни.

Осужденных окружили люди кушбеги, обычно они ехали верхами, но иногда, как и в этот день, шли пешком. Держа сабли наголо, они стояли, ни на кого не глядя, избегая встретиться взглядом с кем-нибудь из людей. Вместе с ними стояла пешая ночная стража, вооруженная трехаршинными палками, обитыми в трех местах медными кольцами. Рядом с каждым узником стояло по человеку, державшему осужденного за руки; в другой их руке чернела под большим набалдашником палка, длиной в аршин, а толщиной с топорище. Эти люди были коренасты и плотны, одежда их ничем не напоминала придворную; головы их покрывали облезлые меховые шапки, плечи — короткие стеганые куртки, обуты были в высокие сапоги из булгарской кожи. Это были палачи.

Осужденных повели.

Они прошли на другую сторону Регистана и остановились напротив дворцовых ворот, над ямой, вырытой для стока дождевой и снеговой воды на Веревочном базаре.

Любопытные бездельники окружили плотным кольцом эту яму. А люди кушбеги и владыки ночи ударами сабель и палок раздвинули это кольцо.

Владыка ночи, повернувшись к воротам дворца, трижды поклонился в ту сторону так низко, что голова его едва не коснулась земли. Затем он потребовал от народа и от осужденных благодарственной молитвы о здравии и благоденствии его высочества.

Люди громко и шумно помолились:

— Да пусть его высочество завоюет весь мир, меч его будет всегда острым. Да пусть ему всегда и во всем помогают его светлость Шахимардан и Бахауддин, отражающий беду, несчастья.

Узники почти задохнулись во время этой молитвы, так как палачи высоко подняли их связанные руки, сдавив грудь.

Владыка ночи вынул из-за пазухи бумагу, поцеловал ее в том месте, где стояла печать, коснулся ею глаз и просмотрел ее. Затем он засунул указ обратно за пазуху, взглянул на палачей и шевельнул усами. Это был знак.

Первый палач, выпустив руку осужденного, размахнулся и ударил его спереди по коленям. Осужденный упал лицом на землю на краю ямы.

Второй палач сел на осужденного верхом и придавил его к земле. Воткнул нож до самой ручки в горло узника чуть пониже уха, затем вытащил и вытер окровавленный нож об одежду узника и опять спрятал его в голенище.

Оставив казненного, содрогающегося на краю ямы, они так же казнили второго осужденного.

Вскоре оба были мертвы.

В это время из бани Тукум-Дузи выбежало четверо людей с носилками в руках. Это были дочиста проигравшиеся азартные игроки, жившие в холодные дни в печах этой бани. Их обязанностью было убирать казненных людей.

Если родственники казненных приходили за мертвыми телами, эти требовали большой выкуп, а если у мертвеца не было состоятельной родни, они выносили мертвеца на дорогу и собирали деньги с прохожих на погребение. Но деньги эти обычно шли им на азартную игру. Это дело они избрали своим ремеслом. А так как они этим ремеслом зарабатывали много денег, другие игроки азартных игр Бухары удостоили их «почетным» прозвищем «Богатые сынки его высочества».

Этим ремеслом им удавалось добыть немало денег. Но в этот день им не повезло. Когда владыка ночи увидел их, он сказал:

— Не трогать! Эти по воле высочества будут до вечера лежать здесь. Чтобы все их видели и запомнили. А вечером их вывезут за город и бросят на съедение псам, ибо они были не только игроками и мошенниками, но еще и бунтовали: они пытались поднять народ Хатырчи против своего правителя и хатырчинского казия. И они вывели народ из повиновения. Трупы таких людей оскверняют землю, а потому его высочество проявил милость и приказал отдать их псам.

Владыка ночи в сопровождении стражи вошел во дворец доложить эмиру, что казнь свершилась.

— Принесена жертва во имя здравия и долголетия вашей святой жизни, ваше высочество!

Снова отперли большой замок на маленьких дверях придворной темницы.

Вывели еще двух узников, поставили на помост у ворот дворца. С одного из них сняли одежду. Его взял к себе на плечи огромный здоровяк, другой человек ухватил его за ноги и оттянул их книзу.

Двое палачей встали по обе стороны узника. Они выбрали из связки по кизиловой палке длиной с размах обеих рук и поочередно принялись бить по голой спине узника, считая:

— Раз.

— Два.

— Три.

— Четыре.

И так, пока второй из них не воскликнул:

— Семьдесят пять!

После этого наказанного заставили молиться за его высочество милостивого эмира.

Сорвали одежду с другого узника.

Кушбеги в златотканой одежде стоял при исполнении гнева эмира, окруженный вельможами, опоясанными золотыми поясами.

Он громко приказал:

— С четырех сторон!

Едва раздались эти слова, зеваки на площади задвигались: каждому захотелось взглянуть на эту редкую казнь, каждый хотел пробраться вперед или просунуть вперед хотя бы голову.

Палачи не подняли этого осужденного, а положили его на землю, ниц лицом.

Двое прижимали его к земле, а двое нанесли ему по спине семьдесят пять ударов.

Потом положили его превратившейся в кровавое месиво спиной вниз. И также нанесли семьдесят пять ударов по животу.

Затем осужденного повернули вниз правым боком и по левому боку нанесли семьдесят пять ударов.

И, наконец, положили на левый бок и нанесли семьдесят пять ударов по правому боку.

Это наказние в эмирском законе так и называлось «четырехсторонним».

Узника, тело которого раздулось и кровоточило, вместе с первым наказанным положили на арбу и повезли в темницу. Было похоже, что он уже умер, но, прежде чем похоронить его, надлежало выполнить повеление эмира:

— После поучения отправить его в тюрьму.

В те времена эмиром Бухары был Хайдар. Он славился набожностью и воздержанностью.

Ежедневно он просыпался за два часа до рассвета, совершал утреннее омовение и молитву, исполняемую лишь самыми набожными людьми, до первой общей молитвы.

Помолившись, но не сходя с молитвенного коврика, он ждал часа первой из пяти обычных ежедневных молитв. Он сидел один, углубившись в безмолвное созерцание, которое должно было означать общение с богом.

Услышав призыв к первой молитве, он отправлялся в свою келью-молельню и молился там вместе со своими служителями или отправлялся в мечеть Арка, где сам исполнял обязанность имама, молился со всеми верующими.

Затем он входил в просторную Комнату приветствий, где принимал поклоны знатных людей Бухары, разбирал заявления и жалобы и давал по ним устные указания либо писал на обороте заявлений свои решения.

Затем он снова молился, как это делали немногие верующие, ибо до второй обязательной молитвы еще оставалось много времени. Потом выходил либо в мечеть Арка, либо в гостиную для чтения поучений и там давал уроки собравшимся ученикам высшей духовной школы.

В этот день заявлений было так много, что, боясь опоздать на урок, эмир просмотрел их наскоро, мало вникая в смысл.

Среди этих бумаг он заметил одну, в которой упоминалась четырнадцатилетняя рабыня и шестнадцатилетний раб. Он вник в это заявление. Прочитал его дважды.

Эмир положил это заявление рядом с собой на подушку, взял деревянный молоток, лежавший перед ним, и стукнул по двери. По числу ударов определялось, кого зовет эмир: раз — слугу, два — сердечного друга, три — привратника.

Эмир вызвал привратника и, показывая на бумагу, приказал:

— Возьми это и внеси подарки, о которых сказано здесь!

Привратник упал на колени, поднявшись, еще раз поклонился эмиру и, не смея повернуться к нему спиной, пятясь, вышел в дверь.

Через несколько минут слуги внесли подарки и ввели детей. Бегло взглянув на подарки, эмир отослал их в казну, а детей — основной подарок, приказал провести в свои покои. Привратник проводил детей.

Эмир внимательно осмотрел каждого и прошептал:

— Редкостные красавцы мира!

Эмир побледнел, глаза налились кровью. Обычное его спокойствие было нарушено видом этих двух красивых целомудренных детей.

Он снова позвал привратника.

— Отведи их на средний двор и сдай блюстителю гарема. А ученикам пойди скажи: «Августейший нездоров, урок не состоится».

Можно было предугадать, что ученики его после этого еще несколько дней не смогут насладиться просвещенным руководством своего учителя: пока жажда его не будет наконец утолена и сердце понемногу не остынет.

Эмир потребовал заявление, взятое привратником. На обороте он написал: «Подателю сего выдать ярлык на чин предводителя придворных привратников августейшего, соответственно чину. Высокому казначею указываю: из августейшей казны вы-

дать три смены одежды», и вернул заявление привратнику и сказал:

— Писарю!

Через полчаса приказ был выполнен.

На работоторговца надели атласный серебристо-серый халат, сверху — шелковый, а поверх шелкового — расшитый золотом. Сверх того дали отрез кисеи, остроконечную парчовую шапку и заморский платок.

Работорговец снял с головы черную лохматую баранью шапку, положил на землю и, надев остроконечную шапку, попытался накрутить на нее весь отрез кисеи. Но раньше он никогда не носил чалмы, и попытка повязать ее не увенчалась успехом.

Тогда один из эмирских слуг, видевший его усилия, взяв с его головы шапку в левую руку, правой рукой навертел на нее весь отрез кисеи придворной чалмой так, что сверху появился пушистый конец, делая всю чалму похожей на репу.

Удайчи воткнул в чалму «августейшее разрешение» — ярлык чина предводителя придворных привратников, написанный на половине листа кустарной кокандской бумаги — и чалму надели на голову работорговца.

Затем церемониймейстер взял удостоившегося высоких милостей за локоть правой руки, а удайчи за другой локоть, и так ввели они его во двор, примыкающий к Комнате приветствий.

Там и поставили его в пятидесяти шагах от места, где сидел эмир.

Громким голосом церемониймейстер, отчеканивая каждый слог, сказал:

— Высочайший! Раб его высочества из почтенных торговцев Хивы Мухаммед Карим-бай, караван-баши, удостоенный высокого звания привратника,— эшик-ага-баши, пожалованного ему августейшим повелителем священной Бухары, молится за вас и возвращается к своим делам.

Затем второй придворный возгласил:

— Да ниспошлет бог эмиру благоденствие, помощь и справедливость!

После этого церемониймейстер взял Карима-бая за шею, пригнул его к земле и поставил на колени:

— Он приносит в подарок высочайшему свою голову!

Тогда из комнаты, где сидел эмир, кто-то громко возгласил:

— И вам привет!

Это был ответ от имени эмира, считавшего для себя недостойным отвечать самому.

Эмир протянул руку в ту сторону, где на коленях, подняв руку вверх, молился Карим-бай. Честь, доставшаяся немногим.

По знаку церемониймейстера работорговец вскочил и, кланяясь на каждом шагу, приблизился к двери, взял обеими руками руку августейшего, которую тот протянул из-за двери выше на метр от порога. Провел ею по своим глазам, а потом с наслаждением, чмокая, целовал ее, пока эмир не отнял ее.

Карим-бай так страстно чмокал, целуя руку августейшего, что присутствующим казалось, будто корова лижет своего новорожденного теленка.

Карим-бай сел на колени возле порога, вознес руки вверх и помолился о ниспослании эмиру небесных милостей.

Тогда раздался прежний громкий голос церемониймейстера:

— Возвращайтесь!

Работорговец, кланяясь, поднялся и, пятясь, вышел.

Во дворе его, вспотевшего и провонявшего, окружили люди, как мухи падаль. Каждый норовил получить с удостоенного на чай:

— Поздравляем!

— Желаем и впредь подобного сподобиться!

— Дай вам бог!..

— Пожертвуйте в соответствии с щедростью его высочества.

Карим-бай на минуту остановился, оглушенный и растерянный.

Не очень охотно, но делая вид, что это ему ничего не стоит, он вытащил кошелек и каждому дал понемногу мелочи, стараясь угадать, кто из них значительнее.

И кому бы он ни дал, по обычаю, тот бросал деньги к его ногам.

— При такой большой милости так мало даете! Возьмите обратно, вам пригодится на кусок халвы.

— Возвращаю, а не то у вас не останется на дудочку вашему ребенку.

— Возьмите,— мы обойдемся и без этой мелочи!

Но, кривляясь и строя пренебрежительные гримасы, каждый, выпросив еще одну-две монеты, зорко следил, где лежит брошенная мелочь.

И хотя все спорили и требовали еще, но все были вполне довольны и проводили Карима-бая с почтением.

На улицах, где проезжал Карим-бай, встречные, видя его шитый золотом халат и торчавшую из необъятной чалмы бумагу, кланялись, и хотя не знали, что за человек, но догадывались крикнуть:

— Поздравляем!

И Карим-бай милостиво кланялся им в ответ.

Грамота торчала из чалмы, как детский бумажный змей, застрявший в листве. И когда конюх работорговца, бежавший впе-

реди хозяина, крикнул какому-то бедняку, подметавшему улицу: «Берегись! Берегись!» — бедняк отошел и с горькой усмешкой крикнул:

— Поздравляю!.. С новой жертвой.

Карим-бай, голова которого кружилась от почестей, важно и снисходительно ответил поклоном и на эти слова, смысл которых не дошел до его сознания.

На постоялом дворе Паи Астана началось великое торжество.

Богатейшие купцы Бухары, придворные чиновники, все прибывшие с хивинским караваном собрались там, поздравляя Карима-бая и надеясь каждый сорвать что-нибудь с удостоившегося высочайших милостей.

Ставили на длинную скатерть блюда и тарелки со сластями, фисташками, миндалем, халвой. Варенье и жидкую халву подали в мисках, а не в чашках, как это делают обычно. Леденцы принесли в ящиках. Сахар ставили целыми головами, кишмиш — коробками.

Барабаны и флейты играли веселые напевы.

Голоса поздравлений и тягучие слова молитв, возносимых за здоровье его высочества,— все смешалось.

И никто не вспомнил, что за эту августейшую милость отдана честь двух молодых жизней, о дальнейшей судьбе которых никто и не узнает никогда.

9

В Бухарской деревне Махалле Варданзенского туменя во дворе Абдуррахима-бая под навесом висели большие весы.

Крестьяне, стоя в очереди, тревожно ждали, пока взвесят на этих весах их хлопок.

Абдуррахим-бай тоже был здесь.

— Артык! — сказал он весовщику, дотронувшись до весов,— веревка ослабла.

— Не беспокойтесь, хозяин,— ответил весовщик,— если она и ослабла, рука у меня крепка.

Один из крестьян, заподозривший что-то неладное в их иносказательном разговоре, напомнил:

— Бог-то все видит, брат Артык!

— Не распускай язык,— ответил Артык крестьянину. И, сказав это, раскричался: — Мне вы все равны,— ты ли, хозяин

ли! Разве хозяин за меня заступится в день божьего суда? Не думаешь ли ты, что я ворую твое добро для хозяина? У меня точность превыше всего! Мне причитается горсть товара за взвес, причитается? Ее я и возьму, горсть. А больше не возьму. Я честный человек, это превыше всего.

— Ну ладно уж, чего уж там, ладно! — принялся успокаивать Артыка крестьянин.— Я к тому, чтоб построже, чтоб без ошибок!

— Ты, брат, не учен! А ученые говорят: «Созвездие Весов висит в небе». Это что значит? Это значит, что покровители всех ремесел находятся на земле, а мой покровитель там, на небе, рядом с богом! Может быть, богу там и служит по части весов! Как же я могу ошибиться? Неуч!

Пока Артык говорил, весы, покачиваясь, бездействовали, а время шло.

— Ладно уж, брат Артык! — осмелился прервать его самый смелый из крестьян.— Ладно уж, вешай!

— Вешай, вешай! А мне обидно, когда мне говорят об ошибках. Мало я вешал, что ли? А?

Но крестьянин, крутя усы, продолжал:

— И созвездие Весов, твой покровитель, тоже ведь неодинаково ходит. В сентябре оно стоит ровно, а в апреле одна его нога поднимается кверху, а другая опускается вниз.

Крестьяне засмеялись. Еще смеясь, другой крестьянин сказал:

— Пословица-то известна: «Если вор убежал со двора, весовщик сойдет за вора!»

Весовщик прикинулся, что шутку он понимает и ценит, и засмеялся.

Он опять принялся вешать.

Вешал он быстро, так что едва успевали следить за его движениями. Подручный не отставал от него. Не успевала его рука отпустить веревку, а подручный уже снимал чашу с коромысла и вываливал хлопок, выкрикивая вес.

Полагавшуюся ему горсть весовщик умел взять с толком. Он по локоть запускал руку в хлопок и, поворочав ею, как лопатой, вытягивал себе почти полпуда.

— Караул! — крикнул один из крестьян.— Я считал, что привез хлопка больше пяти пудов, а тут целого пуда недовесили!

— Ты-то свой вес на глаз прикинул, а я сперва дома свешал, а потом привез, а тут на два пуда меньше вышло. Куда же он делся? А? — вопросительно произнес другой крестьянин.

Подручный весовщика, услышав их разговор, сказал:

— Чего попусту говорить,— хлопок выветривается и высыпается, ежели мешок дыряв. Весы тут ни при чем.

Хозяйский приказчик Наби-Палван решил утешить крестьян:

— А чего вам горевать? А? Вы этот хлопок покупали, что ль? Деньги за него платили, что ль? Ну и меньше выйдет, убытка нет,— что выйдет — все ваше. Добро-то это к вам из земли пришло, из ничего, даром от бога оно, добро это. А вы о нем спор затеваете!

Абдуррахим-бай, спокойный за весы, не приходил сюда. Он сидел в углу застланной ковром площадки около дома. Слева от него лежал пенал с чернильницей, справа — счеты и мешочки с деньгами, с серебряными тенгами и медными пулами.

Он рассчитывался за хлопок, слушая весовщика, кричавшего ему:

— У этого — пять пудов!

— У кривого — семь пудов с половиной!

Платя деньги, Абдуррахим-бай не принимал в расчет дробей, дроби он сбрасывал со счетов. Он говорил:

— Так легче считать. Круглый счет яснее.

Но дроби он сбрасывал всегда только в свою пользу.

При расчете он удерживал также стоимость семян и зерна, взятых крестьянином весной, но тут же он отсчитывал и проценты на те деньги, которые стоили семена и зерно, считая эти проценты с весны. Счет велся хотя и в округленных числах, но столь искусно, что никому, кроме хозяина, разобраться в нем не хватало ума. Ума хватало лишь на то, чтобы понять, что за год труда крестьянину причиталось столько денег, что и на месяц их не могло хватить.

Время близилось к вечеру. Солнце садилось.

Весь сегодняшний привоз свешали.

Абдуррахим отнес в свою комнату мешочки с деньгами и запер их в железный сундук, а тетрадь, счеты, пенал — убрал на полку в гостиной.

Обмывшись, он сотворил вечернюю молитву и нафлмолитву — сверх установленной Кораном.

Весовщик, его подручный и приказчик Наби-Палван умылись, почистили халаты и пришли к хозяину в гостиную.

Стемнело. Зажгли свет.

Начался расчет хозяина с весовщиками.

Хозяин пытался платить за их труды, считая по два с половиной пуда в день на каждого, как если б от каждого из них хозяин принял по два с половиной пуда хлопка.

Весовщик не согласился:

— Нынче я свешал двести пятьдесят пудов. Самое меньшее я урвал двадцать пудов. Самое меньшее, хозяин!

— Это я знаю! — рассердился Абдуррахим.— Чего ты хочешь?

— Надо по совести поступать.

— А ты думаешь, что эти двадцать пудов уже у меня в кармане и звенят серебром? Пока это серебро зазвенит, мне придется дать деньги возчику, караванщику, погонщику, на жмых верблюдам, его высочеству пошлину, а уж потом везти его в Оренбург или в Троицк, платить дань белому царю, и там только получу деньги. Но они еще не будут моими, я еще должен провезти их благополучно назад, не попасть в руки разбойников ни на пути туда, ни на обратном пути. И если, пройдя через все это, я наконец доберусь домой, то сяду в этой комнате и сосчитаю, что у меня осталось. Погляжу и увижу — почти ничего! Вот я и предлагаю тебе чистыми, серебряными, звонкими деньгами, считая, что нынче получил от тебя пять пудов. За пять пудов получай и молчи.

И Артык взял.

Двум другим он засчитал два пуда с половиной на обоих.

Так всего им было заплачено за семь с половиной пудов. Все четверо остались довольны друг другом.

Кончив расчеты, Абдуррахим-бай постучал в дверь, и тотчас с женского двора две служанки подали скатерть с лепешками, чай и два блюда жирного плова. Споры забылись. Забыли о хлопке. За веселым и дружелюбным разговором плов был съеден, и весовщики собрались уходить.

— Завтра работа будет? — спросил весовщик.

— Нет. Завтра отдыхайте. Завтра я сам буду вешать. Перевешаю сегодняшнюю покупку и раздам трепальщикам. А как наберется новый хлопок, буду посылать за вами, вы тогда мне поможете.

Но приказчику он шепнул:

— Наби-Палван, завтра ты приди Да пораньше. Поможешь мне.

— С радостью! — ответил приказчик.

Погасив в своей комнате свет, Абдуррахим вышел вслед за ними, почесывая живот, вглядываясь в темноту.

За воротами он увидел какие-то тени.

— Кто там? — крикнул он.

— Рабы! — ответил за них Наби-Палван.

— А...— удивился бай,— Ашур!

— Я, хозяин.

— Почему вы так рано вернулись с работы?

— Рано? Но ведь уже и друг друга не видно. Как же можно работать в темноте в поле?

— Ладно. Не рассуждай. Идите в трепальную, садитесь за гребни! — рассердился хозяин.

— Покормили б сперва! Мы ведь прямо с работы.

— Еще еда не готова. А пока ее готовят, вы успеете немного хлопка очистить. Будет польза. А от безделья какой толк?

— Рабы, батраки твои хоть с голоду подыхай, лишь бы тебе была польза! — проворчал Ашур, но хозяин его не слышал.

Ашур вошел в трепальную, рядом с хлевом. Абдуррахим пошел следом за ним.

Ашур нащупал на полке светильник, вынес и сказал:

— Дайте спички, зажечь свет.

— Спички? Все время спички! — возмутился хозяин.— Ступай к входу, передай во внутренний двор, там тебе зажгут от очага.

Ашур пошел, ворча:

— Для нашего хозяина каждая спичка — кусок золота.

Остановившись в проходе возле женской половины, он позвал:

— Гульфам!

— Ай?

— На, зажги огонь.

И тотчас в темноте прозвучал недовольный голос хозяина:

— Скорей, Гульфам! Чтоб работа не стояла!

Немолодая женщина, не переступая порога из внутреннего двора, взяла у Ашура светильник и ушла. Хозяин остался ждать вместе с Ашуром.

Когда она принесла зажженный светильник, хозяин сказал ей:

— Поди поскорей, вынеси им очищенный хлопок!

Ашур внес огонь в трепальню, поставил светильник на деревянную подставку посредине комнаты, а сам сел за гребень.

Рабы и работники вошли за ним следом, опустились, как и он, на колени и поставили перед собой гребни.

Несколько рабынь, приведенных Гульфам, вынесли в корзинах очищенный хлопок и высыпали у каждого гребня по корзине.

Хозяин, наблюдавший за всем этим, стоя в дверях, пожаловался Гульфам:

— Медленно они работают! Очень медленно! Надо до еды от каждого получить по одной корзине. А после еды по две корзины. За ночь каждый еле пропустит по корзине хлопка — и то ворчат. Лодыри. Утром, чуть свет, надо их послать в поле.

Ризакул, сидевший у двери, услышал хозяйское ворчанье и сказал:

— Дай бог вам здоровья, хозяин! Вы очень заботитесь о нас!

Рабы и работники засмеялись.

Ашур вздохнул:

— С голодухи и руки-то не ворочаются. И гребень-то не двигается. Что вам за польза с такой работы, хозяин? Кормите скорей, тогда и работа пойдет веселее.

— Успеете, налопаетесь! Работайте пока.

Колеса трепалок вращались со скрипом. Очищенный хлопок с трудом выходил, как жилистое мясо из мясорубки. Когда спицы застревали в семенах, поворачивать их не хватало сил. Приходилось перевертывать всю трепалку.

Абдуррахим-бай рассердился:

— Вы чего это второй раз его треплете? Надо с одного раза.

— Вы вон как гребень поднимаете, а он тяжелее от этого. И сил-то где брать? С голодухи-то.

— Я поднял гребень не для красоты. Чем выше зубья, тем больше они порежут семян. А чем больше семена пережеваны, тем хлопок тяжелее и доходнее.

— Наш хозяин обсчитывает и хлопководов, и весовщиков, и русских фабрикантов,— сказал Ашур Фархаду.

Оба они тихо засмеялись.

— О чем шепчетесь? — заметил хозяин.— Работать лень?

Трепалки крутились со скрипом и очень медленно, как колеса арбы, застрявшей в грязи. Руки рабов так ослабели, что не могли провертывать даже и такой хлопок, который клали на трепалку во второй раз.

Хозяин заметил, что работа не спорится. Он крикнул в дверь:

— Гульфам! Неси ужин.

А про себя Абдуррахим проворчал:

— Пока не получит того, что вздумал, его с места не сдвинешь!

Услышав об ужине, люди почувствовали такой голод, что последние силы покинули их. Увидев это, Абдуррахим поспешил на кухню, чтобы поскорее накормить и снова засадить их всех за работу.

Ужин раскладывала Ризван. Гульфам и другие рабыни держали блюда.

Похлебка, приготовленная из маша, показалась Абдуррахиму слишком густой, хозяин рассердился:

— Ой, Ризван! Я тебя купил за золото. А когда ты мне родила, я тебя перевел в жены. Ты должна б беречь мое добро, как

свое, а ты? Ты, видно, так и не забыла, что была рабыней: обманываешь меня ради своих родичей. Ради этих бездельников, лодырей! А?

Схватив кочергу, он хотел ударить Ризван, но она бросила ложку и убежала из кухни.

Зашептав: «Свят, свят...», Абдуррахим попробовал взять себя в руки.

— Калмак-оим! — крикнул он.

— Вот она! — откликнулась и вбежала Калмак-оим.

— Из моих жен ты самая бережливая. Будешь за кухней следить ты. А начни дело с воды. Добавь воды к этой похлебке столько, сколько тут похлебки. И перевари ее еще раз. Когда переварится, половину дашь рабам и работникам, а половину оставишь им на утро. Приступай.

Уходя из кухни, Абдуррахим сказал:

— Подбрось в очаг сухой колючки, чтоб скорей сварилось, а то негодяи, пока не налопаются, не хотят работать.

Хозяин ушел. Калмак-оим напихала под котел сухие былья степной колючки. Огонь вспыхнул с треском. Пламя с дымом поднялось над кухней.

Стоя среди гари, пламени и дыма, женщина вспомнила свою жизнь. Может быть, пылающая костром колючка напомнила ей далекую степную родину.

Она происходила из калмыков, свободно жила в калмыцкой степи вместе со своей семьей и родней. На них напали казахи, многие из калмыков были убиты, оставшиеся бежали. В казахские руки попало много имущества и молодая девушка. Когда Абдуррахим-бай возвращался из Оренбурга к себе домой, он купил эту девушку.

Абдуррахиму-баю понравилась ее красота, ее веселые глаза, подернутые слезами, и он сделал ее своей женой. Вначале любил ее даже больше всех остальных жен: больше, чем взятых из богатых семей брачных жен. Она родила ему ребенка, и он ввел ее в круг своих брачных жен. Абдуррахим передал в ее ведение кухню, и в доме всем пришлось звать ее почтительно госпожой — Калмак-оим.

Но, как говорится: «Ничто не вечно под луной». И хозяйская любовь понемногу утихла, а когда он купил Ризван, красота новой девушки оторвала его сердце от Калмак-оим и перетянула к Ризван.

Когда у Ризван родился ребенок, Ризван перешла в круг брачных жен, и кухня перешла в ее руки, и взгляд хозяина отвернулся от красоты Калмак-оим.

Но теперь и Ризван уже не была молоденькой девушкой, она вошла уже в пору, которая могла считаться средним возрастом. Теперь следовало, используя соперничество жен, бережливо управлять кухней. Думая так, хозяин отстранил от очага Ризван и вернул это место Калмак-оим.

Глядя в огонь, то потрескивающий, то жадно облизывающий топливо быстрыми языками, то прорывающийся сквозь дым, то затихающий в дыму, Калмак-оим задумалась: что сулит ей это внезапное возвращение хозяйской милости?

Ей казалось, что жизнь ее похожа на этот очаг, где вспышки пламени меркнут в белом, черном вьющемся дыму, смешанном с горьким запахом гари и чада. И под хруст и свист огня она тихонько пела:

Жила я свободно
На просторе степей,—
Пила молоко
И густой кумыс.

У злодея рабыней
Живу я теперь,—
Кровь сочится из глаз,
Опущенных вниз.

И, как хочет, злодей
Помыкает мной:
То подбросит на свет,
То низвергнет во тьму,

Может каждую сделать
Своею женой,—
На какую ни глянет,
Все покорны ему...

Котел закипел.

Пламя затихло.

Красные угли, опадая, затягивались голубым покрывалом пепла.

Калмак-оим отерла рукавом слезы и принялась разливать по блюдам серую, жидкую, как клей, пищу рабов.

10

Безземельные бедняки Махаллы, прослышав, что Абдуррахим-бай раздает хлопок для очистки, сошлись к его дому. Тут были и хлопководы, отдавшие Абдуррахиму-баю в погашение долга деньги, полученные вчера за хлопок.

Хозяин решил за очистку хлопка и хлопковых семян платить не деньгами, а хлопком. Он рассчитал, что этот хлопок крестьяне принесут ему же и он же его будет им вешать и оплачивать.

Крестьяне приняли это условие,— другого заработка в их местах не было.

Решив раздать на каждую семью по пять пудов неочищенного хлопка, хозяин сам стал у весов. Наби-Палван помогал ему, наполняя и опоражнивая чаши.

Отвесив каждому его долю, Абдуррахим записывал в тетрадь имя крестьянина, вес хлопка и срок возвращения очищенного хлопка и семян.

Затем опять становился за весы.

К концу дня весь хлопок был роздан. Тот хлопок, который вчера привезли к нему, сегодня вывезли от него. Крестьяне, забрав свою долю, разъехались по домам.

Абдуррахим-бай, взяв тетрадь, подсчитал свои записи:

— Выходит, сегодня мы роздали двести девяносто пудов.

— Из двухсот пятидесяти, свешанных вчера? — засмеялся Наби-Палван.— Вы, хозяин, я вижу, вешаете не хуже, чем вчера Артык!

— Чтобы стать хозяином,— со вздохом сказал Абдуррахим,— надо уметь вешать, считать, говорить, записывать, и только тогда деньги пойдут не от тебя, а к тебе.

— А если вы умеете вешать, зачем было звать Артыка? Лучше было сэкономить деньги, отданные Артыку.

— А ты, Палван, я вижу — простак! Мне бы тогда не хватило рук, чтобы правильно считать; при моем счете я отдал вам троим семь с половиной пудов, а в записях у меня вышло в два раза больше. Если б я вешал, кто бы сумел записать это?

Он подумал немного и добавил:

— И еще раз ты простак! Если бы я стал вешать сам, всякий крестьянин, заметив что-то неладное в весе, отвез бы свой хлопок другому покупателю. Что бы тогда стал делать я? А так все ошибки были приписаны Артыку, а не мне, ему наговорили обидных слов, а ведь слов было сказано меньше, чем родилось подозрений. Пусть эти подозрения касаются Артыка, зачем им падать на мою голову?

И, может быть, сам, наконец, поняв, что такой ловкостью неудобно гордиться, Абдуррахим-бай сказал с отеческим участием:

— Ты еще молод, Наби-Палван. Молод! Опыта тебе не хватает. Ты умеешь пока, выступив в открытом поле один на один, свалить такого же молодца. А в делах надо валить сразу многих, тут надо хитро и лукаво вести дело. Верь мне, я научу тебя этому.

Научу. И когда меня не будет, ты будешь «трудиться» на моем месте. Раз ты стал моим приказчиком, учись. Я тебе помогу. Научишься — тогда станешь настоящим человеком, поможешь мне.

Во двор вдруг въехал всадник.

Разговор хозяина с приказчиком оборвался.

Наби-Палван кинулся к прибывшему навстречу, принял его коня, а приехавший подошел к Абдуррахиму-баю.

— А, Кенджи-пайкар! — приветливо потянулся к нему Абдуррахим.— Как самочувствие?

— Слава богу, здоров. А как вы?

— Тоже пока хорошо, слава богу! Вот молюсь за вас, за всех за близких... Как здоровье Азима-бая, караван-баши?

— Слава богу,— постарел, но бодр. Резв, как жеребенок.

— Как идут дела?

— Дела идут неплохо. Баи Варданзе уже заготовили разных тканей, халатов и всякого рода товара. Теперь закупают хлопок и кишмиш.

— А из Бухары какие вести?

— Азим-бай послал со мной письмо караван-баши Мир-Бадалю — узнать, когда там соберутся. Мир-Бадаль ответил, что не раньше как месяца через полтора, а то и через два.

— Вот, верно ведь говорят: «Всяк меряет на свой аршин»; бухарские купцы — народ денежный, они делают крупные закупки, потому и долго собираются. А у нас народ бедный, не баи мы тут, а так... полубаи. Мы уж сразу готовы, хоть завтра поднимай караван!.. Как у вас с верблюдами-то?

На лето верблюдов выпускали на вольные пастбища, сняв с них седла и попоны. А когда в горбах накапливался жир и горбы поднимались, на верблюдов, соблюдая торжественные обряды, хозяева надевали новые попоны, новые седла, устраивали пирушку для пастухов и погонщиков и после этого составляли новый караван.

— Этот год верблюды хорошие. Разжирели. Уж месяц, как мы их оседлали. А ваши верблюды как?

— И мои готовы,— ответил Абдуррахим-бай,— уже месяца полтора, как мы пустили их в работу. Сейчас их нанял у меня другой человек и теперь гоняет их с поклажей из Гиждувана в Самарканд.

— Польстившись на деньги за эти перевозки, не замучаете вы верблюдов? Ведь впереди дорога далекая и трудная.

— Я в своих верблюдах уверен. Я уж двадцать лет по крепостям езжу. И не только в Оренбург и Троицк, я и в Ирбит ездил. Никогда мои верблюды не отставали. Под началом нашего кара-

ван-баши, когда ходим в крепость, лучших пятьсот верблюдов ходит моих.

— Я этого не знал. Уж простите! — извинился гость.

Абдуррахим-бай увидел Гульфам, шедшую по воду.

— Эй, оставь кувшин. Сначала неси нам скатерть да завари чай.— И улыбнулся гостю: — За разговором-то совсем забыл о чае. Уж простите!

— Что вы! Давно ли я не пил вашего чая!

— Говорят, казахских разбойников в этом году много. Что об этом наш караван-баши думает?

— Бухарский караван-баши приготовил пять мелких пушек, нанял двадцать пять молодцов, здоровых ребят. У нашего караван-баши тоже есть три таких пушки, поставим их на верблюдов да двадцать молодцов возьмем, богатырей. Да из хозяев у каждого, как и у вас, верно, по одному-два ружья и по пистолету найдется?

— Я на этой неделе собираюсь в Бухару. Если удастся, куплю себе там хорошее ружье.

— А! Чуть не забыл! — оживился гость.— Из Бухары нашему хозяину пришло письмо. А он мне послал: «Покажи это баю»,— говорит. Вот оно.

Абдуррахим-бай развернул письмо:

«Караван-баши Варданзенского туменя достопочтенному Мухаммеду Азиму-баю.

После многократной молитвы о здоровье Вашем и о процветании дел Ваших, шлем Вам почтительный от всего сердца привет.

Да станет известно Вам, если угодно Вам узнать об этом, что сегодня с хивинским караваном прибыло на наш постоялый двор много мальчиков, рабов и рабынь.

Много есть того, что бывает редко.

У большинства — брови дугой. Рот, как фисташка, зубы, как жемчуг. Улыбающиеся розы, еще не раскрывшиеся, стройные кипарисы, полная луна. Искушение для души!

Если нужны рабы и служанки, то спешите на базар! Спешите, путь к нам недалек!

Молящийся о благополучии Вашем.

Арендатор караван-сарая Пан Астана

Акрам-бай».

Прочитав это письмо, Абдуррахим-бай нетерпеливо завозился.

— Это кстати! Я как раз собирался прикупить какого-нибудь мальчика, раба. Я сегодня перед рассветом выеду.

Он принялся оживленно угощать гостя.

Когда гость собрался домой, Абдуррахим, провожая его, сказал:

— Передайте привет караван-баши.

Когда гость уехал, Абдуррахим распорядился:

— Ты, Наби-Палван, ускорь очистку хлопка. Нажми на бездельников. Очищенный хлопок вяжи в кипы. А нового хлопка без меня не бери. Я приеду, сам взвешу и сам приму.

Отпустив Наби-Палвана, Абдуррахим-бай начал собираться в Бухару.

11

На рассвете двор караван-сарая Паи Астана был подметен и полит водой.

Кипел большой, яростно начищенный, сверкающий, как солнце, самовар, увенчанный кудрявыми облаками пара.

Во дворе на коврике торжественно восседал Акрам-бай.

Акрам-бай заварил чай, принесенный служкой, накрыл чайник платком, а на поднос наломал лепешку. Акрам-бай собрался завтракать, но не успел.

Приближенный его высочества эмира, опоясанный серебряным поясом, за который был засунут аризачуб, появился в воротах.

— Где келья караван-баши хивинских купцов Мухаммеда Карима-бая-эшик-агабаши?

Акрам-бай, растерявшись и возликовав, вскочил:

— Пожалуйте, пожалуйте! Я покажу.

Акрам-бай провел прибывшего к дверям Карим-баевой кельи:

— Сюда!

— Спасибо. Можете идти! — ответил посланный эмиром.— У меня тайное поручение его высочества к эшик-агабаши.

Прижав руки к сердцу, Акрам-бай откланялся.

Карим-бай почтительно, стараясь скрыть радость и беспокойство, встретил прибывшего и ввел в келью.

В келье сидел слуга Карима-бая, занятый заваркой чая. Карим-бай выслал его, по требованию прибывшего, и приготовился выслушать тайное слово эмира.

Посланный эмиром открыл аризачуб, вынул оттуда письмо и возгласил:

— Грамота его высочества.

С этими словами он передал ее Кариму-баю.

Карим-бай взял послание. Увидев на нем эмирскую печать, поцеловал его, провел посланием по своим глазам, затем воткнул письмо в свою чалму и встал с места.

Он трижды поклонился в сторону эмирского дворца, до которого отсюда было около трех верст, потом снова сел, распечатал письмо и прочитал:

«Хранимый эмиром Мухаммед Карим-бай, удостоенный высокого звания эшик-агабаши, пусть знает, что здоровье августейшего повелителя во всех отношениях хорошо.

Заявление, посланное Вами во дворец, прочтено и совершенно ясно понято.

Настоящим разрешается продажа кому угодно рабов и рабынь Ваших.

Сделано. И да достигнет благородного, коему послано.

Да пребудет он в надежде.

В остальном — привет».

Карим-бай после долгой молитвы в честь эмира вытащил свой кошелек, отсчитал двадцать тенег, снял с полки головку сахара и все это подарил посланцу эмира.

На это посланный сказал:

— Очень мало. За такую высокую милость не жалко было бы коня подарить.

Карим-бай понимающе кивнул приближенному эмира, достал с полки еще коробку леденцов и дал ему, явно обрадованному.

12

Разрешение было в руках.

Торговля началась.

Подобно тому как чистят, скребут, моют и седлают лошадей перед ярмаркой, так одели в новые платья, прибрали и оправили рабов и рабынь.

Их вывели под навес во двор и посадили в ряд.

Карим-бай сел под другим навесом на положенные в три ряда стеганые одеяла, опираясь на три слоя пуховых подушек, как и надлежит сидеть лицу, удостоенному высокого чина — «предводителя придворных привратников августейшего».

Один из самых красивых мальчиков-рабов сидел с краю, заваривая и наливая ему чай.

С другой стороны, развлекая его забавными рассказами, сидел Акрам-бай.

Покупатели приходили сначала поодиночке, потом по пять человек, потом десятками.

Приходили бухарцы, приходили и приезжие.

Некоторые хотели купить рабов и рабынь для себя; другие были перекупщиками.

Видя, что в покупателях недостатка не будет, Карим-бай вел себя степенно и сдержанно.

Вначале двое рабов, обычно стоивших не дороже шестидесяти золотых, продавались за сто двадцать золотых.

Это не понравилось перекупщикам. При таких ценах они ничего не заработали бы. За такую цену они сами вообще не смогли бы продать ни одного раба.

Перекупщики, собравшись в одном из закоулков двора, обсудили положение.

— Ехали-ехали, хлопотали-хлопотали, а выходит, что и дорожных расходов не окупим. Надо что-то делать.

— Надо сперва сбить ему базар. А потом мы возьмем товар по своим ценам.

— Это можно! — предложил кто-то.

— А как? — спросили почти все разом.

— Очень легко. Есть несколько способов. Скажем, такой, например: вы все немедленно распускаете среди остальных покупателей слух, что большинство рабов — сунниты, исповедующие веру великого имама, захвачены в Афганистане, и, значит, продавать и покупать их нельзя. Надо уверить покупателей, что эти афганцы только от страха перед туркменами согласились назвать себя персами. Надо уверить, что для того, кто их купит, могут быть печальные последствия: приедут родственники купленных рабов, отберут их — и плакали ваши денежки. Таким образом, покупатели прогорят. Пусть лучше не покупают. Идите и говорите всем как, мол, хотите, а мы, мол, хотя и перекупщики, но покупать этих рабов не хотим. Дело ваше, а нам наши деньги, мол, дороже, чем столь опасные покупки.

Перекупщики подхватили эту мысль, слух мгновенно зашелестел по всему двору. Среди покупателей произошла волшебная перемена. Они сразу остыли, как раскаленный котел, куда вдруг вылили ведро холодной воды.

До этого покупатели, толпясь и заискивая перед Каримомбаем, говорили:

— Сколько вы собираетесь просить за этого мальчика?

Карим-бай лениво и нехотя поворачивался к мальчику, снисходительно отвечал:

— Сперва послушаю вашу цену. По средствам ли он вам.

— Да что же за него дать? Он ведь еще вон как мал. Что он может? Куда годится? Для чего? Ведь его надо кормить-кормить, растить-растить, пока от него не только что польза, а хоть какой-нибудь смысл получится.

— А я и не прошу вас брать. Я не навязываю вам. И без вас возьмут, кто понимает.

— Да ведь приехал-то я сюда, чтобы купить. Нехорошо возвращаться с пустыми руками. Вот и давайте говорить о цене. Пятьдесят золотых дам, как вы?

Жеманясь, Карим-бай отвечал:

— Нет. Сегодня подожду его отдавать. Завтра потолкуем, увидим, что-нибудь сделаем.

И отворачивался к другому покупателю, а сейчас покупатели, прохаживаясь, смотрели на рабов, пересмеивались, но никто не подходил к Кариму-баю.

Работорговец заволновался.

Сначала он послал к покупателям маклера и своих людей, а затем и сам стал приглашать покупателей. Начал ловить тех, которые предлагали ему цену.

Но покупатель, вежливо прижимая руку к сердцу, отвечал:

— Нет. Сегодня я подожду. Завтра потолкуем.

В это время случилось еще одно происшествие, спутавшее все расчеты Карима-бая.

На постоялый двор вошли два бухарских торговца с человеком, одетым, как тогда одевались служащие Бухарского верховного судьи,— в темный халат, опоясанный белым кисейным поясом.

С ними вошла женщина с полуоткрытым лицом. Ей было лет двадцать пять. И хотя открытыми оставались лишь глаза ее и брови, легко было заметить, что она все еще была красива.

Один из вошедших купцов показал чиновнику на Карима-бая: «Вот он!» — и хотел было подойти ближе к Кариму-баю, сидевшему в это время, слушая рассказы Акрама-бая.

Но чиновник, видя его спесь и достоинство, усомнился в словах купца:

— Может быть, вы ошиблись?

— Нет. Это он. Правда, когда мой отец купил у него Джаханару, борода его была черна, а теперь в ней появились седые волосы.

Другой купец добавил:

— Я помню его имя. Его должны звать Мухаммед Карим-бай. Он из Хивы.

Чиновник повернулся к женщине:

— Джаханара! Ты помнишь своего первого хозяина? Похож он вон на того человека?

Джаханара повернулась к Кариму-баю.

— Похож? Это не то слово, это он сам! — И тотчас она испуганно добавила: — Ой, умоляю вас! Сделайте так, чтобы меня не продали опять ему. Это злодей. Он жестокий. Когда он купил меня у туркменов, он хотел моей любви, а я не подчинилась. Он подверг меня жестокой пытке — «чармех». А потом он торговал мной. Про-

давал на одну ночь, а если я не подчинялась, наказывал меня «чармехом».

Спутники Джаханары знали это хивинское наказание, когда человека, положив на землю, привязывают за руки и за ноги к четырем кольям. Лежа так, человек не может шевельнуться, может только дышать, смотреть в небо и слышать, как постепенно немеет его тело.

— Не может быть, это не тот человек! — сказал чиновник.— Видно, что это один из придворных его высочества, а вы рассказываете о каком-то хивинце.

— Попона другая, а осел все тот же! — возразил купец, повысив голос.

Акрам-бай, все еще рассказывавший анекдоты, услышав гневный голос купца, посмотрел в их сторону, увидев чиновника верховного судьи, сказал обеспокоенно:

— Пойду узнаю, о чем там спор.

Он подошел к ним:

— О чем у вас спор?

— Пустяки. Из-за куска черствого хлеба,— ответил чиновник.

— Не совсем! — сказал купец, взглянув на Акрама-бая.— Нет, не из-за черствого хлеба, а из-за пятидесяти золотых.

И рассказал:

— Четыре года назад наш отец купил вот эту рабыню. Заплатил пятьдесят золотых. Через два года отец наш скончался. Мир его праху! Рабыня осталась в наследство нам, двум братьям.

Мы ее продали Сахибназарби за пятьдесят два золотых. Деньги поделили пополам. Но через некоторое время у женщины на коже появилась болезнь. Сахибназарби привел нам ее обратно, чтобы расторгнуть покупку, и требовал деньги назад. Мы не согласились и ответили ему: «Что продано, то продано», назад не берем. А он ответил: «Если кто-нибудь у кого-нибудь купил лошадь, а лошадь оказалась с пороком, с куриной слепотой или хотя бы со сбоем, имеет он право вернуть лошадь и получить деньги назад. Эта женщина — то же самое. У нее обнаружился недостаток. Значит, вы обязаны ее взять себе, а деньги вернуть мне».

Акрам-бай прервал купца:

— Какое мне дело до всего этого? Это дело не касается моего двора.

— Нет, погодите. Я еще не рассказал. Дело к вам не относится. Но оно относится к человеку, который горделиво восседает посредине вашего двора, под навесом.

И он рассказал дальше:

— Сахибназарби пошел к духовным лицам, и они ему подтвердили, что он прав. Вот эта бумага!

Купец показал ее Акраму-баю.

— Вот посмотрите, на ней печать самого алама Бухары. К нему присоединилось еще три высоких духовных лица. Вот их печати. Видите?

— Да, это истинно,— согласился Акрам-бай.

— А что сказано в этой бумаге? Если кто-нибудь покупает товар и в нем обнаруживается недостаток, не замеченный при покупке, покупатель имеет право вернуть покупку продавцу и получить обратно свои деньги...

Акрам-бай взял бумагу из рук купца.

— Как тебя зовут?

— Нийаз-бай.

— А кто такой Сафар-бай?

— Мой брат. Вот он.

— Из документа видно, что кто-то вздумал вернуть покупку Нийазу-баю и Сафару-баю. Так?

— Так.

— А какое это имеет отношение к Кариму-баю, его превосходительству эшику-агабаши?

Нийаз-бай сказал:

— Нет, вы погодите. Я еще не рассказал, что Сахибназарби с этим документом пошел к эмиру. И эмир велел призвать нас на суд верховного судьи. И по слову судьи мы вернули Сахибу пятьдесят два золотых, а рабыню взяли обратно.

Акрам-бай облегченно вздохнул:

— И делу конец.

— Нет, вы погодите. Тут-то оно и началось, это дело. Я пошел к верховному судье и сказал: «Наш отец тоже покупал эту рабыню. Почему должны страдать мы, а не тот, у кого она куплена нашим отцом?» Верховный судья со мной согласился. Он сказал: «Найдите того человека, и я взыщу с него ваши деньги и отдам их вам». И вот мы его нашли, здесь, на вашем дворе, и верховный судья направил с нами сюда своего человека. Этот человек должен взять назад эту рабыню, а нам вернуть пятьдесят золотых.

Джаханара, услышав это, закричала:

— Убейте меня! Лучше вы закопайте меня живой в землю, только не давайте вы меня этому злодею.

Когда она замолчала, чиновник сказал обоим купцам:

— Когда вы обратились к верховному судье, вы сказали, что имеете иск к работорговцу. Но если бы указали, что иск ваш направлен против караван-баши, высочайшим указом удостоенного высокого титула, верховный судья не принял бы ваш иск. Заплатите мне за услуги и уходите по своим делам. Не вам тягаться с этим человеком.

Нийаз-бай громко закричал:

— Пусть он будет караван-баши, пусть имеет титул, нам какое дело? Мы требуем своего.

Карим-бай, услышав эти слова, понял, что спорят о нем, и он громко крикнул:

— Что там, Акрам-бай?

— Пустяки. Сами тут разберемся.

— Вы обо мне, что ль? Идите сюда! Что у вас за дело?

Акрам-бай с чиновником подошли и рассказали все это.

Карим-бай принял надменный вид и ответил чиновнику:

— Они не меня, а высокое достоинство двора оскорбили. Какие-то торгаши вздумали тащить меня к судье! Меня, удостоенного придворного звания эшик-агабаши двора его величества эмира священной Бухары. В моей грамоте написано: «Духовенство и судьи обязаны уважать его». Его — значит меня. А вы что вздумали?

Замолчав и подумав, он развязал кошелек, достал пять тенег и дал чиновнику:

— Возьмите за услуги!

И когда тот взял, сказал ему:

— Уберите от меня этих наглецов. Если они еще раз раскроют рот, я сам за них примусь. За оскорбление придворного звания их строго накажут.

Акрам-бай с чиновником вытолкали со двора Нийаза-бая и Сафара-бая, но самочувствие Карима-бая окончательно испортилось.

В лицо его волнами ударили гнев, печаль, ярость, сменяя друг друга.

Он молча сидел под навесом.

Шутки Акрама-бая больше не развлекали его.

В воротах показался худощавый, высокий человек с редкой бородкой, седеющий, но еще не старый.

Когда Акрам-бай его увидел, сказал:

— Караван-баши из Шафрикана приехал. Его зовут Абдуррахим-бай. Этот человек никогда не возвращается с базара с пустыми руками.

Карим-бай краем глаза взглянул на прибывшего.

— Хорошо.

Абдуррахим-бай долго ходил по ряду рабов и рабынь, внимательно осматривая их.

Он потолкался среди покупателей, узнал слухи об этих рабах, понял не только настроение базара, но и положение Карима-бая.

Он не приценился ни к кому из рабов и рабынь. Обратил внимание лишь на одного семилетнего мальчика.

Маклер Карима-бая, следовавший по пятам за этим неожиданным покупателем, усердно расхваливал каждого раба, каждую рабыню, но не видел в глазах Абдуррахима-бая ни к кому никакого интереса.

Наконец он заметил, что Абдуррахима-бая интересует мальчик. Маклер принялся расхваливать мальчика:

— Ака-бай, купите этого мальчика.

— Нет! — отвечал Абдуррахим-бай.— Не куплю. Что-то сердце не лежит.

— Купите, бай, не скупитесь. Деньги небольшие. Если разонравится, убыток невелик — тридцать, сорок золотых. Не больше. А если счастье улыбнется и мальчик вам понравится, вы дадите ему воспитание и на всю жизнь у вас будет полезный человек. Взгляните в его глаза,— они играют, как глаза оленя, сразу видно, насколько он смышлен.

Увидев, как Абдуррахим-бай взглянул в глаза ребенку, маклер оживился:

— Встань-ка, милый, принеси воды в этом кувшине.

Мальчик взял кувшин и пошел к кухне.

Маклер сказал Абдуррахиму-баю:

— Посмотрите на его походку: как райский павлин. О его красоте и изяществе я и не говорю. Но подумайте, что, когда ему будет лет пятнадцать и в ваш тумень приедет на прогулку эмир, вы подарите его высочеству этого мальчика и удостоитесь большей чести, чем удостоился наш хивинский хозяин.

От этих слов Абдуррахим-бай взволновался. Украдкой взглянул он на Карима-бая, в чалме которого еще торчал, как банчук на мазаре, милостивый ярлык эмира.

Маклер не умолкал:

— Этого мальчика зовут Некадам. Это имя означает «добрая поступь». Отцы наши говаривали: «Имя дается на небесах!» Добрая поступь мальчика оправдывает его имя. Слава и благо вместе с шагами этого мальчика войдут в ваш дом.

Абдуррахим-бай ничего не мог возразить.

Доводы маклера все более обезоруживали покупателя. Абдуррахим-бай был вынужден сослаться на шариат.

— Хороший мальчик. Но шариат не разрешает покупать суннита и делать его рабом. Купив его, я согрешу. Я не хочу этого.

Но маклер не растерялся:

— А вы поговорите с ним сами, чтобы убедиться, что он не суннит. У него грубый кызылбашский язык. Вот послушайте.

И маклер принялся расспрашивать Некадама, откуда он, и постепенно дошел до вопросов веры.

На каждый вопрос мальчик отвечал по-кызылбашски. И если сомневался в каком-нибудь слове, говорил медленно, осторожно.

— Ну, вот, видите сами! — сказал маклер Абдуррахиму-баю.— Как может он быть суннитом? Если вы и теперь скажете «не куплю», станет ясно, что приехали сюда не покупать, а потолкаться и что нет у вас возможности купить и прокормить раба.

Маклер заметил, что эти слова укололи самолюбие Абдуррахима-бая. Он взял его за руку и повел к Кариму-баю.

— Этот человек хочет купить Некадама. Сколько с него получить?

Карим-бай отнесся к Абдуррахиму-баю, как к давнему знакомому, он посмотрел на покупателя теплым взглядом и улыбнулся:

— Этот человек богат и опытен. Он сам знает цену всякому товару. Как он скажет, так и сделаем. Из-за мальчишки-раба нам спорить не стоит.

— Ну, в таком случае я разниму вас! — воскликнул маклер и соединил руки хозяина и покупателя.— Хотя этот мальчик стоит сто золотых, хозяин уступит его за шестьдесят. А?

Абдуррахим-бай вздрогнул от этой цены и вырвал свою руку из руки маклера.

— Нет, не выйдет!

Карим-бай мягко возразил:

— Если уважаемый брат и не даст денег, не беда. Но если даст, то уж по стоимости товара.

И, обернувшись к маклеру, сказал:

— Ты же видел: утром я не отдал его и за семьдесят золотых.

Маклер настаивал, снова взял руку Абдуррахима-бая.

— Ну, ладно. В таком случае пусть будет пятьдесят золотых!

— Нет! — отдернул руку Абдуррахим-бай, но маклер держал ее крепко.

— Ну, говорите вашу цену!

Абдуррахим-бай, уже сожалея, что должен что-то сказать, нехотя ответил:

— Ну, ладно, сорок.

Карим-бай, услышав о сорока золотых, которые посыплются в его карман, сделал вид, что огорчен столь низкой ценой.

— Нет, не пойдет. Я его лучше убью и выброшу. Иначе он мне испортит все цены, дороже обойдется.

Но незаметно подмигнул маклеру.

Маклер махнул рукой:

— Если хозяин не хочет, я сам продам. Из-за одного мальчишки хозяин не изменит ко мне своего благорасположения. Берите мальчика. Вынимайте деньги.

Когда Абдуррахим-бай, огорченный и уже уверенный, что сильно промахнулся, нехотя отсчитал деньги, маклер соединил опять руки работорговца и рабовладельца и вдохновенно воскликнул:

— Да будет вам польза от этих денег, а вам от раба!

Переложили деньги из полы в полу.

Сорок золотых быстрой струйкой скользнули в раскрытый кошель работорговца, а маленький Некадам стал товаром Абдуррахима-бая.

Маклер, получив по две тенги от покупателя и продавца, вновь пожелал им обоим благополучия.

Акрам-бай взял каменный брусок, обвалял его в муке и покатал этот брусок по голове мальчика.

Таков древний обычай. При покупке скота, встретив купленную лошадь, корову или осла, хозяйка обваливала камешек в муке и проводила им по голове животного. Считалось, что голова его становится каменной и никогда не погибнет.

— Абдуррахим-бай, пусть голова раба будет крепка, как камень! С вас магарыч! — сказал Акрам-бай.

И получил от Абдуррахима-бая семь медных пулов, считающихся жертвой святому Бахауддину.

Карим-бай сказал Абдуррахиму-баю:

— Теперь сходите за одеждой для мальчика, а мою с него снимите и отдайте моему слуге.

— Эге! Вы забавный человек,— удивился Абдуррахим-бай.— Такому купцу не к лицу подобные слова. Если я за десять тенег покупаю осла на базаре, мне дают в придачу два аршина веревки, чтобы взять осла. А вы за сорок золотых продали мальчишку и норовите отпустить его нагишом. Я из уважения к маклеру пошел на эту сделку. Но если вы раскаиваетесь, я охотно ее расторгну.

Едва маклер заметил, что дело может разладиться, он поспешно вмешался:

— Мальчик не выйдет нагишом. Он оденет свою прежнюю одежду.

И по незаметному разрешению Карима-бая слуга быстро сбегал за прежней одеждой Некадама.

Маклер снял с него чистую одежду и надел старую, пропахшую потом, забитую пылью длинных дорог, по которым два месяца он двигался через пустыни, горы и степи, пока не достиг, наконец, Абдуррахима-бая.

— Ну, идите теперь, желаю вам обоим успеха.

Всего лишь два дня мальчик успел поносить свою обновку.

13

Наби-Палван усердно выполнял поручение Абдуррахима-бая. Крестьяне сдавали очищенный хлопок. Наби-Палван принимал его и связывал в кипы.

Крестьян, не успевших очистить хлопок, Наби-Палван уговаривал взять новую партию.

— Потом рассчитаемся,— говорил он.

Некоторые, послушав Наби-Палвана, брали новый хлопок, не успев отдать прежнего. Но были и осторожные, решившие подождать.

— Нет, сперва рассчитаемся за прежний. А тогда будет видно, брать ли новый.

Этих крестьян тревожило, что у очистивших хлопок получалось хлопка и семян значительно меньше, чем было взято на очистку.

— Причина либо в супе, либо в каше! — сказал один из усатых крестьян.

— А может быть, и в супе, и в каше,— ответил другой.

— Это как понять? — спросил Наби-Палван.— Что-то мне невдомек.

— А невдомек, так помалкивай.

— Опять невдомек, почему?

— А потому! Либо было хлопка дано меньше, чем записано, либо к нашему хлопку примешан хлопок плохой.

— Это выходит, что наш хозяин либо обвешал, либо украл? Ты это говоришь?

— Нет, не говорю. Но ошибиться он мог? Работа была горячая, мог по ошибке дать плохой хлопок вместе с хорошим. Тут уж, конечно, вес не совпадет ни у семян, ни у волокна.

Но крестьянин, имевший привычку крутить усы, воскликнул:

— По ошибке? Ну, вряд ли!

Наби-Палван насторожился:

— Почему «вряд ли»?

— Ошибиться можно раз или два, но когда у всех одно и то же, какая тут ошибка?

— А ты откуда узнал, что так вышло у всех и что там был плохой хлопок?

Крутя усы, крестьянин спокойно посмотрел в бешеные глаза Наби-Палвана.

— Видишь ли, я вчера тоже взял пять пудов в двух мешках. Хозяин сказал, что в них ровно пять пудов августовского хлопка.

А я его дома перевешал, и вышло на пятнадцать фунтов меньше. И половина его была из незрелых коробочек, из тех, что раскрылись после заморозков. А что из него останется после очистки?

— Если хлопок незрелый, зачем ты брал такой? — сказал только что подошедший бай.

— Поверил вам,— ответил усатый крестьянин.

— Он еще говорил, что в наших камнях до пяти пудов не хватает пятнадцати фунтов,— сказал Наби-Палван, обращаясь к баю.

— У тебя камни неверные и весы неисправные, подлец,— возмутился бай.

— А зачем спорить? Давайте, ака-бай, перевешаем ваш хлопок на моих неверных весах с моими камнями, а потом на ваших с такими же камнями. Это очень просто. А? Согласны?

Бай обмяк.

— Рустам, ты еще молод, не выбегай вперед. Хочешь — работай, не хочешь — давай мне хлопок назад. А скандалить тут незачем. Это не твой двор. Скандалят бездельники, а труженики работают.

— Работать-то я буду. Но я работаю, чтобы получить с хозяина четыре тенги и кормить семью, а не для того, чтобы после работы оказаться у вас в долгу и на всю жизнь попасть к вам в кабалу.

— Ты пока иди отсюда. Мы рассчитаемся в другой раз! — сказал Наби-Палван.— Иди, иди, работай!

— Кляузники, мошенники, я вам покажу! Вы меня узнаете! — проворчал усатый крестьянин.

* * *

Около махаллинской мечети собралось много крестьян — трепальщиков хлопка. Они разговаривали горячо, то споря и перебраниваясь, то единодушно соглашаясь друг с другом.

В их разговор вмешались люди казия, раиса, чиновники и человек от начальника ночного полицейского дозора Варданзенского туменя, которых созвал к себе Абдуррахим-бай.

Судейский служка, обращаясь к народу, самоуверенно заявил:

— Мы помирим вас. Вы дайте хозяину расписку в том, что от вас он недополучил столько-то волокна и столько-то семян, хозяин даст вам еще хлопок для очистки и понемногу удержит недоимку. Не сразу, а понемногу. А? Ну, а если вы заупрямитесь, делать нечего,— придется тащить вас всех к казию. Тогда дело примет другой оборот.

— Избави бог! — воскликнул один из крестьян.— Целую неделю и жена и дети, обдирая ногти до крови, чистили-чистили этот хлопок, сам я целую неделю гнул спину, не могу и сейчас разогнуть, пропускал волокно через трепалку, и за все это я же оказался у хозяина в долгу. Никак не поймешь, как это так получилось?

— Если б честно работали, так не получилось бы.

Усатый Рустам махнул рукой:

— Выходит, мы сами себя ограбили. Вот это ловко!

— Не знаю, вор ты или не вор, но по закону ты вор. Хозяин дал тебе пять пудов хлопка и недополучил с тебя пятнадцать фунтов. Ты сам признаешь, что их у тебя недостало? А? Вот их казий и взыщет с тебя, милый.

— Сколько мне свешал хозяин, столько и получил от меня. Там не хватало того, что я недополучил,— вот мои слова! — ответил Рустам.

Тогда вмешался Разык-бай, богатый скупщик хлопка из Размаза:

— По твоим словам выходит, что хозяин вор.

— Вора называют вором, честного — честным,— ответил Рустам Разыку-баю. И улыбнулся: — Ведь вы, Разык-бай, с нашим хозяином дружите, как собака с кошкой. Может, оттого, что друг от друга норовите перетянуть трепальщиков хлопка, может, оттого, что мешаете друг другу скупать весь хлопок вокруг. И как же это вышло, что сегодня вы оказались на стороне нашего хозяина?

Один из крестьян ему ответил:

— А скупщики все заволновались, как один, когда услышали о нашей тяжбе. Они все недовесили по стольку же, им тоже придется объясняться с трепальщиками. Вот они и собрались, чтобы вместе одолеть нас, а потом поедут вместе к Разыку-баю. Да и не придется им ехать,— если мы покоримся, и там крестьяне покорятся. Вот почему Разык-бай сегодня «сердечный друг» нашего хозяина. «Вор вора узнает и темной ночью».

— Ого! — вскричал Разык-бай.— Слышали? Люди чархакима, вы слышали? Эти поганцы сейчас назвали и меня вором.

Судейский служка приказал страже:

— Тех, у кого развязался язык, взять!

Четверых трепальщиков хлопка схватили и привязали к деревьям, остальные крестьяне замолчали.

Чиновники вместе со скупщиками хлопка вели дело к тому, чтобы написать бумагу «Примирение» и в ней признать долг за трепальщиками и обязать их отработать хозяину этот долг, когда пожелает хозяин.

— Но это же несправедливо, господин! — пожаловался один из крестьян имаму.

— Ничего! — ответил имам.— Если это несправедливо, бог наградит вас за терпение. Если решится дело справедливо, надо благодарить тех, кто это дело решает. Долг верующего в том, чтобы быть благодарным.

— Ох,— тихо шепнул один из крестьян своему соседу,— если б попался мне наш хозяин в глухом местечке, я бы не пожалел его головы! Да, хитер злодей! Хитростями и обманом он захватил у нас большую часть хорошей земли. А нам приходится на этой же земле работать уже не для себя, а для него. Батрачить у него же. Чистить хлопок ему же. И за эту работу ходишь ни сыт, ни голоден, а долг твой у него растет.

— Жить надо в страхе божьем! — сказал имам.— Неблагодарность суть грех. Опомнитесь. Грешно так говорить о хозяине. Мало ли вы ели его хлеб-соль? В книгах сказано: «Долг за хлеб-соль есть долг богу». Значит, надо тяготиться этим долгом, спешить отдать этот долг.

— Вы у нашего хозяина хлеб-соль едите бесплатно, вам и приходится быть с ним заодно. Нам это понятно. А мы за горсть соли должны месяц на него работать!

— Молчи, бесстыдник! — рассердился имам.— Если ты таков, не будет тебе добра. Вот попомни мои слова. Баю богатство дано богом. А ты не рад, ты не рад божьей милости? Норовишь спорить с богом.

— Не от бога взял он это, а у нас украл!

Услышав эти слова, страж схватил крестьянина и привязал его к дереву рядом с теми, которых связали раньше.

«Примирение» написали и принудили каждого из трепальщиков расписаться, признав свой долг. Порядок взыскания этого долга устанавливался по усмотрению бая той работой, которую хозяин возложит на должника. Тем, кто согласился снова брать хлопок в очистку, половину долга Абдуррахим-бай обязался списать.

Судейский служка объяснил, что эта последняя оговорка была проявлением милости бая к своим бедным односельчанам.

— Смутьяны же, оскорбившие уважаемое духовное лицо и уважаемого землевладельца Разыка-бая, будут отведены к казию и там получат воздаяние за свои проступки.

Абдуррахим-бай вызвал свою арбу.

Смутьянов отвязали от деревьев, погрузили на арбу и связали. Абдуррахим-бай сказал связанному по рукам и ногам Рустаму:

— Теперь ты понял, кто вор,— ты или я?

— Понял! — ответил Рустам.— Ты! Только разница в том, что ночной вор идет с ножом в руках, один на один, а ты среди бела дня, на глазах у всех, грабишь. А все равно ведь все видят и все понимают.

Стражи кинулись к Рустаму, принялись бить его по голове палками. Возница сел верхом на лошадь, и арба, покачиваясь на неровной дороге, двинулась к казию Шафриканского туменя.

14

Осень прошла. Начиналась зима, но в бухарских землях дождей еще не было.

В небе стояли серые облака, заслоняя и без того уже неяркое солнце.

Сибирские зимние ветры через безграничные оренбургские и казахские степи несли в открытые степи Туркестана морозы и такую стужу, что руки крестьян болели, как от ожогов. Студеные ветры песком и пылью забивали глаза и секли лица.

Ранним утром, едва рассвело, рабы Абдуррахима-бая, ничего еще не поев, работали на винограднике. Надо было окопать старый виноградник, несмотря на ветер и холод.

До полдня они били и копали мотыгами мерзлую землю, подрезали лозы и совсем обессилели.

— Когда так устанешь да изголодаешься, этот ветер — как соленая вода на рану! — пожаловался Риза и прилег на холмик нарытой земли, отложив мотыгу.

Ашур остановился, опершись на рукоятку мотыги.

— Я думал, когда хозяин уедет с караваном, нам будет полегче. А этот зверь Наби-Палван еще злее самого хозяина.

Хашим, подняв с земли мотыгу, присоединился к ним:

— Я слышал их разговор, когда прощались. Хозяин сказал Наби-Палвану: «Если мной ты не можешь стать, будь хоть моими глазами».

— Я тоже этот разговор слышал,— подтвердил Ашур.— Эти слова хозяин в прошлом году говорил приказчику. Но тот не был таким, как этот.

— Потому хозяин и прогнал его. А у этого и морда, как у палача.

— Наби-Палван заставляет и рабынь и хозяйских наложниц очищать хлопок. Если при бае после домашней работы они каждый вечер очищают пять или шесть корзин хлопка, то Наби-Палван заставляет их очищать по десять. Пока весь хлопок не перечистят, и нас не пускают спать.

— Что ж, не одни мы. Вон Некадам — ребенок, а несчастному мальчишке ни минуты отдыха нет: «Некадам, гони скот в поле; Некадам, пои скотину; Некадам, вычисти стойла; Некадам, подкинь скоту сена; Некадам, подмети двор; Некадам, собери хлопковую лузгу да отнеси ее к печам; Некадам, сходи за водой; Некадам, иди чистить хлопок!» О господи! А ведь ему семь лет всего! У него изо рта еще молоком пахнет.

Таги добавил:

— А ведь что сделает не так или не поспеет, его еще бьют!

— Вставайте! — сказал Ашур.— Если мы будем тут плакаться и не перекопаем половину этого сада и не вычистим виноградник, нам попадет от Наби-Палвана.

Нехотя рабы встали с места, взялись за мотыги и топоры.

— Вот еще с этими руками несчастье,— застонал Таги,— как только похолодает, так ноют мозоли, что невозможно держать мотыгу.

— А ты возьми секач да подрезай виноградник, а копать будем мы,— предложил Ашур.

С одной стороны неба облака ушли. Засияло солнце.

— Ого! — сказал Хашим.— Уже полдень. А Калмак-оим еще не прислала нам ничего поесть. Пусть хоть бы пустой воды, да тепленькой, все же согрелись бы немножко, веселей бы и работать стало.

— Если б горячая! Да в эту погоду и похлебка-то, пока ее за две версты довезут сюда, замерзнет.

— Ты называешь это похлебкой? Что это такое — на большой котел бросают одну луковицу, горсть маша. И этим кормят нас утром, днем и ночью. Эта дрянь, как только стала опять хозяйкой, жадничает больше, чем прежде.

— Так жить нельзя! — опустил свою мотыгу Фархад. Он постоял, почесывая лоб.— Надо сделать сегодня то, что я задумал.

— Я согласен,— ответил Ашур.— Я согласен! Каждый день я все ждал — сегодня будет легче, завтра станет легче. А становится не легче, а тяжелей. Надо бежать. Попытать счастья. Может, спасемся, а если и поймают, хуже не будет.

— Да, хуже не будет. Нельзя ничего придумать, что б могло быть хуже! — поддержал Фархад. Он подошел к Ашуру: — Что может быть хуже? Смерть? Да она лучше такой жизни.

— Вон показались Гульфам и Некадам. Несут еду!

— Эй, братья, несут еду!

Ашур ответил Фархаду:

— Поедим этого отвара, что нам дадут на обед, и бежим!

* * *

— Уже темнеет, а ни Гульфам, ни мальчишки нет. Что там с ними? — спросил Наби-Палван у батрака Шербека.

Шербек, перекинув корзины через ослов, вывозил со двора навоз и спокойно откликнулся:

— А почем я знаю?

Он отвел от навозной кучи нагруженного осла, а другого подвел к навозу. И снова принялся наполнять корзины.

Наби-Палван обиделся за этот холодный ответ.

— Да уж, видно, не мне тебя спрашивать, не тебе отвечать! — И, рассердившись, закричал на Шербека: — Я тебя, человек, спрашиваю, чего они там пропали?

— А я вас спрашиваю: откуда я могу знать?

Он немного примял навоз в корзине и снова принялся наполнять ее. А потом сказал:

— Разве меня посылали караулить их? Или мой пуп был привязан к их пупам?

Наби-Палван, по примеру хозяина, чтобы успокоить свой гнев, произнес:

— Свят, свят...

Успокоившись от одной мысли, что надо успокоиться, Наби-Палван распорядился:

— Ты сними навоз, а ослов поставь под навес, пусть поедят. А сам садись на осла да съезди туда, узнай, что там у них в саду.

Шербек проворчал:

— Ты сними корзины, ты поставь ослов, а потом вьючить эти корзины будет твой племянник! Поди-ка, навьючь опять груженые-то корзины.

Но он все же выполнил распоряжение Наби-Палвана: сел на одного из ослов и поехал к саду.

Наби-Палван понял ворчание Шербека, но пропустил мимо ушей. От этого человека, доведенного до отчаяния, можно было услышать слова, на которые и ответа-то сразу не найдешь. Пусть уж лучше ворчит, но едет.

Ездил Шербек больше часа.

Наконец Наби-Палван заметил его восседающим на осле с грудой мотыг, положенных спереди, поперек седла.

Наби-Палван торопливо пошел ему навстречу.

— А где же они?

Шербек молча въехал во двор, снял мотыги и топоры и развел руками:

— Поехал я в сад. Приезжаю. Только вот мотыги да топоры разбросаны по всему саду. Ну, я и давай их собирать. Это я привез, а посуду, лестницы, остальное все сложил там под деревом, да и поехал из сада.

— А где же сами-то они?

— Никого там нет, почем я знаю?

— Никого?

— Говорю же я: почем я знаю, если никого их нет?

— Они сбежали! — похолодел Наби-Палван.

— Почему я знаю? «Я одно знаю,— сказал про себя Шербек,— если б у меня не было ни жены, ни детей, я б сбежал, я б непременно сбежал!»

15

Поутру в Шафрикане, на базаре Хаджи-Арифа, глашатай, рыча и завывая от усилий, выкрикивал:

— Имущие и неимущие!

Не говорите, что не слышали!

Если хотите получить чистое золото, слушайте меня!

Из деревни Махаллы Шафриканского туменя, входящего в Дехнау Абдулладжан, сбежали восемь рабов, одна рабыня и один мальчик-раб.

Они принадлежат Абдуррахиму-баю, караван-баши.

Их приметы:

На кисти рук у каждого из них есть клеймо в форме подковы, хорошо видное.

Только у мальчика клейма нет.

Кто их схватит или кто выдаст их, получит за каждого раба по одному золотому.

Кто укажет место, где они скрылись, получит за каждого раба по половине золотого.

Не отказывайтесь от этого щедрого магар-ррыча-а!

Те, кого манило золото, приступили к поискам.

Поиски начались.

Но сколько ни искали, никаких беглых рабов не нашли.

Наби-Палван не успокоился на объявлениях через глашатаев. Он подал ходатайство правителю туменя.

Наконец сам сел на коня и поехал в степь, в казахский аул, где жил следопыт.

Казах-следопыт присоединился к людям чархакима, и все они двинулись на розыски.

Следопыт сперва поехал в сад, откуда рабы сбежали. Затем он осмотрел следы ног.

Потом он отправился на север.

Когда он отъехал от сада тысячи на две шагов, следы, по которым он ехал, исчезли в холмах красного песка, мелкого, как мука, зыбкого и текучего. На песке вились лишь следы ветра, напоминающие рябь на поверхности озера.

Но и след ветра на этих песках непрерывно менялся. Едва задувал северный ветер, по песку бежали длинной цепочкой мелкие волны. Чуть менялся ветер, и рисунки на песке тотчас меняли свой узор.

Следопыт несколько раз проехался по этим пескам. Он не нашел никаких следов ног. Даже собственные его следы успевали исчезнуть, пока он возвращался на прежнее место.

Едва он вынимал ногу из песка, в это место тотчас натекал песок, и вместо очертаний ступни появлялись похожие на цепи рисунки.

Казах растерялся.

Он поднял наушники своей пушистой шапки, вытер рукавом пот со лба и задумался.

— Ох, господин мой!..— сказал он, тяжело вздохнув.

Снова он прошел один или два красных холма. Вдруг он воскликнул:

— Ой! Нашел!

Люди наместника, стоявшие в стороне, кинулись к нему:

— Где, где?

Казах, стоявший между двумя холмами песка, показал на капли крови, застывшие на земле.

— Вот это,— показал он.— Идите садитесь на своих коней и не спеша езжайте за мной. Я нашел важную примету, я пойду по ней.

Люди наместника нехотя согласились, переговариваясь между собой:

— Этот дикий человек может завести нас в пески, и мы там пропадем, как дураки.

Но, говоря это, они поехали следом за следопытом.

Он продвигался вперед, шагая от одного песчаного холма к другому. Замечая между холмами капли крови, радовался.

Проехав так около двух часов, люди наместника проголодались. Они решили и сами поесть, и лошадей покормить.

Но следопыт не согласился:

— Если мы задержимся, мы потеряем следы. Мы дадим беглецам уйти еще дальше.

Поневоле пришлось согласиться с казахом и тащиться за ним: ведь и эти государственные люди выехали с надеждой поживиться золотом, им тоже не хотелось, чтобы рабы ушли.

Наконец песчаные холмы кончились.

Началась бескрайняя гладкая степь.

Капли крови, застывшие на земле, как муравьиный след, тянулись в одну сторону.

Этот след привел их в Тикайскую степь, к пустому заброшенному скотному двору.

Следопыт подошел к краю этого двора, вырытого в земле, как прямоугольная яма, и, не оглядываясь, закричал:

— Нашел!

Всадники, ехавшие до того без всякой надежды на успех, лениво и неохотно, вдруг оживились, словно проснулись. Они выхватили сабли из ножен и поскакали к скотному двору.

Внутри двора лежало несколько человек.

Они казались мертвыми.

Один из всадников, подскакав и воинственно размахивая саблей, скрывая боязнь, закричал:

— Кто вы такие?

Но из лежавших никто не отвечал.

Следопыт подошел к лежавшим, всадники окружили их.

Но и теперь никто из них не двигался.

Казах взял руку одного из лежавших и отодвинул рукав. На ней не оказалось клейма. Но в том месте, где ставятся клейма, чем-то острым кожа была соскоблена, и из ранки сочилась кровь.

— Этот живой,— сказал обрадованно следопыт.— Но на руке у него нет клейма! — вскрикнул он вдруг с отчаянием.

Следопыт поодиночке оглядел их всех. Их было восемь человек, одна женщина и один мальчик.

Ни на одной руке не увидел следопыт никакого клейма. Но у всех из кисти, где ставилось клеймо, сочилась кровь. Только рука мальчика оказалась здоровой.

— Это они! — сказал следопыт, улыбаясь.— Они!

Потом он подумал: «Соскабливая клейма, они поранили себе руки, дали нам след и доказали, что они те, кого мы ищем».

Следопыт хотел разбудить одного из них.

Он ворочал его с боку на бок, раскрывая ему то один, то другой глаз, но человек, не в силах говорить, снова закрывал глаза и забывался.

— Они голодны! — сказал казах.— Принесите немного хлеба и захватите воды. Я сейчас оживлю их.

16

Уже несколько дней связанные рабы лежали или сидели в хлеву Абдуррахима-бая.

Дверь, запиравшуюся снаружи, раз в день открывал Наби-Палван, заносил кувшин воды и раздавал по куску хлеба.

Затем он брал оставшийся от вчерашнего дня пустой кувшин и уходил.

На двери хлопало кольцо и стучал замок.

Затем снова все затихало.

В первые дни Наби-Палван не раз принимался бить беглецов. Бил их плетью и палкой.

Поэтому при появлении Наби-Палвана каждый из них испуганно сжимался в своем углу.

А когда он уходил, подбирали брошенный хлеб и поочередно пили воду из кувшина.

Однажды Наби-Палван явился рано утром.

Это было необычно и всех встревожило; что он задумал, что он приготовил для них?

Когда он вошел, они увидели в его руке плеть. Это увеличило их опасения.

Их спины были черные и опухшие еще от прошлых побоев.

Но Наби-Палван на этот раз никого не ударил, он сказал:

— Фархад, иди сюда! — и вывел Фархада из хлева.

Среди двора лежало несколько колод с кандалами. Видно, их недавно изготовили, железо казалось белым.

Наби-Палван снял с Фархада прежние кандалы и надел ему на ноги и на шею колоды.

Колоды с кандалами не очень отличались от обычных кандалов. Но кольца, надеваемые на ноги, были шире обычных, и это позволяло человеку широко шагать. Цепь оказалась короче обычной. Она доставала от пояса до шеи. В конце этой цепи, как у собачьего ошейника, находилось колечко для замка. Когда голова всовывалась в этот ошейник, он запирался на замок.

Все это железо весило пуд, но оно не мешало ни работать, ни ходить, ни вставать, ни лежать. Оно не позволяло лишь одного — бегать. В нем невозможно было сбежать.

Это железо придумал не Наби-Палван. С давних времен существовало оно на бухарской земле. В него рабовладельцы заковывали рабов, склонных к побегам.

Поочередно из хлева вывели Ашура, Ризу, Таги, Хашима и остальных.

Последними привели Гульфам и Некадама.

Наби-Палван хотел заковать и их.

— Я не сама убежала. Это они меня увели! — взмолилась Гульфам.

— Это правда! — подтвердил Ашур.— Мы насильно их увели, чтобы они не выдали нас.

Наби-Палван все же поступил по-своему. Он надел на Гульфам кандалы, подобранные по ее росту.

Заковал и Некадама в небольшую колоду, видно, выкованную по заказу на его рост.

Наби-Палван послал рабов снова в тот же сад. Послал без охраны, раздав им их же мотыги и топоры.

Гульфам он отослал к Калмак-оим.

Только Некадам, вытянувшись, стоял посредине двора и ждал своей участи.

— Калмак-оим! — крикнул Наби-Палван.— Если оно накалилось, давайте!

Калмак-оим принесла зажатое в щипцах раскаленное клеймо в виде подковы. Клеймо, которым клеймили скот, отправляемый в Россию, овец в отарах, лошадей в табунах, рогатый скот в стадах и верблюдов, ходивших в караванах.

Это было клеймо, тамга, знак владельца. Знак Абдуррахима-бая.

Наби-Палван положил Некадама спиной на землю. Наступил ему на кисти рук, а Калмак-оим крепко придавила ноги мальчика.

Наби-Палван взял раскаленное клеймо щипцами и положил его на кисть правой руки.

Мальчик страшно закричал. Потом замолчал.

Наби-Палван подумал, что Некадам успокоился, но оказалось, что он потерял сознание.

Наби-Палван оторвал клеймо от руки так, как отрывают печать от сургуча.

Обожженное место Калмак-оим посыпала пережженным войлоком.

Так Некадам стал клейменым имуществом бая, из которого ничего не пропадало и не терялось.

17

Усадьба Абдуррахима-бая была прибрана и украшена так, как, может быть, еще никогда не украшалась.

Не только весь двор подмели и полили, но и по всей Махалле подмели и полили улицы, словно вся деревня ждала небывалых больших гостей.

А дом Абдуррахима-бая преобразился.

Его просторную приемную комнату, где до того хозяин уныло спорил с весовщиками да приказчиками, во всю длину и ширину застелили дорогим текинским ковром.

Вдоль ее стен постелили узенькие бархатные одеяла. В переднем углу комнаты — на самом почетном месте для гостей постелили одно на другое пять толстых, тоже бархатных одеял — в знак особого уважения. А в четырех местах бросили по три круглые пуховые подушки.

Над всем двором протянули полотно, затканное красными полосами, чтобы оно укрывало двор от дождя, от солнца или от снега.

Под тентом поставили в ряд широкие деревянные скамьи, покрыв их алыми кзылаякскими коврами, и по краям ковров расстелили шелковые одеяла для почетных гостей.

В верблюжьем стойле, помещавшемся рядом со двором, установили медные котлы такой величины, что в каждом из них сразу можно было сварить восемь пудов риса.

Здесь же установили и чугунные котлы: варить конскую колбасу, жарить кур и перетапливать масло. Не забыли и о медных котлах для варки варенья и нишаллы. В одном углу вырыли яму, навалили в нее и зажгли сучья саксаула и накалили ее так, как накаляют печь для хлеба. Здесь целыми тушками, содрав с них кожу и выпотрошив, зажаривали ягнят.

С восходом солнца начали съезжаться гости.

Приехали все купцы, ходившие с караванами из Варданзенского туменя, местные землевладельцы, чиновники и сельские старосты во главе с караван-баши Мир-Азимом.

Все они прибыли в Махаллу и разместились по дворам, заранее для каждого из них предназначенным.

Каждый из них, оставив на этих дворах своих лошадей и слуг, вошел в дом Абдуррахима-бая.

Все расселись во дворе под полосатым полотнищем на алых кзылаякских коврах и занялись чаепитием.

В полдень с западной окраины деревни прискакал ко двору Абдуррахима-бая вестовой. Спрыгнув с седла, отдал коня мальчикам, степенно вошел во двор, степенно подошел к Абдуррахиму-баю и торжественно сказал:

— Едут.

Весь двор заволновался, как осиное гнездо.

Гости выплеснули из пиал недопитый чай, отставили пиалы, поправили свои чалмы, разгладили бороды, перевязали или подтянули шелковые пояса.

Все вышли со двора на улицу и выстроились по обе стороны дороги.

Ждать пришлось недолго.

Показались всадники.

Чем ближе они подъезжали, тем чаще встречающие снимали с головы чалмы, проверяя, хорошо ли они повязаны, пышно ли завиты. Снова надевали их на голову, снова разглаживали бороды и отряхивали халаты.

Всадники подъехали совсем близко.

Впереди ехали в ряд казий и амлакдар; за ними следом — раис и начальник стражи; за ними ехало духовенство, мирабы, секретари и другие чиновники.

Когда они подъехали, музыканты, стоявшие на крыше над воротами дома Абдуррахима-бая, забили в барабаны, задудели в дудки, затрубили в трубы, исполняя какой-то веселый напев.

Правители вошли в дом, заняли места на толстых бархатных одеялах. Вошли и другие гости и разместились, долго уступая друг другу места, в соответствии с их чином и положением. Купцы сели по степени своего богатства, а гости помельче расположились во дворе под полотнищем.

Развернули скатерти, перед четырьмя правителями туменя на особых блюдах поставили сдобные лепешечки и огромные десятифунтовые хлебы.

Перед купцами положили на блюдах по пять лепешек, а хлебы пятифунтовые.

А во дворе подали лепешки и по два двухсполовинойфунтовых хлеба.

Плов внесли на огромных блюдах, вмещающих не менее десяти фунтов риса каждое. Такие блюда поставили по одному на троих гостей.

Перед каждым блюдом поставили тарелки с конской колбасой, по одной жареной курице, начиненной рисом и кишмишом, а также ягненка, зажаренного на огне без масла.

Во дворе подали столько же плова, но колбасу, кур и ягнят положили вместе с пловом.

Начался пир.

Гости наелись так, что животы их натянулись до последнего предела.

Поев, вытерли руки.

Блюда унесли, подали чашки с жидкой халвой, нишаллой и вареньем. Принесли подносы, полные конфет, всякой сухой халвы, сластей, соблазнительных и по вкусу, и по виду.

Абдуррахим-бай, одетый в дорогие халаты, опоясанный шелковым платком, стоял в проходе перед гостиной. Одним глазом он наблюдал, как подают гостям, а другим — как убирают объедки и уносят ли их обратно на кухню. Он напоминал грача, глядящего одним глазом на соблазнительную кость, а другим — на опасного охотника.

Некадам, вместе с батраками и рабами подававший гостям, а потом убиравший со стола, зайдя за дверь верблюжьего хлева, взял кусок из мясных объедков и быстро сунул его в рот.

Абдуррахим-бай увидел это.

Он настиг Некадама, покрутил его уши и за уши поволок к котлу, где распоряжался Наби-Палван.

— Ты не видишь, Наби-Палван? Этот жадный и ненасытный щенок готов съесть все остатки от гостей. Я тебя здесь поставил, чтобы ты был тут моим глазом. А ты не очень-то смотришь. А тратился я не на угощение рабов. И не для батраков, не для голодранцев, явившихся сегодня нам помогать.

— Хозяин! — сказал Ашур.— Мы со вчерашнего дня не пробовали соли. Что же делать мальчику, если он шатается от голода? Ну и пускай бы съел кусочек мяса и горсть плова. Мир от этого не разрушится, а у тебя ничего не убавится.

— Мальчик, мальчик! Он для вас до двадцати лет будет мальчиком! Если вы проголодались, скажите Калмак-оим. Она вам разогреет вчерашнюю похлебку.

Один из деревенских бедняков сказал:

— Бай! Рабов Калмак-оим накормит. Разогреет им вчерашней похлебки, а мы-то, придя на пир, чем наполним наши животы?

— У тебя есть дом. Там твое место. Сходи домой и поешь. Есть же у узбеков пословица: «Собираясь на пир, поешь дома». Вот ты и поступай по этой пословице. Деды наши знали, что говорили.

Когда гости поели и напились чаю, правители туменя получили по куску парчи, шелка, бекасама, адраса, атласа, по десяти- и двадцатифунтовой голове сахара.

Остальным тоже роздали подарки.

Гостям — менее почетным — по коробочке леденцов.

После благодарственной молитвы гости вышли в поле.

Там они сели на скамьях, привязанных к деревьям, посмотреть кокпари — козлодранье.

Начались конские скачки, когда под ноги всадникам бросили обезглавленного козленка. Всадникам надо было схватить козленка с земли и, вырывая друг у друга, вынести его из свалки. Надо было, никому не переуступая, промчать его условленное расстояние до хозяина, и хозяин вознаграждал победителя.

Много всадников и лошадей оказывались избитыми и изувеченными после каждого такого состязания.

Для сегодняшнего козлодранья зарезали сто коз и десяток телят. Тот, кому удавалось на своем коне вынести козла, получал этого козла в награду. А кому удавалось вынести теленка, получал халат и деньги.

Если с козлом достаточно было проскакать один раз в сторо-

ну, с теленком надо было проскакать трижды вокруг поля, не давая никому вырвать его из рук.

К концу третьего круга телячья шкура превращалась в клочья от десятков рук, цеплявшихся за нее, всадник оказывался исхлестанным плетками, а конь — взмыленным, избитым, искусанным до крови конями-соперниками.

На подарки на этом копкари ушло около ста халатов и тысяча тенег серебром.

Так отпраздновал Абдуррахим-бай свое возвращение с караваном из Оренбурга, а заодно и семейное торжество — свадьбы старших сыновей и обрезание младших.

Через неделю жизнь на дворе Абдуррахима-бая потекла своим обычным порядком.

Снова в сундуки и кладовки были спрятаны ковры и дорогие одеяла, блюда и чаши.

Поставили в огромной комнате сандал, накрыли его простым одеялом.

Засунув ноги под это одеяло, Абдуррахим-бай разговаривал с Наби-Палваном, сидевшим напротив:

— Слава богу! Хорошо и с достоинством провели мы этот пир. Старших сыновей поженили, младшим сделали обрезание.

Абдуррахим-бай вдруг задумался. Тронул ладонью лоб, помолчал и снова повернулся к Наби-Палвану. Наби-Палван нетерпеливо и настороженно ждал его слов.

— Вот смекаешь ли ты, если ежегодно спаривать пять пар овец, сколько голов станет через десять лет?

— Если они не падут, не пропадут, если волки их не сожрут, если их не резать и не есть, то станет их более тысячи.

— А пять пар рабов?

— Если они обзаведутся семьей, то через десять лет их будет тридцать голов.

— Одной из милостей шариата является то, что дети рабов и рабынь считаются «дома рожденными» и остаются у хозяина.

Абдуррахим-бай замолчал.

Наби-Палван ждал, навострив уши. Он смотрел, не сводя глаз с хозяина, пытаясь угадать его мысли.

Бай вздохнул.

— Я хочу поженить рабов, которым перевалило за сорок, с пожилыми рабынями. Отдам замуж и наложниц, которые не имеют от меня детей. Даже тех, которые имели, но у которых дети умерли. Если я соединю двадцать пять пар рабов и рабынь средних лет, бог даст, через десять лет от них у меня будет сто пятьдесят душ рабов и рабынь, родившихся в моем доме. Дому от этого будет большая польза.

Наби-Палван, до того никак не сумевший разгадать мысли хозяина, теперь обрадовался и подумал:

«Вот где изюминка-то! Я сперва не мог понять. С большим умом продумано».

Он сказал хозяину:

— Я понимаю, почему вы не отдаете замуж молодых рабынь. Это понятно. Но почему не переженить молодых рабов? От них тоже могут родиться в вашем доме рабы и рабыни.

— Молодость — самая полезная пора. А молодой раб, обзаведясь семьей, половину сил и мыслей будет отдавать жене. Труд их хозяйству принесет больше пользы, чем их семейная жизнь. Расчет не в том, чтобы упускать сегодняшнюю пользу, мечтая о неизвестной пользе через десять лет. Нет, молодые рабы должны работать. Только работать.

* * *

Батраки и рабы до полуночи сидели в трепальне, занятые очисткой хлопка, крутя тяжелые колеса трепалок.

Закончив ночное задание, они собирались спать.

Рабы, которых хозяин поженил, ушли со своими женами в те углы и закоулки, где им полагалось жить своей семьей,— в конюшни, в хлевы, в верблюжьи стойла, на сеновалы, в сараи.

В деревянном сарае, готовя для себя и мужа постель из старой конской попоны, грустным голосом пела Калмак-оим:

Жила я свободно
На просторе степей,—
Пила молоко
И густой кумыс.

У злодея рабыней
Живу я теперь,—
Кровь сочится из глаз,
Опущенных вниз.

И, как хочет, злодей
Помыкает мной:
То подбросит на свет,
То низвергнет во тьму.

Меня радовал,
Сделав своею женой,—
Но кинул жену
Он рабу своему.

Абдуррахим-бай вывел из числа своих жен Калмак-оим после смерти ее ребенка и, прельстившись надеждой получить новых рабов, отдал в жены старому рабу Ашуру.

18

Прошло немало лет.

Абдуррахим-бай постарел.

Но держался он по-прежнему твердо и прямо. Он сидел в этот поздний вечер в своей большой приемной комнате, на этот раз убранной не совсем обычно.

На месте, где в зимние дни стояла жаровня, поставили длинный, аршина в три, низенький стол, постелили на нем белое полотно вместо скатерти, а вместо светильника посредине стола зажгли пять свечей, вставленных в тяжелый медный подсвечник.

На столе кипел большой самовар, и в красном, живом свете свечей на столе поблескивали тарелки с лепешками, пирожками, булочками, конфетами, миндалем, фисташками, разными сортами кишмиша.

За столом, в меховой татарской шубе, с шапкой на голове, в серых войлочных сапогах, сидел татарский купец.

Напротив сидел Абдуррахим-бай с сыновьями — Абдухакимом и Мулла-Сабитом. Тут же находились еще несколько караванных купцов Шафриканского туменя.

Рядом с татарским купцом, в просторном длинном халате и в огромной чалме, важно восседал имам селения.

За самоваром следил младший сын хозяина. Он принимал от гостей пустые стаканы, наливал чай и снова ставил перед каждым гостем его стакан.

Татарский купец, приподняв руку над подушкой, о которую опирался, выпил двумя глотками остывший чай и подтолкнул стакан к самовару. Пока ему наливали чай, он внимательно посмотрел на Абдуррахима-бая.

Старость лишь недавно столь ясно проглянула сквозь сухощавые черты хозяина. Но видно было, что не столько годы, сколько какие-то заботы изменили его лицо. Не во внешних чертах произошла перемена, а где-то внутри, откуда она на прежние, на те же самые твердые и неизменные черты набросила такую заботу, что лицо его приобрело новое выражение.

Хозяин сидел задумавшись, не глядя на своего гостя, в честь которого так изменили комнату, придав ей, насколько могли, полутатарское убранство.

Абдуррахим-бай не почувствовал пристального, хотя и быстрого взгляда серых недобрых глаз татарского купца.

— Брат-хозяин,— сказал купец,— я вам очень благодарен за почет и за уважение, оказанные нам. Но почему вы молчите? Или ко сну вас, что ли, клонит?

Абдуррахим-бай не спеша, словно отрываясь от своих мыслей, ответил:

— Слов нет. Что говорить? Конец мира это или что? Русский пришел и захватил нашу страну. Чему может радоваться мусульманин? Чему мне радоваться и что сказать?

Купец отпил из горячего стакана две-три ложки чая, осторожно положил ложку и тоже задумался, потом сказал:

— Так. Все это так. Мусульманин не может радоваться, ни один мусульманин, когда на его землю ступили неверные. Царство неверных посягнуло на страну ислама. Но так определено богом, и нельзя нам осуждать божью волю. Не положено это мусульманину. Это — грех.

Имам, вытянувшись из-за самовара, одобрительно кивнул купцу:

— Да, божья воля. Надо примириться и терпеть.

Купец обернулся к имаму:

— Верно говоришь, хазрет. Не дело правоверного противиться божьей воле. Не об этом надо нам говорить, а о своих делах.

Снова купец отпил чаю и помолчал.

Заговорил он, не торопясь:

— Русские пришли. Да, пришли русские. Власть белого царя дошла до этих мест. Плохо это? Нет, не плохо. Для нашей торговли от этого большая польза. Вспомните вы все, как приходилось вам ездить к нам, в крепость,— в Оренбург или в Ирбит. Ездили вооруженные, как войско. На это был нужен большой расход, от этого товары ваши на базаре шли дороже. А теперь можно сесть верхом на коня или верблюда и спокойно проехать через всю казахскую степь. Это русские навели порядок.

Снова купец, допив чай, подтолкнул стакан к самовару и продолжал:

— Прежде надо было ехать в седле сотни верст, да к тому же с охраной. Ехал и тревожился за жизнь и за деньги. А теперь садись в почтовую телегу и езжай в Россию. Еще и трех лет не прошло, как пришли русские, а уж ваши купцы из Шафрикана открыли торговлю в Казилинске и в Ак-Мечети, построили себе новые дома, взяли себе жен у татар, у казахов. Стали подданными двух падишахов — белого царя и эмира бухарского, пьют воду из двух родников. Это значит, что русский царь милостив и справедлив к купечеству.

Пока татарский купец занялся новым стаканом чая, имам сказал:

— Подданство — это одно. Ремесло — это другое. Пророк учил нас: «Торговля есть лучшее из дел, а купцы — лучшие из людей божьих». И дивлюсь я, как царь неверных правильно понимает

слова нашего пророка и тоже считает купцов лучшими из людей божьих.

— Эх, хазрет, ты не видел и дивишься, а я не дивлюсь, потому что видел. А о Святом писании я тебе напомню и другое, что сказано в наших книгах. В день Страшного суда бог не будет спрашивать царей о вере, но о справедливости...

Давно уже стаканы гостей стояли на блюдцах вверх дном либо лежали на боку, что означало: напились. Но стакан татарина снова и снова направлялся к самовару и, наполненный, возвращался к гостю.

— У тебя, оказывается, вкусный чай! — сказал купец хозяину.— Так вот я и говорю: может, мы не увидим, а наши дети увидят, как пройдут по этой земле железные дороги. За неделю можно будет доехать до Москвы, а пока до Оренбурга отсюда с трудом можно за месяц доехать. Если сейчас на верблюдах из Бухары в Оренбург купец может раз в год съездить, тогда, по железным дорогам, если захочет, четыре раза отсюда в Москву съездит. А это значит, что за год можно четыре раза сделать оборот своим деньгам. Это для купцов великая милость божья! И царская справедливость.

Абдуррахим-бай, ободренный словами татарина, сказал:

— Какая же справедливость? Царь приказал нашему эмиру освободить всех рабов в Бухаре. Приказал запретить торговлю рабами. Разве это не притеснение?

Имам поддержал Абдуррахима-бая:

— Тем самым в мусульманской стране он отменил одно из важнейших положений шариата — право на рабовладение.

Но татарин перебил его:

— Как же освобождение может быть притеснением? Бог сам разберется в божественных вопросах, а нам надо толковать о земных.

— Конечно же, притеснение! — воскликнул Абдуррахим-бай.— А что же это? У меня больше ста рабов и рабынь. Часть их родилась у меня дома, другая — куплена на базаре. Я платил за них от пятидесяти до полутораста золотых за каждого, и вот, по договору с царем, эмир обязался через двенадцать лет всех их освободить. Сразу потерять весь этот товар! А я в него вложил десять тысяч золотых. Как это перенести?

Татарин почесал себе лоб, уселся поудобнее и серьезно сказал:

— Это так. Но сосчитай и то, что если раб стоит тебе, предположим, сто золотых, он будет на тебя работать еще двенадцать лет. В год он тебе будет стоить восемь с половиной золотых. А сколько он тебе заработает за год? Во много-много раз больше.

Гость повернулся к имаму:

— А насчет шариата я тебе, хазрет, напомню. Там ведь сказано, что у каждого раба есть право с согласия своего хозяина выкупить себя своей работой за три или четыре года.

— Верно! — согласился имам.— В шариате это есть. Это вопрос «выкупа».

— Ну вот видишь. И выходит, что царь еще больше, чем шариат, проявил к мусульманам-рабовладельцам милости и милосердия. И потом: смысл рабовладения в том, чтобы раб работал. Так? А раб, который еще двенадцать лет на тебя поработает и не получит и не заработает за это время ни горсти земли, ни ручья воды, ни двора, ни родины, куда он пойдет, освободившись? Куда он от тебя уйдет? А? Ему уходить некуда, он у тебя останется. И какие бы ни предложил ему условия, он их примет.

От этой долгой речи горло татарина пересохло. И он опять толкнул свой стакан к самовару, уже потухшему и остывающему.

— Налей горяченького!.. И потом надо понять, что этот приказ белого царя — большая милость для торговых людей и промышленников. Если прежде туркмены из набегов на Иран и на Афганистан приводили в год пятьсот рабов, теперь к вам из этих стран тысячи рабов придут сами. Не в рабство придут, а работать на тебя. А тебе от них нужна работа, а не их звание.

Татарин опять внимательно посмотрел на Абдуррахима-бая:

— Этот приказ царя дан эмиру, чтобы помочь купцам, когда они захотят развернуть свое дело. Одни рабы не обеспечат заводов работниками.

Татарин вздохнул.

— Тебе разве легко сейчас очищать хлопок? — Нелегко. А трудность в том, что хлопок, купленный тобой в этом году, волокном станет только к будущему году. Твои деньги целый год лежат в хлопке без движения. А если тут, у вас в Бухаре, построить хлопковые заводы, то хлопок, купленный тобою тут, через неделю уже в виде волокна будет готов к отправке в Москву. Твои деньги не через год, а через неделю к тебе вернутся для нового оборота. Тогда только поспевай поворачиваться! Сейчас в каждой деревне работает своя маслобойня, своя мыловарня. Сколько труда по всей стране разбито на это! А если будет хороший маслобойный завод в Шафрикане, его одного хватит на весь тумень. Так и с мылом. И масло и мыло станут дешевле. Я бы на твоем месте непременно тут поставил такие заводы. Мелкие маслобойни развалятся, и все пойдут к тебе, потому что это дешевле будет стоить. И в твой карман покатятся те деньги, которые сейчас растекаются по карманам мелких мыловаров. А мыловары, чтобы не помереть с голоду, пойдут к тебе работать мастерами. Но такой завод не сдвинешь

руками покупных рабов. Для него нужен дешевый рабочий, такой, чтоб он сам к тебе пришел. И таких рабочих тебе понадобится много. Приказ царя помогает в этом, он открывает дорогу таким рабочим прямо на завод. И бери их и выжимай себе из них золото.

Самовар успели подогреть. Налили горячего чая, и татарин налил чай в блюдце. Держа блюдце у губ, он снова подтолкнул стакан к самовару.

— Налей, пускай пока стынет... Это не пустые слова, это я своими глазами видел в России. В России поодиночке рабов давно уже не продают, там их целыми деревнями продавали. Там каждая деревня принадлежала своему помещику. А у хорошего помещика таких деревень было не по одной, а по нескольку. Крестьянин от своей деревни уйти никуда не мог. Он не мог уйти в город и не мог взять другой работы, кроме работы на своего помещика. Если помещик продавал землю другому помещику, с землей и крестьяне переходили к другому хозяину. Это называлось: «крепостное право». Лет десять назад царь освободил этих рабов. Дал им право идти, куда хотят, работать, где хотят, делать, что хотят. Что делать крестьянину? А?

Никто не ответил на вопрос гостя. Тогда татарин ответил сам:

— Царь отрезал часть негодных земель у крупных помещиков и отдал их освобожденным крестьянам. Но с условием, что крестьяне ежегодно вместе с налогами будут платить и за эти земли.

Татарский купец выпил чуть остывший чай и, отодвинув стакан к самовару, продолжал громче:

— Вот в результате этого из деревни в город стала поступать рабочая сила. На фабриках и заводах стало много рабочих, получила развитие промышленность. Но крупные помещики сперва тоже не были согласны с этим мероприятием. А на самом деле они не очень пострадали: они продали крестьянам негодные земли, крестьянин не мог прокормиться одной этой землей и пошел задешево работать к тому же помещику или брал землю в аренду у того же помещика, принимал условия помещика, отдавал ему свой труд. У помещиков появилось много денег; отдав их в банк, помещики зажили на проценты, а эти деньги через банк пошли в руки купцов, помогая им строить новые заводы, чтоб еще больше рабочих рук обеспечить дешевой работой, чтоб еще больше денег положить в купеческий карман. Многие завели заводы и открыли большие магазины, стали расширять дело, ускорять обороты своего капитала.

Абдуррахима-бая захватил этот рассказ. Глаза его блестели. Ноздри раздувались. Повеселев, он спросил:

— А как ты думаешь, нам, кроме торговли, полезно завести завод?

— Да, думаю. Если ты не займешься, твои дети займутся. Но нужна такая сила, чтоб устоять против русских купцов, а они очень богаты, очень сильны. Им помогают банки, у них базар по всей России и в других странах.

Абдуррахим-бай беспокойно задвигался, не решаясь перебить гостя, но явно встревоженный.

— Но вы можете делать большие дела. Для этого у вас есть только один путь. Этот ваш путь в том, чтобы объединиться с нами, с татарами, или, как вы нас зовете, с ногаями. У нас одна вера: и вы мусульмане, и мы мусульмане. И если мы соединим наши капиталы, дело у нас пойдет. Но русские это понимают, и царь запретил татарам покупать у вас землю. У вас много сырья и много бедноты, чтобы это сырье обрабатывать. Рабочих рук много придет к вам и из соседних стран, когда найдется для них здесь работа и хлеб. И вот мы, купцы, должны подумать: если мы не соединим наши деньги, они уйдут к русским богачам... Русские купцы пришли сюда не затем, чтобы угнетать нашу веру или отстранить нас от нее. На что это им нужно? Они пришли за вашим сырьем, за вашими дешевыми рабочими. Царю нет дела до того, сколько раз в день будешь ты читать молитвы, хоть сто раз в день. Царю даже выгодно, чтоб больше молились, тогда думать меньше будут, смирнее будут.

Имам, повеселев, спросил богача татарина:

— Выходит, царь нам не помешает, а даже поможет?

— Молись, хазрет, и завлекай больше народу в мечеть, но и в молитвах говори, и почаще: «Будьте покорны своим хозяевам».

— Конечно,— согласился имам.— Платеж за соль, которую они ели у своих хозяев, равносилен обязанности перед богом.

— Опять ты о чем-то загрустил, хозяин? — спросил гость.

— Я слушаю вас. И все-таки нет ничего хорошего в приходе русских. Увеличилось число купцов, все рвут товар друг у друга. Если прежде на русских товарах мы зарабатывали по десяти рублей на рубль, теперь едва-едва удается на рубль заработать рубль. Да и не удается!

— То, что ты знаешь, ты это знай для себя. То, что я знаю, пускай останется при мне.

Татарин вынул из-за пазухи часы.

— Ого, ночь-то уже проходит! Времени час! Пора спать.

Имам, вставая, тоже взглянул на свои часы.

— Еще и двенадцати нет.

— Твои часы отстают,— ответил татарин.

— Не может быть, чтобы они отставали: мне их наш уважаемый хозяин Абдуррахим-бай привез в подарок из самого Оренбурга.

— Хорошие хозяева никогда не дарят хороших вещей. Запомни это, хазрет! По этой причине мои часы куплены на мои деньги, в Берлине.

Все засмеялись. Купец, пошарив в кармане, достал серебряный рубль и дал его имаму.

— Не забудь помолиться, хазрет! — сказал он, прощаясь.

После долгой молитвы о здравии, благополучии, счастливом странствовании и преуспевании в делах достопочтенного гостя, татарского купца, имам ушел.

Остальные гости тоже разошлись.

19

Прошло несколько лет с той ночи, когда татарский гость ночевал в доме Абдуррахима-бая.

Небо сияло, как тихое, прозрачное море. Оно синело, и казалось, что синева эта густеет.

Клочья облаков плыли, подобно парусам далеких кораблей.

Временами набегал дождь, ненадолго. Солнце светило сквозь струи дождя, словно на землю падал поток драгоценностей, сверкающих, переливающихся всеми красками.

Эти короткие, но частые дожди отяжелили песок, успокоили и уплотнили холмы, которые летом, как степной пожар, передвигались с места на место по просторам пустыни. И самый песок, летом такой яркий и красный, теперь, весной, сливаясь с молодыми весенними побегами трав, казался золотисто-розовым.

Старинные поэты сказали бы о таком песке:

«Он подобен ланитам смуглых любовников, пленительных и прекрасных».

Но на этих смуглых холмах местами сверкали изумрудные весенние травы. Местами густо расцвели тюльпаны, покрывая холмы пятнами — желтыми, лиловыми, белыми.

Стояла середина апреля, месяц хамал.

По всей пустыне, раскинувшейся между Шафриканским туменем и пустыней Кызыл-Кумы, от селения Карахани и до самого кургана Варданзе, брели пасущиеся стада каракулевых овец.

Овец, которые и зимой и летом паслись в Красных Песках — в Кызыл-Кумах,— весной ко времени окота подгоняли к селениям, чтобы легче было взять их драгоценный приплод.

У подножия песчаных холмов, часто столь высоких, что проходы между ними казались ущельями, стояли черные юрты, покрытые тяжелыми кошмами, шатры и шалаши, где жили скотоводы со своими семьями, после зимней непогоды приехавшие к своим стадам.

В стороне от юрт женщины, девушки и рабыни доили овец, сбивали и перетапливали масло. В другом месте, удаленном от женщин, рабы — батраки и пастухи — наблюдали за окотом, чтобы успеть прирезать ягненка, пока у него еще не развернулась и не загрубела шерсть. Ягнят, шкурка которых казалась годной, резали, ни разу не дав им пососать молока. Иначе это отразилось бы на качестве шкурки. Сосать два или три раза разрешалось лишь тем ягнятам, у которых недостаточно созрела шерсть. Этим иногда дарили два или три дня жизни.

Блеяние овец и ягнят перемешивалось с отдаленной песней пастуха:

Сладостным ветром повеял рассвет,—
Не из Карши ли от друга привет?
Стадо гоню я с луга на луг,—
Не повстречаю ль тебя я, мой друг?
Сладостным ветром повеял рассвет,—
Не из Карши ли от друга привет?
С плачем качаю я головой,—
Может быть, друг мой, вздох это твой?
Сладостным ветром повеял рассвет,—
Не из Карши ли от друга привет?

Пастух пел где-то за холмами, в промежутках между словами подыгрывая себе на деревянной дудке.

Временами он замолкал, и только дудка его тосковала, стонала и жаловалась.

Рабыня, занятая лепешками, которые она пекла на песке, раскалив его перед этим жаром костра, приподнялась, вслушиваясь в песню.

Невдалеке от нее раб, раскалив узкую, глубокую яму, жарил ягненка, подвесив его туда с головой и ножками.

— Э, брат Ачил! — окликнула рабыня раба.

— Что ты?

— Удивляет меня этот Некадам. Он не следит за окотом овец. Когда начинается окот, он отгоняет объягнившихся овец куда-нибудь подальше и там играет им на своей дудке. А песню всегда одну эту напевает:

Сладостным ветром повеял рассвет,—
Не из Карши ли от друга привет?

Брат Ачил! Почему он сторонится всех, почему всегда норовит уединиться от всех подальше? Почему он так грустно поет?

— У него, видать, есть какое-то горе,— ответил Ачил, повертывая ягненка, висевшего над жаром. И, повторив свой ответ, он запел:

У него есть какое-то горе.
Побледнел, как в огне он горит,
Бледнота его мне говорит:
У него есть какое-то горе...
Каждый вздох его мне говорит:
У него есть какое-то горе...

— Какое ж у него может быть горе? — спросила Гульсум.

— А ты не знаешь?

— Знала б, не спрашивала бы.

— Его горе — это ты. Он хочет взять тебя в жены.

Она не ожидала столь прямого ответа и смутилась.

— Это шутка. Этого нет,— он всегда поет:

Сладостным ветром повеял рассвет,—
Не из Карши ли от друга привет?

А я-то ведь не из Карши.

— Я знаю, что говорю. Не веришь, спроси у него сама.

В это время из юрты позвали:

— Гульсум! Эй, Гульсум!

Голос прервал их разговор.

— Иду! — откликнулась она, кидаясь к черной юрте.

Старший сын Абдуррахима-бая, Абдухаким, сидел в юрте и ел ягненка, зажаренного целиком.

— Где Хайбар? — спросил он у Гульсум.

— Ой, я не знаю!

Абдухаким рассердился:

— Ты никогда не знаешь. А я знаю. Он обиделся на вас и ушел. Вы жадные, вы его обидели.

— Мы его не били, не ругали, чем могли мы его обидеть?

— Придержи язык, тварь. Когда тебе говорят, слушай. Когда я поел, я отдал тебе недоглоданные кости и сказал: «Отдай Хайбару». А вы, ненасытные, сами их обглодали. Вот он рассердился и ушел.

Абдухаким замолчал.

Гульсум, думая, что хозяин звал ее, чтобы поругать, и уже выполнил свое намерение, хотела идти.

— Постой! — крикнул он.— Отнеси это Хайбару! — И он кинул кусок хлеба и кусок мяса в чашу с недоглоданными костями.

Гульсум взяла чашу и, выйдя из шатра, посмотрела кругом. Собаки нигде не было видно.

— Хайбар, на! Хайбар! — крикнула она.

Но Хайбара не было ни видно, ни слышно. Она услышала из юрты недовольный голос Абдухакима:

— Он рассердился. Он не придет на твой крик. Ступай осмотри холмы. Отыщи его, поставь перед ним мясо и хлеб, сперва погладь его по морде. А когда съест мясо, брось ему кости.

Гульсум тихо, чтобы не услышали в юрте, сказала Ачилу:

— О собаке больше заботы, чем о нас.

И, неся чашу, она пошла к песчаным холмам.

С одного из холмов все еще звучала песня.

Сладостным ветром повеял рассвет,—
Не из Карши ли от друга привет?

Когда прерывалась песня, нежно и грустно ее повторяла дудочка, словно где-то далеко-далеко откликался женский голос, повторяя слова песни.

Печаль сжала сердце Гульсум.

И она не стала искать Хайбара, ноги сами пошли на зов этой песни.

* * *

Овцы паслись между холмами.

Ягнята, уже обросшие длинной шерстью, прыгали и резвились возле своих матерей, радуясь жизни, продленной лишь затем, чтобы матери их, оставленные на племя, доились.

На склоне холма с деревянной дудкой в руке сидел Некадам и пел:

Стадо гоняю я с луга на луг,—
Не повстречаю ль тебя я, мой друг?

Перестав петь, он играл на дудке, играл и, сузив глаза, задумчиво смотрел на шалости ягнят, словно они перед ним плясали под его напев.

Гульсум подошла к нему, поставила на песок свою чашу и села. Послушав, пока он доиграл, она сказала:

— Некадам, сам-то ты так же грустишь от этой песни, как и мы?

— А разве ты слушаешь мою песню? — улыбнулся ей Некадам. И, отерев кончик дудки, отложил ее в сторону.

— А ты спроси у Ачила, как я слушаю и как она трогает мне сердце.

— Ты ему говорила об этом?

— Нет, не говорила. Только спросила, почему ты поешь:

Сладостным ветром повеял рассвет,—
Не из Карши ли от друга привет?

— А что он тебе ответил?

— А он в ответ спел:

У него есть какое-то горе.
Побледнел, как в огне он горит.
Бледнота его мне говорит:
У него есть какое-то горе...
Каждый вздох его мне говорит:
У него есть какое-то горе...

— А ты не спросила его: «Какое же у него может быть горе?»

— Спросила.

— А он что?

— Он только пошутил, как вы сами иногда шутите.

И, говоря это, Гульсум от смущения вспыхнула и словно расцвела.

Радостно глядя на расцветшее лицо, Некадам сказал, улыбаясь:

— Нет, это не шутка, Гульсум. Это правда.

И, может быть, чтобы не смущать ее или чтобы скрыть свое волнение, запел:

У меня на сердце горе,
На лице, как пыль, лежит.
На глазах слезой дрожит.
У меня на сердце горе.

У меня на сердце горе.
Не могу таить я боли,
Вздох мой — ветер в зимнем поле:
У меня на сердце горе.

Бледен я, душа горит;
У меня на сердце горе,
Горе в сердце говорит:
У меня на сердце горе.

Помолчав, Некадам вдруг сказал:

— Наступило время погасить это горе.

— Какое это время?

— Нынешний год — год нашего освобождения. Двенадцать лет назад, в ту пору, когда поспевал виноград, наш хозяин ходил к судье и дал расписку, что через двенадцать лет он освободит всех рабов и рабынь. В этом году, когда начнет поспевать виноград, мы станем свободными. Тогда будет хорошо обзавестись семьей.

От караагачского хозяина к нам приходили двое рабов — Атаджан и Шадман. Они спрашивали: «Мы уже освобождены, а когда вас освободят?» Мы не знали, что им ответить и почему их освободили раньше нас: ведь приказ царя эмиру был отдан для всех рабов?

— Один для всех. Но наш злодей схитрил и оттянул время. Он дал свою расписку на полгода позже всех. Поэтому мы на полгода позже получим свободу.

— Хорошо. Через шесть месяцев виноград созреет. Но у нас не вырастет за это время ни дом, ни сад, ни поле, ни коза, ни овца. У нас ничего нет. Что мы будем есть через шесть месяцев? По-прежнему жить в хлеву на хозяйском дворе, опять работать на него. У собаки своя конура, а у нас и конуры-то нет... Ох, опять все останется, как было...

Она утерла рукавом глаза и огляделась:

— Ой! Я ведь Хайбара ищу! Надо его погладить да накормить, а потом отвести его к хозяину. Помирить Хайбара с Абдухакимом.

— Разве собака мирится с собакой? — засмеялся Некадам.— Он лежит вон за теми овцами. Покличь его, да придет ли?

Гульсум встала и увидела собаку, лежавшую на песке, положив между вывернутыми лапами голову, огромную, как у казахской овцы.

— Эй, Хайбар, на! На, Хайбар!

Собака нехотя подняла голову и посмотрела на Гульсум, но не встала и опять опустила голову.

Гульсум позвала еще несколько раз.

Но собака даже не подняла головы.

— Это честное животное обиделось не только на самого хозяина, но и на тех, кто к нему ходит,— сказал Некадам и негромко крикнул:

— Хайбар!

Вильнув хвостом, собака встала с места, потянулась, пришла к Некадаму, вытянула перед собой передние лапы, положила на них морду и, виляя хвостом, посмотрела в глаза Некадаму.

Гульсум, взяв из чаши хлеб и мясо, показала собаке и позвала ее.

Взглянув краем глаз на Гульсум, собака опять принялась смотреть в глаза Некадама, повиливая хвостом.

— Она на вас сильно обижена.

Некадам сам взял чашу у Гульсум и поставил ее перед собакой.

Понюхав чашу, собака снова посмотрела на Некадама и завиляла хвостом, но ни к чему не притронулась.

Некадам притянул к себе чашу, взял оттуда кусок хлеба и мяса и положил себе в рот. Съев, он опять подвинул чашу собаке.

— Возьми, мой Хайбар, ешь. Поедим вместе,— сказал он.

Собака встала, подошла и принялась есть.

— По сравнению с хозяйским сыном она — человек, а не он. Мне он не прислал ни куска хлеба, а собаке послал жареного ягненка. И она, голодная, не взяла, пока не покормила меня своей пищей.

— Гульсум, эй, Гульсум! Провалилась ты, что ль?

Услышав голос хозяина, Гульсум опорожнила перед собакой чашу и побежала к черной юрте.

— Сейчас! Иду!

Некадаму вдруг опять стало тяжело и тоскливо.

Он поднял дудку с песка, отер ее и снова заиграл свою песню.

20

Песчаные холмы, как горная гряда, со всех сторон окружали степь.

Ночь была тихой.

Звезды, сверкая, озаряли призрачным, трепещущим светом ночной мрак.

Ясное небо сияло. Звезды казались огоньками какого-то необъятного города, повисшего в небесах.

Дул весенний ветер, принося в пески запах молодых побегов и садов, зацветающих где-то далеко отсюда.

Стада спокойно лежали в загонах.

Хозяева спали в своих юртах.

Рабы и батраки лежали на песке, который после дневного труда казался им мягкой постелью.

Степь молчала.

Все вокруг было спокойно.

Только песня, не затихая, переливалась в отдалении:

Сладостным ветром повеял рассвет,—
Не из Карши ли от друга привет?
Стадо гоняю я с луга на луг,—
Не повстречаю ль тебя я, мой друг?
Сладостным ветром повеял рассвет,—
Не из Карши ли от друга привет?
С плачем качаю я головой,—
Может быть, друг мой, вздох это твой?
Сладостным ветром повеял рассвет,—
Не из Карши ли от друга привет?

Два голоса, поддерживая напев, припевали:

Ял-лалле, ял-лалле, ял-лалле, ял...
Ял-лалле, ял-лалле, ял-лалле, ял...

Иногда певец прерывал песню, брался за дудку, и от ее жалобы слова прерванной песни казались еще печальней, тоскливей и больней.

Но если песня эта нарушала безмолвие ночи, она не мешала сну людей. Она даже успокаивала их, убаюкивала,— под эту песню им, может быть, снились безмятежные сны.

Гульсум собрала и вымыла посуду на кухне, постелила хозяйскую постель в черной юрте, сходила за водой и полный тяжелый бурдюк воды прислонила к очагу.

Наконец настало время и ей отдохнуть.

Она растянулась на песке. Свой день она начинала до рассвета и без отдыха работала до полуночи,— теперь ей только б уснуть.

Но песня Некадама, убаюкивая других, гнала от нее сон. Она полежала, пытаясь забыться, но сон не шел. Тогда она вскочила, вслушалась в отдаленную жалобу дудочки и пошла на этот зов.

Когда Гульсум приблизилась, Некадам, глядя куда-то в сияющую бездну ночи, допел конец песни:

Не из Карши ли от друга привет?

С ним сидело трое или четверо рабов.

Отложив дудочку, Некадам вздохнул:

— Эх, одиночество это!

— От одиночества есть хорошее средство,— ответил сидевший против него Ачил,— семья!

— Что ж, ты бы подыскал ему, посватал бы, а мы погуляли бы на свадьбе! — засмеялся словам Ачила Шадман.

— Кого же это он?

— Гульсум.

Гульсум, которую они еще не заметили, легла в складку песка и, подвинувшись ближе, прислушалась.

— Да ей скоро сорок! Ему надо бы помоложе какую-нибудь.

«Да, молодость!..» — вздохнула в своей ложбинке Гульсум.

— Ей идет к сорока, а ему-то ведь тоже уже к пятидесяти. Ничего. Если он захочет, двоих-троих ребят они еще вырастят.

«Мужчинам мы нужны либо для работы, либо затем, чтобы иметь двух-трех детей!» — подумала Гульсум.

— Если я ее возьму,— ответил Некадам,— то потому, что люблю. Чтоб утешить ее сердце, которому мало доставалось радостей. А иначе зачем мне дети? Чтоб они смотрели на то же, на что досыта насмотрелись мы? Для этого не стоит рождаться.

«Милый Некадам! — думала Гульсум.— Не зря я тебя полюбила. Но что это за приятный аромат из Карши, от какого друга?»

Некадам сказал:

— Сегодня я сам говорил с ней. Она как будто согласна. Но она умно ответила: «Что мы будем есть через шесть месяцев? У нас не вырастет за это время ни дом, ни сад, ни поле, ни стадо». И ведь это правда. Что будет за семья, у которой ничего нет? И вот я теперь сам не знаю, можно ли завести мне такую семью?

— Об этом не думай! — ответил Шадман.— Мы в Караагаче, освободившись, уже налаживаем жизнь. На краю деревни, где песок засыпал усадьбы, мы решили построить свой поселок. Назовем его «улица Рабов». Мы с Атаджаном уже поставили там по шалашу. После работы у хозяина мы приходим туда и ложимся. Когда хозяин придирается к нам, мы уходим от него, собираем в степи по вязке хворосту, продаем кому-нибудь за пару лепешек, приходим в свои хибарки, едим там хлеб и лежим. Мы решили на будущий год совсем уйти от хозяина. Будем собирать дрова и на это жить. Так и ты с Гульсум можешь сделать. Женись. Если вам нехорошо покажется в хозяйском доме, придете к нам, на улицу Рабов, построите себе жилье, станете собирать дрова. Голодно, да зато свободно.

Шадман взглянул на звезды.

— Время уже за полночь. Пора идти спать.

Вместе с ним встал и Ачил.

— Я тоже пойду, лягу в загоне у овец. Время, когда приходят волки. Не случилось бы беды.

И Ачил пошел в сторону своего загона.

— Если придут волки, Хайбар даст знать,— ответил Некадам.

Собака, услышав свое имя, подняла голову и снова положила ее на протянутые лапы.

— Хайбар пока еще не помирился с хозяином, он не пойдет стеречь загоны,— ответил Ачил, уходя.

Некадам растянулся на песке на том месте, где сидел, и смотрел в бесчисленные сияния созвездий.

Вдруг женский голос сказал рядом:

— Собака с собакой не мирятся?

Некадам повернулся на голос. Над его головой стояла Гульсум.

— Ты что тут делаешь так поздно?

— Пришла посоветоваться, как нам лучше построить дом на улице Рабов.

— Ты все слышала?

— Все. Даже то, как ты притворно говорил им о своей любви.

— Разве можно притворяться пятнадцать лет?

— Стоны и жалобы в Красных Песках ждут отклика из Карши.

— Это другое дело. Оно к тебе не относится.

— Я знаю, что это другое дело. Но ведь в одном сердце не помещается два таких дела.

— Ты ошибаешься, Гульсум,— ответил ей Некадам серьезно и строго.— То дело относится к одному из самых черных моих дней. Оно было очень давно. И не имеет никакого отношения к женщинам.

— Что же это?

— Не хочется говорить.

— Значит, у тебя от меня есть тайна?

— Нет, не от тебя. Тебе я расскажу... когда буду умирать.

— Значит, ты взаправду хочешь жить со мною всю жизнь?

— Давно хочу. Только не знаю, хочешь ли ты?

— Если бы не хотела, я б спала, а не шла к тебе по пескам среди ночи.

— Почему ж не пришла раньше? До прихода Ачила с Шадманом я лежал один и считал звезды.

— Я ходила на берег Джилвана за водой. Там вода пересохла. Пришлось идти к деревне Балан-Руд. Оттуда тащила полный бурдюк. А он тяжелый, долго шла. Пока прошла эти четыре версты, наступила полночь. А потом услышала твою песню и пошла к тебе.

— А ты когда-нибудь пела?

— Вечером, когда я увидела, что вода в Джилване высохла, я присела на берегу, чтобы отдохнуть. И там сложила песню.

— Спой ее, я послушаю.

— Моя песня не о Карши, а о Джилване.

— Все равно. Спой!

Грустно и негромко Гульсум запела:

Когда в Джилване иссякла струя,
Горькой жалобой стала вся жизнь моя.
Увяла роза моя, увяла,—
Увы, не дождаться ей соловья.

— Взгляни-ка на меня, Гульсум! — сказал Некадам, взяв ее руку.— Послушай теперь меня:

Я вижу: Джилван заиграл потоком,
Мне снится свиданье в саду высоком.
Я тот соловей, что поет в саду,
Где роза снова наполнилась соком.

Гульсум, не отнимая у него своей руки, ответила, глядя куда-то в звезды:

Дрогнуло сердце от этих речей,
Боль поглотил глубокий ручей...
Ах! То шумит не ручей, а ветер,—
Не напоить ему розы моей.

Некадам посмотрел ей в глаза, и взгляды их встретились.

Нет забот у меня, кроме думы о друге.
Кроме боли за друга, нет ноши иной.
От тоски сосчитал я все звезды в округе.
Одинок, одинок я! Что будет со мной?

Обрадованная и взволнованная Гульсум потянулась, высоко подняв грудь, и взглянула в небо.

— Мне, одинокой, тоже остается только считать звезды.

В молочном свете луны Гульсум казалась Некадаму призрачной и пленительной.

— Какая у тебя шея! — сказал Некадам, протянув руку к Гульсум.

Ее рука обняла шею Некадама.

21

Годы прошли.

Некадам постарел. Он выбивался из сил.

С семи лет он не знал ничего, кроме тяжкого и безрадостного труда.

Черная нескончаемая работа. Всю жизнь впроголодь, всю жизнь работа...

Ему исполнилось шестьдесят лет. Но казался он восьмидесятилетним.

Абдухаким-бай сказал Гульсум:

— Передай Некадаму, что нынешний год неурожаен. Хлеб дорог, он своей работой не сможет прокормить себя у нас. Пускай поищет работу где-нибудь в другом месте.

Услышав это, Некадам слег.

— Бессовестные. Когда я получил бумагу о свободе, хотел было построить хижину на улице Рабов и переселиться туда, тогда молодой хозяин, этот змееныш, воспитанный змеей, изворачиваясь и обманывая, ответил: «Куда вы пойдете от нас, дедушка-раб? Зачем? Пока вы живы, пока у нас есть хлеб,— и у вас будет хлеб. Мы будем голодать,— вы будете голодать вместе с нами. А призовет вас бог, мы выроем вам могилу рядом с могилой нашего отца». Я послушался и остался у них работать. А теперь, когда я уже ничего не могу делать, он гонит меня, змееныш!

— Тогда ты был пастухом, а я нужна им была на кухне. Теперь нет сил ни у тебя, ни у меня. Остаток сил трачу я, чтобы выходить нашего больного мальчика. Что теперь делать? Надо было тогда послушать слова Ачила: он звал нас на улицу Рабов. А мы поддались на сладкие слова змееныша.

— Я растил его. Я носил его на руках. Я еще помню его младенческий запах. Он всегда меня звал «дедушка-раб». Откуда я знал, что под его ласковым языком уже зреет змеиное жало?

— Еще не поздно попросить помощи у Ачила и у Шадмана.

— Правда, сходи к ним.

* * *

В деревне Караагач на улице Рабов в глиняной низенькой хибарке лежало двое больных. Один был шестилетним мальчиком, другой шестидесятилетним стариком. У их изголовья сидела Гульсум, широким рукавом обмахивая их горячие лица.

Какая-то нищенка с длинной кривой палкой в руке, с грязным мешком за спиной, подошла к их двери.

Приставив к стене палку, она подняла обе руки и прочла молитву.

— Где ступила нога, да не придет беда...

Увидев больных, она спросила у Гульсум:

— Кто это?

— Мой сын и муж мой. Сын уже около года болеет, а муж болен второй месяц. Вот уже два дня, как он теряет память и бредит. Просто не знаю я, что мне делать? Чем мне помочь? Что будет? Что будет?

— Будет то, что захочет бог. Болезнь одно, а смерть — это совсем другое. Как выступит немного холодного пота, он поправится.

И опять нищенка подняла руки и помолилась об исцелении болящих.

Гульсум поставила на порог перед нищенкой чашу с размоченной лепешкой.

— Простите, милая, больше мне нечего предложить.

— Для таких беззубых старух размоченная лепешка слаще сухого хлеба.

— Вы, видно, издалека?

— Из Карши.

Больной, старый, обессилевший Некадам, услышав слово «Карши», вздрогнул, раскрыл глаза, но снова закрыл их.

— Не из Карши ли от друга...

— Он бредит! — сказала Гульсум.— Как же вы оттуда забрели к нам?

— Вот уже два года в Карши засуха. Беда там, голод, народ бедствует.

Больной снова раскрыл глаза. Посмотрел на нищенку и снова закрыл глаза.

— Кар-ши...

Нищенка, прервавшая свой рассказ, пока Некадам шевелился, опять повернулась к Гульсум.

— Бедняга... Не было дождей... Пшеница выгорела. Река пересохла. А раз иссякла река, выгорели и сады и огороды. Хозяева, купцы, сохранившие запасы хлеба, за горсть зерна тащили к себе достояние целой семьи. За голодом явилась холера. Народ начал умирать десятками, целыми деревнями. Уже не стали ни обмывать покойников, ни хоронить их. Если умирала семья, соседи сваливали на них их хибарку. У кого были силы, побежали в сторону Бухары или Самарканда. Мой хозяин, хотя в амбарах его доверху насыпана пшеница, выгнал меня из дому. Я пошла прочь от тех мест и дошла до вас.

— Родных у вас нет, что ли?

— Не спрашивайте о родных, сестра.— И вдруг заплакала: — Не спрашивайте о родных. Хоть сейчас и считаюсь я жительницей Карши...

Опять Некадам раскрыл глаза, поднял голову, посмотрел на женщину и снова опустил голову:

— Ох, Карши... в восемнадцати часах пути был я от тебя. Умираю, не повидав тебя. Нет, не могу я умереть, не повидав тебя!..

— Опять бредит! — сказала Гульсум.

— Вы не звали знахаря сделать алас?

— Звали, не помогло. Ну, вот вы говорили о своей родине и о родных.

— Не о родине. Материнской родины я не знаю. Я была маленькой, когда разбойники увели меня оттуда, со всей родней.

Некадам вздрогнул, опять посмотрел на нищенку и, успокоившись, снова закрыл глаза.

— Они увезли всю семью в разные стороны света и порознь продали нас в разные места. Маленькой я была, не знаю, как меня увезли, куда продали родных. Смутно, смутно помню какой-то сад, какого-то страшного человека.

— Выходит, вы такая же, как и мы... Как вас зовут-то?

— Теперь меня зовут Гуландам. А мать меня звала Зеба.

Некадам сквозь забытье слушал:

«Карши... Набег туркменов... Сад... Страшный человек в саду... Порознь продали... Зеба!»

Последние силы подняли Некадама.

— Зеба! О Зеба, милая! Маленькая моя Зеба!

Удивленная безумным порывом больного старика, нищенка испуганно отодвинулась и со стороны смотрела на него.

Гульсум подбежала к нему, охватив его голову:

— Что ты, Рахимдад? Что ты, родной мой?

— Рахимдад? — переспросила нищенка. И, отбросив прежний испуг, склонилась к Некадаму.

Он потянул ее к себе:

— Вот теперь я спокойно умру. Я видел тебя! Как я благодарен, что я увидел тебя. Вот лежит наша последняя память о всей семье — сынок Эргаш. Он вам обеим родной. А у меня больше нет сил.

Он закрыл глаза.

1913

1

Между деревней Махалла и руслом древней реки Шафрикан, некогда засыпанной песками, стояла усадьба с высокими стенами и просторными дворами. Обширный внешний двор был огорожен кольями.

Во дворе слева от ворот помещались маслобойка, людская и хлев для коров. Перед большой конюшней тянулся навес, где к кольям рядами привязывали лошадей — остывать и кормиться.

В южной части двора тянулся такой же навес, куда переводили лошадей в полдень, чтобы укрыть их от солнца. Над навесом высился сеновал, забитый соломой и сеном.

Направо, в стене, виднелась калитка в женскую половину хозяйского дома. А прямо напротив ворот помещались две комнаты для гостей, разделенные коридором. Их двухстворчатые, искусно вырезанные двери были плотно закрыты.

За этими комнатами, заслоненный ими, зеленел сад.

В саду рядами стояли навесы, покрытые виноградными лозами, росли абрикосы, персики, груши, яблони и айва.

А на открытых местах, позади огорода, тянулся ряд кустов — красновато-зеленых гранатов, голубовато-серых винных ягод.

Против двери из комнаты для гостей раскинулся большой водоем, осененный длинными-длинными ветками печально склонившейся плакучей ивы и тальника, дававших густую тень. У водоема находилось большое возвышение, на котором можно было отдыхать. Между комнатами для гостей и водоемом ласкал глаз цветник.

Из дома в сад выходили северные двери комнат, тянувшиеся в ряд.

Но в этой большой усадьбе людей было мало.

В саду работал садовник, подрезавший ветки виноградника. На женском дворе две немолодые женщины пекли лепешки. Старуха подметала двор. Молодая женщина сидела на пороге комнаты, выходившей в сад, и кормила грудью ребенка.

На внешнем дворе мясник со своим помощником, прежде чем содрать шкуру с барана, ошпаривали тушу и соскабливали с нее шерсть. В конюшне двое конюхов чистили лошадей.

Солнце клонилось к западу. Розоватые лучи озарили навес и конюшню.

Во двор вошел крестьянин в длинных рваных штанах, в ветхом домотканом халате, с засаленной тюбетейкой на голове.

Он огляделся во дворе и пошел было к комнате для гостей, но конюх крикнул из конюшни:

— Эй, брат! Тебе кого надо?

Крестьянин свернул к конюшне. Под навесом он поздоровался с конюхом.

— Я слышал, здесь остановился амлакдар. Я хотел бы повидать либо его, либо нашего старосту Урман-Палвана, хозяина.

— Амлакдар приедет ночью. Ту ночь он ночевал в Карахани. Прислал сюда свои вещи, а сам по делам земельной подати задержался где-то там.

— А где же он сейчас?

— Если закончил дела в Карахани, то сейчас может быть в деревне Коко или другом месте. У тебя какое к нему дело?

— Да насчет подати. Хотел узнать, когда он думает быть у нас.

— А ты из какого селения?

— Эх, нет у нас места, чтоб звать его селением. Нет земли, чтоб называть ее полем. Живем мы на краю селения Караагач, в месте, именуемом «Рабы». Мы потомки прежних рабов. Наши хижины стоят на краю бесплодной степи, работаем батраками, пастухами, собираем топливо — тем и кормимся.

— Так чего же вам бояться податей?

— Вы знаете речку Джилван?

Нет, конюх не знал этой речки и промолчал. Крестьянин удивленно переспросил:

— Не знаете Джилван? Вы что, не здешний, что ли? Как же не знать Джилван?

— Нет, не здешний. Ведь мы, конюхи, народ бродячий. Я вот — самаркандец, другой — из Шахрисябза, третий — из Бу-

хары. Отовсюду. Мы работаем на конюшнях у больших людей, правителей областей и туменей, у казиев. Сегодня мы здесь, завтра в новом месте и обозреваем мир.

— Выходит, никто из вас не знает реки Джилван. В прежние времена это была большая река. Земля по ее берегам считалась самой плодородной по Шафриканскому туменю. Потом ее засыпали пески. Река высохла. Поля, сады, огороды — все, что питалось ее водой, погибло, стало песчаной пустыней. Но лет пятьдесят назад пески прошли дальше. Прошли и унесли с собой весь плодородный слой земли. Осталась гладкая, как камень, твердая пустыня. Рабы, у которых не было ни земли, ни воды, ни жилья, и крестьяне, оставшиеся на этом месте, собрались вместе и прорыли канал в сухом русле Джилвана. Когда Зеравшан разливается, в канал затекает вода...

Крестьянин рассказывал эту историю, когда из конюшни вышел другой конюх, кончивший обтирать коня.

Конюх помыл в ведре тряпку и расстелил ее на солнце. Вытер о халат руки и подошел к крестьянину.

— Я из Шахрисябза,— сказал он, поздоровавшись.— Рассказывайте дальше. Я тоже послушаю.

Крестьянин продолжал:

— Надеясь на эту воду, народ наш мотыгой вскопал себе понемногу этой гладкой и твердой пустыни и оросил ее. Ну, каждый что-нибудь посеял. Понемногу. Кто пшеницу и ячмень, кто горох или просо, посадили дыни и арбузы. То же и мы, рабы, посеяли. Если будет хоть немного воды, все-таки что-нибудь вырастет. А не хватит воды, все сгорит. Вот я и пришел, чтобы договориться о подати с тех земель. Узнать, когда амлакдар приедет к нам.

— Ну, когда дойдет до вас очередь, начальник на месте у вас и определит. Он к вам не ради ваших забот поедет, а ради своих. Ради доходов его высочества. А чего вы беспокоитесь?

— Мы хотим во время его приезда быть у своих посевов, чтоб защитить себя, если какая-нибудь выйдет ошибка в счете. А то землю в четверть десятины он будет считать за десятину. Урожай в пять пудов засчитает как пятьдесят пудов. У него от этого поясница не заболит.

— Не заболит, если даже пять пудов он посчитает и за сто,— согласился конюх из Шахрисябза.

— Да, ему что! В прошлом году на меня засчитали десять пудов маша, а я собрал всего пять пудов. Так мне всю зиму пришлось таскать топливо из пустыни, продавать его и этими деньгами выплачивать подать. Я этим топливом так намял себе спину, что она и посейчас не гнется.

— У амлакдара она гнется. Ему и ладно! — сказал, смеясь, тот же конюх.

— Ему что! — согласился крестьянин и собрался идти.— Ну, будьте здоровы. Видно, мне придется обшарить всю округу, чтобы найти его.

— Верно, так. Прощай.

Крестьянин, уходя, посмотрел вокруг.

— Хорошую себе усадьбу построил Урман-Палван!

— Эту усадьбу сумели построить потому, что при обмерах крестьянской земли ваш староста говорил: «Примерно тут десятина. Примерно уродится пятьдесят пудов». Вот и собрал, не нажив боли в пояснице, примерную усадебку! — засмеялся тот же конюх.

— Мать моя рассказывала, что отцом Урман-Палвана был приказчик Абдуррахима-бая Наби-Палван. Во время рабства мои родители работали у хозяина под началом этого Наби-Палвана. А я вижу, конюшня у него побогаче, чем приемная комната у нашего хозяина.

С этими словами он заглянул в конюшню. В это время из зинханы, устроенной в конюшне, раздался стон:

— Ох, жизнь моя! За что ж в такую жару держат меня в этой темноте вот уже два дня без еды и питья?

Крестьянин, отшатнувшись, спросил конюхов:

— Кто там?

— Какой-то крестьянин. Когда хозяин сказал: «Примерно тут десятина», он закричал: «Это неправда!»

Услышав их голоса, бедняга крикнул:

— Эй, братцы! Дайте, ради бога, ради жаждущих Кербелы, хоть кусок хлеба, хоть глоток воды.

— А что, ему и хлеба и воды не дают?

— Вчера я дал ему чашу воды и кусок своей лепешки. Об этом узнал Урман-Палван. Он запер зинхану на замок и ключ положил к себе в карман: «Этому вору, говорит, разрешается только спать!»

— О, господи! — воскликнул крестьянин.— Хорошо еще, что и вас вместе с ним не заткнул в зинхану за то, что вы дали воды бедняге.

Самаркандец сказал:

— Конюхов он не тронет. У нас в каждом городе есть староста. Мы зовем их дедами. Есть дедовский дом. Если хозяин вздумает кричать на нас, мы можем обидеться и уйти в дедов дом. И пока он не уступит нам, он не сможет найти конюха на наше место. К нему ни один конюх не смеет прийти без разрешения деда.

Конюх из Шахрисябза подтвердил эти слова:

— Как бы ни был важен наш хозяин, но он вынужден считаться с нами.

— Выходит, положение конюха в нашей стране намного лучше, чем освобожденных рабов и бедных крестьян.

— Да, намного лучше. Конюхи добились этого единством и общим согласием. А крестьяне боятся высунуть голову из воротника и тем губят друг друга.

Когда крестьянин уже подошел к воротам, самаркандец спросил его:

— Спрос не беда,— как вас зовут?

— Эргаш. Я сын бывшего раба Рахимдада.

2

Река Шафрикан, до краев полная, текла, осененная ивами и тополями под сплетшимися над ней ветвями деревьев.

Ее тенистый прохладный берег манил к себе крестьян, с пересохшим горлом работавших весь день под зноем августовского солнца.

В одном из таких тенистых уголков крестьянин бросил наземь мотыгу, скинул свой пропитавшийся потом халат и растянулся в прохладе.

— Эй, Гулам-Хайдар! — позвал его другой крестьянин, вонзая свой серп в дерево.— Вставай! Я совсем проголодался. На, свари поскорей эту фасоль. Хоть немножко подкрепимся.

Развязав поясной платок, он высыпал из него еще не затвердевшую стручковую фасоль.

Гулам-Хайдар, зевнув, поднялся, еще не очнувшись от сна.

— Эх, брат Шади, не дали вы мне вздремнуть. Я сегодня вывез земли на восьмую десятины хлопка. Только было задремал.

— Если б я тебя не поднял, тебя поднял бы амлакдар. Он уже осмотрел землю Карахани и сейчас обедает в усадьбе Куввата-хана. Он вызвал нашего старосту Урман-Палвана, и после обеда они выедут на поля Коко. Самое большое через час будут здесь. Нам надо поспеть до их приезда похлебать фасоли и маленько отдохнуть.

Гулам-Хайдар поднялся и пошел к очагу, устроенному под деревом.

Он положил на тлеющий жар сухих веток и, подув, разжег их. Взял кальян, прислоненный к дереву, набил трубку табаком и, положив сверху уголек, раскурил. Затянувшись, он пере-

дал кальян Шади, легшему голой грудью на влажный береговой песок.

— Скорей вари фасоль! — сказал Шади, затянувшись табаком.

Гулам-Хайдар еще раз затянулся. Выбил трубку в очаг, а кальян прислонил на прежнем месте.

Из-под веток достал котел, насыпал фасоль и пошел к реке за водой. Промыл фасоль, наполнил котел водой и принес на очаг.

Сухие ветки горели хорошо. Он подкинул в огонь еще веток.

— Не забудь посолить! — сказал Шади.

— Ой, я и вправду чуть было не забыл!

С ветки снял он кисет соли, не спеша развязал и посолил фасоль.

— Посоли покрепче. Я сегодня не ел хлеба, а похлебка была несоленой. Из-за этого весь день меня мутило.

— Почему без хлеба ели?

— Не было. А чтоб его испечь, муки не было. А чтоб намолоть муки, пшеницы не было и ячменя не было. А чтоб купить их, денег не было. Вот так и получилось.

— А вы бы велели своей жене намолотить немножко колосьев, из тех, которые уже поспели. Она б из них сделала немножко домашней муки.

— А ты забыл, как в прошлом году амлакдар меня молотил за то, что я намолотил двадцать фунтов пшеницы и съел ее? Надпись от его плетки еще не стерлась с моей спины. Потом он накинул мне за это лишних два пуда подати. И эта накидка пришлась мне, как соль на рану. С тех пор я зарекся брать хоть колосок со своего поля, пока амлакдар не определит урожай и не обложит налогом.

— А кто вас выдал амлакдару?

— Наш проклятый староста Урман-Палван. Ему, как нашему старосте, следовало бы держать нашу сторону, но он служит амлакдару и норовит сделать из мухи слона, из пузыря котел. Всей душой служит амлакдару и разрушает наш дом.

— А какой ему расчет?

— Эх, простота! Он за это, при обложениях налогом, получает от туменного халат, корм для лошади и долю за «труды». Ты не слышал, что ли, как начальник говорит о нашем клочке земли: «Примерно тут десятина», а Урман-Палвану все его огромные посевы сбрасывает, называя это «долей старосты»! Ради этого он и гнется, негодяй.

Бросив в огонь еще несколько веток, Гулам-Хайдар снял с веток узелок, развязал платок и расстелил перед Сафаром. Взял хлеб и кусочек положил себе в рот.

— Берите хлеба, брат Шади!

— Ячменный?

— Да.

— Откуда?

— Откуда ж! Ночью нарвал немного своего ячменя, жена смолола и вот испекла.

— Ну молодец!

Сафар подошел к очагу и, достав одну фасолинку, попробовал. Потом подбросил еще пару веток.

— Почти готово! — сказал он и вернулся к Гулам-Хайдару.

— Берите же хлеб, брат Сафар.

— Ешь сам. Я и фасоли нахлебаюсь.

— Берите, говорю. Хватит обоим. Говорят, сорок человек прокормились одной изюминкой.

Шади сходил за котелком и присел напротив Гулам-Хайдара.

Оба они принялись поочередно хлебать одной ложкой.

В это время на дороге из Махаллы показался человек, направлявшийся к ним.

— Похож на Эргаша,— прищурился Гулам-Хайдар.

— Подойдет, тогда увидим! — ответил Сафар.

— Он самый! — решил Гулам-Хайдар, черпая похлебку.

Пока они черпнули раза по два, Эргаш подошел.

Поздоровались, справились друг у друга о здоровье.

Усадили Эргаша поесть похлебки.

Не успели они приняться за нее опять, как со стороны Карахани послышалось ржание лошадей.

— Пришла саранча! — сказал Гулам-Хайдар, и все посмотрели в ту сторону.

По дороге, поднимая пыль, ехало человек двадцать или двадцать пять.

— Эх, так в котле и остынет наша похлебка! — пожалел Сафар, вытирая рот.

Всадники приблизились.

Впереди ехал, погоняя коня, Урман-Палван.

Он раньше всех подъехал к дереву и, увидев Эргаша, спросил:

— Ты, раб, зачем здесь?

— Пришел узнать, когда вы приедете к нам.

— Это негодяи рабы тебя подослали, сказав: «Если мы сами не будем стоять в поле, Урман-Палван обсчитает нас». Иди собери их. Когда мы тут установим подать, поедем к вам на берег Джилвана,— сказал раздраженно Урман-Палван.

Эргаш ушел.

Подъехал амлакдар, сопровождаемый своей челядью.

Урман-Палван, поклонившись, краем глаз указал ему на котел с похлебкой.

Начальник наклонился с седла над котлом.

— Воры, вы жрете урожай сырым, неспелым, раньше, чем будет установлена доля повелителя нашего! Вы обворовываете эмира нашего? А?

Крестьяне, увидевшие амлакдара, собрались под деревом, вслушиваясь в его слова.

— От бедности, господин! — громко сказал Урман-Палван, стараясь, чтобы эти слова услышали крестьяне.— Из-за горсти фасоли не оскудеет и не разбогатеет казна эмира нашего.

Кто-то из крестьян шепнул побледневшему Гулам-Хайдару:

— Ишь, Урман-Палван норовит показаться нашим заступником, старая лиса.

Один из всадников, увенчанный большой белой чалмой, ответил Урман-Палвану:

— Ваши слова великодушны. Но в книгах сказано: «Доля государя равна доле сироты». Без разрешения амлакдара, которого назначил сам государь, назвав его своим представителем, ни одной соломинки нельзя трогать, даже если она очень нужна.

— Эту недостачу мы накинем при определении налога на фасоль и горох,— сказал Урман-Палван, обращаясь к большой чалме,— а пока мы, если угодно, осмотрим ячмень и пшеницу.

— Поезжайте впереди! Показывайте! — сказал амлакдар Урман-Палвану.

Урман-Палван тронул коня. Следом поехали остальные.

Крестьяне пешком побрели за ними вслед.

Со всех сторон подходили крестьяне, у которых были посевы на этих полях.

— Кто это в большой чалме? — спросил Гулам-Хайдар у Сафара, когда они спешили вслед за всеми к своим полям.

— Его зовут мулла Науруз.

— Что он среди них делает?

— Не знаю.

Другой крестьянин объяснил:

— Он занимается тем, что говорит: «Отрежьте отсюда». Если амлакдар захочет отрезать от какого-нибудь поля, этот мулла говорит: «Нет, нет, не отсюда, а вот там отрежьте. То место чувствительнее для крестьянина». За такую услугу он тоже получит пару мешков корма для своей лошади за наш счет.

3

Амлакдар со всеми спутниками проехал по полям, где клевер был готов к покосу, по посевам хлопка, только что окученного, по бахчам и огородам, где только что сделали грядки, чтобы поднять арбузы и дыни, по посевам гороха, льна и проса, топча копытами коней все, что попадалось им на пути.

Так доехал он до межи пшеничного поля.

Пшеница созрела. Колосья зарумянились, еле-еле держась на тонких стеблях, клонясь, покачиваясь из стороны в сторону и касаясь друг друга, издавали шелест, похожий на тихую песню.

Некоторые колосья, оттого что на них садились птицы, ломались и падали на землю.

Амлакдар, глядя на одно из полей, спросил:

— Чья пшеница?

— Того Шади, который ел фасоль! — ответил Урман-Палван.

— Мерьте, амин! — сказал амлакдар, обратившись к сборщику податей.

Всадники разнуздали лошадей и пошли за амином. Тот, широко шагая, считал свои шаги. Разнузданные лошади, идя за хозяевами на поводу, с треском ломали и пожирали урожай, топтали переспелый хлеб, вбивали копытами в землю тяжелые колосья.

— Саранча! — сказал Гулам-Хайдар.— Ну, прямо настоящая саранча!

— Саранча в тысячу раз лучше их. Эти злее. Та ест, пока голодна, а насытившись, не топчет урожай. А эти топчут не потому, что голодны, а потому, что злы.

— Это дикие кабаны. Они жрут все, на что наступит их нога, они все норовят раздавить и разрушить. Если же ты слово скажешь не по ним, они и тебя съедят.

— Этот начальник всыпал мне сорок ударов палкой за то, что до его приезда я с собственного поля взял две мерки собственной пшеницы. А теперь у себя на глазах позволил растоптать всю мою пшеницу. Это справедливо? — спросил Сафар, утирая рукавом слезы.

— И ведь оттого, что крестьянин съел горсть своей пшеницы, ни на одно зерно не беднеют ни казна эмира, ни доля чиновников, ибо будь тут хоть пустая земля, все равно скажет: «Здесь пятьдесят пудов урожая». И никто не посмеет возразить ему.

— Амлакдар делает это не затем, чтоб сохранить казну эмира, а чтоб еще больше задавить крестьянина, чтоб еще больше нас запугать, чтобы мы стали еще смирнее.

Погуляв по пшенице, всадники вернулись к меже. Писарь,

вытащив из-за пояса пенал, а из пенала перо, достал из-за пазухи листок бумаги и написал:

«Селение Махалла. Поле Коко...»

Он остановился, ожидая распоряжений.

— Ну, сколько там? — спросил амлакдар у сборщика податей.

— Примерно полдесятины,— ответил сборщик.

— Ой! Погиб я, разорился! — воскликнул Сафар, схватившись за голову. Он торопливо вынул из-за пазухи какую-то тряпку и закричал чиновнику: — Это поле вместе с лугом, который рядом, и вместе с той полудесятиной, что рядом с ними,— все это вместе составляло одну десятину! Это переходило от деда к отцу и от отца ко мне. Вот бумага. По ней я наследовал эту землю...

Бумага, протянутая амлакдару, от времени развалилась на клочки. Но чиновник взял ее от Шади, передал писарю и спросил:

— Что ты хочешь доказать? Ты же сам сказал, что у тебя десятина, а наш амин засчитал ее за полдесятины. Чего же ты кричишь?

— Да падут на мою голову все ваши беды, господин-бек! Я еще не договорил. Эта десятина состоит из четырех участков, а тут только один участок.

— Кому это известно? А почему не две десятины у тебя?

— А потому, что в этой бумаге вся моя земля указана как одна десятина.

И объяснил:

— Когда умер мой отец, на похороны я задолжал у старосты, вот у отца нашего старосты, приказчика Абдуррахима-бая, и в погашение долга отдал ему полдесятины. Бай позвал землемера, ублаготворил его, и тот своими шагами отмерил ее так, что отхватил намного больше. Ну, ладно, считайте, что тут полдесятины.

— Да, так мы и сосчитали,— полдесятины пшеницы! — сказал чиновник, делая вид, что не понимает слов Сафара.

— Но ведь и этот луг тоже относится к той же полудесятине. А вы, когда весной меряли, записали, что под люцерной у меня восьмушка. Значит, на пшеницу у меня из моей земли осталась тоже восьмушка.

Сафар повернулся к писарю:

— Прошу вас, прочитайте им бумагу о наследовании.

Писарь посмотрел на эту бумагу, повертел ее в руках и снова сложил.

— Читайте, говорю, глухой вы, что ли?

— Ого! Он нас пугает! — сказал амлакдар Урман-Палвану.

Урман-Палван, играя конем, подъехал к Сафару.

— Ты сперва думай, а потом говори,— сказал он, хлестнув Сафара по голове плеткой.

— За что такая несправедливость! — закричал Сафар.

Крестьяне заговорили:

— Несправедливо это!

— Нечестно!

— Не по закону...

Сафар, взяв за узду коня Урман-Палвана, сказал:

— Староста, как перед богом, скажите: ваш отец брал у меня эту землю за полдесятины или меньше? У вас на руках должна быть и купчая, скрепленная печатью казия.

— Ты говори о настоящем, а не раскапывай старые могилы.

— Когда вы копаете для меня новую могилу, простительно копнуть старую, чтоб уцелеть. Сколько лет записывали вы на меня лишнюю землю и разоряли мой дом? А если я спрашивал, вы кричали: «Покажи бумагу, твоим словам я не верю». Вот она! Я обшарил все углы, пока ее нашел. Почему ж теперь вы ее не читаете? А когда я говорю: «Читайте», вы не только не читаете, но бьете меня. Это справедливо, что ли? Вот она у писаря, читайте!

— Господин! — тихо сказал Урман-Палван амлакдару.— Весной, во время определения подати с люцерны, вы определили это поле в полторы восьмых. Ладно, пускай пропадет, запишите и это поле за полторы восьмых.

Чиновник взглянул на амина. Амин одобрительно кивнул.

Чиновник повернулся к писарю:

— Пишите!

— На чье имя?

— На Сафара Шади.

— Сколько?

— Полторы восьмых.

— Неверно! — крикнул Сафар.

Со всех сторон крестьяне заворчали:

— Неверно! Нет там столько.

— Неверно!

— Неверно!

— Пишите! — сказал амлакдар писарю.— Если б вы записали даже одну восьмую, они все равно закричали бы: «Неверно!»

Кто-то из крестьян засмеялся:

— И вор плачет, и обворованный плачет.

Крестьяне засмеялись. Амин тоже засмеялся недобрым смехом.

Амлакдар нахмурился.

— Какая с него подать? — спросил писарь у амина.

— От семидесяти пудов урожая три десятых доли эмира да одна десятая доля вакфа.

Сафар опять закричал:

— Да где же это видано, чтоб с четверти десятины собирали такой урожай? Этакого урожая ни отцы наши, ни деды никогда не видывали!

— Если бог захочет, четверть десятины даст вам и семьдесят пудов.

— Ну, на моем поле бог этого не захотел. А чтобы зерно не с земли, а с неба к нам сыпалось, такого урожая мы еще не собирали.

— Ты что ж, отрицаешь могущество божие? — спросил, заволновавшись, мулла Науруз.

— Если вы верите в его могущество, зачем же вы ездите с начальником и лижете ему зад? Идите, ложитесь в тени мечети, корм вашему коню просыплется с неба через дырку в потолке, а лепешки вкатятся к вам через окошко.

Сафар опять повернулся к амлакдару.

— Куда б вы ни пошли, везде одинаково — два раза по пятнадцати будет тридцать. Одна восьмушка даст один урожай, а две восьмушки — другой. Хоть вы и записали мою землю за полторы восьмушки, а ее здесь всего одна. Да и полить ее я не смог, как надо.

— Это твоя вина! — сказал амин.— Почему не полил? Надо было полить!

— Потому что, когда дошла до меня очередь, Урман-Палван отвел всю воду к себе в сад. Тут не один мой посев, и у многих других из-за этого сгорели поля.

— Осел! — сказал Урман-Палван Сафару и повернулся к чиновнику: — Этот голодный «силач» один раз раскрыл рот, и язык его раскачался. Надо ему укоротить язык, чтобы другим не было повадно. А не то мы десять дней будем ездить по полям этого селения.

Амлакдар охотно согласился и приказал:

— Ну-ка, подвесьте его на дереве. Пусть мозги его вернутся на место.

Два стражника соскочили с седел, схватили кричавшего Сафара, связали ему руки и поволокли к дереву.

Урман-Палван, повысив голос, распорядился:

— Не на то дерево! Не на тенистый карагач, там слишком прохладно. Подвесьте-ка к шелковице, вон к той, с обрезанными ветками, чтоб он почувствовал зной этого дня и мозги б у него закипели, тогда ум его вернется на свое место.

Когда люди амлакдара хотели войти на участок, соседний с участком Сафара, амин сказал:

— Эта земля, должно быть, принадлежит старосте?

— Да, это моя! — подтвердил Урман-Палван.

— Тогда пускай она и останется ему его долей. Пойдем дальше.

— А ячмень по ту сторону вашей пшеницы, это тоже ваш? — спросил один из людей у старосты.

— Нет, это Гулам-Хайдара. Вот этого! — ответил Урман-Палван.

— Пусть эта земля останется за муллой Наурузом, после жатвы и молотьбы часть урожая, положенную под налог, получит мулла Науруз.

— Измерьте, господин! — попросил Науруз.— Глаза этого Гулам-Хайдара мне кажутся беспокойными. Пока ее сожнешь да еще смолотишь, он половину украдет. Что я тогда возьму с него?

— Чтоб тебе подавиться ею, злодей! — сказал Гулам-Хайдар, но негромко.

— Если ее измерить, она войдет в эмирскую опись и вам не достанется,— сказал амлакдар.

Эмирская опись — большой свиток бумаги, в котором отмечали налоги с записанной в этот свиток земли. Свиток скручивали трубочкой и так хранили.

Урман-Палван сказал:

— Если глаза этого человека неспокойны, ваши-то на месте. Следите, стерегите, а потом и соберите урожай. Не правитель же наш будет убирать и ссыпать его в ваш амбар. Если б он оставил это мне, я брал бы все до последнего зернышка, сам и обмолотил бы его.

— Мы вам оставим какое-нибудь поле побольше, не огорчайтесь, Палван! — успокоил его амлакдар.

— Благодаря милости его высочества и вашей мне здесь много принадлежит. Могу ли я расстраиваться из-за такой мелочи?

Все всадники двинулись в другую сторону.

— От этого ячменя пусть и мне оставят одну десятую, как долю вакфа! — сказал арендатор вакуфных земель, следуя за всадниками.

Сафар, подвешенный под мышки на дереве, закричал:

— Эй, писарь, верни же, наконец, мне мою бумагу!

Писарь принялся было шарить в своей папке.

Но Урман-Палван сказал ему:

— Не надо. Порвите эту бумагу, а иначе он каждый год будет вытаскивать ее и скандалить.

Всадники удалялись.

Проехали мимо Сафара.

Скрылись в пыли.

А Сафар все еще кричал им вслед:

— Моя бумага! Отдай мне ее, мою бумагу!

4

Осмотрев земли в Балаи-Руд и в Коко, амлакдар поехал на берег Джилвана.

Джилван не был таким полноводным, как река Шафрикан. Он казался сырой тропинкой, уцелевшей в пустыне после дождей.

И посевы вокруг Джилвана казались пустыней. Пшеница росла редкой и чахлой, колосья поникли, и зерна не наливались. Дыни и арбузы родились мелкие. Маш и фасоль сгорели на солнце прежде, чем расцвели.

Едва амлакдар остановил своего коня на берегу Джилвана, его окружила толпа босых, полуголых людей.

— Чья это пшеница? — указал амлакдар на урожай Эргаша.

— Моя! — ответил Эргаш, выходя вперед.

— Как зовут?

— Эргаш Бобо-Гулам.

Бобо-Гулам — значит «дедушка-раб». Так на хозяйском дворе звали Некадама в годы его преждевременной старости.

— Ты из рабов? — спросил амлакдар.

— Из рабов, родившихся у нас дома,— сказал Урман-Палван.

— Почему ты плохо работал?

— Работал, но воды не хватало, и все выгорело.

— Надо было собраться всем, прокопать арык и вовремя взять воду.

— Не раз — несколько раз копали. Но сегодня прокопаем, а завтра его засыпает песок.

— На эти работы вы такой же толпой ходили?

Крестьяне, не находя ответа на этот вопрос, молчали.

Урман-Палван сказал:

— Господин! Они пришли сюда, говоря: «В прошлом году староста определял наш урожай без нас, так в этом году мы все выйдем на поле, а не то нас опять обсчитают. Поговорим с беком, добьемся снижения подати».

— С кем вздумали спорить? — удивился амлакдар.— И о чем? О доле нашего повелителя?

Он рассердился:

— Я не обязан им объяснять, как я определяю подать. И спорить с ними не буду. Писарь! Пишите эту пшеницу за пятьдесят пудов.

Писарь записал:

«Эргаш Бобо-Гулам. Одно поле пшеницы. Налог с пятидесяти пудов урожая».

— Я бы хотел узнать, сколько же я должен эмиру?

— Я вам не обязан объяснять или с вами советоваться. Придет бумага, и там будет написано.

— А та земля чья? — указал амлакдар на поле, вскопанное мотыгой.

— Тоже моя,— ответил Эргаш.

— Ты, видать, завладел всем полем? А почему ты его не засеял?

— Прошлый год я его не вскопал, и оно заросло колючкой. Вы наложили на меня налог в десять тенег за колючку. Поэтому я его вскопал, чтобы не росла колючка.

— Так. Ты признался сам, что совершил преступление. Писарь, запишите на этого человека налог двадцать тенег за вспаханное, но незасеянное поле.

Эргаш кинулся к писарю и ухватил его руку, державшую перо.

— Это что же такое? Да где ж справедливость?

К нему подскакал Урман-Палван и принялся хлестать плеткой по голове.

— Погибаю! Ой, голова! Ой, глаза! — Но, крича, Эргаш держал руку писаря, не давая записать.

Разгневанные крестьяне схватили за узду лошадь Урман-Палвана и потащили ее прочь.

Урман-Палван, бросив Эргаша, закричал:

— Рабы! Негодяи! — и кинулся с плетью на крестьян.

Эргаш, почувствовав новые силы от дружеской помощи крестьян, отпустил писаря и, выхватив из рук Урман-Палвана плетку, принялся хлестать Урман-Палвана. Хлестал и приговаривал:

— Твой отец, Абдуррахима-бая приказчик, плеткой заставлял нас работать. Наших отцов хлестал. А теперь ты за то же взялся? Получи сдачи, змееныш. На, получи!

Люди амлакдара налетели на крестьян. Били плетьми, каблуками, стременами. Они схватили Эргаша и еще нескольких крестьян, оказавшихся впереди. Остальные разбежались.

Писарь записал:

«Эргаш Бобо-Гулам. С пахоты налог двадцать тенег».

— Хорошо получилось! — сказал амин хмурому Урман-Палвану.— Не надо теперь ходить да приговаривать: «Примерно десятина». Теперь начальник сам назначит, как захочет.

— Это я ему шепнул: «Этих рабов надо покруче прижать»,— ответил Урман-Палван сборщику податей.— А иначе и правитель страны с ними не справится. Будь то казий, будь то раис, амлакдар, будь хоть сам начальник стражи, только дотоле они могут

управлять, пока с нами будут считаться. Этот голый и босой народ без нас такое бы здесь натворил, что всем правителям благородной Бухары стало бы жарко. Помнишь пословицу: «Кто ладит с правителями, повелевает деревней»?

Схваченных крестьян связали и отправили в темницу амлакдара. Мулла Науруз, глядя им вслед, сказал амлакдару:

— Рабы — не мусульмане. Они — шииты. Кроме подати и налога, их можно обложить еще налогом на иноверцев. Так разрешает наш шариат. Если б я был муфтием, я издал бы фетву по этому вопросу.

— Если б эмир слышал эти слова,— ответил амлакдар,— он сразу же сделал бы вас муфтием. И тогда вы избавились бы от необходимости ездить по полям, добывая корм для своей лошади.

— А мы избавились бы от вас! — добавил Урман-Палван.

Все засмеялись.

Амлакдар тронулся дальше, к соседним полям.

5

Гулам-Хайдар снял свой урожай ячменя.

Назар-бай, арендатор вакуфных земель, увидел муллу Науруза, озабоченно ходившего вокруг тока, и сказал ему:

— Ни брюхо осла, ни брюхо его хозяина не насытится. Как говорится: «Ликуй, осел,— ячмень спеет!» Пока вы добыли этот «корм для коня», вы совсем выбились из сил! Теперь нельзя зевать!

— Если кое-что перепадет мне с этого тока,— ответил мулла Науруз,— так ведь и вам тут причитается. Почему ж я один должен хлопотать?

— Мне тут причитается одна десятая, а вам целая треть! Потому и забот ваших больше. А сверх того, вы отсюда возьмете еще две положенные доли — для даруги и кафсан. Вот вы и должны охранять этот ячмень.

— Ну, я не так прост! Как только Гулам-Хайдар начал жатву, я день и ночь, не смыкая глаз, приглядывал за ним. И припугивал, крича: «Ты украл от этого урожая!»

— Ну, если вы присматриваете и знаете, что он не украл, зачем же его пугать?

— Чтобы, оклеветав его, получить больше.

— Молодец, мулла! Вы могли бы пойти ко мне в секретари.

— Для этого я недостаточно грамотен! — вздохнул мулла.—

Но если б вы мне поручили охрану этих урожаев, с этим я справился бы вполне.

— Что ж, подумаем об этом! — ответил Назар-бай и поехал.

Мулла Науруз крикнул ему вслед:

— Будьте спокойны. Здесь у нас ничего не пропадет!

* * *

Гулам-Хайдар провеял ячмень и сгреб в кучу.

Мулла Науруз сходил на реку, принес сырой песок и посыпал его по горсти в середине тока и по краям с четырех сторон. Из кармана он достал деревянное клеймо и вдавил его в сырой песок.

Замысловатый узор, выбитый на этом клейме, начал засыхать и осыпаться. Закрыв таким способом доступ ворам к урожаю, мулла Науруз отправился за арендатором Назаром-баем.

Гулам-Хайдар убеждал муллу Науруза поторопиться:

— Возвращайтесь скорей. А не то что ж я тут буду сидеть?

Мулла Науруз с Назаром-баем приехали лишь через неделю.

Когда, привязав под деревьями своих коней, они подошли к току, мулла Науруз завопил:

— Отсюда воровали!

— Вам приснилось,— ответил Гулам-Хайдар.

— Во сне ли, наяву, а ты украл!

— Докажите.

— Доказать? Клеймо — доказательство. Но где оно? Оттиска-то нет?

— Какой же оттиск продержится неделю на сухом песке? А песок-то ведь давно унесло ветром.

— Отговорки вора!

— Грех, отец, называть вором земледельца, который целый год занят тем, чтоб добыть урожай для дармоедов.

— Ну, ладно,— успокоил муллу Назар-бай.— Найдем, когда будем брать зерно с тока.

Крестьяне, оказавшиеся в поле, подошли, говоря:

— Изобилие сему току!

— Изобилие,— усмехнулся Гулам-Хайдар.— Если наш мулла так молится за нас, погляжу, каково-то будет изобилие на ваших токах.

— Ты муллу не задевай, а то попадешь в неверные! — засмеялся один из крестьян.

— Если все это есть мусульманство, то пусть я буду неверным! — ответил Гулам-Хайдар.

Мулла, недовольный этим разговором, строго сказал:

— Не шути! Если я объявлю тебя неверным, тебя поволокут к казию, и он прикажет забросать тебя камнями как богоотступника, как «оскорбившего пророка».

Сафар, сидевший молча на краю тока, спокойно сказал:

— Ой, не пугайте нас, мулла. Мы и не такое видывали.

— А ты, видно, уже забыл, как висел на дереве? Чего лезешь в чужой разговор?

— Висел на дереве! Повесьте еще, сбросьте с башни. Ну! — рассердился Сафар.

— К чему этот спор, о чем? — прервал муллу Назар-бай и кивнул Гулам-Хайдару: — Вставай. Бери решето. Займемся делом.

Гулам-Хайдар наполнил решето зерном.

Мулла Науруз и Назар-бай стояли, раскрыв свои мешки.

С полным решетом Гулам-Хайдар подошел к ним.

— Это,— сказал Назар-бай,— за охрану зерна. Сыпь в мешок муллы.

Второе решето ушло к первому. Гулам-Хайдар наполнил третье решето.

Со стороны деревни показались деревенский имам, старшина, ведавший распределением воды, и цирюльник, бежавшие к току с мешками в руках.

— Это решето сыпь своему мулле за молитву! — сказал Назар-бай.— Четвертое — старосте за распределение воды. Пятое — цирюльнику за бритье твоей головы, как полагается истинному мусульманину.

Гулам-Хайдар, рассчитавшись с этими долгами, наполнил шестое решето.

— Это,— сказал Назар-бай,— сыпь в мой мешок, как десятую долю того зерна, которую ты уже высыпал.

— Разве одно решето составляет одну десятую от пяти решет? — удивился Гулам-Хайдар.

— Как только перевалило за четыре с половиной решета, уже считается десять полных решет. Это исконный обычай у нас в Бухаре! — объяснил Назар-бай.

— Пропади он пропадом, такой обычай,— плюнул Гулам-Хайдар.

— А ты захотел, чтоб из-за тебя нарушалось то, что установлено предками?

— «Обычаи народа равносильны велению Корана»,— сказал мулла Науруз, повторив то же на арабском языке.— Так написано в книгах.

— Если б вы сейчас и не заговорили, все равно решето зерна вами уже получено.

— Когда один муравей тащит зернышко, другой муравей всегда помогает.

— Ты молчи да выполняй обычаи! — сказал староста Гулам-Хайдару.

— Если вы собрались на грабеж, грабьте сами, я вам не помощник! — отбросив в сторону решето, потерял терпение Гулам-Хайдар.

Он сел в стороне, обхватив руками колени и безнадежно глядя на свой урожай.

— В таком случае я его заменю,— сказал староста. Он сбросил халат, взял решето и подошел к зерну.

— Ваш мешок раскройте, брат Назар-бай! — предложил он арендатору.

После того как староста высыпал в мешок Назара-бая два решета, он предложил:

— Из расчета трех десятых сыпьте подряд два решета мулле Наурузу.

Так, не получив сам еще ни одного зерна, Гулам-Хайдар уже отдал восемь решет своего ячменя.

Мимо проезжал на коне какой-то дервиш, одетый в лохмотья. Остроконечная расшитая шапка высилась на его голове, раскрытый кокосовый орех висел на животе, сухая полая тыква покачивалась на бедре. Длинную палку с острым наконечником он держал в руке, как копье. Дервиш подъехал и сошел с седла.

Воткнув палку в землю, он привязал к ней коня, вынул из переметной сумки две сдобных лепешки и тарелочку.

Положив лепешки на тарелочку, он подошел к току.

— Ёгу! Ёмангу! Мой пир — Бахауддин Накшбанди,— сказал он и поставил тарелочку перед муллой.

— А, пожалуйте, пожалуйте, Шараджаб! Только вас тут и не хватало.

Имам торопливо тут же разломал лепешку и принялся за нее. Назар-бай, староста, цирюльник — все потянулись за хлебом.

Когда на тарелке осталось два маленьких ломтика, Назар-бай толкнул тарелку к Сафару.

— Вы тоже ешьте. Хлеб дервиша — это святая жертва.

Сафар даже не взглянул на хлеб.

Но мулла, не отрывая глаз от двух ломтиков хлеба, торопливо проговорил:

— Ну, берите. Берите же! Разве вы сыты? А если сыты, предложите другим. А если никто не съест, съедим сами.

Сафар взял кусочек и толкнул тарелку к другим крестьянам. Каждый отламывал себе по крошке и передавал дальше.

Наконец один из крестьян пододвинул тарелку Гулам-Хайдару. На ней лежала хлебная крошка.

— Отведай и ты хлеба-соли святого человека. Возьмешь или нет, одно решето все равно уйдет ему.

Но Гулам-Хайдара одолевали гнев и обида.

— Нет, мне не надо. Это тоже отдайте тем обжорам, а то они голодны,— оттолкнул он тарелку.

Гулам-Хайдар заметил, что дервиш, отвязав свою лошадь, принялся кормить ее полуобмолоченным зерном в решете.

Порывисто вскочив, Гулам-Хайдар выдернул из земли копьеподобную палку дервиша и с такой силой ударил по лошадиной морде, что лошадь сперва вздыбилась, а затем кинулась бежать.

Схватив дервиша за ворот, Гулам-Хайдар закричал в ярости:

— Это зерно — все, что, может быть, мне достанется, а ты и его, дармоед, хочешь скормить скотине!

Вырвавшись, дервиш бросился вслед за лошадью.

Остальные опять занялись дележом зерна.

— Сначала нужно учесть похищенное зерно, а потом делить,— потребовал мулла Науруз.

— А разве отсюда воровали?

— Да, стерли клеймо с песка.

— А сколько украли?

— По моим подсчетам, десять пудов.

— Кто украл? — гневно подступил к Наурузу Гулам-Хайдар.

— Ты!

— Он не вор. Он не украдет. Вы говорите неправду,— сказал Сафар.

Раздались возгласы крестьян:

— Ложь!

— Клевета!

— Все вы воры. Вы тут сговорились! — встал с места мулла Науруз.

— Сам-то ты вор,— твердо сказал Гулам-Хайдар, подойдя к мулле.— Кроме цирюльника, который через каждые десять — пятнадцать дней бреет мне голову и подстригает бороду, все вы не сделали для меня ничего. Не дали мне ни зерна, а взяли уже восемь решет. За что мне вам давать? А вы норовите выгрести у меня все, до последнего зернышка.

Разгневанный Гулам-Хайдар, не в силах сдержать себя, продолжал:

— Нет, ты не вор, негодяй! Это — не воровство, это — дневной грабеж у всех на глазах!

— Не болтай! Знай, что говоришь! — крикнул арендатор, набрасываясь на Гулам-Хайдара с плетью.

Мулла Науруз, взглянув на арендатора, осмелел. Тоже вытащил из-за пояса плеть и ударил по голове Гулам-Хайдара.

Гулам-Хайдар схватил муллу за горло и, дав ему подножку, свалил его. Мулла гулко упал на землю. Гулам-Хайдар, вскочив ему на грудь, принялся бить муллу коленями, сжимая горло ненавистного Науруза.

Наурузу на помощь с криком: «Мерзавцы, воры!» кинулся Назар-бай.

— Уж если суждено нашему дому сгореть, пускай горит сразу! — не спеша проговорил Сафар и, схватив Назара-бая сзади, приподнял его и бросил.

— Свершилось невозможное! — сказали остальные крестьяне.— Теперь нам остается одно: бить их так, чтоб потом не раскаиваться.

— Бейте с толком,— предупредил их Сафар.— Бейте так, чтоб следов не осталось.

Деревенский имам, староста и цирюльник, подхватив свои мешки, кинулись бежать.

— Как бы и наши ноги не провалились в эту яму!

Отбежав далеко от тока, где крестьяне колотили Науруза и Назара-бая, трое беглецов увидели четвертого: дервиш стоял, держа пойманную лошадь, у которой из рассеченной морды капала кровь.

— Зря пропали мои молочные лепешки,— с досадой проговорил дервиш.

Вскочив в седло, он ускакал от места, откуда слышались крики избиваемых муллы и Назара-бая.

6

В Бухаре во дворе медресе Мир-Араб собрались муллы, они вели разговор о вакуфных землях медресе.

В стороне от них, но внимательно вслушиваясь в их разговор, сидел круглолицый, круглобородый Назар-бай и похудевший и поникший мулла Науруз.

Разговор шел о вакуфных землях медресе и о жалобе арендатора Назара-бая, который, стеная и крича, рассказал о том, как его отколотили крестьяне, работавшие на землях медресе.

Один из мулл сказал:

— Пять лет назад вакуфные земли нашего медресе давали пятьдесят тысяч тенег в год. Теперь доход достиг двухсот тысяч в год. Одни лишь земли, арендованные Назаром-баем, дают пятьдесят тысяч тенег.

Другой мулла развил его мысль:

— Если урожай на наших землях будет так и дальше расти, лет через десять — пятнадцать наше медресе станет получать огромные доходы, как эмирская казна.

— Самый удачный арендатор у нас Ариф-рангубар. Он каждый год берет у нас аренду, и плату от него мы получаем раньше всех, после его взноса стоимость аренды резко повышается.

— Как понимать ваше выражение «удачный арендатор»?

— Ариф-рангубар любит поживиться. Это же известно всем.

— Да, каждый год Ариф весной в начале полевых работ берет у нас землю. А если приходит другой и дает больше, Ариф получает с нас неустойку и уходит. Никто не видел, чтобы он оставлял аренду за собой.

— Самый решительный и оборотистый арендатор у нас — это Шариф-Кичири! — сказал третий мулла, но когда он хотел развить и доказать эту мысль, Назар-бай закричал:

— Господа!

Когда все замолчали, Назар-бай сказал:

— Сперва обсудите мое заявление, затем можете говорить о чем угодно.

— Какое именно?

— Я же вам говорил и повторяю. Ваши крестьяне меня избили, изругали, не дали моей доли и выгнали. Вы обязаны восстановить мое достоинство и постановить, чтобы там без всяких разговоров, по одному моему подсчету, давали мне урожай. Если вы этого не сможете сделать, верните мне мои одиннадцать тысяч тенег с пятью тысячами тенег неустойки. А потом что хотите, то и делайте,— отдавайте хоть Арифу, хоть Шарифу. Ваше дело!

— Когда вы давали нам одиннадцать тысяч тенег наличными? — спросил мулла, сидевший в стороне, и добавил: — Из вашей аренды я получил свою долю как владелец кельи. Вашу аренду тогда исчисляли как одну тысячу тенег.

Прежде чем Назар-бай успел ответить, имам, распоряжавшийся вакуфными имуществами медресе, сказал мулле:

— Вы, брат, еще не знаете порядка аренды. Вы лишь первый год содержите у нас келью и пользуетесь вакфом.

— Объясните, пожалуйста, каков этот порядок,— ответил мулла мутавалли, заметно сердясь.— Я заплатил за келью двадцать тысяч чистеньких, беленьких, серебряных тенег, чистым серебром, чеканенным в нашей священной Бухаре. Я купил у вас в медресе келью в надежде на ваш богатый вакф. Вы мне и скажите, какую пользу в этом году я получу от этого вакфа? Сейчас я подсчитал: если доходы медресе от вакфа достигли двухсот тысяч тенег, мне причитается около тысячи. Разве не так?

— Чтобы вам было понятно, я скажу, как сдавалась эта земля в аренду. Землю, арендованную Назаром-баем, мы в феврале сдали Арифу-рангубару за десять тысяч тенег. Ариф обязался внести тысячу тенег наличными, а тысяча тенег — неустойка. Остальные восемь тысяч тенег он обязался внести тремя долями в течение года. Внесенная тысяча шла на случай неустойки со стороны Арифа.

— А что такое неустойка? — спросил мулла, прервав имама.

— А то, что эту сумму, хотя мы и не получили, считаем полученной,— ответил имам.

— Почему? — вздрогнул новый арендатор кельи.— Почему мы должны неполученную сумму считать полученной?

— Потому что, если придет кто-нибудь другой и даст за аренду дороже, Ариф выпадает из дела. Чтоб он не остался с пустыми руками, этой тысячью мы возмещаем ему расходы по составлению договора у судьи и затраты, сделанные им в медресе при заключении сделки.

— Какие затраты?

— Благотворительность и угощение.

— Так, я понял.

— В марте пришел Шариф-Кичири и взял вакуфную землю за пятнадцать тысяч. Две с половиной он внес наличными, а полторы считались неустойкой. Получив от Шарифа эти деньги, две тысячи мы отдали Арифу. Одна тысяча — это возврат его наличных денег, а другая — это обусловленная неустойка. А пятьсот тенег мы распределили между теми, кто получает доход от вакфа.

— Это я тоже понял. Одну тысячу бросили на ветер.

— Считайте, что деньги выброшены на ветер,— ответил имам и продолжал: — В апреле пришел Хаджи Курбан и предложил за эту землю двадцать пять тысяч, при условии, что он вносит четыре с половиной тысячи наличными, а две считаются неустойкой. Тогда четыре тысячи мы отдали Шарифу, а пятьсот мы распределили по медресе.

— На ветер полетело уже две тысячи с половиной.

— В июне,— невозмутимо продолжал имам,— пришел Камалбай и поднял аренду до тридцати пяти тысяч. Семь дал наличными, а три — в счет неустойки. Из них шесть тысяч пятьсот тенег мы отдали Хаджи Курбану, а пятьсот распределили между собой.

— Вылетело уже четыре с половиной тысячи.

— В июле, в день фасха, пришел вот этот человек, Назарбай, и взял аренду за пятьдесят тысяч. Он внес наличными одиннадцать тысяч тенег, а пять — как неустойку. Десять тысяч из них мы отдали Камалу-баю, а тысячу распределили по кельям. Тогда вы и получили долю своей кельи.

— И вышло, что семь с половиной тысяч тенег вылетели в трубу. Иначе говоря, одна шестая всей аренды ушла на неустойку. Я не понял, что такое «день фасха»?

— День фасха — это последний день, когда можно отказываться от одного арендатора для другого арендатора,— объяснил имам.— Фасх — это день, к которому может созреть пшеница, и, значит, новый арендатор мог бы выбить готовый урожай из рук своего предшественника.

Владелец кельи засмеялся:

— Хорошо, что хоть есть такой фасх, а не то арендаторы выбивали б друг друга и дальше и этот человек получил бы пять тысяч неустойки, и в таком случае неустойка по этой земле достигла бы четверти всей аренды.

— Я эти пять тысяч и сейчас получу! — заявил Назар-бай.

— Нет, не можете,— ответил с гневом один из мулл.— Землю вы сами бросили. Кто же вам обязан давать неустойку?

Настоятель не согласился с этим муллой.

— Так нельзя относиться к человеку, который, отдав себя на растерзание, с высохшей земли, с «голодных силачей» собирает нам пятьдесят тысяч. Так нельзя к нему относиться.

Увидав, что настоятель медресе защищает его, Назар-бай ободрился.

— Если считать, что вы что-то там соберете на основе закона, так надо прямо сказать: с этих земель вы не соберете и двадцати тысяч. Только самопожертвование таких людей, как я, даст вам пятьдесят тысяч.

Настоятель задумался.

— Надо найти средство, чтобы крестьяне безоговорочно внесли нам все, что с них причитается — вакуфную долю.

— Надо собрать учащихся всех медресе и с их помощью избить крестьян, как ослов,— предложил молодой мулла.

Другой мулла предложил:

— Это не дело. Надо их привести к казию и сделать им там внушение.

Еще один мулла добавил:

— После внушения палкой или ремнем их надо еще оштрафовать. Это будет им похлеще ремня или палки.

Мулла Науруз явно заинтересовался этим спором и вытянул шею, чтобы яснее слышать предложения мулл.

— Чтобы с них взыскать, надо, чтоб у них что-нибудь было. А у них ничего нет. Они голы, негодяи! — сказал Науруз.— Надо получить разрешение богословов и забросать их камнями, как богоотступников!

— Это пустые слова,— возразил кто-то из мулл.— Камнями ни наш живот, ни наш карман не наполняется. Нужна действенная мера.

— Какая же?

— Действенная мера, чтобы деньги за эту землю заблестели у нас здесь.

— Что же это такое? — заинтересовался настоятель.

— Я же отчетливо сказал: «Нужна действенная мера»,— и предлагаю считать: действенная мера суть та, вследствие которой деньги за эту землю заблестят у нас здесь.

— Это тоже пустые слова,— рассердился настоятель, ожидавший услышать что-то толковое.

— Не принимаю! — воскликнул мулла.— Мои слова можно было бы считать пустыми лишь в случае, если бы в них не было определенного смысла.

Другой мулла, владевший в Мир-Арабе многими кельями и получавший с них доход, поддержал это риторическое выступление:

— Человек, предлагающий найти действенную меру, в результате коей наши деньги за землю будут добыты,— не пустослов.

— Возможность еще не есть действительность,— ответил другой мулла, желая взять сторону настоятеля.— Например, сказочная огромная птица Анка относится к числу возможностей, однако в действительности ее никто не видел.

Один из учеников медресе шепнул другому:

— Этот человек мой репетитор, он преподаватель второй степени. Ученики вначале обучаются у него и только затем имеют право обучаться у старшего преподавателя. Он очень искусный спорщик. Он сам говорил, что однажды в эмирском дворце он переспорил нескольких ученых мулл.

— Мой репетитор ученее твоего учителя. Когда он в келье дает урок, его голос слышен на улице. Даже неграмотные прохожие останавливаются с удивлением и говорят: «Видно, это очень ученый человек, если поучает столь громко».

Мударрис Мир-Араба молча сидел в стороне, перебирая четки и что-то бормоча себе под нос. Теперь он вмешался в разговор:

— Послушаем, что придумал настоятель медресе.

— А что может придумать этот невежда? — сказал самоуверенный мулла, владевший многими кельями.

— Сиди тихо, невежа,— одернул его мударрис.

— Почему тихо? Если вы из вакфа этого медресе получаете долю только за то, что преподаете, то я получаю за мои кельи, купленные мною за золото.

— Тихо, тихо! — зашумели ученики, словно готовясь полюбоваться петушиным боем.

Мударрис попросил настоятеля:

— Просим вас изложить ваше мнение.

— Происшедшее,— сказал настоятель,— касается не только нашего арендатора Назара-бая. Оно касается не только нашего медресе. Оно касается всех, кто работает на вакуфных землях. Оно касается всех, получающих доход от вакфа.

Имам вставил:

— Оно касается и казия, верховного судьи священной Бухары нашей, ибо с вакуфных земель он получает доход за то, что своей печатью скрепляет все сделки по вакуфным имуществам.

— Правильно,— поддержал имама другой мулла.— Просим настоятеля объяснить, получал ли верховный судья с этой пятидесятитысячной аренды двести пятьдесят тенег из расчета пяти тенег с каждой тысячи?

— Он получил больше,— сказал имам и пояснил: — Эта аренда пять раз оформлялась, пять раз писались бумаги, и пять раз он ставил на них свою печать. Это составит шестьсот семьдесят пять тенег.

Мулла, недавно купивший келью, засмеялся:

— Ясно, для чего главный казий столько раз допустил смену арендаторов, сменял аренду арендой, неустойку неустойкой и зачем от так оттягивал день фасха.

Настоятель обиделся:

— Вы так придирчивы ко мне, словно все эти деньги ушли из вашего кармана. Ведь все это взимается с крестьян! — И продолжал: — Если мы к этому делу отнесемся легко, то и другие вакуфные крестьяне прогонят наших арендаторов. Мы взыскиваем с них одну десятую. Но у нас есть и такие земли, с которых мы берем треть и даже половину. Положение крестьян, работающих на них, конечно, еще хуже.

Какой-то босоногий ученик объяснил:

— С этой земли крестьяне тоже платят не одну, а четыре десятых: нам одну десятую да по эмирскому налогу три десятых.

— Сиди тихо, степняк! — одернул его мударрис.

Настоятель говорил:

— С этих крестьян могут взять пример и другие. И получится беда для всех вакуфных земель.

— Это общие соображения. Укажите нам действенную меру! — крикнул владелец многих келий.

— Надо мне, мударрису и еще нескольким крупным владельцам вакфов пойти к главному казию и кушбеги, рассказать обо всем и объяснить, сколь важно все происшедшее. Они издадут

приказ за двумя печатями и пошлют его на имя чархакима в Шафрикан с таким непреклонным, решительным и смелым чиновником, который приведет эти печати в действие. Зачинщиков накажут, остальные подчинятся.

— От этого дела польза будет и главному казию, и всем четырем правителям туменя. Они, конечно, помогут,— сказал ученик, первый год владеющий своей кельей.

— Да. Им мы уплатим за печати к указу, а чиновникам — за услуги и беспокойство.

Подумав, имам прибавил:

— Очень хорошо будет сделать так: когда мы пойдем к главному казию и к кушбеги, ученики должны собраться и все вместе пойти к дверям суда и ко дворцу и шуметь, и кричать, и негодовать, чтобы у правителей не возникло сомнений, насколько важен этот случай, вызвавший такое волнение у мулл.

— Правильно! — сказал мударрис.

Мулла Науруз спросил:

— Вы соблюдаете свои выгоды и выгоды Назара-бая. А что будет с моим требованием?

— Вы жалуетесь на обычное оскорбление. Оно дает вам право потащить оскорбителей к казию туменя и восстановить свою честь.

— Оскорбление, нанесенное мне,— это не обычное оскорбление! Оно оскорбляет духовное лицо. А оскорбление духовного лица оскорбляет всех богословов, а оскорбление богословов является оскорблением шариата, а оскорбление шариата является оскорблением бога и пророка его, а оскорбление бога и пророка его является богоотступничеством. А наказанием для богоотступника и неверного является казнь повешением и побиением камнями. Об этом подана моя жалоба вам.

Назар-бай, покряхтывая, не смог сдержать улыбки.

— Вы не такое уж высокое духовное лицо, чтобы оскорбителей ваших приравнивать к оскорбителям богословов.

— А почему? Я несколько лет лизал пол медресе, учился, прислуживал учителям, вошел в круг тех, кто носит такую вот чалму.

— Но вы-то ведь неграмотны.

Возражая Назару-баю, муллы загудели со всех сторон:

— Поскольку он жил в медресе, он мулла...

— Чтоб быть муллой, грамотность необязательна, иначе многим из нас пришлось бы перестать быть муллами!

— Не всякий грамотей может стать муллой, иначе индус Бай Урджи тоже будет муллой, он хорошо знает мусульманскую грамоту, а он не только не мулла, но и не мусульманин.

— Какой вред мулле от неграмотности? Наш пророк тоже был неграмотен!

Мударрис не без труда установил тишину.

Установив тишину, он спросил муллу Науруза:

— На кого вы жалуетесь?

— На крестьян, «голодных силачей» Дехнау Абдулладжана,— ответил он.

— Разве они все били вас? — переспросил мударрис.

— Нет, не все. Но если б у них был случай, каждый из них бил бы меня. Даже убил бы каждый.

— Значит, наказать вы хотите их всех?

— Да, господин, забросать камнями.

— Так не делается,— сказал мударрис.— Если всех их забросаем камнями, то кто же будет обрабатывать вакуфные и остальные земли и кто будет кормить нас с вами?

— Простите. Об этом я еще не подумал.

— Назовите несколько человек. Они будут строго наказаны, чтоб не ели того, что полагается нам, и отдавали вам то, что вам нужно, не присваивали себе вакуфную долю.

— В таком случае я назову самых плохих. Пишите.

Писарь взял бумагу и перо.

— Пишите! Первый — это Гулам-Хайдар.

— В чем его вина?

— Он вор.

Какой-то человек, которого здесь не знали, но увенчанный такой же чалмой, как у всех окружающих, подошел и спросил:

— Вы говорите о Гулам-Хайдаре из Дехнау?

— Да. Из Махаллы, которая относится к Дехнау Абдулладжану,— ответил мулла Науруз.

— Я его давно знаю. Он не только не может быть вором, но и воробья не обидит. Достойна ли такая бездоказательная клевета, рассчитанная на то, что здесь нет свидетелей?

— Может, Хайдар-Гулам? Почему Гулам? Он из рабов? — спросил смуглый мулла.

— Да, он из рабов,— ответил незнакомец.

— Чтобы утверждать воровство и злодейство рабов, ни доказательств, ни свидетелей не надо: все рабы воры и злодеи! — решительно заявил смуглый мулла, задавший вопрос.

— Гулам-Хайдар — не обычный вор,— добавил мулла Науруз.— Он вор вакуфного имущества и хозяйского имущества. Он украл ячмень с тока, вокруг коего мною были поставлены клейма.

Когда эта вина Гулам-Хайдара была записана, мударрис спросил:

— В чем еще его вина?

— Он начал, а остальные крестьяне поддержали его, когда кинулись меня бить, лежащего, как осла.

— Били тебя, как осла, да жаль, выжил! — пробормотал посторонний человек.

— Что еще? — спросил настоятель.

— Оскорблял богословов. Скверно отзывался о шариате.

Когда и эту вину внесли в длинный список преступлений Гулам-Хайдара, мударрис спросил:

— Что он еще сделал?

— Остальные его преступления я позабыл. Теперь пишите следующего.

— Хорошо. Говорите.

— Другой — Сафар. Он тоже меня бил и тоже вор.

— Разве он тоже из рабов? — спросил незнакомец.

— Не из рабов, но хуже раба. Он босяк и негодяй. Главное занятие этих босяков — это кража вакуфных имуществ и ограбление своих хозяев.

— А кто этот заступник за крестьян? — спросил мударрис у настоятеля, указывая на незнакомца.

— В медресе живет один ученик, у которого своей кельи нет. Он живет, снимая у кого-нибудь келью. Я раз или два видел, что этот человек приходил к тому ученику.

— А кто пустил в медресе ученика, превратившего свою келью в притон для подстрекателей?

Мулла, владевший несколькими кельями, сказал:

— Имам хотел иметь учеников, но к нему никто не шел заниматься. Тогда он сдал келью с условием, что ее арендатор будет у него брать уроки.

— Господин! — встал ученик в большой чалме.

— Что скажешь? — спросил мударрис.

— Тот ученик, снимающий келью, мне кажется джадидом. Я несколько раз видел в его руках газету.

— Ого-го-го! Вона что-о! — отшатнулся мударрис.

— А этот человек тоже известный джадид,— его зовут Шакир-Гулам,— сказал другой ученик.

Этими словами он привел мударриса в ярость.

— Однажды я шел за ними следом,— продолжал ученик в большой чалме,— и слышал их разговор. Шакир-Гулам говорил: «Если б земли облагались одной податью — улпаном, народ избавился бы от произвола всяких сборщиков и арендаторов».

— Схватите этого неверного и побейте его! — распорядился мударрис, вскакивая с места.

Муллы и ученики, вскочив со сжатыми кулаками, готовы были растерзать неверного, бросились туда, где сидел незнакомец по имени Шакир-Гулам. Услышав свое имя и то, что его назвали джадидом, он исчез.

Они его не нашли.

Мударрис, упустив из рук свою первую «дичь», пустил гончих на вторую — в келью ученика, замеченного в дружбе с Шакир-Гуламом.

Муллы и ученики с воем, криком, словно стая шакалов, толкая друг друга, кинулись бежать внутрь медресе.

Собрание расстроилось.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1917—1920

1

В конце апреля 1917 года стояла такая жара, будто настало лето.

Зима была сухой, весна солнечной, и когда наступил неожиданный зной, даже листья деревьев свернулись и повяли. Завязи плодов — абрикосов, вишен, яблок и персиков — стали хиреть и гибнуть.

В небе, подернутом темной дымкой, в неподвижном воздухе, без ветра, словно сама собой, со стороны Кызыл-Кумов летела горячая красная пыль. Покрытая этой пылью деревня Махалла, стоявшая на краю Кызыл-Кумов, казалась раскаленной.

Но просторный сад Урман-Палвана не страдал от засухи. По арыкам сюда через день приходила вода из реки Шафрикан, и на плодовых деревьях зеленели сочные листья и наливались плоды.

Траву в саду поливали дважды в день черпаками, и под деревьями она зеленела так свежо и ярко, будто только что омылась дождиком.

В приемной комнате, двери которой открывались в сад, на пухлых тюфячках, постланных поверх ковра, лежал Урман-Палван. Шестнадцатилетний мальчик растирал ему ноги.

Тишину и мир нарушил кашель. Видно, в прихожей кто-то давал знать о своем приходе, не решаясь переступить порог.

— Пойди взгляни, кто там?

Мальчик вышел, закрыв за собой дверь, заговорил с кем-то, но вскоре вернулся к хозяину.

— Муллы и старшины из соседних деревень пришли.

Урман-Палван нехотя и недовольно поднялся, застегнул свою легкую рубашку и велел звать гостей.

Мальчик открыл в прихожую дверь и, прислонившись к ее косяку, впустил их.

Гуськом они вошли и в том же порядке обменялись рукопожатиями с хозяином. Их было семь человек.

Урман-Палван предложил им сесть.

Муллы, не церемонясь, расселись около Урман-Палвана, каждый сообразно своему рангу и званию, ниже или выше. Но аксакалы и сельские старшины, предлагая друг другу проходить первым, скромно забились по углам и расселись в почтительных позах, опустившись на колени.

Урман-Палван, не дождавшись конца всех этих церемоний «проходите, проходите», опустился на свое место в переднем углу комнаты. И когда гости, наконец, расселись по местам, сказал, взглянув на мулл:

— Прочтите молитву за здоровье его высочества, господа!

Старый мулла, который сидел выше всех, кинул взгляд на мулл, сидевших с ним рядом. Когда они ответили ему наклонением головы и молитвенным поднятием рук, он также поднял руки и начал громко читать молитву:

— «О, господи, пусть его высочество станут завоевателем мира, лезвие меча их пусть будет острым, поход — безопасным. Пусть перепоят их святой Шахимардан и отвращающий несчастья Бахауддин. Пусть будут уничтожены враги, покушающиеся на царственную персону».

Затем он провел руками по лицу, произнося «аминь». То же сделали и другие.

Когда молитва была окончена, Урман-Палван спросил, взглянув на гостей:

— Как поживаете? Что нового у вас в тумене?

— Слава богу, по милости его высочества, с помощью благородных беков, подобных вам, в тумене благополучно. Услышав, что милость ваша возвратилась с «войны за веру», мы пришли поклониться вам и просить извинить нас за беспокойство, вам причиненное.

— Милости просим! — ответил Урман-Палван и велел мальчику подавать чай.

— Что нового в Бухаре? Расправились ли с джадидами? Установлено ли спокойствие? — спросил старший из мулл.

— Немного затихло и успокоилось. Нескольких джадидов наказали семьюдесятью пятью палками. Один из них умер, другие лежат в каганской больнице при смерти. Некоторые из джадидов успели бежать в Каган и там живут со своими семьями. Живут

в гостинице, как русские. Они потеряли истинную веру, свою страну и свой народ.

Помогая слуге стелить скатерть, Урман-Палван продолжал:

— Назрулла-кушбеги, державший сторону джадидов, с женами и детьми выслан в Кермине и там заключен в темницу. Теперь на его место назначен Мирза Урганджи. Из высшего духовенства выслан Хаджи Икрам за то, что дал фетву на открытие школ джадидам. Новому раису благородной Бухары Абду Самаду-ходже, оказавшемуся джадидом, велено сидеть безвыходно дома. Изменники из придворных — Мирза Сахба-би и Хаджи-дадха высланы в Кабадийан.

Слуги расставили скатерти, внесли угощение, разложили лепешки, принесли горячие чайники.

Гости принялись за чай.

Старый мулла спросил:

— Прошел слух, что весь Туркестан до самого Оренбурга перешел под власть нашего эмира. Верно это?

— Пока неизвестно. Так и должно быть: русские, свергнув своего царя, совсем потеряли голову. Там никто никому не подчиняется. Может ли в этих условиях Россия управлять такими обширными землями, как Туркестан? Другого выхода и не может быть, как просить эмира спасти все эти земли от беспорядка.

Кто-то из гостей спросил:

— Кого же русские сделали царем вместо Николая?

— Еще никого. Там правят от имени думы Милюков и Керенский.

— А что такое дума?

Урман-Палван задумался, но вскоре объяснил:

— Это такой дом, где собираются старшины и старосты. В каждом русском городе есть дума,— в Ташкенте и в Самарканде есть городские думы, а в Петербурге — одна на всю Россию. Вот эта дума, когда свергли царя, выбрала из своей среды министров и сейчас управляет.

Старший из мулл засмеялся.

— Как нельзя управлять стадом овец без пастуха и собаки, так же точно нельзя управлять людьми и подданными без царя и эмира. Русских людей называли умными, куда же девался их ум, если они такую путаницу напутали?

— Падишаха свергли не «умные» русские,— сказал Урман-Палван.— Вследствие долгой войны страна разрушилась, люди начали голодать. Особенно пострадали оборванцы, которые день находят, что кушать, другой день нет. Вот эти оборванцы, а также рабочие фабрик и заводов, солдаты, которым надоело воевать,— они восстали против царя. А дума, которая была стеснена неспо-

собностью Николая и его вазиров, присоединилась к недовольным и свергла его, а страна осталась совсем без главы. По словам императорского консула его величеству, это безглавие постепенно будет устранено, не сам Николай, а сын его или какой-нибудь родственник будет возглашен падишахом и усмирит страну. А иначе никак невозможно, чтоб страна успокоилась без царя.

— Пусть русские дерутся между собой, но Туркестан все равно должен отойти к эмиру,— настаивал старый мулла.— Наше государство расширится, туменей и округов станет больше. Тогда и для таких полумулл, как мы, найдутся должности казиев и раисов. А то ведь приходится довольствоваться местом муллы в сельских мечетях. Посудите сами, какой толк?

Урман-Палван нахмурился:

— Благодарите бога, домулла, за сельскую мечеть. Молитесь, чтоб бог и ее у вас не отнял.

— Это почему же? — удивился мулла.— Откуда же возьмут столько казиев и раисов, чтобы назначить их, начиная с туменей и кончая курганами в Туркестане?

— Не об этом речь. Если в России все не успокоится, то и у нас спокойствия хватит ненадолго. В Кагане я видел удивительное зрелище. Когда понесли на кладбище Мирзу Назруллу, который не выдержал эмирского гнева и умер от семидесяти пяти палок, на улицах было немало рабочих хлопковых и маслобойных заводов, русских солдат, деревенской бедноты, сбежавшейся из окрестных мест. Некоторые говорили опасные речи. Один из рабочих с хлопкового завода даже так сказал: «Мы отомстим за тебя эмиру, нам не нужен эмир!»

Гости приуныли.

Урман-Палван попробовал ободрить их:

— Все это пока пустые слова, звенящие подобно пустой чашке весов. Что сумеют сделать десятки или хотя бы сотни, ну даже, предположим, тысячи босяков?

Но, подумав, сказал:

— Если же в России не установят твердый порядок, нашему государству будет трудно. Покой у нас кончится.

Принесли чайники свежего чая и расставили их перед гостями на коврах.

Урман-Палван, пододвинув себе чайник и пиалу и спросив разрешения у гостей, вытянул ноги по одеялу.

— Я три недели почти не ложился. День и ночь сидел в седле. Нас пять-шесть тысяч конных воинов, ежеминутно готовых кинуться в бой, три недели простояли на страже его высочества.

— Пожалуйста, пожалуйста, ложитесь поудобнее, но расскажите нам о происшедшем. Что это за джадиды? Чего они хотят?

— Джадиды? Они — мусульмане, но читают газеты и отвернулись от веры. С ними заодно бухарские евреи и персы. Раньше они добивались, чтобы открылись школы по новому образцу и чтобы исправили программы, по которым учатся в медресе. Но когда Николая согнали, джадиды начали требовать исправления всей нашей страны,— чтоб с земель взимали налог по размеру поля, независимо от урожая, чтоб запрещена была торговля кельями в медресе, чтоб над доходами и расходами государства был установлен присмотр, а для всех этих реформ, наряду с эмиром, должны быть эти люди из джадидов.

— О господи! — прервал Урман-Палвана старший мулла.— Это разрушит и шариат и государство.

— Какие испорченные люди! — удивился другой мулла.

— Да. Пока не согнали Николая, требования джадидов были направлены против нарушения порядков в стране и шариата, но не касались священной особы эмира. А после бегства джадидов в Каган дело приняло другой оборот. Там к ним присоединились разные сомнительные люди Бухары, босяки, окрестные крестьяне, рабы из Зирабада, татары, черкесы, рабочие хлопкоочистительных заводов, железнодорожники и русские солдаты. Все они заговорили совсем иначе.

— Ну и пусть говорят! — сказал старший мулла.— Раз они изгнаны из страны, какой же вред его высочеству от их разговоров?

— Да, но в их словах — откровенные угрозы. К ним присоединятся люди еще и еще. Сотни превратятся в тысячи,— возразил Урман-Палван.

— Ну кто ж к ним присоединится, к безбожникам? Ну, вот нас здесь почти десять человек,— кто из нас стал бы этакие слова слушать?

— Да вот хотя бы в нашем тумене. Мало ли безземельных босяков, дерзавших поднимать голос против казия, амлакдара или раиса? Скандалили при сборе податей, при распределении воды, всякий раз скандалили! Разве теперь они усидят спокойно? Молите бога, чтобы в России появился царь, а не то оттуда подует опасный ветер.

Мальчик, приоткрыв дверь комнаты, прервал Урман-Палвана:

— Пришел человек от казия, желает видеть вас.

— Пусти сюда.

Вошел человек, опоясанный поверх халата белым кушаком. Он вытащил бумагу, запечатанную, по обычаям тех лет, треугольником, и вручил Урман-Палвану.

Отойдя, человек сел в стороне, около мулл, а Урман-Палван осмотрел печать и показал ее старому мулле:

— Похожа ли на печать казия — заступника шариата?

Старший мулла взял конверт из рук Урман-Палвана, прищурившись, осмотрел конверт и ответил:

— Оттиск очень слаб, но узор и надпись похожи.

Урман-Палван ножичком вскрыл конверт и передал мулле:

— Прочтите, что он пишет?

Старший мулла, прищурившись, осмотрел бумагу сверху донизу и передал ее другому мулле:

— Прочитайте-ка вы, я оставил свои очки дома.

Второй мулла, повертев бумагу в руках, очень недовольный и явно смущенный, принялся читать ее, запинаясь и по складам:

— «Преданному и верному Урман-Палвану, с тем, чтобы он, прочитав сию записку, немедленно пожаловал бы в присутствии казия Шафриканского туменя, в селении Хаджи-Ариф, сияющей луне.

А засим — привет вам!»

Урман-Палван, взяв письмо, положил его в карман халата и сказал этому мулле:

— Хорошо, что хоть вы не забыли своих очков. А не то нам пришлось бы сходить к казию и попросить, чтобы защитник шариата сам прочитал нам, что он пишет.

Старший мулла, вспыхнув под пушистой сединой своей бороды, сказал:

— Это было бы бесполезно. Защитник шариата никогда не носит с собой очки. Прочитать письмо пришлось бы тому писарю, который его писал.

Урман-Палван ответил посланцу:

— Сейчас приеду.

Посланец вышел, а Урман-Палван начал одеваться. Поднялись и муллы со старостами, направляясь к выходу.

2

— Пошли вам бог доброго пути!

В селении Хаджи-Ариф, в приемной комнате казия Шафриканского туменя, собрались амины, старейшие старосты и старшины туменя.

Во дворе стоял человек, следивший, чтобы без ведома казия не только никто не вошел в комнату, но даже и не приближался к ней.

Двери, выходившие из этой комнаты во двор, были раскрыты, но северные, с улицы, заперты, несмотря на жару, и даже завешаны, чтобы ни один звук не проникал сквозь них.

Казий, продолжая разговор, рассказывал:

— И вот получил я от отставленного от должности главного казия Бухары Бурханиддина-махдума и от высоких мулл, от Кутбиддина и от Халмурада, письмо, где сказано:

«В Бухаре более не осталось джадидов. Если и можно найти какого-нибудь джадида, то лишь из раскаявшихся и возвратившихся на путь веры».

— Что это значит? — спросил Хаит-амин, сидевший на почетном месте.

— Об этом ясно написано в тайном письме нашего господина кушбеги Мирзы Урганджи. Вам, старшинам туменя, следует составить списки всех, у кого есть лошади. Из молодых людей составить отряды и каждый отряд поручить военному человеку, чтобы он их обучил, устраивая «козлодранья» и скачки. Беглых джадидов и всех подозрительных людей ловить и доставлять сюда ко мне. Следить за всем, что делается в тумене. Сообщать мне и быть готовым ко всему, что бы ни понадобилось.

Бозор-амин спросил:

— А что будет с джадидами и подозрительными, которых к вам приведут?

— Мы отошлем их в Бухару, к его высочеству. А тех, о ком точно нам известно, мы сперва сами возвратим в истинную веру или пошлем к муфтиям, дадим им возможность покаяться.

— А о рабах в этом письме ничего не говорится? — спросил Урман-Палван, сидевший на менее почетном месте.

— В письме особо о рабах ничего не написано,— ответил казий,— однако по содержанию письма ясно видно, что если с чьей-нибудь стороны будет предпринято какое-нибудь действие против его высочества, против властей или мулл, если падет подозрение на джадидизм, то подозреваемого немедленно надо схватить, независимо от того, раб он или хаджа, таджик или узбек.

— В отношении рабов в нашем тумене надо особо подумать,— сказал Урман-Палван.— В прежние времена наши купцы торговали с Россией. Они накупили много рабов и еще больше вырастили их у себя дома. Они теперь многочисленны. Около Дехнау Абдулладжана есть даже кишлак, названный «Рабы». Да и не только там.

— Что вы хотите? — спросил Хаит-амин.

— В отношении их принять особые меры.

— Но защитник шариата ясно сказал: хватать всех опасных. Разве это вам не ответ?

— Я не все сказал...— несколько растерялся Урман-Палван.— По-моему, нужно схватить и жестоко наказать рабов нашего туменя, не дожидаясь никаких их выступлений. При взыскании

податей они уже проявляли неповиновение эмиру. Зачинщиками всяких безобразий при определении налогов тоже у нас в тумене были всегда рабы. У них за душой нет ни земли, ни воды, ни денег. Ведь неспроста рабов, живущих в Дехнау, пищавших по всякому поводу, прозвали «цыплятами».

Но один из участников собрания прервал Урман-Палвана:

— Деды их были рабами. С тех пор много воды утекло. Давно они ничем не отличаются от остальных. Какое основание у нас принимать по отношению к ним особые меры?

Урман-Палван рассердился:

— Теперь они выдают себя за мусульман. А если заглянуть в их сердца, они окажутся иной веры. Они не почитают наших мулл, не слушаются их! Одно вонючее слово яваджинского Шакир-Гулама для них дороже молитв тысячи мулл! Даже придворные рабы осквернили доверие его высочества. Например, Останакул-кушбеги. Разве мы можем после этого ждать чего-нибудь доброго от своих рабов?

Хаит-амин спросил:

— Всех рабов в тумене схватить и убить? Так хотите?

— Не всех убивать, но прибрать к рукам, хватать, наказывать, сажать в темницы. А не то они поднимут головы. Они станут помогать нашим врагам. Разве вам не известно, что натворили рабы и персы из окрестностей Кагана? Как только поднялись джадиды по наущению Муллы Шарифа Гурбанского, они все оживились. А здесь их будет подстрекать Шакир-Гулам.

— Нет,— сказал Хаит-амин.— Среди них есть хорошие люди. Нельзя всех обвинять без разбору.

— Кто же эти хорошие? — не уступал Урман-Палван.

— Например, сыновья Пулата-бая Джафариги.

— Да разве они из рабов? — удивился Урман-Палван.

— Вы, видно, по молодости, еще не знаете ни деда, ни даже отца Пулата-бая. А я знаю. Дед его был куплен как раб. Но при освобождении бог дал ему богатство. И они стали владельцами больших земель, складов, полных зерна, складов с товарами, многочисленного скота. Когда они стали богаты, их рабское происхождение было забыто. Их стали звать «Пулат-бай-Араб». Теперь сын Пулата-бая Абдулла за преданность эмиру возведен в чин туксабы.

— Это мы знаем! — сдался Урман-Палван.

Бозор-амин возразил Хаиту-амину:

— И все же таких людей, как Шакир-Гулам, нельзя оставлять в покое.

— Этого я и не говорю. Шакир-Гулама и Муллу Шарифа надо схватить и наказать. Но нельзя без разбора приставать ко

всем. Так мы большую часть народа настроим против себя. Но следить нужно за каждым движением каждого человека.

— Амин верно говорит,— сказал Нор-Муранд-караулбеги.— Зря нельзя приставать к людям. Так и хороших людей можно сбить с толку. Начали, например, все упрекать начальника полиции в тумене Варданзе, Мирзу Усмана, в том, что он джадид. В конце концов это его задело и так надоело, что он бросил полицию и присоединился к джадидам. Вот до чего довели даже начальника полиции, у которого кости затвердели на эмирских хлебах.

— Царство небесное вашему отцу! — воскликнул Хаит-амин.— Я тоже не одобряю некоторых мулл. Я видел, как в Бухаре по улицам и переулкам бегают муллы, разыскивая джадидов. Они хватают за шиворот каждого встречного и поперечного, тащат его к мечети, унижают его, оскорбляют, заставляют каяться и считают, что тем самым обратили неверного в истинную веру. А неверный разве сразу, как произнесет молитву, станет мусульманином? А случись что-нибудь, этот дважды обращенный в истинную веру, оскорбленный, первым выхватит нож, чтобы срезать голову мулле Кутбиддину.

— Тише вы! Тише! — забеспокоился казий и зашептал: — В стенах есть мыши, у мышей — уши. Если эти слова, передаваясь из уст в уста, дойдут до ушей муллы Кутбиддина, не только вам, но и мне достанется: вам за джадидизм, а мне за то, что не донес на вас.

Сердце казия замерло от ужаса: дверь распахнулась.

Казий почувствовал облегчение, увидев, что вошел его слуга.

— Прибыл гонец от высочайшего стремени.

Услышав эти слова, казий снова впал в трепет, побледнел, руки его задрожали. Совладав с собой, запинаясь, он приказал:

— Пригласи. Пусть войдет!

Хаит-амин, увидев состояние казия, засмеялся:

— Как быстро, оказывается, долетели до Бухары мои слова! Мулла Кутбиддин прислал гонца, чтоб схватить вас.

Все засмеялись. Но казий не улыбнулся.

Гонец вошел.

Поклонившись, по обычаю, он вынул из кисета, привешенного к серебряному поясу, бумагу и вручил казию.

Взглянув на нее, казий воскликнул:

— Оказывается, это благословенное высочайшее послание!

Он встал, воткнул письмо в складки чалмы и низко трижды поклонился в сторону Бухары, до которой отсюда считалось сорок верст.

Взяв письмо в руки, казий поспешно вышел из комнаты, а за ее порогом бегом кинулся на женскую половину дома.

Все удивились такому исчезновению казия.

Урман-Палван, вспомнив недавний разговор, наклонился к Нор-Мурад-Палвану:

— Может быть, очки защитника шариата находятся в женских комнатах?

Они еще смеялись, когда казий возвратился.

Он сел и нарочито громко прочел благословенное послание:

— «Защитник шариата казий Шафриканского туменя, возвеличенный августейшей милостью!

Знайте, что у августейшего стремени в саду Ситара Махаса началось козлодранье.

Известите об этом богачей, имеющих скаковых лошадей и ловких всадников.

К августейшему стремени явившись, пусть примут они участие в нашем козлодраньс.

Вознося молитвы о здравии своего повелителя, они могут быть замечены августейшей милостью.

При приложении благороднейшей августейшей печати считать изложенное верным.

А засим — привет вам!»

— Какое же козлодранье в такую жару? — удивился Урман-Палван.— У любой лошади, какая б в эту жару ни поскакала, все нутро сгорит. Самое меньшее, если ее запалят, а то и издохнуть может.

Казий, у которого на душе появилась радостная легкость, строго сказал:

— Для чего же мы собрались здесь? Разве не затем, чтобы быть готовыми ко всему? И вот понадобилось исполнить августейший указ. На приказ его высочества нужно смотреть не как на какую-нибудь забаву. Его надо считать подготовкой к войне, и ехать туда следует соответственно снарядившись.

Наскоро закончили это собрание.

Все разъехались по своим местам, чтобы собрать лошадей и всадников и доставить их в Бухару.

Каждый скакал, нахлестывая коня.

Казий, совсем успокоившись, остался в своей приемной, занявшись текущими делами.

3

Летний ночной ветерок касался мягко и ласково, как нежная рука возлюбленной.

Крестьяне, жившие между реками Джилван и Шафрикан, сильно уставшие от долгой дневной работы на жаре, разлеглись на

открытой площадке и отдыхали, радуясь мягкому, свежему ветерку.

Десятидневная луна еще не скрылась и освещала пески, казавшиеся в ее свете молочным морем, подернутым желтоватыми сливками.

Сады и виноградники, окруженные пучками колючек, казались зелеными брызгами, умело разбросанными искусной кистью по золотому листу бумаги.

В степи царило молчание.

Лишь временами перекликались перепела из своих клеток, развешанных на шестах шалашей. И клики их, поднимаясь сразу из многих клеток, улетали далеко-далеко, в простор лунной песчаной пустыни:

«Вав-ав, вав-ав, пит-пилик, пит-пилик».

Перешло за полночь.

Вдруг тишину нарушил собачий лай со стороны селения Карахани, далеко разносясь по безбрежной голой степи.

Но вслед за этим далеким лаем поднимались и лаяли другие псы, ближе.

Собаки из деревни выбежали на открытое место, кого-то преследуя.

Среди рассвирепевшей их стаи виднелся всадник. Плотно прижав ноги к конским бокам, он отбивался плеткой от собак.

Но они, набегая со всех сторон, плотно окружили всадника. Однако ни ему, ни лошади не могли повредить.

Самые ярые и смелые подскакивали к самому стремени, норовя схватить человека за ногу. Жестокие удары плетью отбрасывали их назад и отрезвляли.

Когда всадник отъехал от Карахани, собаки, собрав последние силы, снова кинулись на него. Лошадь, разъяренная этим нападением, подняв хвост, понесла.

Полы халата у всадника выбились из-под колен и развевались по ветру.

Положение его стало опасным: если он не удержится в седле на этом бешеном галопе, свора собак растерзает его в клочья.

Одна из собак вцепилась в хвост лошади, но получила страшный удар копытом. Другая вцепилась в полу халата, но удар рукоятью плетки сбросил ее, и, визжа, она от боли принялась тереть голову о песок.

Стая немного отстала, напор ее ослаб.

Всадник сумел сдержать коня и подправил полы халата опять под колени. Одна пола оказалась слегка порванной. Закрутил чалму, конец которой, размотавшись, висел за спиной, как хвост детского змея. Снова тронул коня.

Собаки уже не кидались, не лаяли. Урча, они смущенно возвращались назад, видно, признав себя побежденными.

Всадник усмехнулся:

«Собаки подобны людям эмира, с той лишь разницей, что у одних четыре ноги, у других их две. Их не трогаешь, а все равно лезут, пока не надоест им, даже бегством от них не спасешься. Чем больше их боишься, тем яростнее они нападают...»

Наконец он заметил, что въезжает в деревню.

Он повернул лошадь в степь.

Снова его окружило молчание пустыни.

«Да... Если ты бросишься бежать, испугавшись их,— проиграешь. Надо дать им такой удар, как удар копытом, тогда разбегутся они. Кто может дать такой удар?»

Он не находил ответа на свой вопрос.

Он подумал:

«А если б поднялись крестьяне? Нет...— Он не надеялся на крестьян.— Нет... Сильны предрассудки. Муллы крепко держат их в руках. По знаку муллы они тебя самого растерзают в клочья. Невежественные люди, темный народ».

В душе у него росла безнадежность.

«От мулл меньше зависят рабы. Надо попробовать поговорить с ними».

Поравнявшись с полями Коко, он повернул коня в сторону, чтобы проехать подальше от этой деревни.

«Здесь хозяйничает Урман-Палван. Если его люди меня заметят, сделают все, чтобы меня схватить. Осторожно, друг, осторожно».

У селения Балаи-Руд всадник оказался возле какого-то сада, который был пощажен сыпучими песками.

В яме около шалаша конь всадника почуял кобылу и заржал. В ответ на ржание на краю ямы заворчала и залаяла собака, разбуженная появлением незнакомого всадника.

Кровь отлила от его лица. Сердце заколотилось:

«Это ж как раз напротив усадьбы Урман-Палвана!»

Жена садовника, проснувшись от конского ржания и от лая, толкнула своего мужа:

— Вставайте, отец, взгляните, там кто-то ходит.

Утомленный длинным днем работы, садовник лежал как убитый. Он лениво, с трудом поднял голову и взглянул на проезжего. Увидев, что тот едет своей дорогой, он ответил:

— Кто ж тут поедет? Кто-нибудь из крестьян, поливальщиков полей.

И едва голова его коснулась подушки, он снова заснул.

Но всадник услышал его слова:

— ...поливальщиков...

Он нашел для себя щит.

«А в самом деле,— халат мой вчетверо сложен на седле. Я поверх старого халата опоясан кушаком. Чалма? Надо ее завязать по-деревенски. Да еще б спереди к седлу привязать мотыгу, а ручку засунуть под колено, как делают поливальщики, когда выезжают из дому... Если и теперь люди принимают меня за поливальщика, тогда уж никто не усомнится».

Когда вскоре его окликнул какой-то пахарь, он спокойно ответил на его вопрос:

— Я поливальщик...

И, не торопясь, проехал мимо.

Подъехав к деревне, занесенной песком, всадник слез с лошади. Разнуздав коня, он стреножил его, снял с седла халат, переметную суму и положил их в сторону. Ослабил подпругу, поднял халат и пошел в деревню.

Лошадь жадно набросилась на скудную траву, хрустя сухими, как сено, стеблями этой выгоревшей на солнце апрельской травы.

Селение казалось бедным и безлюдным.

С улицы виднелись полуразвалившиеся дома и дворики с невысокими обвалившимися стенами. Провалы в стенах, кое-где забитые колючкой, зияли тут и там.

Подойдя к одному из домов, путник остановился в раздумье.

Ворота оказались запертыми изнутри на цепь.

Однако легко было перепрыгнуть через невысокую стену двора: песка с улицы намело почти до самого верха стен.

Так он и сделал: не стучась в ворота и не подавая голоса, перебрался через стену во дворик и, зайдя за маленькую лачугу, трижды тихо позвал:

— Кулмурад! Кулмурад! Кулмурад!

— Кто там? — откликнулся женский голос.

— Я знакомый. Кулмурад-ака спит?

— Его нет дома.

— А где он?

— Погнал после окота хозяйское стадо в Текинскую степь. А он вам зачем?

— Да ни за чем: ехал мимо, хотел его повидать. А вы не знаете, Рузи дома?

— И Рузи ушел с хозяйским стадом.

— А Сафар-Гулам?

— И его нет.

— Они все в одном месте?

— Где-нибудь поблизости друг от друга. Они все собирались в Текинскую степь.

— Так, если можно, возьмите у меня халат. Он порвался, надо его зашить. А я буду ехать обратно, заеду за ним.

— А когда?

— Думаю, завтра ночью.

— Только пораньше. А то без мужчины страшно, если так поздно заходит незнакомый человек.

Женщина, говоря это, протянула из-за угла руку и взяла у проезжего халат.

— Простите, сестра! — сказал он виноватым тоном, стыдясь за столь позднее посещение.— Всего хорошего!

— Ворота-то закройте за собой! — Видно, она сердилась, что нарушили ее крепкий сон.

— Ворота заперты. Я их не открывал. Я через стену.

И тем же путем он вернулся на улицу.

А она, растянувшись на своей постели, с удовольствием подумала:

«Хорошо еще, что у нас ни козы, ни барана. А не то перелез бы через стену, как этот человек, какой-нибудь вор и украл бы козу, а я бы спала и не услышала бы...»

И ей стало так уютно и спокойно, что и сон ей приснился какой-то спокойный и теплый.

А путник вскоре дошел до лошади, которая все еще хрустела травой, вскидывая спутанные ноги.

Затянув потуже подпругу и взнуздав лошадь, он вскочил в седло и рысью поскакал к Текинской степи.

4

Серый свет закатывающейся луны усиливал безнадежное уныние степи.

В ложбинах между песчаными холмами кое-где грядками тянулись мелкие камешки, занесенные сюда весенним потоком с далеких гор. Они сухо хрустели под копытами.

Травы выгорели еще за время жаркой, сухой весны. Скот мог кормиться сухой, как сено, полынью, колючками да засохшими листьями каких-то трав, разобраться в которых было уже трудно, но скот привык к таким пастбищам и наедался вдоволь.

На ночь стадо загоняли в ямы, по краям обсыпанные камешками с колючкой.

Усталый и сытый, скот безмолвно спал. Лишь ягнята, тычась мордами в теплые животы овец, нарушали их мирный сон.

Возле загона, на одном из холмов, большая, ростом с гиссарского барана, лежала собака.

Хотя она и дремала, но вся, каждым кончиком густой шерсти, чувствовала малейший шорох, малейшее движение вокруг.

Бесшумный бег ящерицы или мыши заставлял пса подняться, вслушаться, внимательно оглядеться вокруг.

Невдалеке от ямы оставили на ночь двух верблюдов, связав им колени шерстяным арканом. Рядом дремали два стреноженных осла.

Верблюды жевали брошенную им колючку. Пушистые нежные губы брали ветку, усыпанную острыми, как иглы, шипами, и жевали ее так легко, как беззубый старец пережевывал бы жирную, рассыпчатую халву. Ослы с наслаждением грызли жесткие высохшие стебли, как дети куски сахара.

Тут же стояла юрта, и возле нее, на возвышении, спало трое пастухов, подстелив верблюжьи попоны, а под голову положив ослиные седла. Вместо одеял они накинули на себя рваные халаты.

Устав за долгий день, пастухи спали крепко, на своем жестком ложе они видели более счастливые сны, чем снятся купцам на мягких постелях под шелковыми одеялами.

Давно перешло за полночь. Близился рассвет.

Собака вдруг вскочила. Повернулась мордой на восток, рыча, стала царапать землю передними лапами.

Потом подбежала к пастуху и опять, урча, поцарапала землю, но, видя, что все спят, она, вскочив на возвышение, потянула зубами полу одного из халатов. Пастух спал.

Тогда, убрав когти, она несколько раз царапнула лапой босую пятку пастуха.

Пастух проснулся и, сев на своей постели, стал протирать глаза. Собака сбежала с холма и, вытянув на восток морду, еще раз поцарапала песок лапами. Затем вернулась к пастуху и села с ним рядом.

Он засунул под язык щепотку наса, накинул на голову халат, сошел с возвышения и посмотрел в ту сторону, куда указывала собака.

Ничего не было видно.

Он уже хотел вернуться к постели, но собака, зарычав, сделала несколько шагов к востоку и опять поцарапала землю.

Взглянув на нее, пастух понял, что в той стороне происходит что-то важное. Он лег в плотную глинистую ложбинку и приложил ухо к земле.

«Кажется, кто-то едет верхом».

Он вернулся к возвышению, но не успел еще сплюнуть табак, как далеко на востоке, в мутном свете заходящей луны, показалось какое-то темное пятно.

Собака забеспокоилась.

Она то подбегала к возвышению, то возвращалась, рыча и царапая землю.

Когда стало видно, что это всадник, собака зарычала громче.

Всадник, услышав ее рычание и увидев ее огромное тело, придержал лошадь и крикнул:

— Эй, брат! Придержите свою собаку!

— Цыц, на место! — ответил пастух.— Подъезжайте, она не тронет.

Собака, поняв, что пастух не боится этого человека, отошла и легла, внимательно следя за каждым движением прибывшего.

Произнеся приветствие, пастух подошел, чтобы взять у гостя лошадь.

— О, да это ведь Шакир-ака!

Всадник, приглядываясь, облегченно вздохнул:

— Кулмурад! Я из сил выбился, пока тебя искал!

Сняв с седла переметную суму и привязав лошадь, пастух пошел впереди гостя к возвышению.

Остальные пастухи еще спали.

— Ну, рассказывайте, Шакир-ака, что случилось? Каким ветром занесло вас в наши края?

— Да ничего не случилось. Чтоб тебя повидать, я заехал к тебе домой. Тебя не было. Сказали, что ты в степи. Проехав такой длинный путь, я не хотел возвращаться, не повидавшись с тобой. Вот и поехал сюда.

— Ну, добро пожаловать! Уж скоро утро. Я выспался. Если вы не устали, посидим. Если устали, я вам постелю.

— Устать-то устал. Да у меня бессонница, едва ли я сейчас засну. Но прилечь было бы неплохо.

— У нас таких подходящих одеял и тюфячков нет. Если не боитесь вшей и клещей, ложитесь на мою постель. Если хотите на более чистое место лечь, песка вокруг хватит,— постелем ваш халат, а переметная сума — вместо подушки.

— И так лягу,— сказал Шакир, положив суму под голову и растянувшись на песке.

— А где же ваш халат? — посмотрел по сторонам Кулмурад.

— И не спрашивай. Дорогой мне его собака изорвала, я его оставил для починки у тебя дома.

— А! — засмеялся Кулмурад.— Потому-то вы и боитесь теперь собак. Но пастушья собака — это не то что деревенские псы,— те кидаются на всякого прохожего, а пастушья не тронет человека, если он мирно едет мимо. Она бросается, если увидит, что он — вор. Она хранит овечье стадо как зеницу ока.

— Оказывается, она лучше людей эмира.

Кулмурад удивился:

— А какое к ней имеют отношение люди эмира?

— Очень близкое,— ответил человек, которого пастух назвал Шакиром-ака.— Они нападают на людей, подобно деревенским собакам.

— На кого же они напали?

— На тебя, на меня, на деревенскую бедноту.

Потом он пояснил:

— Мало ли притесняли вас при сборе урожая, при определении налогов! Мало, что ли, страдали вы от рук Урман-Палвана, Хаита-амина, Бозора-амина, а я на себе испытал, какова хватка у Сафара-амина, у Кузи-амина, у Джалалиддина-амина и у подобных им. Особенно с тех пор, как началась борьба между муллами и джадидами. Меня назвали джадидом и хотят убить.

— А правда, Шакир-ака, мы и то слышим разные разговоры: «джадид — кадым, джадид — кадым». В чем тут дело? О чем идет спор?

— Как бы это тебе получше объяснить? — начал Шакир.— В Бухаре выступила группа молодежи и потребовала, чтобы вместо старых школ открылись новые школы, где учились бы по новому методу; чтобы прекратить торговлю худжрами в медресе; чтобы обучение в медресе улучшить; чтобы были обложены земли налогом так, как земли Самарканда и Ташкента; чтобы доходам и расходам государства велся учет. Муллы, эмирские чиновники, сам эмир выступили против этих требований. Началась борьба, ее называют распрей между джадидами и сторонниками старого — кадымами.

— Ну, и кто же из них, по-вашему, прав?

— Конечно, джадиды! Их требования имеют в виду пользу народа.

— Я не понимаю,— покачал головой Кулмурад.

— Почему же ты не понимаешь? Здесь нет ничего непонятного.

— Вы сказали, что в их требованиях польза для народа. Непонятно мне, какая же польза народу от открытия новых школ вместо старых? Я по порядку буду спрашивать, ладно?

— Ладно. Какая польза от новых школ народу? Вот какая: из ста мальчиков, учившихся десять лет в старой школе, десять человек выходили полуграмотными, а остальные оставались неграмотными, даже не умели писать. А в новых они за полгода, ну, совсем неспособные за год, научатся читать и писать. Разве в этом мало пользы?

— Ну, хорошо, а зачем же нам столько мулл? Нам и те муллы, которых по старой школе школили, до смерти надоели. А из новой школы они посыплются на нас, как град.

— Эх! — с досадой махнул рукой Шакир.— Я говорил, что ты не поймешь!

— Это я говорил, что мне эта польза непонятна, а вы говорили, что непонятного ничего нет...

Совсем рассвело.

Проснулся и сел на постели второй пастух. Увидев чужого человека, он принялся расталкивать другого:

— Юсуф, Юсуф!

Юсуф, двенадцатилетний мальчик, поднялся, но, видно, сон не хотел отпускать его. Он спросил:

— Да сейчас разве надо пускать воду?

Пастухи громко засмеялись словам подпаска.

Смутившись от их смеха, Юсуф протер глаза.

Шакир сказал:

— Теперь уж не стоит спать. Вскипяти кувшинчик да завари чай.

— Кувшинчик есть, но ни чая, ни чайника, ни пиал у нас нет.

— Ничего, чай у меня с собой. Когда вода закипит, бросим в кувшин несколько листиков чая и напьемся из больших чаш.

Кулмурад повесил кувшин над костром и раздул огонь. Сухое топливо — колючка и полынь — загорелось высоким пламенем. Искры сыпались в воду, языки лизали кувшин, взвиваясь к небу.

Шакир лежал, облокотившись на суму, и глядел на пламя, погруженный в свои мысли:

«Темные невежды. С невеждами ничего нельзя сделать. Они нас не поймут, и рассчитывать на них бессмысленно».

Кулмурад, войдя в юрту, налил в деревянную чашку молока и воды, бросил в нее три горстки муки и принялся месить тесто.

Вернулись пастушата, успевшие умыться. Кулмурад позвал:

— Камил!

Пастушонок подошел.

— Ты положи на песок побольше топлива и зажги, чтобы песок хорошенько накалился, пока подымется тесто. А Юсуф пускай поддерживает огонь, чтобы скорей вскипела вода.

Камил сложил топливо и зажег.

Шакир, потеряв надежду что-нибудь объяснить этому «невежественному» пастуху, отвернулся к востоку и любовался на расплывающийся по небу румянец утренней зари.

Когда поднялось солнце, он пошел посмотреть лошадь. Она каталась по земле. Седло сдвинулось набок.

Шакир снял седло. Положил на лошадь потники, затянул подпругу, а седло с чересседельником и уздечкой принес и положил у возвышения.

Он умылся из кувшина, вытерся концом кушака, расстелил переметную суму, сел на нее и задумался, твердя с досадой:

— Невежды, невежды...

5

Солнце взошло.

Степь засияла красноватым отсветом, а даль лежала в прозрачной голубой мгле.

Овцы проснулись в загонах, вскочили и с блеяньем просились на пастбище.

Собака, отсторожив ночь, теперь крепко и спокойно спала, положив голову между лапами.

Четыре плотные лепешки испеклись на раскаленном песке, и Кулмурад положил их, не имея скатерти, на какой-то застиранной тряпке.

Шакир, глядя на румяные лепешки, почувствовал голод, но терпеливо ждал, когда сядут за трапезу пастухи и разломят свой хлеб. А пока переливал чай из кувшина в чашу, из чаши в кувшин, чтобы получше заварился.

Кулмурад и Камил принесли парное овечье молоко.

Кулмурад подсел к завтраку, а Камил сперва накрошил половину лепешки в собачью чашку, залил ее молоком и, только отдав чашку собаке, сел сам, разломил лепешку и предложил гостю.

Шакир налил почти совсем остывший чай, но, едва отхлебнул глоток, спросил, поморщившись:

— Разве вы в чай добавили соль?

— Он сам по себе соленый.

— Как же так? Разве в чае есть соль?

— Не в чае, а в колодцах. Тут по всем колодцам вода соленая. Эта еще не очень, бывает крепче. По эту воду мы ходим версты за четыре, а из нашего колодца воду в рот нельзя взять.

В это время Юсуф подошел к очагу с большим глиняным кувшином на спине.

— Вот он принес воду из того же «пресного» колодца. Иди, Юсуф, поешь.

Теперь все были в сборе.

Пастухи ели лепешку с удовольствием, но Шакир, поковырявшись в своем куске, ел ее неохотно.

— Почему у вас солома в хлебе?

— Это не солома, а ячменные отруби.

— Почему ж вы не просеяли?

— Хозяйская воля. Так приказано. Хозяин говорит, что, если ее просеять, половина муки отсеется.

— А сам-то хозяин такой хлеб ест?

— Нет, когда он приезжает, он для себя привозит пшеничные лепешки.

Кулмурад наломал вторую лепешку, а крошки собрал и положил в рот.

— Хлеб лучше ножом резать,— сказал Шакир,— и крошек меньше, и ломтики ровнее.

— Говорят, хлеб резать грешно.

— Какой тут грех? Это выдумка мулл. Вот джадиды и выступают против таких выдумок. Например, они говорят, что хлеб резать ножом совсем не грех.

Кулмурад, глядя в сторону, неохотно сказал:

— Народу от этих споров ни жарко ни холодно. Имеешь хлеб — и ладно. Был бы хлеб, а разломить его мы и руками сможем и в любом виде съедим, было б что есть.

«Трудно этим невеждам что-нибудь вдолбить в голову!» — с раздражением подумал Шакир.

Он увидел, что собака по-прежнему спит, а ее чашка стоит нетронутая.

— Что же это собака не ест? — спросил Шакир.

— А она ждет приглашения,— ответил Кулмурад и, взглянув на нее, позвал: — Халдар, Халдар, иди ешь!

Собака медленно встала, потянулась и, повернувшись к пастухам, вильнула хвостом и неторопливо подошла к чашке. Затем неторопливо принялась есть.

— Имя твоей собаки означает — Имеющая родинки. Она и вправду в пятнышках. Жалко только, что она оказалась тезкой сыну нашего кушбеги.

— Кто это?

— Одного из сыновей нового кушбеги Мирзу Урганджи тоже зовут Халдаром.

— Что же тут жалеть, что собака ему тезка?

— Да ведь обидно, что такая умная и честная собака носит имя такое же, как один из эмирских негодяев.

Кулмурад улыбнулся:

— Вы, я вижу, крепко не в ладу с людьми эмира.

— Поневоле не будешь им другом. Своими притеснениями они разорили народ, извели всех подлостью и развратом.

— Притесняют и подличают не только люди эмира. Вон мой хозяин за последние десять — пятнадцать лет захватил землю не менее как у двадцати или тридцати крестьян из нашей деревни, а

их самих превратил в своих батраков, поденщиков да издольщиков.

— Ну какие ж тут притеснения? Они продали свою землю, а он купил.

— А надо знать, как он заставил их продать ему землю. Если вы узнаете, как он купил эти земли, вы тоже согласитесь, что это притеснение. Он сначала исподволь сделал их своими должниками. Сумел навязать им эти долги. Затем насчитал проценты на проценты и заставил их продать ему эти земли. А их запряг работать на себя. А каково на него работать, вы можете сами видеть.

Кулмурад показал на грязные дырявые одежды пастушат и на свой ветхий, залатанный халат.

— Зиму и лето, под снегом и под дождем, под летним солнцем на раскаленном песке, голодные, бродим мы босиком за хозяйскими отарами по степям и пустыням. А хозяин каждый год продает каракулевые шкурки и мешками привозит домой золото и серебро.

— Что ж он с этими деньгами делает?

— Прикупает новые стада баранов. Прикупает земли. Каждый год, как эмир ездит в Ялту, так и наш хозяин ездит гулять и развратничать в Мауланбад и Сим, там он, так же как и эмир, разбрасывается деньгами. Его распущенность дошла до того, что, имея четырех своих законных жен, он еще приволокнулся за женой своего батрака. Тайна его открылась. Но сельские старосты прикрыли байские дела, дабы его не опозорить. Разумеется, от бая тоже потребовались расходы.

Шакир сказал:

— Таких баев я хорошими не назову. Но если б эмир и его придворные были хорошими, тогда и баи стали бы лучше. В книгах написано: «Народ принимает веру своих царей».

— Я человек неученый,— ответил Кулмурад,— но своим коротким умом я иначе думаю.

— Как жы ты думаешь?

— Да так в пословице говорится: «От жирного мяса — жирная похлебка, от густого молока — густая простокваша». А из постного мяса или жидкого молока ничего хорошего не сделаешь. Наш эмир и его люди вышли из таких вот баев, как наш. Эмир и его люди не станут другими, ведь они из тех же, что и наши баи, старосты и старшины.

Оказавшись побежденным в этом споре, Шакир решил перевести разговор на другое.

— Рузи и Сафар-Гулам тоже в этой степи?

— У вас к ним какое-нибудь дело? — спросил вместо ответа Кулмурад.

— Да нет, если они недалеко, я хотел их проведать.

— Они недалеко. Но ехать к ним вам нет нужды. Они, верно, скоро погонят овец на пастбище. Наши ребята тоже сейчас выгонят. Мы скажем пастушатам, они пришлют сюда и Рузи и Сафар-Гулама.

— Ну, ладно,— потягиваясь, согласился Шакир.

— Вы пока ложитесь, отдохните.

— Да, можно и прилечь.

Камил и Юсуф нагрузили кожаный мешок на верблюда, заседлали одного из ослов и, перекинув через него суму, положили туда хлеб, кувшин с водой, деревянные чаши.

Овец выпустили из загонов. Следом за отарами погнали верблюда и осла, а сами, взяв длинные палки, пошли вслед за стадом в сторону пастбищ.

Собака пошла позади всех.

— Вши и клещи не заели вас, авось и меня не заедят! — сказал Шакир, подсунув под голову свой мешок и растягиваясь на верблюжьей попоне.

Кулмурад поставил на очаг большой котел, вылил в него три больших чашки молока и раздул огонь.

Из юрты он принес маслобойку, горшки с кислым молоком, вылил молоко в маслобойку и принялся за сбивание масла.

— Много молока дают ваши овцы? — спросил Шакир.

— Откуда ж много! Часть овец уже не доится.

— Почему?

— Зима была сухая, снега не было. Весной тоже дождей почти не выпадало. Все пересохло в степи. Скот очень исхудал. Не успели овцы выкормить ягнят, как молоко пропало. И те, у которых ягнята пошли на шкурки, тоже молока не дают. Только от овец, которых мы на ночь загоняем в другой загон, надаивали поутру два-три горшка.

— Для вас-то хватит.

— Для кого это?

— Для вас троих.

— Нам-то хватало бы. Но ведь хозяин не оставляет для нас.

— Что же он говорит?

— Масло и сыр требует.

Кулмурад, сильно ударяя веселкой в маслобойке, продолжал:

— И хоть мы, оставляя свои глотки сухими, все сдаем хозяину, он нами недоволен. Раз в неделю приезжает сюда и каждый раз спорит об этом молоке, масле, твороге, сыре. Надоело до смерти! Ему дела нет, что год выпал засушливый. Уезжая, всегда, как сумасшедший, кричит: «Почему в прошлом году каждую неделю

было столько-то масла, столько-то творогу, столько-то сыру? У вас, кричит, глаза несытые, вы никак не налопаетесь!»

Шакир уже спал, убаюканный мерным стуком веселки и неторопливым рассказом Кулмурада, полным обиды и горечи.

6

Вспотев под горячим полуденным солнцем, Шакир проснулся.

Он увидел, как в тени юрты Кулмурад, смеясь, рассказывает что-то Рузи и Сафар-Гуламу.

Прислушавшись, Шакир понял, что речь идет о нем и что над его словами смеются.

Затаив обиду, Шакир подумал: «Дурак, невежда». Но, встав, он приветливо сказал:

— Ого, я часа три-четыре поспал!

Он умылся из тяжелого кувшина и поздоровался:

— Как ты поживаешь, Рузи? А как ты, Сафар?

— Слава богу! Слава богу! — отвечали пастухи.— А вы как?

— Слава богу, хожу пока по земле!..

Кулмурад перенес верблюжью попону в тень юрты и расстелил ее там.

— Проходите сюда, в тень.

Шакир сел на попону, а пастухи остались сидеть на земле.

— Садитесь сюда! — позвал Шакир.

— Человек из праха создан. Не беда, если и посидит на земле,— ответил Рузи.

— Я-то ведь тоже создан не из верблюжьей попоны.

— Вы гость! — сказал Сафар-Гулам.— «Гость выше твоего отца», как говорится.

— Ну, если ты меня столь почтил, будь здоров! — пошутил Шакир, обернувшись к Кулмураду.

Кулмурад наливал в котел воду из глиняного кувшина.

— Будьте и вы здоровы за то, что пришли проведать друзей и забытых родственников! — серьезно ответил Кулмурад и насыпал в котел чашу промытой джугары.

— Но твои вши и клещи меня тоже почтили. Я во сне их не замечал, а сейчас все тело зудит. И весь я покрылся красными пятнами и волдырями, как от лихорадки.

— Простите, Шакир-ака,— серьезно ответил Кулмурад,— я ведь предупредил вас. Теперь вы, может быть, поняли, что хоть нас они и не заедают до смерти, но надоедают хуже смерти.

Рузи внимательно посмотрел на Шакира:

— Постарели вы, брат Шакир, в бороде уж и седина есть.

Шакир захватил в руку свою большую бороду, округлявшую его белое веснушчатое лицо, и, осмотрев ее, сказал:

— Что ж, пора. За пятьдесят перевалило. И то хорошо, что черных волос у меня пока больше, чем седых. А тебе, Рузи, сколько? У тебя ведь тоже уже проседь.

— Сорок пять. Меня не годы состарили. Работа тяжелая, сам всегда наполовину голодный...

— Мне двадцать семь,— сказал Сафар-Гулам, хотя никто не спрашивал его о возрасте.— Но если б я дал бороде расти, как она хочет, в ней было бы седых волос больше, чем черных. Чтоб не огорчать вашу невестку, я каждое утро выщипываю из бороды все седые волосы.

Невесткой собеседника, по старому обычаю, называли свою жену, ибо не принято было говорить о своей жене при посторонних мужчинах.

Кулмурад снял с головы ветхую тюбетейку и показал голову:

— Вот до чего я дошел в свои двадцать шесть лет!

Все засмеялись: от затылка до лба голова Кулмурада была голой, а кожа, загорев, отливала, как раскаленная медь.

— Хорошо, что у тебя волосы вылезли сами. А не то тебе пришлось бы их выщипывать вроде меня. Наверняка их лучше выщипывать из бороды, нежели из головы,— сострил Сафар-Гулам.

— Ты переносишь мучения ради красоты! Это похвально для молодожена. Но потом перестанешь выщипывать свою бороду, вот увидишь,— ответил Кулмурад.

— Ты недавно женился? Желаю тебе счастья! — поклонился Шакир Сафар-Гуламу.

— Спасибо за поздравленье! С год уже женат.

— Как же это ты?

— Не спрашивайте! Мне было пятнадцать лет. Бай взял меня работать и обещал, что за это женит меня. Десять лет я на него работал, но о женитьбе ничего не было слышно. Я уже хотел бросить у него работу и уйти. У бая в доме была девушка. Во время засухи, когда ей было десять лет, бай купил ее за пуд джугары у моих родственников. Она у него работала десять лет, но о свадьбе бай и не заикался. Когда я сказал, что уйду, он поневоле просватал ее за меня. Я еще два года проработал. Но, вижу, бай молчит. Я рассердился и снова решил уйти. Тут в это дело вмешались старики и старшины и уговорили бая, отдали мне эту девушку, но с условием, что я проработаю у бая еще десять лет.

— Ведь дом твоего отца на улице Рабов развалился. Где ж вы с ней живете?

— Она до сих пор в доме бая доит коров, ходит за скотом, варит еду, печет лепешки. А я круглый год в степи со стадом. В три, в четыре месяца раз хожу в деревню. Спим на сеновале. А утром вымоешься в реке и опять в степь.

— Хоть мы потомки освобожденных рабов, а живем не лучше, чем наши деды и отцы-рабы, купленные на золото. И они жили так же, не вижу я разницы! — сурово сказал Кулмурад.— И тогда хозяева говорили, что раб, который много времени проводит с женой, плохо работает.

— Давно ты не был в деревне?

— Уже сорок пять дней! Просил хозяина отпустить меня на день. Он говорит: «Пойдешь в пятницу». Наступила пятница, приехал хозяин, я собрался, а он — мне: «Ты куда?» — «В деревню».— «Нет, сегодня не надо, там неспокойно».— «Что неспокойно, что случилось?» Он сказал, что в Бухаре поссорились кадымисты с джадидами, джадиды потребовали у эмира свободы, а эмир их разогнал, а несколько человек убил. Я спросил у хозяина: «Какое мне дело до Бухары?» А он мне ответил: «От эмира и кушбеги на имя четырех правителей туменя пришло письмо, и там сказано, что надо быть осторожными со всеми дурными людьми, а особенно с теми, которые из рабов. А раз ты из рабов, не надо тебе туда ходить».

Сафар-Гулам взглянул на Шакира.

— Да, еще вот что: по словам Урман-Палвана, нашего бая, судья говорил старостам об опасных людях и назвал вас. И сказал: «Если вы где-нибудь увидите Шакир-Гулама, тут же его хватайте!» В чем дело? Разве вы сделали ему что-нибудь дурное?

— Он стал мне врагом после того, как я выступил против амлакдара и сказал, как он собирает подати. И меня ловят еще потому, что я присоединился к джадидам.

— Эге, вон в чем дело! — удивились и Сафар-Гулам и Рузи.

Кулмурад, занятый своим котлом с похлебкой, перемешал ее и подошел, с удивлением глядя на Шакира.

— Про джадидов говорят, что они неверные. Как же вы могли присоединиться к ним?

— Пустые слова! — ответил Шакир, но слегка смутился.— Джадиды такие же люди, как и мы с вами. Дети мусульман и сами мусульмане. Они добиваются того, что будет полезно для людей. Но их требования невыгодны эмиру, его придворным и муллам, вот они и объявили джадидов богоотступниками.

— Но какой же пользы для народа хотят джадиды? — озабоченно спросил Кулмурад.

— Я уже говорил тебе об их требованиях. Еще раз скажу, чтобы слышали все: они хотят преобразования школ, уничтоже-

пия торговли худжрами в медресе, взимания налога с земли, а не с урожая.

— Хорошо,— сказал Кулмурад.— Оставим разговор о медресе и о школах. В этом мы ничего не понимаем. Но какая нам польза от налога с земли?

— Кому это — нам?

— Мне, Рузи, Сафар-Гуламу. Я могу назвать тысячи человек. Назвать? Тысячу семейств бывших рабов назову. Из одного только Шафриканского туменя, у которых нет ни земли, ни воды. Если вам и этого мало, то я назову батраков, поденщиков, издольщиков, пастухов, которые работают на баев и составляют больше половины крестьян каждого селения. Им, безземельным, какая польза или какой вред от того, с земли или с урожая будут собирать налог?

Коса Шакира нашла на камень, он поспешил уклониться от вопроса:

— Одно из требований джадидов — свобода. Если дадут свободу, разве тебе от нее не будет пользы?

— Не знаю, что это такое. А говорят, что главный спор как раз вокруг нее идет! — удивленно посмотрел Рузи на Шакира.

— Когда богач, бедняк, неграмотный раб, свободнорожденный, неверный и мусульманин станут равны между собой, когда никто никому ничего не посмеет приказать,— вот это свобода. Например, нас с вами через каждые два слова попрекают тем, что мы «рабы», «низкорожденные», потомки рабов. А при свободе такие слова будут уничтожены.

— А разве мы от этого будем сыты? — спросил Кулмурад, хлопоча около очага.

— Хоть сыт не будешь, а уважение получишь! — ответил Шакир.

— Уважение? — удивился Кулмурад.— Пока я видел, что уважение оказывается только богатым. Сыновья Пулата-бая — потомки рабов. Но они очень богаты. И разве их называют рабами? Разве им не оказывают со всех сторон почета и уважения! А нас, нищих, и при «свободе» никто не уважит.

— Что это такое — равенство между богачом и бедняком? — спросил Сафар-Гулам.— Даст ли мне свобода есть то же, что ест мой хозяин, носить такое же платье, как он? Смогу ли я сам решать, когда мне ночевать дома, а когда в степи? Если свобода даст мне это, я первый потребую свободы.

— Если ты сможешь купить то, что ест твой хозяин, ешь. Купи такие же, как и он, халаты и носи их, будь со своей женой, сколько пожелает твое сердце,— ответил Шакир.

— Если так, то вы мне, может быть, скажете, как мне добыть денег на такую же еду, на такую же одежду и на свой дом, где я мог бы жить с женой?

— Путь к приобретению этого — труд.

— Труд? Я работаю день и ночь. И у меня ничего нет. А бай, хоть он не опустит даже рук в холодную воду, имеет все и прибрал к рукам всю нашу деревню. Почему мой труд помогает не мне, а баю?

Шакир не знал, как тут ответить.

На помощь Шакиру подоспел Рузи:

— Как понять уравнение мусульманина и неверного? Разве это не значит мусульманина сделать неверным? Вероятно, муллы не без причины боятся этого.

— Равенство в этом случае не означает перехода одного в веру другого. В отношении веры каждый пойдет своим путем. Но в житейских делах они будут равны.

— В каких делах?

— Например, в наших городах евреям запрещено ездить верхом. Выходя на улицу, евреи обязаны подпоясываться веревкой. Во время свободы такие глупые правила в бухарских городах будут отменены.

— А это не нарушит установлений шариата? — удивился Рузи.

— Халиф мусульман сего мира, халиф Стамбула, дал своему народу свободу. Он уравнял мусульман с неверными. Если бы свобода противоречила шариату, разве пошел бы на это халиф?

Шакир заметил, что Рузи не удовлетворен этим ответом. Желая подкрепить свои доводы, он продолжил:

— И в Иране,— откуда мы, бывшие рабы, родом, уже несколько лет назад объявлена свобода. Но мусульманство там не уничтожено, и теперь муллы и муджтахиды едут туда учиться.

— Хорошо,— сказал Кулмурад,— оставим дела шариата в стороне. Какая же для нас польза от равенства мусульман и неверных?

— Те места, где объявлена свобода, процветают. И Турция и Иран стали просто раем!

— Оставьте, Шакир-ака, этот ваш рай,— сказал Кулмурад, махнув рукой.— Вашего рая из нас никто не видал, как и того рая, о котором толкуют нам муллы. Как говорится: «Большой барабан приятно слушать издали». Но не желаю вам съездить туда и взглянуть на этот рай вблизи, не то вам придется разочароваться!

— Я сам читал! — раздраженно ответил Шакир.— Читал в газетах о том, насколько стали процветать эти страны после объяв-

ления свободы. А ты какие имеешь доказательства, чтобы говорить: «Нет»?

— Я ваших газет-мазет не знаю. Я лучше расскажу о том, что видел своими глазами.

— А ну расскажи! — согласился Шакир.

— Наших отцов и дедов разбойники приволокли в рабство. Эмир взял в плен и пригнал тех персов, что живут в Бухаре и в Самарканде. А вот кто привез персов голых и босых, которые сейчас бродят толпами по станциям и вдоль железных дорог и выпрашивают кусок хлеба? Если Иран после объявления свободы превратился в рай, если в этот рай открыта широкая дорога для простого народа, почему же персы бегут не в рай, а из рая, вымаливают себе кусок хлеба и хватаются за любую работу?

Шакир покраснел и, пораженный, не находя слов в ответ, сидел, опустив голову.

Кулмурад, видя его смущение, сказал:

— Ладно! От этих разговоров сыт не будешь. Вот джугаровая похлебка куда сытней! Вставайте, мойте руки, я иду наливать.

И принялся мыть деревянные чаши.

* * *

Кулмурад примешал к похлебке две чашки кислого молока и, перемешав, разлил в две деревянные чашки и в каждую положил по одной ложке с длинной ручкой.

Одну чашку он дал Сафар-Гуламу. Тот, расстелив скатерть, поставил ее перед Шакиром и Рузи. Вторую чашку Кулмурад поставил перед Сафар-Гуламом и сам сел рядом.

Шакир задумчиво и невесело смотрел то в ясное высокое небо, то на горячий бесконечный простор пустыни.

— Пожалуйста, похлебка стынет! — сказал Рузи.

Шакир отмахнулся с расстроенным видом.

— Ешьте сами.

— Шакир-ака! — сказал Кулмурад.— «Если младшие ошибаются, старшие их прощают», как говорится. Уж вы не омрачайте наши сердца, они и так мрачны. Отведайте нашего бедняцкого угощения.

Шакир, начав есть, спросил:

— Нам с Рузи достаточно вот этой чашки, Камилу с Юсуфом тоже хватит одной чашки. Зачем же ты сварил такой большой котел?

— А мы не каждый день варим. В неделю раз, редко — два раза. В тот день, когда варим, едим похлебку горячей, а остальному даем закиснуть. В жаркие дни кислая похлебка вкусней.

Каждая ложка ходила от одного к другому вперед и назад, подобно ткацкому челноку. Каждый, хлебнув два-три раза, передавал ложку соседу. Когда Кулмурад уступал ложку Сафар-Гуламу, тот не спеша брался за ложку, так же медленно ел. В то время как другие успевали съесть по четыре ложки, он одолевал одну или две.

Кулмурад, которому надоела нерасторопность соседа, сказал:

— Ты ешь, как ребенок: шлеп-шлеп, а толку мало!

— Если тебе надоело, ешь досыта, а я съем потом, что останется.

— У джадидов,— сказал Шакир,— есть хороший обычай. Они дают каждому отдельную чашку и отдельную ложку.

— Для нас эти обычаи не имеют значения. Нам нужна еда,— ответил Сафар-Гулам.— Если будет похлебка, мы сумеем ее съесть.

Шакир удивлялся, что Сафар-Гулам почти повторил слова Кулмурада.

— Нельзя смотреть только на себя. Ты считаешь нужным только то, что тебе нужно. Так нельзя понять общественную пользу.

— А то как же? Каждый плачет о своем покойнике! Найдите мне из всех требований джадидов такое, в котором было бы хоть зернышко пользы для меня, и я первый стану джадидом.

— Манифест джадидов у меня в суме. После еды я покажу его тебе. Что-нибудь нужное и полезное найдем в нем и для тебя.

— Простите, Шакир-ака, я вспомнил один рассказ, подходящий к вашим словам,— сказал Кулмурад.

— Расскажи, послушаем.

— В Вабкентском тумене есть деревня Ширин. У одного из ширинцев был белый осел. Хвост у осла был, как девичья коса, чуть не до земли, грива густая. Ширинец надумал продать этого осла. Перед базаром он вымыл осла с мылом, вычистил скребницей, гребнем расчесал ему хвост и гриву. На беду ширинца, в эту ночь прошел сильный дождь. Дорога размокла, превратилась в сплошную грязь. Ширинец задумался — что ж мне делать? До другого базара отложить нельзя — деньги нужны; сейчас вести на базар — всего измажешь в грязи: особенно пострадает хвост, который, раскачиваясь, подобно девичьей косе, как раз и должен привлечь покупателей. Никак не решив вопроса, ширинец пошел за советом к одному мудрецу. Рано утром постучал к мудрецу в ворота, нарушил его сладкий сон, рассказал ему о своих сомнениях и попросил совета. Мудрец был очень недоволен, что его разбудили, и поругал ширинца: «Ну, что же вы будете без меня делать, когда я умру? И на такой пустяк у тебя ума не хватает!» И прибавил: «Отрежь ослу хвост, положи в суму и поезжай на базар. Если

к хвосту пристанет хоть капля грязи, я отвечаю». Ширинец поклонился мудрецу за совет, и пока шел домой, удивлялся, как это у него самого не хватило ума на такой пустяк. Он отрезал хвост, положил в суму и отправился на базар. На базаре каждый маклер, каждый барышник, каждый покупатель хвалил осла, но сожалел: «Хорош осел, жаль только, что нет у него хвоста!» Но ширинец гордо отвечал: «Ака, вы себе приторговывайтесь, а о хвосте не беспокойтесь: его хвост в суме!»

Закончив рассказ, Кулмурад подмигнул Сафар-Гуламу:

— Я боюсь, как бы в требованиях джадидов наша с тобой польза не оказалась в суме.

Сафар-Гулам, уже успевший поесть, добродушно засмеялся и, ободренный улыбкой друга, сказал:

— Я знаю о ширинцах историю еще занятнее вашего. У одного из них была дойная корова с большими рогами. Однажды она проголодалась, порвала веревку и вышла из хлева. Возле хлева стояла большая корчага с недоспелыми початками джугары. Корова засунула в корчагу голову и поела початки. А когда хотела вынуть голову, рога застряли в корчаге, корова испугалась и заметалась по двору. Ширинец, увидев свою корову, совсем растерялся и не знал, что ему делать. «Ну, теперь сгорел мой дом,— подумал он,— корчага разобьется и пропадет!» Тут он вспомнил о мудреце, быстро собрался и побежал к нему за советом. «Освободить корчагу и сохранить ее в целости и сохранности очень легко. Отрежь корове голову, и корчага, не разбившись, отделится от коровы». Ширинец кинулся домой, поскорей исполнил совет мудреца и спас корчагу. Когда вечером жена ширинца вышла подоить корову и увидела обезглавленную тушу, она подняла крик: «Ой, отец! Куда ж корова дела свою голову?» Ширинец ей отвечал: «Много не ори, дура! Иди доить, голова коровы в корчаге!»

Кончив этот рассказ, Сафар-Гулам сказал:

— Это еще полбеды, если наша польза окажется в суме. Я боюсь, как бы она не оказалась в корчаге.

Этими двумя притчами Шакир был оскорблен.

Не взглянув ни на кого, он встал от угощения, подхватил свою переметную суму, взял седло и начал седлать лошадь.

Рузи спросил:

— Зачем же сердиться? Это ведь только притчи.

Но Шакир даже не обернулся.

Кулмурад подошел к лошади.

— Дайте я заседлаю ее вам.

Но Шакир оттолкнул локтем Кулмурада и оседлал лошадь сам. Взнуздав ее, засунул недоуздок в суму, перекинул ее и вскочил в седло.

И, прямо глядя в глаза Кулмураду, он высказал то, что до сих пор повторял про себя:

— Невежды! Дураки! Разве таким болванам объяснишь, в чем их польза?

И погнал коня туда, откуда приехал.

Вскоре пыль, поднятая его конем, растаяла за высокими песчаными холмами.

7

Кончался январь 1918 года.

Два дня, не переставая, шел снег. Он густо покрыл и завалил степи, овраги, дороги, улицы, крыши деревень.

К вечеру снег перестал, небо очистилось, а мороз усилился. Небо было чисто и безоблачно, подобно синему сукну, только что выпущенному фабрикой. Звезды казались электрическими фонариками, привязанными к синему пологу, и привлекали внимание своим блеском, и прохожие смотрели на этот далекий блеск, на эту яркую синеву.

Широкий двор Палван-Араба, расчищенный от снега, посыпанный красным песком, чтоб никто не мог поскользнуться, выглядел празднично.

В большой конюшне, в тридцать пять стойл, теснились расседланные, покрытые попонами лошади, которым только что задали корму.

Над зинханой, устроенной в конюшне, собрались конюхи. Усевшись вокруг очага под висячей лампой, они пили чай, курили кальян и разговаривали.

Главный конюх рассказывал о себе.

Приправляя рассказ прибаутками, он вспоминал, как в молодости проиграл себя в кости и как потом, изнывая в кабале, отыгрался, обыграл всех своих противников.

В это время из зинханы раздались стоны:

— Ох, жизнь моя...

— Столько людей заперли в этой сырой каморке в такой холод.

— Уж лучше б нас убили, чем тут морозить. Хоть сразу избавились бы от мук!

Эти голоса, полные муки и печали, помешали рассказчику, и он с издевкой крикнул:

— Лежите молча! Завтра вас пошлют в Бухару. Там, в темнице, в эмирском дворце, есть каменная комната. Там и согреетесь и успокоитесь.

Другой конюх остановил его:

— Не смейтесь над бедняками. Что уж их терзать! Никто не поручится, что завтра на их место не посадят тебя или меня.

— Нам, конюхам, никто ничего не сделает. Ты еще только поступил в конюхи, так и не знаешь о нашем законе.— И он пояснил свои слова: — Нынешний эмир Алим-хан был тогда еще наместником в Кермине. Там я работал на его конюшне. Однажды Имамкул-туксаба стал приставать с дурными любезностями к моему помощнику. Я рассердился и ушел с помощником к деду. Знаешь порядок? У нас, как у всех бухарских ремесленников, есть свой дед. А у него — дедов дом. Если конюх остается без работы, идет жить в дом к деду, и дед обязан кормить конюха, пока ему не найдется работы. А когда конюх получает работу, дед получает немного с конюха и немного с хозяина. Так что у деда в кошельке всегда есть кое-что про запас. Вот ушел я к деду, и в тот же день все конюхи и все возчики, что работали у наместника, рассердились, бросили работу и собрались в дедов дом. Лошади, все конюшни и у наместника, и у его придворных остались без конюхов. Когда наместник об этом узнал, зовет он Имамкула и приказывает любым способом помириться с нами: «Немедленно помирись с этими проклятыми «силачами города», от которых отреклись их отцы! Не ходить же мне пешком из-за этой сволочи!» Имамкул вызвал деда, подарил ему халат, а мне прислал свой поношенный камзол. Ну, мы и вышли на работу. Понимаешь теперь, в чем наша сила?

Хорошенько затянувшись из кальяна, поданного конюшонком, главный конюх, прокашлявшись, продолжал:

— Пускай теперь твой амлакдар, казий или хоть Хаджи Латиф-диванбеги, что сидят сейчас в приемной и чванятся и кичатся там перед народом, пускай скажут хоть одно слово нам не по нраву, мы сейчас же рассердимся и уйдем. И тогда им самим придется ломать голову, что делать с лошадьми и арбами! Сами пусть чистят их и запрягают.

Один из конюхов хихикнул:

— И придется Хаджи Латифу надеть хомут себе на шею и самому возить арбы с железнодорожными рельсами!

— Ему и хомут не понадобится! — поддержал другой конюх.— У него чалма такая, что годится заместо хомута.

— Ох, эти проклятые рельсы! — пожаловался какой-то возчик.— Я запряг свою лошадь, а известно, какая она сильная, к ней подпряг еще одну сильную лошадь и на них, на двух, едва-едва смог привезти эти рельсы.

— Ничего! — надменно засмеялся главный конюх.— Если Хаджи Латиф один не справится, к нему можно припрячь еще и казия.

— Нет, амлакдара в пристяжную лучше — у него шея толще,— сострил еще один из конюхов под общий хохот.

Один из конюхов спросил возчика:

— А зачем это рельсы перевозят из туменя в тумень?

— Откуда я знаю? Я спрашивал у анджинара, когда он сюда в гости приезжал. Он говорит, будто его высочество хотят провести в тумене железную дорогу.

— Его высочество одну дорогу знает — из мечети на женский двор, а в дорогах он не разбирается. Ничего тут не проведут! — решил главный конюх.

Остатки остывшего плова, принесенного от гостей, нарушили разгоравшуюся беседу.

Вымыв руки, все принялись за еду.

В конюшне все примолкли.

Молчание нарушали лишь стоны узников:

— Ой, смерть моя!

— Ой, сил нет!

В большой приемной комнате Палван-Араба сидели в ряд четверо владык Шафриканского туменя — казий, раис, амлакдар и миршаб. Около них сидели муфтий туменя и другие самые значительные муллы Шафрикана, а с другой стороны смуглый, еще не старый человек с высоко приподнятыми бровями. Его чалма была намотана так, что спускалась ему на шею.

Судья поминутно наклонялся к нему, выказывая уважение и что-то шепча на ухо.

Возле них сидело двое людей в чалмах, повязанных по-бухарски, репой, как тогда повязывали чалмы военные чины эмира. Но ни их атласные халаты, обшитые широкой шелковой тесьмой, ни их манера сидеть, ни движения не напоминали ни эмирских военных, ни вообще бухарцев. Сидя рядом с казием, они вытянули ноги и облокотились на пуховые подушки, плотно запахнув халаты до самой шеи.

С другой стороны комнаты на мягких тюфячках сидели Хаитамин, Бозор-амин, Нор-Палван и другие богачи, купцы и землевладельцы туменя. Чуть в стороне сбычился смуглый чернобородый человек с толстой шеей и тяжелым животом. Его широкие брови срослись на переносице, ресницы были длинны, а глаза черны и велики, как сливы. По черной бороде уже струилась тонкими ниточками седина. Поверх ярко-белой рубахи, видневшейся под бородой, на нем надето было два стеганых сатиновых цветных халата, а поверх стеганых — еще синий суконный халат, сшитый свободно и по краю обшитый широкой шелковой тесьмой. Под суконным халатом виднелся дорогой афганский кушак, опоясавший нижние халаты, а голову обвивала белая шерстяная чалма.

Ее конец не был подоткнут, как это делали военные, муллы или купцы в Бухаре, а свободно свешивался с левого плеча на грудь.

Он сидел на колене, сложив на животе руки, и, не отрываясь, смотрел на четырех владык туменя.

Облик этого человека напоминал арабов, оседло живших в Бухаре, а полнота напоминала дородство баев бухарского тумеля, откормленных колбасами, мясом молодых барашков, молоком и простоквашей.

Это был владелец дома Палван-Араб.

Хотя на дворе мороз крепчал, а в комнате не было печи, здесь стояла жара, как в печке,— посредине комнаты, едва убрали скатерть, в ряд поставили три жаровни и к потолку подвесили три керосиновые сорокалинейные лампы-молнии.

Небольшую прихожую битком набили крестьяне и пастухи, одетые в рваные ветхие халаты.

Крестьяне сидели тут при свете тусклой лампы и, наваливаясь друг на друга, вытягивая шеи, опуская головы до полу, заглядывали в комнату через щель, светившуюся между порогом и дверью.

Когда слуги, убиравшие остатки еды и скатерть, выходили, сидевший, как надлежит хозяину, возле двери Палван-Араб сказал им:

— Несите чай!

Понесли чайники, распространявшие аромат зеленого чая, и подносы с пиалами.

Все это поставили перед юношей лет семнадцати, сидевшим рядом с хозяином, и он хотел разливать чай, но казий попросил:

— Подай прямо в чайниках. Мы сами будем себе наливать.

Юноша перед каждым из двух гостей поставил по одному чайнику и по одной пиале.

То же поставил он и перед двумя незнакомцами.

Человек со спускающейся на шею чалмой, сидевший рядом с ним, шепнул юноше:

— Принеси для них еще одну пиалу.

Юноша принес пиалы и поставил перед каждым из незнакомцев.

Батраки бая, увидев из прихожей, как оба незнакомца взяли по пиале, были удивлены, что у каждого отдельная пиала.

Не отрывая взгляда от этих двоих гостей, один шепнул другому:

— Может, один из них болен нехорошей хворью, что они не пьют из одной пиалы?

— А ты не видишь, что ль? Не видишь, как необычно они себя ведут! В присутствии четырех владык вытянули ноги так, будто сидят на руках у матери.

Один из этих гостей, приподнявшись, шепнул что-то соседу — тому, у которого чалма опускалась на шею, тот шепнул казию, и казий, обернувшись к этим гостям, улыбаясь, кивнул им в знак согласия.

Тогда гость, отвернув ворот халата, достал из бокового кармана портсигар и коробку спичек. Оба взяли по папиросе и закурили.

Батраки еще более удивились.

— Эргаш-ака, видите? — сказал один из них.

— Вижу,— ответил другой.

— Ого, они курят в присутствии казия!

— А ты не заметил более необычного?

— Чего?

— Когда он распахнул халат, ты разве не заметил, как он одет?

— Черный камзол и белая повязка на шее?

— Да.

— Я заметил,— заколебался второй батрак и добавил: — Наверное, они джадиды. О джадидах говорят, что они носят камзолы и курят папиросы.

— Как же могут джадиды сидеть здесь, да еще при казии курить, когда эмир избивает джадидов? — возразил ему первый.

— Так кто ж они такие, если не джадиды?

— Наверное, индусы, принявшие мусульманство. Говорят, что в Бухаре после бегства джадидов неверные стали принимать мусульманство. По тому, как они носят халаты, и по чалме видно, что они недавно в мусульманах. А бороды у них сбриты, как у индусов.

— Нет. У индусов лица смуглы, брови и глаза черны, а у этих лица белы, брови тонки и редки, а глаза серые.

Один из этих гостей, наклонившись к жаровне, чтобы бросить окурок, взглянул на дверь и под дверью увидел внимательные глаза бедняков.

Лицо гостя омрачилось.

Он поднял голову и, притянув к себе человека со спустившейся на шею чалмой, что-то шепнул ему. Тот прервал свой рассказ про одну из лошадей эмира, подозвал хозяина, выражая на лице полное одобрение.

Бай, резко вскочив со своего места, подбежал к нему и подставил свое волосатое ухо к его круглым губам. Затем бай выбежал в прихожую и строго крикнул батракам:

— Что вы здесь делаете? Как только соберутся гости, вы слетаетесь сюда, как вороны на падаль. Вам давно пора спать у себя дома.

Бедняки, толкаясь у двери, пошли во двор.

Один из батраков сказал:

— Если бай сравнил нас с воронами, то гостей своих он уподобил падали!

Другой добавил:

— Если гости его — падаль, то сам хозяин — стервятник!

— А может быть, и наоборот: бай — падаль, а его гости — стервятники.

Слуги хотели было остаться в прихожей, но хозяин выпроводил и слуг.

— Идите и вы. Пойдите лучше задайте корму скотине. А если дела нет, ложитесь спать. Завтра надо раньше подняться, возить навоз на поля. Да ворота не забудьте запереть на замок. А чай подавать и так, на всякий случай, пускай здесь останутся Сафар-Гулам и Эргаш.

Все вышли из прихожей, лишь Сафар-Гулам остался сидеть на полу, опершись о стену, а Эргаш устало смотрел в комнату через его плечо. Они сидели в темном углу так, чтобы свет из комнаты не падал на них, стараясь не попасть в глаза.

Когда хозяин вернулся, его снова подозвал гость. Хозяин опять услужливо выслушал высокого гостя и закивал неповоротливой головой:

— Уже готово!

Он снова вышел, прошел через прихожую и открыл дверь в другую комнату, где одиноко горела сорокалинейная лампа. Минуты через две после того, как бай вышел, оба незнакомца, вместе с человеком, конец чалмы которого спустился на плечо, поднялись.

Вслед за хозяином в прихожую вышли оба странных гостя и человек со спущенной чалмой.

Казий тоже выскочил было за ними, протягивая им руку, как для прощания.

— Э, куда же вы уходите?

Оба гостя с усмешкой ответили ему рукопожатием, один из них добавил:

— Сейчас вернемся. Только скажем два слова диванбеги.

Казий вернулся и сел на свое место.

Бай, прижав руку к сердцу, указал на комнату с одинокой лампой.

— Пожалуйте вот сюда!

Едва они вошли и закрыли за собой дверь, один из гостей сказал недовольным голосом:

— Вот что, господин диванбеги Хаджи Латиф, незачем позволять босякам-крестьянам сидеть возле таких собраний. Среди них легко могут укрываться лазутчики большевиков.

— Полагаю, что это все свои люди, иначе бай не пустил бы их к себе во двор. Во всяком случае, он выгнал их из прихожей,— сказал диванбеги извиняющимся тоном.

— Я в прихожей заметил еще двух подозрительных людей,— сказал незнакомец.

Диванбеги Хаджи Латиф приоткрыл дверь и подозвал стоявшего за дверью хозяина, плотно заперев за ним двери, и пробормотал:

— Я ведь сказал, чтобы из прихожей выгнали посторонних людей, а там еще сидят двое подозрительных.

— Я всех выгнал. Это у нас работники. Они остались, чтобы присмотреть за чаем, исполнять поручения.— И прибавил: — Не только у меня в доме, а и во всей деревне, да, думаю, и во всем тумене подозрительных людей не осталось. Если кто покажется, его сразу хватают. Все четверо наших владык бдительны и неусыпны. Как раз сегодня ночью схватили несколько человек. Они сейчас у меня заперты на конюшне.

— Завтра утром отошлем их в Бухару! — одобрительно кивнул Хаджи Латиф и вернулся в комнату.

Второй незнакомец, до тех пор молчавший, нетерпеливо сказал:

— Ну, хорошо! Поговорим о другом.

— Слушаю-с! — ответил первый, а взглянув на Хаджи Латифа, спросил:

— Кто начнет говорить?

— Думаю, что после того, как я передам народу привет его высочества эмира нашего и представлю собравшимся вас, сами все и скажете. У нас говорят: «Дорого слово из уст Лукмана».

— Ну хорошо! — согласился второй гость.

Диванбеги сказал:

— Я забыл ваше имя, простите меня!

Второй незнакомец улыбнулся:

— Николай Петрович.

— О, очень хорошее у вас имя, Николай Петрович,— тезка его величества государя императора. Но у вас было другое имя, покороче?

— Петров,— ответил гость и подмигнул своему спутнику.

Шепотом Хаджи Латиф повторил:

— Петров... Петров... и это хорошее имя. Короткое! Это нам легче запомнить.

Второй гость, хотя его и не спрашивал диванбеги, сказал:

— Мое имя — Александр Александрович Котов.— И прибавил: — По-мусульмански: Александр — Искандер. Так нам объяснял наш учитель господин Остроумов в Ташкентской семинарии.

— И у вас отличное имя. Вполне мусульманское имя! Его никак нельзя забыть. Вы тезка Александра Двурогого, а ваш товарищ — тезка императора. Это хорошая примета.

— Так. А теперь вернемся в гостиную,— решил Петров и, не дожидаясь ответа, пошел в большую комнату.

Когда они входили, все почтительно встали со своих мест, а казий опять протянул им руку для рукопожатия, и Петров снова, насмешливо улыбнувшись, пожал ее, а Котов сделал вид, что не заметил жеста казия, и сел на свое прежнее место.

* * *

Диванбеги, пошептавшись с судьей, встал.

Сделав знак присутствующим, чтобы все сели, он начал:

— Уважаемые благородные жители туменя Шафрикан! Я передаю вам августейший привет его высочества, милостивого к верным подданным...

В комнате раздались возгласы:

— Да будет его высочество непобедим! Да поможет ему аллах! Да перепояшет его святой лев божий и отвращающий несчастья Бахауддин!

Сафар-Гулам, сидя в углу прихожей, услышал слова Хаджи Латифа и спросил Эргаша:

— А мы с вами тоже подданные эмира?

— В какой бы стране ты ни жил, ты будешь считаться подданным ее властителя.

— Если так, то в чем же выразилась милость эмира к нам?

— Это ты спроси у старшин! — засмеялся Эргаш.

А Хаджи Латиф продолжал:

— Его святейшество эмир изволил сказать: «Да будет ведомо нашим верным рабам и самоотверженным подданным, возвеличившимся по милости нашей, что в государстве нашем истинная вера живет и процветает, а в это время мусульмане Туркестана плачутся: «Увы, вера! Увы, шариат!» Мы, уповая на чудо божие, надеясь на его милость и с помощью наших верных подданных, в ближайшее время снова обратим в мусульманское государство весь Туркестан».

— Да будет жизнь наша жертвой! — зашумели собравшиеся.

— Считаясь знатными и почтенными, вы живете здесь спокойно под покровом и защитой государства его высочества, живете как хозяева своего имущества и своей чести. А мусульмане

Туркестана, лишившись всего, что у них было, погибают от рук большевиков. Господин Петров и господин Искандер, бывшие крупными чиновниками великого императора, теперь, бежав от большевиков, поступили на службу его высочества. Они расскажут вам то, что видели сами своими глазами.

Петров встал и, поклонившись собранию, стал говорить:

— Господа! Вы — старейшины, знать, богословы и самые порядочные люди этой области. Вы живете припеваючи по милости его высочества эмира бухарского. Не то у нас в России. Там появились сыновья шайтана, называемые большевиками. Они разорили всех баев, всех богословов, всех почтеннейших людей и рассовали их имущество беднякам, голытьбе. В России они забрали все земли, принадлежавшие богачам, сельскохозяйственные орудия, рабочий скот — все пошло мужикам. И притом батракам, голытьбе, никогда не имевшим ни своей земли, ни пары волов...

— Ох,— сказал Сафар-Гулам,— смекаешь? То-то! Эх, да поскорей бы и нам такое же! Пару бы волов да землю, мы и были бы сыты. Вот была бы жизнь!

— Проси у бога. Неужели ты хочешь у кого-нибудь отнять имущество?

— А ты когда-нибудь видел хоть одного из крестьян, кому бог бросал бы волов с неба, да еще целую пару?

— Ладно, молчи, послушаем.

— Да-с...— говорил Петров.— Не дай бог, и сюда ступит нога большевиков. Куда ж нам тогда еще податься? То есть я подразумеваю не только нас, но и вас. Для того и говорю. Спокойствие и для нас, и для вас тогда кончится...

— Упаси бог!

— Помилуй бог!

— Не приведи господи! — прервали участники собрания Петрова.

— Да-с...— поймал Петров прерванную нить своих мыслей,— не приведи господи! Это верно. Но, надеясь на бога, нам надо кое-что предпринять самим.

— Кто такие большевики? Откуда они взялись? — спросил один из участников собрания.

Хаджи Латиф поспешил объяснить:

— Русские мужики.

— Не все мужики! — поправил Петров.— Большая часть большевиков из рабочих. И там разный народ — русские, армяне, евреи. Но настоящий «русский» никогда не станет большевиком, только некоторые босяки, продавшись евреям, сделались ими.

— А их много? — спросил Палван-Араб, снова перебивая Петрова.

— А в том-то и дело, что много. И число их увеличивается!

— Откуда ж они берутся, если увеличиваются? — спросил казий.

— Господа! Своими вопросами, так сказать, вы сбиваете меня с нити мыслей. Если будете слушать меня молча, на все ваши вопросы получите ответ. Откуда? Не с неба, а с земли. Со всей страны. Каждый мятежник, каждый неблагонадежный, каждый, кому не нравилось жить, как порядочному человеку, все они и собрались! И каждый может стать большевиком, независимо от национальности, от религии, от возраста. Например, разве в вашей области не найдется людей, у которых нет ни земли, ни воды, ни одежды, ни обуви? Есть такие? А они, по своему невежеству, хотят иметь и землю, и скот, и обувь, и все остальное! Вы понимаете? Разве эта... так сказать, часть населения благонадежна? Нет. Они могут стать большевиками, потому что большевики помогут им это получить. А за чей счет? За ваш, достопочтенные, многоуважаемые господа! Очень возможно, что джадиды лезут в их задушевные друзья. Надо, как сказал господин Хаджи Латиф, верой и правдой служить его высочеству эмиру, обучать молодежь военному делу, скупать оружие, все время наблюдать за беднотой. Следить, чтобы бедняки не встретились с каким-нибудь большевиком, не сделались большевиками. Шпионов, смутьянов, мятежников ловить, передавать властям на расправу.

— Где ж покупать оружие? Его у нас на базаре не продают,— опять спросил кто-то.

— У солдат, которые сбежали от большевиков. Некоторые казаки едут по своим домам из Персии, из Хивы. Путь их лежит мимо нас. Не жалейте денег, и у вас наберется предостаточно всякого оружия. Тогда под знаменем эмира мы сохраним не только свои дома, свою веру и свой скот, но и освободим от большевистской власти также мусульман Туркестана. По этому вопросу несколько слов скажет господин Искандер. Прошу вас.

Котов, запутавшись в широких полах нарядного халата, не смог встать сразу. Наконец он встал.

— Господа, вы уже слышали господина диванбеги и господина Петрова. Надо учиться военному делу. Но это такое дело, что тут надо не только стрелять из ружья. Надо уметь строить дороги, а также их разрушать. Например, если между эмиром и большевиками начнется война, нынешняя железная дорога станет для нас сущим несчастьем. По ней большевики смогут привезти много больших пушек и поставить их под самой крепостью Бухары. Чтобы этого не случилось, надо уметь разрушать дорогу. Для этого, по приказу его высочества, я привез с собой несколько рельсов, а также инструменты для их крепления и разборки. Завтра вы собе-

рите мне человек двадцать — тридцать самых надежных молодчиков, и я научу их, как разрушать железнодорожный путь. Когда эмир даст соответствующий приказ, эти молодчики выйдут к полотну железной дороги и за какой-нибудь час снимут и разбросают рельсы и шпалы на протяжении нескольких верст. Это обучение мы проведем не только здесь, а во всех пунктах, примыкающих к железной дороге, по всему Бухарскому ханству. Тогда, если понадобится, мы в один день сможем почти начисто уничтожить путь от Чарджуя до Зирабулака, от Кагана до Шахрисябза.

— Ака Эргаш, дело-то, оказывается, нешуточное!

— А что? — спросил Эргаш.

— По их словам выходит, что в ближайшее время между эмиром и большевиками будет война. А если большевики победят, мы будем брать и делить хозяйские земли! И что же, вы и тогда не возьмете хозяйскую землю и имущество, а будете ждать ее от бога? — взволнованно удивился Сафар-Гулам.

Палван-Араб, услышав слова Петрова и Котова о большевиках, почувствовал сильный страх.

«Если они, дети дьявола, появятся внезапно? Они схватят мои сундуки, мою землю. Особенно если собственные батраки и работники примкнут к большевикам, тут уж ничего не спрячешь,— эти каждую иголку в доме найдут!»

Полный этих страшных мыслей, Палван-Араб, с головы до ног превратившись в слух, ловил слова работников, сидевших в прихожей: «Что у них на уме?»

Но они говорили тихо.

Палван-Араб, наконец, услышал слова Сафар-Гулама, говорившего Эргашу: «...и тогда не возьмете хозяйскую землю...»

Палван-Араб обомлел. Он выбежал в переднюю и в ярости крикнул:

— Эй, проклятые! Вы что говорите?

И завопил голосом, срывающимся от ужаса:

— О владыка ночи, повелитель полиции! Скорее сюда!

От его испуганного крика все вскочили. «Может быть, к хозяину влезли грабители?»

Котов прервал свою речь, побледнел и, пытаясь сдержать охватившую его дрожь, присел к Петрову, тихо сказав по-русски:

— Грабители у этих диких азиатов необычайно жестоки. Прежде чем грабить, обязательно убивают! Обязательно!

Хаит-амин, Бозор-амин и еще несколько человек, наиболее смелых, и сзади всех «владыка ночи» — миршаб осторожно вышли в прихожую.

Хаит-амин спросил Палван-Араба, державшего входную дверь:

— Что тут? Что случилось, ака-бай?

— Еще ничего. Но может случиться! Эти неблагодарные уже совещаются между собой, как делить мое имущество и землю.— Он указал на Эргаша и Сафар-Гулама.

— А что я вам говорил? — сказал Урман-Палван.

— Откуда у этих безродных рабов возьмется благородство? Им не то что хлеба, камня не следует давать, которым могли бы раздробить себе голову! Рабы всегда готовы нас разорвать на куски! Всех их надо бросить в темницу — без воды, без еды, чтобы они съели друг друга. Иначе они съедят нас!

Начальник полиции крикнул своих людей.

Эргашу и Сафар-Гуламу скрутили руки.

Через несколько минут к стонущим в темнице прибавились эти двое.

И опять там стонали:

— Ой, смерть моя!

Их никто не слушал. Конюхи давно спали.

* * *

Перед рассветом во двор Палван-Араба въехали две порожние арбы. Их окружили стражники, чтобы сопровождать в бухарскую тюрьму заключенных.

Миршаб сам вошел в конюшню, достал длинный винтовой ключ и принялся за огромный замок на крошечной дверце темницы.

Миршаба сопровождал Палван-Араб. Он приготовил весь запас брани, выученный им за всю его жизнь, чтобы обрушить ее на неблагодарных работников, возмечтавших о захвате его земли.

Палван-Араб так же нетерпеливо жаждал расправы, как нетерпеливо ввинчивал миршаб длинный ключ в огромный замок.

Зинхана была отперта.

— Ну, выходите! — крикнул миршаб.

Зинхана безмолвствовала.

— Вам говорят! — повторил миршаб грозный приказ.

Зинхана безмолвствовала.

— Вам говорят!

Голос прогремел со всей яростью, но наружу никто не шел.

— Вымерли они, что ли?

Свет в зинхану проникал лишь через маленькую дверь.

Удивленный владыка всунул в зинхану голову и заметил, что она пуста, а в задней стене сделан пролом. На полу валялись веревки, которыми скручивали руки и ноги узников.

— Они бежали! — охнул миршаб.— Стена-то ваша ничего не стоит!

Собрав всех стражей, миршаб возглавил погоню. Стремительно помчалась погоня со двора, но, выскочив за ворота, миршаб растерялся — куда ехать, в каком уголке пустыни спрятались сбежавшие узники?

8

Стоял март 1918 года.

Белесые облака медленно и низко ползли по небу. То летел тяжелыми хлопьями сырой снег, то лил назойливый мелкий дождь. Было холодно.

На железнодорожной станции Кызыл-Тепе, расположенной у подножья холма, к которой примыкала с одной стороны Каршинская степь, а с другой — степь Малик, дул невыносимо студеный ветер.

Хлопкоочистительный завод не работал. На заводском дворе, на ветру, под дождем и снегом, стояли рабочие со своими семьями, терпеливо снося холод и ветер.

Со стороны вокзала на завод торопливо прошел человек, и вслед за его приходом протяжно и надолго завыли заводские гудки.

Во двор пришли железнодорожные рабочие. Они не успели дойти до дверей, как появились члены заводского комитета.

Председатель заводского комитета, поднявшись на тюки хлопка, крикнул:

— Товарищи! Митинг!

Толпа остановилась.

Он заговорил взволнованным и торопливым голосом:

— Товарищи! Со вчерашнего вечера связь с Каганом прервана. По вчерашним сведениям, нам известно, что на помощь революционерам Бухары из Самарканда вышел состав с красными партизанами. Мимо нас этот состав еще не прошел. Где он — неизвестно. Телеграфная связь с Самаркандом сегодня ночью также прервалась. О создавшемся положении слово имеет рабочий прессовального цеха товарищ Сийаркул.

Сийаркул, смуглый, чернобровый, высокий, заговорил спокойно и строго:

— Товарищи! Эмир не раз обманывал бухарских джадидов, младобухарцев и бухарских революционеров. Вспомните тысяча девятьсот семнадцатый год!

Еще во время Февральской революции он сделал вид, что согласен ввести реформы. Чем это кончилось? Еще не высохли чернила на его манифесте о реформах, как манифест был порван.

Затем он повел наступление на младобухарцев, избивал их, убивал, бросал в тюрьмы.

Он не только не осуществил реформу, но еще больше усилил гнет над бедняками, крестьянами. Он не ограничился увеличением налогов и податей, он еще стал обвинять трудовое крестьянство в джадидизме, убивать их и заточать в тюрьмы, где большая часть заключенных погибла.

Когда в России победила Октябрьская революция, эмир совсем взбесился. Если до Октябрьской революции эмир и его правительство хватали людей, обвиняя их в джадидизме, то теперь их стали избивать и убивать как «большевиков».

За последние два месяца в Бухарском ханстве не осталось ни одной деревни, где не были бы схвачены, задушены или брошены в тюрьмы честные труженики. Чтобы человека схватили,— ему достаточно застонать от притеснений эмира, его чиновников или от несправедливости хозяев.

В толпе поднялся сильный шум:

— Долой эмира и его чиновников!

— Долой тиранов!

Сийаркул продолжил:

— Молодые бухарские революционеры, побежденные во время Февральской революции и воодушевленные успехами Октября, в ответ на эти обманы и притеснения эмира захотели свести с ним свои счеты. Они потребовали от эмира выполнения манифеста, который он порвал. Они предъявили еще одно требование — снять старых чиновников с их должностей. Эмир, чтобы выиграть время, снял своего первого министра, жестокого палача Мирзу Урганджи.

Младобухарцы сочли, что их требования частично выполнены, и несколько успокоились. Но эта уступка эмира оказалась вторичным обманом. На другой же день эмир послал против младобухарцев войска и пушки.

Началась война.

На помощь бухарским революционерам пришел со своим отрядом председатель Совета народных комиссаров Туркестанского края товарищ Колесов. Когда главные войска эмира потерпели поражение и бросили всю свою артиллерию, эмир опять пошел на хитрости. Отправил к Колесову гонца, прося начать с ним переговоры и прислать для переговоров делегацию, обещая сложить оружие. Делегаты поехали... Но это был со стороны эмира уже третий обман.

Всех революционеров, посланных делегатами от младобухарцев,— а их было двадцать один человек, он уничтожил, причем уничтожил с неслыханной жестокостью. А за те три дня, что велись эти переговоры, эмир успел приготовиться, снова собрал свое

войско, разрушил путь между Амирабадом, Термезом, Чарджуем и Зирабулаком и тем отрезал находившиеся в Кагане отряд Колесова и комитет младобухарцев, а затем он осадил Каган.

Инженер завода, нервно распахнув дорогое пальто, крикнул:

— И незачем нам было лезть в это дело с реформами, которые ничего не стоят, и подвергать себя опасности!

Русский рабочий, покрасневший от ветра или от гнева, вскочил на тюк рядом с Сийаркулом и ответил:

— Гражданин инженер! Вы ошибаетесь. Дело тут не ограничивается теми, кто стоит за «реформы». Тут люди борются за жизнь, за свободу. Наша задача помогать всякому революционному движению, возникшему в колониальных странах, невзирая на его характер, на его внешнюю окраску. Этому нас учит товарищ Ленин. Так-то! Хороши мы были бы, если б стояли в сторонке да смотрели, как эмир расправляется со своим народом, с нашими братьями! Эх, вы!..

Он уже спрыгнул было, но, вспомнив что-то, вернулся и стал рядом с бухарцем.

— И к тому ж царские офицеры, белогвардейцы помогают эмиру, командуют эмирским войском, стреляют и убивают рабочих и революционеров, не разбирая национальности, так, значит, борьба это не только бухарская, это общая наша борьба. Общая, хотя и на бухарской земле, господин инженер!..

Инженер хотел было что-то ответить рабочему, но Сийаркул уже говорил:

— Из моей деревни пришло известие, что эмирские солдаты и чиновники соединились со своими людьми из Шафриканского и Гиждуванского туменей, к ним присоединились баи, купцы, старшины и чиновники. Из этих мест и двинулись против нас. Удар их направлен сюда, на станцию Кызыл-Тепе. Это каждому из нас надо знать и приготовиться.

Народ заволновался.

Послышались голоса:

— К оружию, товарищи!

— Все, как один, к оружию!

Когда шум слегка улегся, председатель заводского комитета крикнул:

— Товарищи! Первое дело — дисциплина! Пусть подойдут те, кто умеет метко стрелять. Остальным предлагаю переносить к стенам завода тюки прессованного хлопка и сооружать баррикады. Понятно?

— Понятно! Давай, давай!

Но оружия требовала слишком многочисленная группа рабочих.

Члены заводского комитета отобрали часть этих рабочих — тех, кто бывал на войне и имел боевой опыт, и вооружили их. Остальные побежали носить тюки.

Через час завод был со всех сторон окружен баррикадами с бойницами и укрытиями.

Председатель завкома принял командование обороной завода, разместил стрелков, расставил запасных бойцов, из женщин организовал санитарную дружину.

Семьи ушли внутрь цехов.

Вскоре с крыши крикнули:

— Идут!

С баррикад начали было стрельбу.

— Отставить! — приказал командир.— Откуда идут?

Он посмотрел в бинокль.

— Это свои! — сказал он, вглядевшись.— С берега Зеравшана идут трое рабочих, подняв винтовки.

Это были рабочие водокачки.

Один из них рассказал:

— Часов в десять на той стороне Зеравшана показались всадники, вел их человек в большой чалме, спускавшейся на шею.

Несколько рабочих, происходивших из местных крестьян, расспросили о приметах этого начальника:

— Каков из себя этот человек? Не с проседью ли у него борода?

— С проседью,— ответил рабочий, пришедший с берега Зеравшана.

— Значит, это миршаб Гиждуванского и Шафриканского туменей старший брат Хаджи Латифа-диванбеги — плешивый султан.

— Оба братца плешивы и, чтоб скрыть свою плешь, повязывают чалмы так низко, что их двоих сразу можно отличить ото всех.

— Ну, ладно,— ответил рабочий с водокачки,— если удастся, мы избавим их от плеши вместе с головами. Так вот, они перешли реку, погнали лошадей к водокачке и заорали: «Бери! Вяжи! Бей!» Еще когда они бросились через реку на наш берег, мы почуяли неладное, подхватили ружья и приготовились. Когда они подскакали, мы дали залп. Двух человек сбили. Одну лошадь отпрокинули. Остальные откатились назад, потом заехали с другой стороны. Мы перешли на ту сторону и видим: эти звери рубят саблями наших жен, наших детишек...

Слезы вдруг подкатили ему к горлу. Он не мог сладить с этим приступом горя.

— Их-то за что?..

Пришедший с ним молодой рабочий рассказал:

— Нас всего трое, а их много. Видим, нам не устоять. Мы, отстреливаясь, отползли, а пули их нам вреда не сделали. Стрелки они слабые. Кинулись было за нами в погоню, мы еще одного с седла ссадили. Тогда уж они отстали. Из деревни Тали-Яхаб нам было видно, как они зажгли водокачку. Перебегая от дерева к дереву, мы от них ушли.

С крыши дозорные закричали:

— Идут! Идут!..

С трех сторон подковой на завод двигался отряд палочников, пеших и конных. Солдатами их нельзя было назвать,— там были разные люди — и эмирские воины, и крестьяне, собранные баями, и сами баи на конях, и кулацкое охвостье, и даже несколько мулл в белых больших чалмах.

Всадников молча подпустили на расстояние выстрела. Тогда послали им навстречу первый залп. Степь окуталась густым облаком пыли.

Противник остановился и откатился назад.

В поле осталось лежать несколько человек да две-три лошади.

В это время к командиру подбежал рабочий:

— Приток воды из Зеравшана прекратился. В хранилище воды мало. Как быть?

После этого сообщения со всех сторон раздались голоса:

— Воды принесите! Воды!

— Сестрица, дай воды...

Командир сказал:

— Товарищи! Воду расходовать бережно! Пока вокруг много чистого снега, утоляйте жажду снегом. Воду беречь!

Вскоре со стороны пустыни раздались крики:

— Бей! Бей!

Снова они мчались с трех сторон, нахлестывая и торопя лошадей, а следом за конными, поотстав, беспорядочно бежали пешие.

Противника подпустили еще ближе.

Когда уже можно было разглядеть их лица, командир скомандовал:

— Пли!

Большая часть пуль нашла свою цель.

Противник снова шарахнулся назад. Вслед ему дали еще залп. В поле осталось лежать много людей и несколько лошадей.

Так продолжалось до вечера.

Когда сумерки сгустились настолько, что человек не мог рассмотреть человека, всадники исчезли. Они поехали по ближним деревням отдохнуть и собраться с силами.

За это время и на заводе отдохнули, поели, а едва рассвело, снова в пустыне закричали:

— Бери! Бей! Бери!

Но и в этот день нападающие ничего не добились. Нападали они осторожнее, подъезжать близко боялись. Поэтому потери их в этот день уменьшились.

Но на третий день ухудшилось положение на заводе. Патронов осталось мало. Чувствовалась нехватка в еде, запасы воды подходили к концу.

После короткого совещания заводского комитета командир сказал:

— Товарищи! До сего дня к нам не пришли на помощь ни со стороны Самарканда, ни из Кагана. Никого нет. Если мы здесь останемся, нас всех перебьют. У нас есть вагоны на станции. Паровоз есть. Поэтому приказываю: ночью всем погрузиться. Поедем на Самарканд.

Несколько человек запротестовало:

— Мы будем биться до конца!

— Мы не оставим бухарских революционеров, осажденных в Кагане!

— Бессмысленно! — ответил командир.— Патронов у нас хватит часа на два, не больше. Запасы продуктов и воды на исходе. Их тоже не хватит на весь день. Наша напрасная смерть бухарским революционерам не принесет пользы ни на грош. Они там еще могут держаться, а мы уже нет.

Выступил начальник станции:

— Товарищи! У нас есть только два вагона и один паровоз. Остальной состав, еще когда была связь с Каганом, ушел туда, в распоряжение Колесова. Воды так мало, что паровоз можем снабдить только до Зияуддина, да и то едва ли хватит. Чем больше задержимся, тем меньше останется воды.

Командир приказал:

— По вагонам!

Народ пошел к вокзалу. Женщины заметались между станцией и поселком, пытаясь захватить из дому кое-какие пожитки.

В это время, остервенев и набравшись смелости, противник появился снова и подошел ближе, чем раньше.

Его опять отбили. Налеты стали чаще, но напасть на поезд эмирские бухарцы все же опасались.

Наконец все погрузились. Вооруженные рабочие легли на крышах вагонов, стали на паровозе. Паровоз дал гудок. Поезд тронулся.

Но не проехали и полуверсты, как пришлось остановиться: путь оказался разрушенным, шпалы сожженными, а рельсы отброшены или оттащены далеко в сторону.

Рабочие сошли и, не теряя времени, принялись разбирать оставшийся позади путь. Поднятые рельсы и шпалы положили впереди. Состав снова двинулся вперед.

Так двигались всю ночь. Пройдя по новому пути, возвращались, разбирали, стелили впереди, двигались снова.

И всю ночь сзади полыхало алое пламя пожара, вскидывая высоко в небо искры. Горел кызыл-тепинский завод.

Когда отступавшие из Кагана под охраной отряда Колесова, так же поднимая пройденное полотно и стеля его впереди, добрались до Кызыл-Тепе, они увидели, что на станции не осталось ничего, кроме развалин да дымящейся золы от сгоревшей станции. Не было и воды, в которой они очень нуждались.

После долгих поисков обнаружили водоем на заводском дворе. В нем оставалось немного грязной воды. Ее всю вычерпали в паровоз.

Тогда на дне водоема обнаружили трупы людей, брошенных туда со связанными руками и ногами, к которым были привязаны куски железа.

Это были рабочие, не успевшие или не захотевшие уйти вместе со всеми. Они попали в руки противника во главе с Кали-Султаном, Урман-Палваном, Хаитом-амином, Бозором-амином и Абдуллой-хозяйчиком.

9

В глухой степи между Нур-Атой и Шафриканом в казахской юрте, потрескивая, горел костер.

Несколько человек, окружив костер, отогревали иззябшие руки и ноги.

Один из сидевших встал и вышел наружу посмотреть на небо.

По ночному небу низко ползли тяжелые черные тучи, он вернулся в юрту и сказал:

— Как же казах найдет дорогу? В небе — ни звездочки. Не миновать нам беды,— собьется он с дороги и заведет нас либо в Нур-Ату, либо в Шафрикан.

— Другого ничего нам не придумать. Придется довериться казаху и положиться на волю божью! — ответил один из них.

Замолчали, слушая, как трещит хворост в огне.

Булькнула вода, закипая в чугунном кувшине.

Временами шелестел ветер, и костер шарахался, словно от удара.

Невеселая тишина зимней недоброй ночи.

Вошел казах и принес пресную, испеченную в золе лепешку и чайник с пиалой.

— Вот вам, пейте чай, покушайте хлеб, а я дойду до соседней зимовки за лошадьми и ослами. Тогда и поедем.

— Через сколько ж часов мы доберемся до Джизака?

— А я ваших часов-масов не понимаю. Одно скажу: если в полночь выедем, завтра я вас выведу из владений эмира и приведу на землю большевиков.

Казах ушел. Чай был заварен. Юноша сел у входа, чтобы, разлив чай, снова налить в кувшин воду. Наполнив пиалу, юноша первую протянул самому старшему из сидящих, которому было лет семьдесят, и сказал:

— Ага, расскажите нам что-нибудь, чтоб не думать о том, что может случиться завтра.

— Ничего не случится, чего не предопределено богом и не написано у нас на лбу! — ответил третий.

По мусульманским преданиям, судьба человека предопределена заранее и со дня его рождения невидимыми письменами начертана у него на лбу.

Старик поставил перед собой горячую пиалу и как бы нехотя вспомнил:

— Поэт Бобо Тахир Лури сказал:

Если бы злой недуг
Меня лишь один постиг!
Если б беду лишь одну
Я нес на плечах своих!
Если б у ложа мне знать
Иль врача, иль жену,
Если бы лишь одного знать
Мне из этих двоих!

Вам понятны станут эти стихи, если признаюсь, что сам не знаю, о чем сожалеть,— о жестокости ли кровожадного эмира, или о безрассудстве и недомыслии, с которыми неразлучны действия младобухарцев, или печалиться за судьбу жены и детей, оставшихся у палачей эмира; печалиться ли, что на склоне дней своих беглецом скитаюсь в этой пустыне? «Если бы злой недуг меня лишь один постиг!»

Замолчав, старик взял остывший чай и выпил его двумя глотками.

Желая утешить старика, человек средних лет с седой бородой, сидящий рядом, сказал:

— Вы еще можете благодарить бога, что хотя жена ваша с малолетними детьми осталась в руках чиновников, но двое ваших старших сыновей здесь, с вами!

И он указал па двух мальчиков четырнадцати и шестнадцати лет, сидевших рядом со стариком.

— А сколько крови, сколько мучений вокруг. Не надо ходить далеко, взять хотя бы только два тумеия — Гиждуванский и Шафриканский. Сколько там погибло людей, которых я знал близко,— сколько людей убито в своих домах или на улицах, а имущество их разграблено палачами эмира.

Таких известных джадидов, как Хаджи Сираджиддина из Сактаре, Авезбека и Азимджана из Гиждувана, заковали в цепи, увезли в Бухару. Кто знает, какие страдания ждут их? Они будут убиты в темнице Бухарского арка.

Старик отпил чай и вздохнул:

— Вся моя семья — жена, дети, невестки, все попали в руки эмирских палачей. Но я благодарю бога. Я терплю и жду, когда, подняв против эмира всех крестьян, мы, джадиды, отомстим ему и за себя, и за наших убитых братьев.

Юноша неожиданно твердо сказал старику:

— Вы не сможете поднять крестьян против эмира. Никогда вы не сможете! Вы и ваши джадиды нашей бедняцкой нужды не знаете, ни наших бед, ни желаний. А если и знаете, то не ведаете, как нас от тех бед избавить. А и ведать будете, так не захотите нас избавлять. У вас заботы другие, а потому не вы поднимете нас. Не вы!

— Разве то, что ты и Сафар-Гулам скитаетесь со мной из пустыни в пустыню, не восстание крестьянской бедноты? — нахмурился человек средних лет с седеющей бородой.— Разве не я поднял вас против эмира?

Сафар-Гулям порывисто встал.

— Нет, не вы, Шакир-ака! Вы не смогли бы. Нас подняли большевики, ветер с большевистской земли, из Ташкента, из Самарканда.

Вдруг послышался топот лошадей.

Спор прервался.

— Неужели так быстро вернулся казах? — удивился Сафар-Гулам, выскакивая из юрты.

Юноша тоже вышел, торопливо поставив кувшин.

Из темноты сквозь летящий снег показалось человек пятнадцать всадников.

Сафар-Гулам и Юсуф притаились в темноте, следя за прибывшими.

Нет, это не казахи.

Один из всадников спрыгнул с седла, отдал повод спутнику и, потирая руки, сгорбившись от стужи, просунул голову в дверь юрты.

— Господин джигит! Нельзя ли у вас обогреться?

И тотчас, не дожидаясь ответа, он отбежал обратно к своим спутникам.

— Слезайте скорей! Мы попали прямо на пир. Тут сидят все джадидские заправилы — и Мулла Шариф и Шакир-Гулам. Все смутьяны налицо!

Всадники торопливо спешились, покинув коней, взяли ружья наизготовку и кинулись в юрту.

Они связали Шакира, Муллу Шарифа, его сыновей...

Видя это, Сафар-Гулам и все товарищи, воспользовавшись темнотой ночи, бросились бежать в степь.

Снег запорошил их следы, скрыл направление их бегства.

* * *

По деревенскому базару в Хаджи-Арифе ходила женщина в паранджe, но с приоткрытым лицом, продавая две подпруги и одну веревку.

Базар уже кончался, а она ходила с утра, но никто ничего не покупал у нее.

Потеряв надежду на покупателей, она пошла на веревочный базар и предложила свой товар перекупщику.

Но и он не захотел покупать:

— На что мне это гнилье? Я таким товаром не торгую. Не хочу порочить свою торговлю перед покупателем.

— Ладно уж, дайте что-нибудь за мой труд и возьмите, разве это гнилье?

— Больше одной тенги не дам. И этого не стоит, даю ради милостыни, во имя божье.

— Надо ж совесть иметь! Я несколько дней ходила по степи, собирала клочки овечьей и козьей шерсти с колючек. Несколько дней я пряла шерсть, сучила нитки, несколько дней вила из ниток веревки, делала подпруги, пока, наконец, вынесла их на базар. На все это ушло почти два месяца. Дали б мне хоть на два дня жизни!

— Сестра! — возразил торговец.— Я же не умоляю вас продать это мне. Продайте другому. Вы просите меня купить, я вам даю цену. Не подходит, продайте другому. Отойдите, не заслоняйте меня от покупателей.

Женщина тоскливо отвернулась.

Но отойти ей не удалось: по улице вели пленников. Их руки, ноги, лица были окровавлены и почернели от ударов палками и плетьми. Пленников окружали всадники. Улицу заполнял народ, толпившийся, чтобы посмотреть на пленников. Некоторые кричали:

— Джадиды!

Женщина была так голодна и огорчена неудачей, что не взглянула ни на джадидов, ни на всадников.

Пленников уже провели, и народ рассеялся, когда к лавке торговца веревками подъехал всадник и спросил недоуздок для своей лошади.

С последней надеждой женщина протянула ему веревку и подпругу:

— Купи-ка это, красавец! А то я еще не ела сегодня.

Всадник, показав женщине халат, перекинутый через седло, засмеялся:

— Купи-ка это, красавица! Я тоже ничего еще сегодня не ел!

Женщина с любопытством потянула халат, заинтересовавшись заплатами на нем. Она осмотрела его со всех сторон.

Побледнев, она взглянула в глаза всаднику.

— Откуда он у вас?

— Узнала? Видела его прежде? Он у меня от джадида. Из тех, которых сейчас тут провели.

Ноги ее подкосились.

— Ой, горе мое! Что же мне теперь делать!

Торговец, пинком отталкивая ее от своей лавки, заскрипел зубами:

— Вставай! Проваливай отсюда!

— Видно, у джадидов твой муж? Или родственник?

Она покачала головой:

— Бог видит, что муж мой и не знает, что такое «джадид».

— Джадид он или нет, но если этот халат с него, значит, он из джадидской шайки. А ты — жена джадида. Ну, чей это халат? Говори правду.

И всадник ударил женщину плеткой.

— Прошлый год какой-то человек заехал к нам и спросил мужа. Мужа не было. Заезжий оставил мне починить порванный халат, а на другой день заехал за ним. Недавно он опять приехал к нам ночью в этом халате. Он хотел ехать в степь и позвал мужа проводником. Если этот человек схвачен, значит, схвачен и мой муж, ни в чем не повинный.

Женщина зарыдала.

— Вставай! — крикнул ей всадник.— Если к тебе в дом приезжают джадиды чинить халаты, а муж ходит с ними проводником, верно, из тебя можно многое выпытать.

Женщина онемела от ужаса.

Всадник снова хлестнул ее плеткой.

— Вставай, говорю! Ну!

— Ой, горе мое!

Вставая, она подняла выпавшие из рук свои изделия.

Но всадник вырвал их у нее и засунул в свой мешок. Ударив ее еще раз плеткой по голове, приказал:

— Иди вперед!

— Неужели и это мусульмане? — спросила она, проходя вперед.

Не зная, в какую сторону идти, она остановилась.

Снова хлестнув ее, он указал плеткой:

— Иди туда!

Она покорно пошла по дороге, ведущей к казию Хаджи-Арифа.

10

Зимние бураны прошли.

Настали ласковые весенние дни.

Но в Шафриканской степи, открытой северным оренбургским ветрам, все еще было холодно.

Толстый слой снега, наметенный ветрами за зиму, понемногу растаял. Но по утрам на весенних лужицах похрустывали голубые стекляшки льда.

Пользуясь ясными, прозрачно-белыми днями, шафриканские сборщики топлива разбрелись по всей степи.

Подобно птицам, вылетевшим из гнезда после ливня в поисках корма, сборщики топлива разрывали землю и, как муравьи, стаскивали в одно место каждый засохший стебель.

Вставши с полуночи, к рассвету крестьяне успевали дойти до мест, где росли колючка и полынь, иссохшие за зиму. К вечеру вязанки были связаны. На закате народ собрался обратно к своим домам. Некоторые приводили сюда своих тощих, изголодавшихся ослов, но у большинства, кроме веревки и небольшого серпа, с собой ничего не было.

Среди крестьян, собиравших топливо, был нездешний человек. Он положил себе на спину какую-то вещь, завязанную в узелок, а сверху уложил вязанку. Он заметил, что хворост, положенный поверх этой закатанной в халат вещи, не так давит на спину, и улыбнулся:

— Так. Теперь я понимаю, почему грузчики на станциях подкладывают под тяжести стеганые подушки.

Ослов навьючили и погнали перед собой. Другие укрепили плотно связанные вязанки на спине и пошли следом, опираясь на длинные посохи.

Пошли, продолжая разговор.

— Нелегкая жизнь у этих грузчиков! — сказал один из сборщиков.

— Один раз я собрался в Кермине и, не достав билета, целый день просидел на станции. Насмотрелся на грузчиков. Носят с поезда грузы и зарабатывают только по гривеннику, а то и по пятаку — на одну, на две лепешки. Усядутся тут же и едят, а сами глаз не сводят с дороги. Как поезд покажется, опять кидаются к вагонам.

— И пятак-то не всякому достается, иной за целый день ничего не заработает,— согласился другой сборщик.

— Им и ночевать там негде! — прибавил третий крестьянин.— Спят прямо под навесом или под скамейками, завернувшись в свои грязные лохмотья.

— Откуда они? Зачем явились сюда, неужели дома им хуже?

— Из Ирана они. Из того самого Ирана, который покойный Шакир-ака называл раем!

— Видно, и у них землю и воду прибрали к рукам богачи. Вот беднота и доведена до того, что пятак на станции для них теплее, чем солнце на родине.

— Для бедноты и обездоленных настоящая свобода и сытая жизнь только на советской земле, в стране большевиков.

Человек с узелком под вязанкой сказал:

— Теперь в Туркестане, как и во всей России, власть в руках рабочих и крестьян. Там, если кто на государство работает, живет хорошо. Но и те, что еще батраками или пастухами служат, тоже в тысячу раз лучше нас живут. Там на работу идут по договору. Хозяин должен работника и одевать и кормить. И работать больше восьми часов в день никто не обязан.

— А мы на земле эмирской Бухары каждый день работаем по шестнадцать — восемнадцать часов. И то на халат не можем заработать,— вздохнув, сказал второй сборщик.

— Не все работают по восемнадцати часов. Пастухи, к примеру, работают двенадцать месяцев в году день и ночь. Иначе хозяин не станет их кормить. Днем пасут скот на пастбище, а ночью сторожат его в загонах.

Человек с узелком под вязанкой, которого прервали, продолжил:

— У большевиков еще день в неделю полагается на отдых. А раз в году отпуск на несколько недель. И за каждый день отпуска платят, как за день работы.

— Там небось работник, потерявший работу, не помирает с голоду.

— Там власть сама взыскивает деньги с хозяина, а если он присвоит себе деньги работника, хозяин подвергается наказанию. Это ведь тут вот рядом, в Туркестане. А в России давно уже и помещичью землю, и скот, и плуги раздали крестьянам.

— Эх, нам бы так пожить! — мечтательно покачал головой один из сборщиков.

— И поживем! Я же читал тебе листовку. Разве ты забыл?

— Вы-то читали. Я слышал, я ничего не забыл. Но когда ж это будет? Дождемся ли? Увидим ли мы это? — вот о чем спрашиваю.

— Дождемся! И скоро дождемся! Сам эмир ускоряет это дело. Он убивает бедняков, называя их большевиками и джадидами. Народ стонет от мук и произвола. Многие бегут в Самарканд и в Ташкент, поступают к большевикам в армию, обучаются военному делу, чтоб вернуться сюда с оружием. А другие сидят дома и точат ножи. Скоро что-нибудь случится. Вот увидишь.

— Но ведь и эмир собрал большое войско! — невесело проговорил кто-то.

— А пускай себе собрал! — Его войско перед революционным народом — что снежная башня под весенним солнцем. Из кого это войско? Там наши дети, дети крестьян, станут ли они стрелять в отцов? Ведь дня не проходит, чтоб из эмирова войска не убегали солдаты с оружием, не переходили на сторону младобухарцев. А наши хозяева и эмирские чиновники искусны в грабеже, а не в битве. Они пожалеют свои жизни для своего повелителя.

— Этот дурак эмир,— заметил еще один сборщик хвороста,— набрал себе отряд из бухарских купцов, которые ходят расфуфыренные, как блудливые вдовы.

— Пусть его! Даже если сотню отрядов набрал он из богатырей, дни его сочтены.

— Еще в прошлом году с ним можно было справиться, да крестьянская темнота его спасла.

— Теперь крестьяне поняли. Теперь уж за ним не пойдут! Теперь его сладким словам не поверят.

— А эти листки и газеты, они их что — и в других местах Бухары распространяют? — поинтересовался один из сборщиков хвороста.

— Везде. Они идут в Чарджуй, в Карши, в Керки, в Шахрисябз, в Гиссар...

Ослы были такие худые и дряхлые, что не могли идти быстрее людей.

Все сборщики двигались вместе.

Солнце село. Темнота сгустилась, и вдруг поднялся сильный ветер. С запада поднялась черная туча и, наплывая, гасила звезды.

Глаз нельзя было открыть из-за пыли, налетевшей из пустыни.

— Ох, это к большому дождю! Говорят, если туча идет с запада, ливня не миновать!

Черные тучи соединились, закрыв все небо.

Молния мелькнула на небосклоне. Вспышка осветила на мгновение часть степи. Докатился отдаленный гром.

Сборщики, ослепленные, боясь попасть в ураган, бежали, погоняя ослов, сгибаясь под тяжестью.

Ослы начали отставать.

Молния хлестнула ослепительной вспышкой.

Грохот грома раскатился прямо над головами.

Гроза, застигшая их в ровной степи, могла легко убить каждого.

Ослы совсем остановились и, упершись передними ногами и спрятав между ног головы, отказывались идти.

Дождь, падавший сначала крупными холодными каплями, вдруг хлынул ливнем.

— Что делать?

— Надо хворост и ослов оставить здесь, а самим искать где-нибудь убежища.

— Какое ж тут убежище? — усомнился один из них.

— А я и не знаю, где мы. Что мы найдем при таком ливне? В такой тьме? — продолжил другой.

— Еще хуже стоять и ждать! — крикнул третий.— Мы либо замерзнем, либо молния нас побьет. Тут где-то должен быть загон, не пойму только, где в этой тьме. Идемте, хоть куда-нибудь да придем.

Гром ударил с огромной силой, казалось, будто бы в степи стреляют сотни пушек, вспышка молнии осветила всю степь вокруг.

И тотчас все померкло, стало еще темней.

В это краткое мгновение идущие приметили вдали подобие юрты.

— Есть пристанище! — радостно крикнул сборщик, шедший впереди.

— Молния убила Рустама-аку! — крикнул кто-то, идущий сзади.

Все оглянулись при новой вспышке молнии и увидали Рустама, лежащего на земле рядом со своим ослом, неподалеку от своих попутчиков.

— Ну, ладно, пусть его помилует бог! — сказал первый сборщик.— Если останемся живы, завтра похороним, как подобает мусульманину. А сейчас надо бежать, спасаться самим.

— Осел не дает мне бежать! Уперся, как пень!

— Оставьте его здесь. Что вам дороже — осел или жизнь? Уцелеет, завтра возьмете его. А сдохнет, пойдет на пир волкам.

— Как смерть Назруллы-кушбеги стала праздником для Низамиддина-кушбеги,— сказал третий, и все засмеялись.

— Очень удачное сравнение,— сказал один из сборщиков топлива и спросил: — Гость, ваш правитель осел или волк?

— Наш правитель и осел и волк,— ответил сборщик, которого тот назвал гостем.

— А, это интересно,— ответил тот сборщик.— Как может один и тот же человек быть одновременно и ослом и волком?

— Может быть, если это — эмирский правитель,— ответил гость и пояснил: — У эмира он будет в роли осла, а над людьми он уже выступит в роли волка.— И добавил: — Но они волками будут до тех пор, пока люди, как овцы, будут спокойно спать. Если люди встанут, как встает голодный тигр после долгого сна, тогда несдобровать этим волкам.

Ослов и топливо оставили и поспешили в ту сторону, где приметили юрту.

Они еще шли, а буря уже утихла.

Гроза, сверкая, откатилась в сторону. Черные тучи ушли. Появились белые и серые облака. Ливень прекратился, повалил снег.

Снег застелил всю степь далеко вокруг. Стало светлее.

Сейчас бескрайняя пустыня походила на обширные поля, залитые молоком.

Яснее просматривалась чернота юрт вдали.

Как ни были утомлены крестьяне, они почувствовали себя бодрее, увидав загон, ускорили шаг, подобно лошади извозчика, почуявшей близость своей конюшни, и, наконец, подошли к ряду юрт.

Сквозь кошмы кое-где пробивался свет тускло горевших светильников.

— Ого, да здесь целый аул. Вон человек — кто он?

— Кто б ни был, а должен приютить нас на ночь.

— Стой!

Этот возглас остановил всех.

Человек неожиданно вскочил и встал перед крестьянами, держа ружье.

— Руки вверх!

Окрик его заставил всех поднять руки, окоченевшие от холода и от испуга.

Крестьян окружили вооруженные люди.

— А ну, пошевеливайтесь!

Их всех повели за юрты.

Там находился большой глубокий загон, окруженный по краю колючками.

Один из вооруженных джигитов отпихнул куст колючки и открыл путь к яме. Но собака, лежавшая в этом месте, встала и, рыча, преградила путь.

Джигит ударил ее прикладом, и собака, визжа, отскочила, но снова приготовилась броситься на тех, кто в ночное время идет в загон.

Собаку отозвал строгий голос:

— Халдар! Сюда! Лежать!

Собака повиновалась, но, сердясь на человека, ударившего ее прикладом, продолжала рычать лежа.

Крестьяне спустились на дно ямы.

Там на пучках полыни и колючек спали овцы, тесно прижавшись друг к другу. При появлении людей стадо испуганно вскочило и сбилось в кучу в глубине загона.

Место, покинутое овцами, оказалось теплым и, несмотря на колючки, мягким. Однако лечь крестьянам не дали.

Следом в яму спустились джигиты, раскидали связки полыни и в оголенную землю вбили большие колья.

После этого одного из пленников схватили, крепко связали ему руки шерстяным арканом, положив одну ладонь на другую. Ноги тесно связали у щиколоток и, согнув в коленях, подтянули кверху так, что они оказались между связанными руками, и воткнули между ними палку, толстую, как рукоятка мотыги.

Связав пленника так, чтобы он не мог даже пошевелиться, его бросили на землю. Такой способ связывания в эмирских темницах называли «кулук». Так же связали и остальных. Когда дошли до старика, человек крикнул:

— Веревка кончилась. Дай другую.

— У нас тоже нет. Возьми пояс да свяжи.

— Эта гнилая веревка из бараньей шерсти, от той старухи.

— Ничего, такого плешивого старика она удержит!

Связали старика.

Хотя убежать уже никто не мог, для верности крестьян привязали еще к кольям концами веревок, оплетавших ноги.

Только так успокоив свою подозрительность, люди оставили крестьян и отправились на ночлег.

11

Снег все еще шел, застилая пленников белым пушистым покрывалом.

Им теперь было не до сна. Связанные, они валялись на сырой земле, на овечьем навозе.

Один из крестьян заметил, что старик извивается и делает какие-то усилия, упершись в деревянный кол.

— Эй, Эргаш-ака, что с вами? Рези в животе или что?

— Молчи! А не то разбудишь их! — ответил Эргаш и снова завозился около своего кола.

Наконец он облегченно вздохнул.

— Ох, наконец-то, проклятая!

— Ой, дай бог вам здоровья! Дай силы!

— Молчите же! — сказал Эргаш, продолжая высвобождать ногу.

Кто-то из крестьян, видя попытки Эргаша, тоже попробовал освободиться, но только застонал от боли:

— О-ох, у меня все руки перерезаны веревкой.

— Лежите спокойно. Веревка из козьей шерсти все равно не порвется. Только изрежетесь. А если сумею разорвать свою, освобожу вас всех! — шепнул Эргаш.— Ее таким крепким узлом затянули, что никак не рвется.

— Развяжите зубами.

— Как же я достану зубами до щиколотки?

— Протяните мне свои ноги и не двигайтесь.

— Подожди, я нашел! — вспомнил Эргаш и, с трудом просунув пальцы под халат, вытащил из-за пояса свой серп.

— Что это у вас, брат Эргаш?

— Хворост я оставил, а эту вот штуку прихватил с собой, а она и пригодилась.

— Надо вам было взять и тот узелок.

— Хорошо, что мы его не взяли. Если б его у нас нашли, то будь у каждого из нас по сто душ, ни одну б нам не сохранить.

— А теперь мы их сохраним, что ли?

— Теперь, если мы и не убежим, нас посадят в темницу, но убивать не станут. Останемся живы,— сказал Эргаш.

— По правде говоря,— проворчал гость,— я что-то совсем не хочу помирать.

— Да и незачем! — ответил Эргаш, распутавшись и разрезая веревки у остальных.

— Что ж теперь делать? — спросил кто-то.

— Как что? Бежать! — ответил Эргаш.

— Ну, ежели так, айда! — предложил один из них.

— Тише! — остановил Эргаш.— Через выход идти нельзя: выход прямо перед юртами. Они нас услышат.

— Там и собака лежит.

— Собаки не бойтесь! — успокоил Эргаш.— Мы с ней старые друзья. Она не тронется с места.

— Когда же это вы познакомились?

— Об этом я расскажу в другой раз, а сейчас надо думать, как бы скорее удрать.

И объяснил:

— Всем сразу идти нельзя. Вылезу сперва я и погляжу дорогу. Если я вылезу удачно, идите и вы за мной, но по одному.

Он подошел к стене. Но стена поднималась круто и, вымокнув под дождем, осклизла. В стене не было ничего, за что можно было бы ухватиться.

Он достал серп, который перед этим зарыл в землю, и сделал в стене неглубокие ямки.

Выпрямившись, он ухватился левой рукой за край верхней ямки, подтянулся и зацепил серпом за кол, вбитый у края ямы. Кошачьим прыжком он выскочил наверх.

Когда, стараясь освободить себе путь, Эргаш разгребал колючки, одна ветка свалилась вниз на овец.

Овцы вскочили так внезапно, словно на них напал волк, и, топоча, бросились в другую сторону загона.

Собака, услышав топот овец, кинулась, рыча и лая, вокруг загона, обнюхивая землю. Эргаша она не тронула и, не видя никаких следов волка, вернулась на свое место.

Собака успокоилась. Но хозяин, разбуженный ее рычанием и лаем, стоял и наблюдал за тем, что творится в загоне.

Увидев, что один из пленников, уцепившись за край ямы, пытается выбраться наверх, хозяин взволнованно закричал:

— Вставайте! Скорей! Пленники убежали!

Из юрт выскочили джигиты.

— Где? Где? Куда они побежали?

— Еще не убежали. Но если б я не проснулся и не вышел, они убежали бы.

Джигиты кинулись в загон и набросились на крестьян, ударяя их по головам прикладами.

Пленники подняли крик:

— Ой, умираю! Ой, смерть моя!

Позднее всех вышел из юрты человек с накинутым на голову халатом.

— Все здесь?

— Да, будто все.

— Ладно. Не бейте их. Все, что надо, сделаем завтра! — сказал он и вернулся в свою юрту.

Джигиты принялись собирать обрывки веревок, облепленные снегом.

— Вот негодяи! Порвали такие крепкие веревки!

— Они не порвали, а перерезали! — сказал другой, рассматривая один из обрезков.

— У них есть нож, а мы и не заметили?

— Отдайте нож! — крикнул крестьянам джигит, занятый связыванием обрезков.

— Нет у нас ножа! — ответил один из крестьян.

— А я вам говорю: отдайте! — И ударил пленника по окровавленной голове.

— Не бей, а то помрет. Мы лучше обыщем их всех!

— А помрет, черт с ним!

— А какая нам польза? Завтра мы от них многое узнаем, а от мертвых не добьешься ни слова.

Всех обыскали, но не нашли ни ножа, ни кинжала.

Кое-как связав обрезки, пленников связали по-прежнему — «кулуком» и привязали к кольям.

— Э, а один кол свободен! — бледнея, проговорил один из джигитов.

— Сколько их? Их было семеро.

— А теперь их шестеро.

— Так. Убежал тот старый пес, о котором ты говорил, что он издохнет.

— Эх, Палван, ваша собака ни черта не стоит! — крикнул человек хозяину.— Она даже не погналась за беглецом, чтобы мы могли вовремя кинуться в погоню.

— Она на вас рассердилась за незаслуженный удар.

Один из крестьян шепнул другому:

— А это ведь старый хозяин Эргаша-аки. Потому-то собака и не бросилась. Это же Палван-Араб.

— Ну, ладно! — сказал один из вооруженных людей.— Надо обыскать степь.

— Откуда этот негодяй вылез, куда он побежал? — крикнул он, обращаясь к пленникам.

— Вон в ту сторону! — ответил один, указывая на то место, где вылез Эргаш.

Когда люди подошли к краю ямы, один из них наткнулся на рукоять серпа.

— Вот этим он все и сделал! — показал человек свою находку остальным.

— Ладно. Что бы там ни случилось, а случилось то, что случилось. Надо не теряя времени догонять эту старую собаку!

У ямы поставили караульного, несколько человек вскочили на оседланных лошадей и помчались в степь.

Через час погоня вернулась.

— Ну? Где же он? — спросил караульный.

— Нету. Не попался, старый пес.

— Выходит, он не старый пес, а старая лиса, если выскользнул из рук таких молодых волков! — засмеялся караульный.

* * *

Утро было ясное, но холодное.

Солнце сияло на белом снежном степном просторе. Каждая снежинка сверкала на солнце, как алмаз.

Человек, сидевший в юрте на почетном месте, был занят чаепитием.

Он допил пиалу и, поставив ее рядом с чайником, велел убрать обглоданные кости и куски пресной лепешки.

Когда скатерть с объедками унесли, он сказал одному из сидевших с ним:

— Караулбеги! Приведите ночную добычу. Рассмотрим это дело.

Человек, которого назвали караулбеги, вскочил, подошел к другой юрте и приказал:

— Джигиты, ведите пленных!

Джигиты выбежали из юрты, где ночевали, и пошли к загону. Овец давно уже выгнали на пастбище, а в загоне оставались лишь связанные крестьяне.

Их развязали и хотели вести, но онемевшие от пут, закоченевшие от холода ноги не слушались. Никто из крестьян не мог двинуться. Джигиты поволокли пленников к юрте, у входа которой стоял караулбеги, и поставили их на колени.

Человек, сидевший в юрте на почетном месте и, как можно было судить по его приказаниям, являвшийся начальником отряда, вышел из юрты и одного за другим осмотрел всех пленников.

— О, да это рабы! Эти неблагодарные выросли на нашем хлебе, а теперь подняли меч на нас! А это кто? — Он указал на неизвестного ему человека.

Никто не ответил. Он посмотрел на караулбеги, но и тот растерянно молчал.

— Так кто же это такой?

— Я и сам не знаю, амин-бобо! — смущенно ответил караулбеги.

Тогда начальник, названный «амином», сам спросил пленника:

— Ты кто?

— Я человек! — ответил незнакомец.

Амин рассердился на столь дерзкий ответ и спросил остальных пленников:

— Кто же он?

— Мы не знаем его. Он говорил, что пришел из Хатырчи. Он собирал с нами топливо. Мы видим, человек он бедный и смирный,— ответил один из пленников.

— Он такой же «бедный и смирный», как и вы сами! — сурово ответил амин.— Теперь все безобразия творятся такими вот бедными, смирными. Как только в России и в Туркестане власть взяли рабочие, такие вот бедные и смирные подняли голову. Ну-ка, смирный да бедный из Хатырчи, объясните-ка нам, чем вы занимаетесь, скитаясь бездомным и бесприютным по нашей стране?

— Я собираю топливо.

— А каким делом еще занимаетесь?

— А больше ничем.

— Так! — задумался амин и приказал джигитам: — А ну, свяжите-ка его «кулуком». Палки заставят лжеца говорить правду.

Все еще онемевшие руки и ноги снова были связаны. Джигиты принесли крепкие палки из веток растущего в степи юлгуна и бросили их перед связанным хатырчинцем.

— Бей!

Сильные руки схватили палки, упругие и крепкие, и на пленника посыпались удары.

Хатырчинец застонал, потом закричал, но постепенно смолк. Он потерял сознание, и тело его отяжелело.

Амин остановил джигитов.

Он подошел к пленнику и крикнул грозно:

— Ты чем тут занимался? Ну, говори!

Увидев, что хатырчинец ничего не слышит, амин велел бить пленника по коленным чашечкам.

Хатырчинца подняли с земли и посадили, подняв вверх его колени. Так, придерживая его, джигиты начали бить его прямо по коленям, сдирая кожу. Плепник молчал.

Амин взглядом остановил джигитов.

Пристально глядя на пленника, амин спросил:

— Говори правду: что ты тут делал?

Глаза хатырчинца оставались закрытыми, но бледные, посиневшие губы шевельнулись:

— Собирал топливо.

— Если ты собирал топливо, где же твой серп, веревка, твой осел?

Губы больше не шевелились. Но один из джигитов сказал:

— Вчера в загоне мы нашли серп.

— Семеро не могут обходиться одним серпом! — подумав, проворчал амин.— Здесь какая-то загадка. Они подосланы большевиками или джадидами. А что касается этого «бедного и смирного» хатырчинца, он наверняка у них атаман.

Один из крестьян сказал:

— Когда началась буря, мы побросали в степи топливо, как оно было связано, вместе с серпами, ослами, веревками, и побежали.

— Если вы лжете, всех тут же перестреляю, а потом доложу его высочеству! — пообещал амин и распорядился: — Караульте их здесь, а по их указанию пошлите людей, проверьте, правду ли говорят.

Пленников, связав, снова бросили в загон, а избитого, окровавленного хатырчинца оставили у дверей юрты.

Двое всадников поскакали в степь к покинутым вязанкам.

* * *

Крестьяне сидели в загоне, ожидая своей участи.

Эти вязанки были единственным доказательством их невиновности.

Один из пленников сказал:

— Теперь вся наша жизнь зависит от наших колючек. Если их найдут, мы будем свободны. Если кто-нибудь унес их, с ними унес и наши души.

— Если и найдутся колючки, нас все равно замучают. Еще хуже будет, там найдут и узелок, завязанный в тряпку.

— Ладно,— покорно вздохнул один из крестьян,— не найдут, нас расстреляют, найдут — замучают; и так и этак жить нам осталось меньше часа.

— Да. Лучше уж пускай пропадет все, только б не нашли узелка. Из-за узелка не только нас запытают до смерти, но и половину туменя перехватают и перепытают.

— Если ослов не найдут, у нас есть надежда на спасение. Зря ты указал им место,— укоризненно пробормотал другой.

— Найдутся ослы и вязанки, нет ли, нам не спастись от этих зверей. Не знаешь ты их, что ли? Их главного палача зовут Бозор-амин, из его рук еще никто живым не выходил.

Так ждали они в тревоге, то надеясь, то теряя надежду, и прислушивались, когда же раздастся топот с той стороны.

Им казалось, что давно уже пора вернуться оттуда, хотя времени прошло немного.

Наконец посланные возвратились.

Крестьян снова привели к юрте.

Они тревожно оглядывали все вокруг, надеясь увидеть там свои вязанки и ослов.

Невдалеке от юрты стояли три старых измученных осла. Валялись веревки, чьи-то серпы.

— Слава богу,— с облегчением вздохнул тот, который указал место, где оставались их ослы и вязанки.— Узелка я не вижу! — Он все время томился сознанием своей ошибки.

Но тут же подумал: «А может быть, амин сейчас видит и рассматривает этот узелок?»

Остальные тоже все всматривались, то терзаясь от страха, то радуясь и надеясь, то вновь замирая от отчаяния.

«Но не может же быть того, чтобы все нашли, а узелок нет!» — с ужасом думал указавший место, где они оставили свое добро.

Наконец джигиты окружили крестьян.

Амин вышел с начальником караула.

— Так. Выходит, что они действительно собирали топливо. Предположим, что это так. Но едва ли они простые сборщики. Не из тех ли они, что собирают топливо, чтобы поджечь всю нашу страну? Если же они простые сборщики, то что делал с ними этот хатырчинец? Разве нет топлива поближе к Хатырчи?

Помолчав, амин опять принялся размышлять вслух:

— Их добро надо поделить между джигитами, как добычу. А их самих отправить в распоряжение миршаба. Его палки развяжут им языки.

Через полчаса крестьян со связанными руками уже гнали в Гиждуван.

Хатырчинца, потерявшего сознание, посадили позади всадника, связав пленнику ноги под животом лошади.

Так, окруженные вооруженным караулом, отправились они по степи в Гиждуван.

В тот день, когда этих крестьян гнали в Гиждуван, в степи, невдалеке от Шафрикана, в одинокой казахской юрте пылал костер. Вокруг него, греясь, сидели Рузи, Сафар-Гулам, Юсуф и Камил.

Эргаш положил перед ними узелок, который он сумел захватить вчера во время бегства и который так беспокоил бедняков — сборщиков топлива. Он развязал его и вынул газеты и листовки. Показывая их остальным, он объяснил их содержание, насколько запомнил со слов хатырчинского гостя, который читал их ему. Затем все принялись обсуждать, как бы распространить газеты и листовки среди народа.

12

К концу августа 1920 года народ эмирской Бухары, в том числе бедняки Шафриканского и Гиждуванского туменей, все чаще, все смелее выходил из повиновения своему повелителю.

Эмирские чиновники, купцы, баи, духовенство — все они, пытаясь подавить народное движение, проявляли беспокойство.

На гиждуванском базаре Абдулла-хозяйчик встретился в чайной с Хаитом-амином.

Абдулла-хозяйчик посетовал:

— В этой войне наша задача труднее, чем у других.

— Почему?

— Наши тумени — ваш Шафрикан и наш Гиждуван — лежат на пути из Туркестана в Бухару. Каждый удар большевиков обрушится прежде всего на нас. В позапрошлом году мы разобрали железную дорогу от Кагана до Кермине и тем спасли власть его высочества. Эмир и теперь все надежды возлагает сперва на бога, а потом — на нас.

— Однако,— сказал Хаит-амин, народ теперь не тот, что был два года тому назад. Тогда глаза народа были еще завязаны. Некоторые со страху, а другие, на все, что мы говорили, искренне отвечали: «Слушаюсь, господин»,— а за эти два года много воды утекло. Народ уже не тот. Многое унесено потоком.

— Что же это за поток?

— Как ни жестоко, как ни решительно связывали мы народ, большевики сделали свое дело. Большевики выросли среди наших же людей. Это настоящее несчастье — газеты и листовки. Их читают всюду. Да, большевики открыли глаза народу, сделали так, что крестьяне от нас отвернулись.

— Но если мы идем праведным путем, если эмир крепок на своем троне, если у нас есть правда, почему же крестьяне послушались смутьянов и не хотят слушать нашу правду? — удивился Абдулла-хозяйчик.

— Мы допускаем ошибки. На священную войну с большевиками мы взымаем с народа налог за налогом. Налоги возросли в десятки раз. А девять десятых этих налогов идут не на войну, а в наши карманы. Народ продает людей в солдаты, чтобы заплатить налог. Такие солдаты бегут от нас, едва получат оружие. На их место народ обязан покупать и сдавать нам других. Молодых солдат забирают из войска на работы в садах и на землях чиновников, даже самому эмиру отбирают самых молодых и красивых. Можно ли верить в непобедимую силу такого войска?

Абдулла-хозяйчик гордо прервал приунывшего Хаита-амина:

— Амин! Не будьте столь малодушны. Если большевики суме-

ли отвратить от нас всяких босяков и безземельных, то ведь почтеннейшие люди Бухарского государства поняли, какая опасность грозит нам от большевиков. Если его высочество взымает слишком высокие налоги с крестьян, то ведь большевики тоже накладывают налоги на купечество и баев. И эти почтенные люди понимают, что должны идти за нами, чтобы сохранить свое богатство.

— На каждого купца приходится несколько бедняков.

— Но это ж бараны. Если из каждой деревни выступит четыре-пять богачей, все пойдут за ними. А если какой-нибудь баран и отбежит от стада, ему можно пригрозить палкой, и он поспешит обратно в стадо.

— Правильно,— подтвердил амин.— Как раньше люди были баранами, так и теперь остались ими. Но два года назад они считали эмирских слуг собаками, думали, что те собаки охраняют народ, а теперь считают их волками, но, не имея сил схватить волка за шиворот, бегут от слуг эмира прочь.

— С непокорными надо быть беспощадными, по-волчьи распарывать им брюхо, уничтожать. Нельзя быть маловером.

— Ладно! — невесело махнул рукой Хаит-амин.— Нехорошо нам стоять на базаре и спорить. Вечером на совете у четырех владык туменя мы что-нибудь решим и завтра примемся за дело.

Хаит-амин уже хотел идти, но, остановившись, решительно сказал:

— Вы назвали меня малодушным, я не обижаюсь. Вы еще молоды. Но знайте, туксаба, что у меня авторитет если не больше, то и не меньше, чем у вас. Я сделал то, что считал необходимым. Я людей знаю лучше, меня уже не проведешь. А вам, по молодости, легко еще поддаться обману.

— Ладно. Благодарю вас. Вечером увидимся.

И собеседники расстались.

Гиждуванский базар занимал просторную площадь — десятин десять. На ней помещался бараний рынок, дровяной торг и фруктовые ряды.

Всю эту площадь плотно заполнили толпы людей. Люди забрались и на крыши соседних домов, постоялых дворов и лавок. В руках у людей было оружие. Одни вооружались пяти- и одиннадцатизарядными винтовками, берданками, охотничьими ружьями, другие фитильными и пыжовыми ружьями на рогульках, какими за сто лет до того воевали бухарские эмиры с мирными садоводами и голытьбой Ирана и Афганистана. У большинства же оружие состояло из старых шашек и сабель, кухонных и садовых ножей, топориков и пастушьих палок.

Во всех углах площади муллы влезли на лотки, корзины и читали фетву богословов о священной войне за веру. Это толкование,

скрепленное печатями всех духовных владык Бухары, стало указом.

Старшины и старосты тут же разъясняли фетву простым языком, чтобы это дошло до крестьян:

— Война идет против джадидов, большевиков, неверных, богоотступников и всех, кто, восстав против его высочества эмира, поднял меч на его августейшую особу. Кто не выйдет на войну с этими врагами, тех следует считать такими же врагами, кровь их разрешено проливать, имущество грабить, жен считать разводками, а детей брать в плен и обращать в рабство...

На возвышение вскочил джигит в меховой шапке. Полы его халата были заправлены в сапоги, грудь перекрещивали ремни патронташей, слева висела палка, а за плечом — пятизарядное ружье.

Джигит крикнул:

— Жизнь нашу жертвуем за эмира, за шариат!

И спрыгнул.

На его место поднялось человек десять стариков, чалмы которых, в знак полного самопожертвования, спускались на шеи.

Опустив головы, закрыв глаза, раскачиваясь, они гнусаво пропели:

— Да будет жизнь наша жертвой!

— Да будет жизнь наша жертвой!

— Как в сборище слепого маддаха,— сказал человек, стоявший недалеко от этих стариков, другому, стоявшему возле него.

— А каким было это сборище слепого маддаха? — спросил тот.

Первый начал рассказывать:

— Несколько лет тому назад я был в Бухаре. Был месяц рамазан. Прохаживаясь по городу, дошел до Хауза Диванбеги. Смотрю на площади у Диванбеги собралось много людей. Оказалось, что это сборище, собранное маддахом. Высокий, с большой бородой и слепой на один глаз и рябой на лицо.

Рассказывал он о могиле и дне Страшного суда. Много он говорил о святости месяца рамазана, о том богоугодном деле, которое совершают соблюдающие пост, и о том, как на том свете будут пытать людей, которые не постятся. Затем он начал рассказывать очень занимательную историю, связав ее со своими вступительными словами. Когда рассказ его дошел до самого интересного места, маддах, закрыв и здоровый глаз, склонил голову на грудь и некоторое время хранил молчание. Люди с увлечением и интересом ожидали окончания его рассказа, а помощник маддаха выкрикивал:

— Слушаю! Правильно!

Наконец маддах, подняв голову, скосил здоровый глаз и, оглядев собравшихся вокруг него, обратился к своему помощнику:

— Шошариф!

— Слушаю! Правильно! — протянул в ответ помощник.

— Что просить мне у народа во славу священного месяца рамазана?

— Просите голову, просите голову! Святость месяца рамазана стоит того, чтобы отдать за него голову,— ответил помощник.

— Есть ли здесь такой мужчина мусульманин, который во славу священного месяца рамазана согласится принести в жертву свою милую голову? — спросил маддах у окружавших его слушателей.

— Во славу священного месяца рамазана да будут принесены в жертву наши головы! — выступили из круга четыре человека. Сорвав со своих голов чалмы, они повесили их на шеи...

— Совсем так же, как эти старики,— подтвердил слова рассказчика его собеседник.

— Да,— сказал тот, продолжая рассказ.— Набросив чалмы на плечи, они вышли в круг и, бросившись лицом вниз, лежали там, плача и стеная.

Маддах, погладив их головы ладонями и назвав их «настоящими мусульманами», снова обратился к народу:

— Есть ли здесь храбрецы, которые, подражая этим мусульманам, приносящим в жертву свои головы, дали бы монеты чистого золота?

Были получены также две-три золотые монеты.

Затем маддах попросил двенадцать тенег во славу двенадцати имамов, одиннадцать тенег во славу Бахауддина, пять тенег во славу святого семейства, четыре тенги во славу четырех друзей и еще несколько тенег во славу Хызра, Ильяса и еще не знаю каких бесчисленных святых. Одним словом, он прекраснейшим образом выудил из карманов серебряные монеты и даже медные пулы. По словам маддаха, кто бы чего ни дал, все будет угодно богу и равно жертве тех, кто отдал свою голову, так как он будет молиться и за них, молясь за истинных мусульман...»

— А ты что дал? Ты ведь тоже был храбрецом,— спросил рассказчика его спутник.

— Я дал семь медных монет. По правде сказать, если бы я мог, я дал бы и больше, потому что кривой совсем разжалобил меня,— ответил рассказчик.

«Медные пулы полились дождем. Когда уже больше не было надежды на приток денег, маддах собрал серебряные тенги, медные пулы и, сложив их в шерстяной мешочек, доверил своему по-

мощнику. Затем, поглядев на людей, сидевших на корточках в ожидании продолжения его рассказа, он крикнул:

— С каждого, кто встанет, да спадут его грехи!

Люди, ворча, встали и разошлись, отряхивая пыль со своих халатов. Но я остался, с удивлением глядя на тех, кто пожертвовал своей головой.

Маддах выступил вперед. За ним шел помощник, который нес мешочек с деньгами, а за ними последовали те, что принесли в жертву свои головы. На их шеях все еще висели чалмы.

Я был в недоумении. «Может быть, маддах убьет, или продаст их, или еще что-нибудь сделает с ними?» В конце концов, чтобы узнать, что с ними будет, пошел за ними.

Маддах, вместе со своими спутниками, вошел в один из караван-сараев. Я последовал за ним. Маддах подошел к одной худжре и постучался. Дверь открылась. Сначала маддах, а за ним и все остальные вошли в худжру. Досадуя, что так и не узнаю о судьбе четырех самоотверженных мусульман, подумал: «Конец!»

Но человек, открывший дверь и уже готовый снова закрыть ее, заметил меня.

— А, красивый джигит, может быть, вы хотите зайти покейфовать?

Охваченный желанием попасть в худжру, я не задумываясь ответил:

— Да.

— Скорее! А не то подойдет кто-нибудь из посторонних!

Я вошел. Дверь с треском захлопнулась за мной. Я огляделся по сторонам. Против моих ожиданий, я попал не в тесную худжру, а очень большую, просторную комнату. В одном углу кипело два громадных самовара. На треножнике стоял котел с пловом. Комната полна была людей с увядшими бледными лицами, лежавшими в забытьи или сидевшими молча, уставясь в одну точку.

Маддах, вместе со своими дружками, прошел и сел в особом месте на ковер, поверх которого были постелены чистые курпачи. Я выбрал себе место несколько поодаль от них на стоявшей в одном углу тахте.

Хозяин худжры, расстелив перед маддахом скатерть, принес лепешки и сласти. Затем он принес и поставил перед ними шесть чашек кукнара.

Потом он подошел ко мне и спросил:

— Вы что закажете, красивый джигит?

— Чай,— сказал я.

— Кукнара не надо?

— Ладно, давайте,— из-за поста я не стал, конечно, пить чая. А что касается до кукнара, то никогда в жизни не употреблял его. Несмотря на все это, я заказал и то и другое, лишь бы не отличиться от остальных посетителей этой запретной чайной, досмотреть до конца, какова будет участь четырех мусульман, что принесли в жертву свои головы.

Я перелил несколько раз чай из чайника в пиалу и обратно, чтобы он лучше заварился, а затем уже налил в пиалу. Каждый, кто видел меня за этим занятием, мог подумать, что я сижу и пью чай. Передо мной стояла также и чашка с кукнаром.

Маддах, только что говоривший о святости месяца рамазана, и его помощник, подкреплявший все его слова восклицаниями, и те четыре человека, которые «отдали свои головы во славу священного месяца рамазана», опорожнив чашки с кукнаром, среди бела дня протянули руки к плову.

Съели все блюдо плова, скатерть убрали и открыли мешочек с деньгами. Отделили серебряные тенги от медных пулов, золотые же монеты маддах положил себе в карман еще во время представления.

Отсчитав монеты, маддах дал каждому из отдавших в жертву свои головы по десять тенег и сказал им, когда они уходили:

— Приходите завтра пораньше, но переменитe свои чалмы и халаты, чтобы народ не узнал вас.

Я тоже уплатил совершенно зря одну тенгу и вышел следом за ними».

Как раз, когда рассказчик кончил свое повествование, со всех сторон площади раздался крик:

— Бегите! Идите! Отправляйтесь! Эй, храбрецы, выступайте вперед!

Народ, собравшийся на площади, сразу пришел в движение. Все, кто ехал верхом на лошадях, и ослах и шел пешком, все задвигались, смешались в кучу.

Впереди всех ехали казии и амлакдары двух туменей. За ними — начальники Шафриканского и Гиждуванского туменей. Миршабы, старшины и старосты, надрываясь, выстраивали людей.

Толпа, вырвавшись с площади на рынок, где продавали маш, свернула в сторону Кызыл-Тепе.

После двух часов пути передние ряды еще не достигли вод Мулиана.

Но толпа была похожа на снежную лавину, сползающую с горы,— чем дальше она ползла, тем больше редела. Она таяла. Люди, пользуясь каждым поворотом дороги, внезапно отставали, отходили в сторону, покидали непобедимые ряды бухарского эмирского воинства...

13

Первое сентября 1920 года.

По средам в Гиждуване бывал базар.

Обычно в этот день продавцы и покупатели съезжались со всех сторон от Вабкента до Нур-Аты, от Варданзе до Кызыл-Тепе, включая и всю степь.

Но в эту среду площадь пустовала.

Лишь около запертых купеческих лавок сидело несколько сторожей, да у полицейского участка гиждуванского Миршаба на рисовом рынке толкались стражники.

Двери арестантской выходили на север к реке Пирмаст. Комнату заполняли узники с цепями на шеях, руки и ноги их были закованы в колодки.

Узники обросли волосами, рваная одежда уже не могла прикрывать грязных тел.

На грязных телах и бледных лицах несчастных кишмя кишели вши, переползавшие от одного к другому.

Они были заперты, и казалось, о них позабыли. Дверь не открывалась даже днем, если не случалось чего-нибудь необычайного.

Но в ночь на второе сентября сердца узников дрогнули: за дверью раздались шаги. Не видя друг друга, узники прислушались к темноте.

— Палач? — вздрогнул один из пленников.

— О, если б бог послал палача! Могила спокойней, чем такая жизнь.

— Нет,— сказал другой,— я готов каждый день терпеть муку, любые мучения, но жить, обязательно жить, пока не увижу светлого дня! Если дождусь его — отдам за него жизнь. Ах, какой он будет светлый!

Узник, предпочитавший умереть, ответил с упреком:

— Пустые мечты! Сколько дней, дорогой хатырчинец, обнадеживали вы нас: «Это будет сегодня. Завтра дождемся». Ожидание хуже смерти. Довольно! Сыт по горло этой жизнью. Пора умереть.

Дверь распахнулась.

Палач?

Все замерли.

Но дверь снова закрылась.

— Кто это? Кто-то зашел! Кто тут? Может, вышел кто-то?

— Молчите. Сейчас узнаем. Тут что-то не так.

Все настороженно вслушивались в темноту.

Что-то заворочалось возле двери.

— Кто там? — громко спросил один из пленников.

Ни звука, ни движения.

— Кто ты? Человек, животное, дьявол? Ну, говори!

— Ох!.. смерть моя! — слабо простонал человек у двери.

— Кто ты?

— Я умираю... У меня... разбита голова. Много крови потерял...— пробормотал новый пленник.

— Что с тобой?

— Началась... война.

— А! — рванулся хатырчинец. Но цепь не пустила его выпрямиться. Хатырчинец попробовал привстать, но опять упал на спину.

Хатырчинец своим возгласом прервал речь нового узника.

Но другой допытывался:

— Так, война. А потом?

— Людей набирают... Как услышали, что я рассказываю о проделках маддаха, меня схватили... избили... Бросили сюда.

— Слава богу! — заговорил хатырчинец, оживляясь и не в силах сидеть неподвижно. Цепь его зазвенела.— Я увижу это раньше, чем умру!

— Если революционеры осилят, мы увидим. А если отступят, как при Колесове, мы ничего не увидим. И эта надежда уйдет с нами в могилу.

Хатырчинец рассердился:

— Теперь мы победим. Теперь революция хорошо вооружена, хорошо подготовлена. Народ не идет за эмиром. Ведь вы слышали: «Народ разбегается». Нам помогают русские. Нам помогают рабочие, Красная Армия, большевики Туркестана. Теперь мы сильны!

Он еще ликовал, когда за дверью застучали шаги нескольких человек. Лязгнул замок.

— Идут за нами. Нас освобождают!

Дверь открылась.

Всунув в дверь пылающий факел, человек внес его в темницу.

Узники, за шесть месяцев отвыкшие от света, с удивлением озирались друг на друга. Но глаза не выдержали столь яркого света, заслезились, закрылись.

Вслед за факелом в комнату вошли двое людей, похожие на дьяволов.

Умело и ловко они принялись освобождать узников от цепей и колодок.

Узники, прежде недоверчиво слушавшие хатырчинца, теперь, когда кандалы свалились с них, поверили в свободу, и сердца их горели от радости.

Освобожденных от кандалов вывели при свете факелов на двор полицейского участка.

Среди двора их окружили вооруженные джигиты.

Сердца, еще горячие от надежд, упали в бездну горя.

Один из стражников миршаба, пройдя к первому ряду, взял руки хатырчинца и связал их спереди. По обычаям эмирской Бухары, руки, связанные у узника спереди, означали, что он будет казнен.

— По чьему приказу вы хотите нас убить? — спросил хатырчинец.

— По приказу миршаба Султана-бега.

— С каких пор Кали-Султану дано право смертной казни? Разве это право не принадлежит одному лишь эмиру?

Стряхивая со своего рукава вшей, которые покрывали узников, стражник ответил:

— С тех пор как началась борьба эмира с джадидами, Султан убил людей больше, чем вшей на твоем теле. И людей он бьет легче, чем ты вшей. Какой дурак теперь ждет эмирских приказов, когда вокруг такое делается!

Остальным узникам тоже связали руки спереди и погнали со двора в темную ночную улицу. Со всех сторон плотной стеной окружили их стражники, вооруженные саблями и дубинками.

Впереди, освещая дорогу, несли факел.

Следом за факелом шли два человека, державшие короткие, как рукоятки топоров, палицы, а с их поясов свешивались ножны с обоюдоострыми ножами. Это шли палачи.

Пленников погнали на запад, берегом реки Пирмаст.

Хатырчинец, глядя при колеблющемся свете факелов на нового узника, шедшего с трудом, сказал:

— Когда мы собирали топливо, нас было семеро. Когда нас схватили, один убежал, уменьшив наше число и опечалив наши сердца. И вот, в минуту смерти, снова нас семеро.

— Подобно звездам Большой Медведицы! — ответил новый узник.

— Ого! Перед смертью ты заговорил.

— А я не собираюсь умирать! — тихо ответил новый узник.— Не дам и вас убивать.

— Что ж, сотвори чудо! Посмотрим, как оно совершается! — недоверчиво ответил хатырчинец.

По дороге с западной стороны показались арбы и всадники, двигавшиеся навстречу.

— Гоните их к обочине! Сверните арбы с дороги! — закричали стражники, размахивая факелами.

Однако встречные не послушались.

Перебраниваясь, даже не глядя на стражников, встречные заполнили всю дорогу. Конские морды и свирепые лица ездоков показывались из мрака и вновь пропадали.

Стражникам и узникам пришлось свернуть на край дороги.

Идущих и едущих, всадников и арб становилось все больше.

Все чаще слышались среди них крики, перебранка. Хозяева арб, чьи лошади были сильнее, наезжали на тех, что ехали на слабых лошадях. Никто не слушал криков всадников, застрявших между арбами, давивших без разбора все, что попадало им на пути, в неудержимом беге, в оголтелой спешке.

Толпа оттесняла узников все дальше.

У соломенного базара стражники свернули с дороги и повели узников по узкой улице, идущей к небольшой площади, в сторону гробницы Хаджи Абдулхалика Гиждувани.

Эта площадь была местом казней для тех, кого убивали тайно.

Раньше, чем зарезанный успевал остынуть, его волокли за ноги на кладбище, окружавшее гробницу, и бросали в какую-нибудь провалившуюся могилу. Так делали, чтобы поскорее скрыть следы казни от посторонних глаз.

Узники, знавшие это место, остановились в ожидании близкой смерти.

А на большой дороге в темноте раздавались крики и ругань. Скрипели колеса арб, ржали лошади,— там катился густой человеческий поток, торопливый и неудержимый.

Стражники постояли, ожидая, пока опустеет дорога, чтобы уединенно совершить казнь. Но дорога не пустела. Человеческий поток не убывал.

Тогда старший из стражников сказал палачам:

— Начинайте!

Услышав этот приказ, палач резким ударом короткой палки свалил на землю хатырчинца.

— Увы! Так я и... Не пришлось увидеть своими глазами...

Стражники заткнули ему рот, придавив его к земле.

Вдруг раздался ружейный выстрел — дымок закружился над головами стражников и узников.

Старший стражник свалился на землю.

Палач, уже вытащивший нож из ножен, бросился на человека, державшего в руках ружье.

Но не успел добежать. Охнув, он сел на землю, получив в живот удар ножом.

Второй палач и стражники кинулись прочь.

Узников окружили джигиты, вооруженные ружьями, револьверами, большими ножами.

Они поспешно освободили руки узников, разрезая веревки, ободряя растерявшихся, уже простившихся с жизнью людей.

Хатырчинец, вставший живым и невредимым из-под ножа палача, сказал новому узнику:

— Твое чудо совершилось! Как тебя зовут?

— Меня зовут Рустам-Ашки,— ответил новый узник.

— Ого, да ты, оказывается, мой старый ученик! Я Урун-силач.

— Вы, оказывается, еще живы, мой учитель! — воскликнул Рустам, покрывая лицо его поцелуями.

— Да, но я двадцать пять лет скитаюсь, скрывая свое имя, меня знают по прозвищу «хатырчинец», потому что часто живу в Хатырчи. Поэтому-то вы и не могли знать, жив я или умер.

— Что это вы опоздали, Шифрау? Еще б немножко — и нас уже не было бы в живых!

— Простите, Рустам-ака. Мы не думали, что вас поведут казнить в первую же ночь, как только схватили! Мы шли сюда, чтобы задержать беглецов из Бухары, когда неожиданно увидели вас.

— Ладно. Что же происходит? Чем кончилась война? Где эмир? — спросил Рустам-ака.

— Эмир побежден, революционеры захватили город.

— Да здравствует революция! — воскликнул Урун-силач, прерывая слова Шифрау.

— Вон они, беженцы. Бегут вместе с эмиром.

— Где же теперь сам эмир? — все спрашивал Урун-силач.

— Он удирает вместе с бухарской знатью,— ответил Шифрау, вглядываясь в дорогу.

— Вот он сам! — воскликнул он.

И джигиты, и недавние смертники взглянули на дорогу. В предутренней мгле двигался стиснутый людьми фаэтон со сломанными рессорами. Его тащила одна хромавшая лошадь. Верх фаэтона был низко опущен.

Фаэтон окружили, пытаясь оттеснить народ, вооруженные афганцы.

Из толпы беженцев отделился всадник с низко повязанной чалмой. Приблизившись к фаэтону, всадник наклонился и, заглянув под спущенный верх, спросил:

— Да будет государство крепким! Где желают остановиться их величество? Освятить дом своим царственным присутствием?

Из глубины фаэтона донесся слабый голос:

— В Джафаре, в доме Абдуллы-хозяйчика.

Поняв, что в фаэтоне едет сам эмир, узники и джигиты закричали:

— Долой эмира! Долой эмира!

Услышав эти возгласы, эмир, видимо, приказал ехать быстрее.

Лошадь, погоняемая безжалостными ударами плетки, пустилась вскачь, прихрамывая и спотыкаясь.

Вскоре фаэтон свернул с большой дороги и, выехав в Гиждуван, покатился по узким улочкам.

Проехав мост, через ворота шейха Таджиддина, эмир вступил в Гиждуванскую крепость.

А на маленькой площади, где эмирские палачи не успели совершить последней казни, вскоре не осталось никого.

Только факел, брошенный стражниками на краю канавы, чадил и мигал, угасая.

1920—1923

1

Эмир бежал, покинув священную Бухару.

За ним бежали крупные чиновники, богачи, муллы. Бежал и Абдулла-хозяйчик.

Но многие остались, затаились, выжидая, чем кончится революция в Бухаре. Баи оставались в своих усадьбах, купцы на своих базарах.

В приемной комнате Урман-Палвана сидел Бозор-амин и пил чай с хозяином.

— Если бог даст человеку целую лепешку, никто не в силах сделать ее половинкой,— начал свою речь Урман-Палван, обращаясь к своему гостю, и, отхлебнув чаю, продолжил:

— Вот позавидовали люди богатству эмира, сглазили его, на него и пали такие несчастья.

— А ведь я и сам, по наущению дьявола, собирался бежать. Но остался, положился на бога и дожидаюсь. Жизнь налаживается. Все эти босяки, что вначале вылезли было как грибы, теперь притихли, попрятались, опять опустили головы...

— Неужели вы верите, что они надолго опустили головы? — спросил Бозор-амин.— Ведь они не перестанут подкапываться под нас, не перестанут кляузничать, доносить на нас властям, нести всякие были и небылицы.

— Ну, если мы будем сидеть сложа руки, они опять осмелеют. Что захотят, то и будут делать. Да мы-то ведь не простаки. Нельзя ждать, пока они ударят нас топором под корень. Ну вот приказали нам власти, чтобы мы от каждой деревни послали представителя. Мы выбрали представителя. А кого? Сына нашего старосты. И хоть

староста — это аксакал, а представитель — вакиль, народ вакиля зовет по-прежнему аксакалом — и как прежде боялся и слушался старосту, так и теперь боится своего представителя.

Бозор-амин кивнул головой, поддерживая Урман-Палвана.

— Мы у себя так же поступили.

— Так и должно быть. Нет леса без льва, нет моря без акулы. В каждой деревне есть свой лев и своя акула. Это мы с вами, и все выборы нам и впредь надо держать в своих руках.

— «Если в отаре есть хороший баран, отара не переведется!» — гласит пословица. Если такими баранами будут в наших деревнях наши представители, наша польза не иссякнет. Вот вам пример: я избран в нашей деревне сборщиком налогов и продовольствия. На это, понятно, божья воля, но представитель мне помог, дал мне хорошую справку, представил меня как человека сведущего, опытного, уважаемого, меня и утвердили! — похвастал Урман-Палван.

Появление Хаита-амина прервало тихий разговор старых друзей.

Все обнялись. Хаита-амина усадили на почетное место, прежде чем обстоятельно расспросить друг друга о здоровье.

В том году о новом правительстве Народной бухарской республики говорили во множественном числе — «власти». Может быть, потому, что единовластие эмира закончилось и во главе государства стал Совет назиров, состоявший из нескольких человек.

Поэтому, как хозяин, читая молитву по случаю прихода нового гостя, Урман-Палван насмешливо изменил слова прежней молитвы:

— Подай, господи, чтобы меч властей наших был остер, походы властей наших безопасны. Святой лев божий и Бахауддин да опояшут их поясом победы.

— А вы, оказывается, молодцы! — одобрил Хаит-амин.— В прошлом году вы так молились за эмира, а нынче за властей. Сразу видно, устроились к новым властям на работу.

— Что ж, если время не идет к тебе, так ты иди к нему. Приходится идти к ним, веря, что настанет наше время и снова они пойдут к нам.

— Да, я уж знаю. Вас назначили уполномоченным по сбору налогов и продуктов. Поздравляю вас.

— Дай бог, чтобы ваше поздравление пошло впрок. Благодарю.

Урман-Палван, захватив остывший чайник, вышел в прихожую и оттуда позвал работника, подметавшего двор:

— Ну-ка, отнеси заварить да вели принести угощение. И пусть поскорей блюдо плова приготовят.

Распорядившись, он вернулся к гостям.

— Да, вот я и стал уполномоченным. Но ведь это богатство ниспослано всем нам богом! Теперь вы можете опять наполнить свои амбары пшеницей, повесить большие замки и спокойно принимать посетителей. А эти посетители согнутся перед вами и запричитают... И если вам угодно, можете дать такому босяку пять пудов, если вам угодно — два пуда. Но при этом, как и в прежние времена, с каждого надо брать в залог его землю или его имущество. Дав мне обязательства, решатся ли они выступать против меня? Ну, вот. А уж я-то знаю, с кого мне здесь требовать продовольствие, с кого взыскивать налог.

Принесли чай, поставили на скатерть поднос со сластями, положили лепешки.

Хаит-амин, с трудом пережевывая беззубым ртом кишмиш и лепешку, сказал:

— Сейчас власти мажут нам уста медом. Но что у них на уме? Что они затеют завтра? Как бы нам не подавиться их медом! Так же, как я сейчас вашими лепешками.

— Ну! — протянул ему чай Урман-Палван.— Зачем давиться? Кто они такие, эти власти? Власти — это народная власть в народной Бухаре. Так? А кто такое этот народ Бухары? Это мы с вами. Это те, кого народ выбрал. А кого он выбрал? Тех, кого мы помогли или заставили выбрать. Мы сейчас с Бозором-амином говорили об этом. Эти нас не ударят топором под корень. Свои люди!

— Теленок бежит только до хлева. Ваши представители сильны только в тумене. А власти — они в Бухаре. Они поступят так, как сами захотят. Они ваших представителей не послушают! — мрачно сказал Хаит-амин.

— Нет, амин-бобо, вы ошибаетесь,— сказал Урман-Палван.— Голос людей, избранных на местах, доходит и до центра. Из таких людей и в правительство избирают.

— Это как же так? — изумился Хаит-амин.

— Вот и Нуриддин-ходжа из Карши был при эмире приближенным лицом августейшего. Это он убил известного самаркандского джадида Махмуда-ходжу Бехбуди. А люди захотели и выбрали Нуриддина-ходжу в бухарское правительство.

— Вот это и опасно! Этот Нуриддин-ходжа у всех на виду. Кто это поверит, что каршинские крестьяне избрали его от своего общества? Какой же он крестьянин? А с другой стороны, и так можно подумать, что джадиды не очень верят в свои силы. И вот, на всякий случай, протягивают этакому Нуриддину-ходже руку, перетягивают его на свою сторону. Заводят с ним дружбу. На всякий случай. Понятно? Но большинство бухарских властей — не

таково. Они душой преданы коммунизму. Их много. Поэтому вы и слышите их призывы. «Побольше выбирайте бедняков, коммунистов». А коммунисты — это и есть большевики.

— Ну, это не совсем так,— поправил Урман-Палван.— Среди бухарских коммунистов есть некоторые люди, как мы с вами. Поезжайте в Бухару. Там встретите и таких, про которых говорится: «Голова казия, а ноги водоноса». Чего ж нам бояться их?

— И я вам отвечу вашими же словами: «Это не совсем так!» Вы, я вижу, еще не слыхали, что творится в Бухаре. А творится там чистка коммунистов. Это свалилось на нашу голову недавно, до вас еще не дошло, но всех почтенных людей уже вычистили. Купцов, мулл, богачей, эмирских чиновников выставляют подряд! Когда чистка кончится, на ногах водоноса голова казия уже не удержится. А если власть заберут водоносы, тогда что нам делать? Первой водой они окатят Нуриддина-ходжу каршинского, но и на наши головы воды хватит. Наше будущее легко угадать,— посмотрите на Туркестан и на Россию. Что там делается? А что там делается, то и у нас произойдет. Этого не миновать.

— Конечно, если будем сидеть сложа руки! Тогда всякая беда произойдет! — зашептал Урман-Палван.— Надо действовать. В Бухаре у Нуриддина-ходжи и защитники найдутся, не одни враги. Джадиды, что его подняли, его и защитят. А помогли они ему — помогут и нам. Они будут грызть дерево изнутри, а мы снаружи. Вот и убережем наши головы от водоносов.

— Это что же? Выходит, мы заодно с джадидами? — удивился Бозор-амин.— Вы призываете нас угодничать перед ними? Ведь они будут открывать свои школы, посягать на веру и обычаи ислама, притеснять мулл. И нам либо придется делать то же, либо нас откатят в сторону.

Урман-Палван рассердился:

— Совсем не так. Не мы с джадидами, а они с нами. Вот надо к чему повернуть. Они хотят на нас опереться. Значит, сила у нас, а не у них. Божьей помощью повернем дело так, что его высочество вернется в Бухару, воссядет на престол. Разве джадиды сумеют управлять целой страной? Нет, это наше дело.

Хаит-амин согласился:

— К этому и надо вести дело. А то «выбран» Нуриддин-ходжа в Бухаре, Урман-Палван стал уполномоченным по сбору налогов и продовольствия. Разве на этом можно успокоиться? Надо помнить, что спокойствия не может быть до тех пор, пока эмир бухарский вновь не воссядет на свое место. Для этого надо действовать. Надо поднимать ветер, который развеет сор и осветит наши души.

— Но как? — задумался Бозор-амин.

Урман-Палван объяснил:

— А так: вашего зерна я не трогаю, ваших доходов не касаюсь, налогами вас не облагаю, а облагаю бедноту. Пусть она видит, что ничто не изменилось. Пусть она сетует на властей. Пусть она вспомнит, что так же было и при эмире. И тогда увидим, какой поднимется ветер.

— Этого мало,— сказал Хаит-амин.— Такой ветер одними губами не раздуешь.

— Но как? — спросил Бозор-амин.

— Его высочество сбежал,— сказал Хаит-амин, утирая брызнувшие из глаз слезы платком.— Воины его рассеялись, но рассеялись они, унося оружие. Много оружия скрыто у этих воинов, у бывших солдат эмира. Есть оно и у всяких проходимцев, у мелкого жулья, у воров. Есть и у нас немного. Но его надо собрать. Надо собрать в надежное местечко.

Хаит-амин помолчал, испытующе посмотрев на собеседников.

— И этим оружием можно поднять не ветерок, а бурю. Как кузнечные мехи, буря расплавит чугун, железо.

— Да, надо пошевелиться! Вы, вероятно, слышали, что власти выделили комиссию для учета и сбора этого оружия,— твердо сказал Хаит-амин,— и если сейчас мы не пошевелимся, оружие попадет к ним, и комиссия только поможет нам в этом.

— Но как? — удивился Бозор-амин.

— Если бы комиссии не было, мы не смогли бы сказать людям: «Несите нам оружие». А если бы и сказали, нас не стали бы слушать, да, пожалуй, еще и донесли бы на нас. И власти узнали бы об этом. А теперь комиссия будет действовать через нас. Спросят, у кого, мол, есть оружие? И мы укажем тех, кто его и во сне не видел, а тем, кто скрывает его, мы скажем: «Несите нам, а не то мы вас выдадим». Понятно? Они и понесут его нам.

— Но если комиссия не найдет в указанных местах, она перестанет нам доверять! — высказался Бозор-амин.

— А когда комиссия не найдет у человека оружия, она будет его мучить допросами, доведет человека до отчаяния. А мы подойдем к человеку и скажем: «Чтоб тебе больше не мучиться, купи оружие, мы тебе найдем. Купишь и сдашь, и не будут к тебе приставать!» — развил эту мысль Урман-Палван.

— Нет,— возразил Хаит-амин,— от такого дела я не вижу никакой пользы. Этак можно продавать оружие, и его много уйдет из наших рук.

— Хорошего ружья мы никому не продадим. Это первое. Вреда не будет, если мы спустим с рук старье. Да, властям достанется кое-что, но большая часть достанется нам.

Неслышно вошел слуга, почтительно прижав руку к сердцу:

— Плов готов.

— Так несите! Да принеси кувшин, помыть руки.

Едва был окончен плов и принесли чайники, наполнившие гостиную нежным благоуханием чая, у ворот показалось несколько бедняков.

Не ожидая приглашения, они смело прошли через двор, поднялись в прихожую и заглянули в гостиную Урман-Палвана.

— В чем дело? — сдерживая гнев, спросил хозяин.

— А в том, что люди из продкома пришли. Врываются в наши дома, требуют с кого пуд, с кого полпуда пшеницы, кукурузы, проса, маша. Подчистую отобрали и унесли все, что мы собрали и запасли, продав дрова. Что это такое? Разве это порядок?

— А вы не хотите повиноваться властям? — строго спросил Урман-Палван.

— Мы слышали, что власти приказали покупать пшеницу у богачей с их согласия. Но отбирать последнее у бедняков приказа не было.

— Разве тот, кто взял вашу пшеницу, не заплатил за нее и не дал расписку?

— Расписку дал. Вот она! — показал крестьянин клочок засаленной, старой бумаги.— Но хоть она и жирна, а из нее похлебки не сваришь.

— Эти расписки равны деньгам. Как только придут деньги из Бухары, эти расписки вам сменяют на деньги.

— Но пшеница нам нужна сегодня, иначе мы помрем с голоду. Мы не наполнили амбаров хлебом с наших полей. Мы покупали его на свои кровные деньги.

— Ладно, ладно. Идите! Завтра я разберусь в этом деле. Если нет у вас пшеницы или не желаете ее продавать, я что-нибудь придумаю, как-нибудь помогу.

— Где мы найдем вас завтра?

— В Хаджи-Арифе, в продкоме.

— Мы и сегодня туда ходили, да вас там не нашли.

— Что ж, нам и завтра ходить весь день по вашему следу?

— Сегодня пятница. День отдыха. А завтра я там буду. Ну, ступайте, не надоедайте человеку в праздничный день.

Когда бедняки выходили во двор, Урман-Палван указал на них гостям:

— Вот и это тоже ветер.

Бедняки шли по двору, когда во двор въехал конный милиционер. Соскочив с лошади, он побежал к хозяину:

— Эй, Палван, вставайте скорее!

— Что там? — побледнел Урман-Палван.

— Комиссия из Бухары приехала. Велела вам сейчас же явиться.

Урман-Палван стал торопливо одеваться.

Гости тоже собрались уходить.

Хаит-амин сказал:

— Вот он, ветер! Этот и вправду, как кузнечные мехи, раздует большой огонь.

— Но как? — встревожился Бозор-амин.— Не сгореть бы нам самим на этом огне!

Невеселые, задумчивые, вышли все во двор. Их встревожили слова Бозора-амина.

Через несколько минут они уже гнали лошадей по дороге к Хаджи-Арифу, покрываясь пылью и нетерпеливо вглядываясь в приближающуюся деревню.

2

В Хаджи-Арифе, в бывшей канцелярии казия, Урман-Палвана встретил председатель чрезвычайной комиссии Бухарского округа Мухиддин-махдум Ходжаев.

После обычных приветствий председатель расспросил о положении в тумене, а потом вдруг прервал рассказ Урман-Палвана:

— Вот что, Палван, сколько у вас лично находится оружия, оставшегося от бежавших бухарцев? Где оно? Когда вы его нам сдадите?

Урман-Палван твердо ответил:

— У меня с давних времен был револьвер и ружье. Во время войны эмирские чиновники в принудительном порядке заставили меня носить берданку. Все это и лежит у меня дома. Сдам вам когда угодно. Да будет это моей жертвой вам!

Урман-Палван пытливо посмотрел на опущенное лицо задумавшегося собеседника.

— Но если вы для самозащиты оставите мне берданку, буду очень благодарен. Ведь с тех пор, как я по убеждению поступил на государственную службу, у меня появилось много врагов: в тумене у нас еще не перевелись чуждые люди. Да и воровство есть. Если они узнают, что я сдал оружие, непременно на меня нападут,— дом мой стоит на самом краю села, за домом сразу степь, глухо. Оттуда и закричишь — никто не услышит.

— Сейчас сдайте все оружие, какое у вас есть. А потом, если при сборе оружия проявите себя хорошо, комиссия может выдать вам винтовку для самозащиты. Запишут номер и в справке укажут, что вам разрешается ношение оружия. Тогда его уже никто у вас не отберет.

Мухиддин-махдум вынул серебряный портсигар, угостил Урман-Палвана и закурил сам.

Затянувшись, председатель сказал:

— Выходит, что после эмира в тумене осталось много его людей. И воришки водятся. Захватить явных врагов и передать их центральной власти — это тоже наша задача. А задача таких людей, как вы, находящихся на службе у бухарского народа, помочь нам...

— Слушаюсь! — прижав ко лбу правую руку, поклонился Урман-Палван, не глядя на председателя, и отвернулся, чтобы стряхнуть пепел с папиросы.

— Но сначала надо собрать и отобрать все оружие, все, сколько сумеем, без остатка. Понятно? С этого и начнем. Вы знаете людей и поможете нам.

— Здешние люди знают друг друга. Советуясь с нами, с людьми, отдавшими душу ради укрепления народной власти, вы достигнете своей цели и избежите ошибок.

— Как говорится: «И рубин у нас, и друг при нас». Так, что ли, Палван?

— «Одежда, скроенная по совету друга, не будет коротка!» — ответил Урман-Палван.

— Ладно. Составьте список враждебно настроенных и тех, кто хранит оружие. А рассчитаемся с ними мы сами.

— Это хорошо,— согласился Урман-Палван.— Но...

И он не спеша затянулся папиросой, сощуренными глазами зорко следя, насколько нетерпелив его собеседник.

— Так что? — поторопил его председатель.

— Я хотел сказать, что время такое — каждый себя выдает за жертву эмира, за бедняка, за угнетенный класс. Не верьте вы словам. Как говорится: «Не верь чужим слезам, верь своим глазам».

— Обязательно! — согласился председатель и рассказал как бы в подтверждение слов Урман-Палвана такой случай:

«Наш отряд, преследуя эмира, вошел в Гиждуван. Увидели большой дом и решили сделать там привал.

Во дворе встретил нас босоногий работник в рваном халате, опоясанный веревкой.

— Ты тут кто? — спросил у него начальник отряда.

— Я,— говорит он,— батрак, слуга хозяина.

— А хозяин где?

— Сбежал, чтоб ему пусто было!

— Ну, тогда размещай нас.

— Пожалуйте, пожалуйте, занимайте хоть весь дом, в нем никого нет. В приемной комнате ковры есть. В амбаре рис, сахар, мука, ячмень, чай — все есть!

Показал на конюшню:

— Здесь корова, быки, лошадь, курдючные бараны есть.

— Ладно,— ответил начальник,— открывай приемную комнату.

Открыл он дверь, входит начальник и глазам не верит: вся комната убрана так, будто в ней только что жили,— дорогие ковры, вышивки, атласные одеяла, все на месте. Подозвал работника.

— Ты сколько лет работаешь у этого хозяина?

— Двадцать.

— А где ты спишь?

— Зимой в хлеву со скотом, а летом перед хлевом.

— А на чем спишь?

— Зимой на соломе, а летом на голой земле сплю.

— А на таких одеялах спал ты когда-нибудь?

— Никогда в жизни и не подходил к таким.

— Эх,— сказал начальник,— на, возьми, с этой ночи спи на них.

— Дай бог тебе здоровья.

Взял он атласное одеяло, а начальник ему объяснил:

— Меня благодарить не за что. Ты это одеяло сам заработал за двадцать лет. Все это богатство твоими руками хозяин заработал.

— Золотые слова! — отвечает. И отнес одеяло в какую-то комнату.

Обошли весь дом, но в комнатах, кроме нескольких паласов да чайников, ничего стоящего не оказалось. Только в крайней комнате на гвозде висели два шелковых халата, обшитых широкой тесьмой, да на полочке около них лежали шелковый пояс, дорогая золототканая тюбетейка и словно второпях брошенные в углу новенькие лаковые сапоги, штаны и рубашка.

— А ну, брат,— позвал начальник,— иди сюда.

— Что господину угодно?

— Я, говорит, тебе не господин, а товарищ. Бери эти халаты и всю одежду и одевайся немедленно,— это все тобой заработано за двадцать лет.

Работник вышел в другую комнату, скинул свои лохмотья и надел все, что ему дали.

Входит и смеется:

— Этот наряд мне и не к лицу.

— Ерунду говоришь! — отвечает начальник.— Все, что раньше служило богачам, теперь пойдет на службу трудящимся. Иди покажи красноармейцам, где там у вас ячмень, пускай лошадям засыплют.

— Ой, еще раз спасибо! — кланяется.

Лошадей своих мы поставили в стойла, задали им сена, красноармейцы и партизаны, расстелив шинели, прилегли отдохнуть. Командиры собрались в приемной.

Позвал начальник опять этого работника.

— Покажи-ка хозяйские припасы.

— Пожалуйте! — отвечает и покорно ведет его во внутренний двор. Открыл небольшой амбар, показал припасы. Были там чай, сахар, рис, масло.

Начальник дал ему пудовую голову сахара и несколько пачек чая:

— Кушай на здоровье!

Затем выдал продукты для отряда, с расчетом на день. На амбар снова повесил замок, а ключ отдал работнику.

— Вот,— говорит,— теперь и ты хозяином стал.

Он отвечает:

— Хорошо, что раньше не был хозяином, а не то теперь плакал бы, отдавая такие вещи!

Оторвал от сахарной головы бумагу, лизнул сахарную голову и причмокнул:

— Ой, как сладко! Как хорошо!

— А хозяин твой богат был?

— Ой как богат! Один из четырех главных богачей у нас, в Гиждуванском тумене.

— Где же он свои богатства спрятал?

— Он хитер был. Как только началась война, он свои богатства день и ночь вывозил отсюда. Вчера ночью, когда эмир отсюда убежал, из дома Абдуллы-хозяйчика, хозяин мой последнюю арбу вывез. Переправился через Зеравшан и теперь где-нибудь по Каршинской степи бежит.

— А жена у тебя есть?

— Да на какие же средства мне ее было взять, бедному человеку?

— Женись,— говорит начальник.— Возьми с этого двора пару быков да соху. Выбери на хозяйской земле участок, паши, хозяйствуй сам.

Отдохнув и подкрепившись, отряд наш снова пошел в погоню за эмирскими беглецами.

А на другой день в Гиждуван прибыл ревком и объявил, что эмирское имущество, а также имущество бежавших с эмиром чиновников и купцов отходит в государственный фонд, но имущество частных лиц, оставшихся на месте, остается в распоряжении хозяев.

В тот же день тот работник, который водил начальника нашего отряда по дому, позвал несколько человек других работни-

ков, разрыл с их помощью навоз в углу двора и вытащил из этого угла сундуки со всяким добром, кипы мануфактуры и черт его знает, что еще там!

Оказалось, что этот работник и был хозяином всего этого дома, переоделся в тряпье и остался сам сторожить свои сокровища.

Вот как он нашего начальника вокруг пальца обкрутил! И с тех пор — конец! Уж никакими охами и вздохами и никакими лохмотьями меня не проведешь! Баста!»

Урман-Палван, выслушав этот рассказ, засмеялся:

— Вот и выходит по той же пословице: «Не верь чужим слезам, верь своим глазам!»

Председатель встал, отпуская Урман-Палвана.

Прижимая руку к сердцу, Урман-Палван откланялся.

— А что касается оружия, то завтра я все сдам. И список завтра же представлю.

— Да, да, обязательно завтра.

В прихожей сидели Хаит-амин и Бозор-амин, ожидая своей очереди идти к председателю.

Проходя мимо, Урман-Палван шепнул:

— Придется сдать. Из негодных. По одному, по два, не больше.

* * *

Утром, когда Урман-Палван сидел в своем продкоме, к нему пришли вчерашние бедняки с жалобой на неправильное изъятие у них пшеницы.

Урман-Палван встретил их приветливо.

Он позвал своего писаря и велел записать имена жалующихся.

Пока писарь готовил бумагу и чернила, Урман-Палван спрашивал:

— Я забыл, как твое имя?

— Эргаш Бобо-Гулам.

— Запишите, писарь.

Эргаш добавил:

— А жалуюсь на то, что забрали у меня два пуда пшеницы да ячменя пуд.

— Это нам сейчас не надо знать. Мы проверим, тогда и запишем. А твое имя?

— Кулмурад Баймурад.

— Так. Пишите. А тебя как звать?

— Рузи Ташпулат.

— А тебя?

— Сафар-Гулам...

Так вошли в список Атаджан, Шадим, Шукур, Гаиб, Истад, Нор-Мурад и некоторые их односельчане.

Урман-Палван взял список:

— Вы не расходитесь, подождите, я сейчас проверю и приду.

Эргаш улыбнулся, когда Урман-Палван вышел:

— Палван совсем мягким человеком стал. А?

— Это наше время его размягчило. При эмире ему уста и топором нельзя было разрубить. Верно, узнал, что комиссия из Бухары приехала, вот и поджал хвост.

Сафар-Гулам вздохнул:

— Большой пользы от революции нам пока что-то не видно. А маленькая польза хоть в том есть, что такие звери ходят с поджатыми хвостами.

Шади посмотрел на Сафар-Гулама.

— Ты говоришь: «Пользы не видать». Это бы уж ладно! Тут хуже: пока нам один убыток. Ты, бывало, говорил: «Победит революция, настанет счастье для бедняков и рабов». А где же оно, это счастье? Выходит, ты обманывал?

— Если ты посадишь дерево, надо четыре года ждать, пока оно даст плоды. Надо подождать, пока революция укрепится, примется на нашей земле. Ведь времени-то прошло мало.

Разговор прервался. В продком вошли вооруженные милиционеры, и начальник велел крестьянам выйти во двор.

Урман-Палван не возвращался.

Крестьяне, решив, что ждать можно и во дворе, вышли туда.

— Что это за люди? — спросил председатель комиссии, просматривая список.

— Они здесь поименованы! — ответил Урман-Палван.

— Я про их социальное положение спрашиваю. Богачи они или бедняки, крестьяне или скотоводы?

— По внешности бедняки, на деле такие же бедняки, как ваш гиждуванский бай. Они стада своих баранов угнали в степь, к Кызыл-Кумам. Нарядились в рванье, а дома у себя не только оружия, но и паласа не оставили.

— Узбеки они или таджики?

— Есть и узбеки, есть и таджики, и арабы.

— У вас в тумене иранцы тоже есть?

— Есть. Но не сами приехали, не переселенцы, а потомки рабов. В прежнее время туркмены таких пригоняли сюда на продажу.

— Как же рабы оказались богачами? У них ни воды, ни земли не было. Откуда ж у них богатство?

— От бога. Вы же знаете: Абдулла-хозяйчик тоже потомок рабов, а при эмире был одним из первых богачей Гиждуванского туменя.

— Но в списке не указано, где, в каких деревнях живут эти люди, где можно их захватить.

— Говорят: «На охотника и зверь бежит». К счастью, они сами пришли ко мне, жалуясь, что наши работники несправедливо забрали у них пшеницу. Я знал, что у всех у них есть оружие, составил список, а их задержал в своей комнате.

— Вы говорите, что дома они оружие не держат. Где же мы его найдем?

— Поэтому я и не указал их местожительства. От этого никакой пользы нам нет. Но добыть у них оружие мы сумеем.

— Как же это?

— Арестуйте их. Прижмите покрепче. Дня два-три подержите в арестантской. А потом я к ним зайду и так поговорю с ними, что они оружие выдадут.

— Ну, ладно. Попробую их прижать,— согласился председатель.

— Только прошу вас так сделать, чтобы обо мне они не знали, а не то ночью нападут, убьют либо дом сожгут.

— Не беспокойтесь! — Председатель встал и позвал секретаря.

Урман-Палван вышел, но не к себе в продком, а во двор и там притаился в одном из помещений.

Вскоре всех этих крестьян провели мимо него к бывшему участку бывшего эмирского казия.

3

В конюшне сбежавшего казия лежали закованные в колодки крестьяне с окровавленными головами, вывихнутыми пальцами, разбитыми коленками, с опухшими глазами.

— Вот тебе первые плоды! — со стоном сказал Шади Сафар-Гуламу.

— Эти плоды созрели в саду Урман-Палвана.

— Если б председатель комиссии был нашим человеком, он с чужих слов не решил бы нашего дела, а сперва сам расспросил бы нас.

— Река мутится в своих истоках! — добавил Гаиб.

— Под истоками ты подразумеваешь Бухару? — спросил Сафар-Гулам.— А я думаю: недомыслие и грубость председателя не выражают отношения властей. Власти еще не знают всех людей, через которых проводят свою работу. На твои слова так скажу: из

родника вода может выйти чистой, а замутится она, когда проходит через глинистые пустыни.

— Если власти что-нибудь поручают человеку, они должны его проверить. А иначе когда ж они узнают своих работников? Это не по-хозяйски! — сердился Шадим.

— Узнают об ошибках, тогда и вмешаются. А сейчас нельзя терять веру в свою власть. Нам знаком Урман-Палван: он эмирский прихвостень, дружок сборщика налогов, завзятый палач. Он от нас и заслонил весь свет. А свет не от него идет. Надо верить, что свет сияет, хотя мы и не видим его из-за плеч палача.

Эргаш с усилием приподнялся.

— Тише! Сам идет! — И тут же быстро добавил: — Я знаю: это дело он подстроил, но виду не подавать! Будем его просить о помощи, надо выбраться отсюда. А если он поймет, что мы его раскусили, нам отсюда не выбраться.

— Правильно. Сперва надо выбраться, а там...

К часовому подошел Урман-Палван, предъявил пропуск и вошел к узникам.

— Что это значит? — спросил Сафар-Гулам.

— Сам не понимаю,— мягко ответил Урман-Палван.— Я пошел в амбар проверять ваши дела, а когда вернулся, вас уже забрали. Два дня добивался пропуска к вам. Теперь говорите по совести. Что могу, все сделаю для вас.

Урман-Палван откашлялся и присел на корточки.

— Вот Эргаш-ака в эмирское время во всех несчастьях обвинял меня. Даже руку на меня поднял. А я не сержусь. Я простой, зла не помню. Я хочу заплатить добром, ведь сказано: «Кто добро творит, того бог хранит». Так в чем тут у вас дело?

— Да вот говорят, у нас оружие есть, и велят нам его отдать,— сказал Сафар-Гулам.

— А вы что?

— А мы правду отвечаем — нет и нет.

— У вас было, что сдать. А у нас-то ничего нет! В домах и кочерги-то ни у кого нет. Откуда ж его взять?

— Так от них не отделаешься. За день до вас с меня тоже оружие требовали. По их глазам я понял, что от них не отвяжешься. Я ведь был солдатом. «Слушаю!» — говорю. И все, что у меня было, принес им и сдал. Я знаю, что никакого оружия у вас нет, но я и председателя комиссии знаю. Его зовут Мухиддин-махдум Ходжаев. Он давно известен как палач. Про него говорят: если он о ком-нибудь узнает, до тех пор не успокоится, пока не вытянет всего, что захочет, а не вытянет — убьет. Надо что-то придумывать.

— Что же нам придумывать? — ответил Эргаш.— Вы же сказали: «Сделаем что-нибудь». Скажите, что надо сделать, а мы на все согласны.

Урман-Палван поднялся, выглянул в дверь, чтоб узнать, далеко ли стоит часовой, и зашептал:

— Я для вас, для каждого, найду по ружью. У самого у меня нет, я куплю у прежних солдат, у охотников. Денег у вас нет? Ладно! Ведь у вас, у каждого что-нибудь есть — у кого корова или теленок, у кого баран или козел. Вы мне дадите это в залог, а когда благополучно освободитесь, рассчитаетесь и добро свое возьмете обратно.

— У меня есть корова! — раньше всех сказал Эргаш.

— А у меня курдючный баран,— добавил Рузи.

— Бычок-то и у меня найдется,— признался Атаджан.

Шади засмеялся:

— Есть у меня теленок. Да я хотел вырастить его, коровы-то ведь у меня нет.

— Выкупишь его потом — вот тебе и корова! — успокоил его Урман-Палван.

— У меня арабской породы баран есть,— сказал Гаиб.

Так каждый что-то назвал из своего имущества — барана, осла, новую казахскую кошму, и только Сафар-Гулам неласково и быстро взглянул и сплюнул.

— А у меня нет ничего.

— Ну, ладно. Не беда,— как-нибудь сосчитаемся,— улыбнулся Урман-Палван.

— И когда же вы нам принесете это оружие?

— Сюда я не принесу. Так погублю и вас и себя. Куплю я его сегодня. А вашим родственникам скажу, чтобы они пошли к вам. Когда они придут, вы им шепните, чтоб они весь обещанный залог доставили мне, а у меня взяли бы оружие. Потом они сдадут комиссии оружие да пускай при этом сделают вид, что это вы им указали, где оно у вас спрятано.

— Ладно,— сказал Эргаш.— Но когда мы будем давать показание, какое оружие каждый из нас укажет?

— Сейчас я скажу.— Урман-Палван снова опасливо оглянулся.— Вам, Эргаш-ака, я найду пятизарядное. Его я выговорил себе, когда сдавал оружие, для самозащиты. Оно стоит не одной коровы. За десять коров такого оружия не найдешь. Все равно, я его вам отдам. Чтоб вы были довольны. Для Рузи, Атаджана, Кулмурада и Шадима я куплю у бывших старых солдат старые шомпольные ружья. Остальным найду охотничьи ружья. А вот Сафар-Гулам, хотя он и упрямится, получит ружье на рогульке. Так и быть — когда освободится, чем-нибудь отблагодарит меня.

Пожелав узникам здоровья и сил, Урман-Палван собрался идти.

— Не перепутайте оружие, когда будете признаваться. И пусть наше дело останется здесь, как в могиле. Помните мое добро.

Он ушел.

Когда он был уже далеко, Сафар-Гулам сказал ему вслед:

— Да уж ладно, «добро» вспомним. Долг платежом красен, придет время — рассчитаемся. Тогда берегись!

А Урман-Палван зашел к председателю Мухиддину, а затем, выйдя от председателя, встретил поджидавшего его Бозора-амина. Когда оба они пошли к своим лошадям, Урман-Палван шепнул:

— Бросил на это дело свою пятизарядку. Да взамен ее добуду сотню...

Они сели на своих коней. Пыль вскоре заслонила их.

4

Поздним вечером, при свете сорокалинейной висячей лампы, в доме у Бозора-амина сидели гости — Хаит-амин, Нор-караулбеги, Нор-Мурад-Палван и Урман-Палван.

У дверей притулилось несколько юношей.

Плов уже убрали и теперь пили чай.

Хаит-амин обернулся к юношам:

— Джигиты! Слышали новости?

— Ага! — ответил один из них.

— О комиссии по сбору оружия? — спросил другой.

— Об этом,— ответил Хаит-амин.— Что вы об этом скажете?

— Что ж нам сказать? Вы сами нам скажите, амин-бобо.

— Вы хоть и молоды, а уж опытные воины, каждый из вас отведал хлеба и соли во славу эмира. У каждого одно-два ружья непременно есть. Оно вот-вот уйдет из ваших рук. Но, отобрав ваше оружие, снимут и ваши головы. Кто-нибудь пойдет, донесет на вас комиссии, у каждого из вас есть враги, как и друзья,— и конец!

Хаит-амин замолчал, занявшись чаем.

— Что же нам делать, амин-бобо? — нетерпеливо и тревожно спросил один из джигитов.

Хаит-амин подвинул свою опустевшую пиалу к Бозору-амину, разливавшему чай. Расправил бороду.

— Есть слух, что эмир возвращается. И вот, чтобы себя обезопасить и оружие сохранить, надо его спрятать у надежных людей. Пусть оно там полежит, до возвращения эмира. Кому сдавать

его? А вот кому: Урман-Палвану, Бозору-амину. Власти им доверяют, в их домах искать не решатся. А когда вернется эмир, каждый получит свой чин и свое оружие.

— Я сохранил свое оружие, чтобы его продать в черный день. Я два года был десятским, но, кроме этого ружья, ничего у эмира не нажил. А когда эмир удирал, в Бухаре был грабеж. Но на том грабеже я тоже не нажился! — недовольно проворчал один джигит.

Нор-караулбеги недовольно ответил:

— На том свете ты его продашь! Сейчас — оружие не деньги, а улика.

Амин-бобо объяснил:

— У кого оно сыщется, тому смерть!

— Тебя голодным не оставим,— пообещал джигиту Бозор-амин.— Если в чем будешь нуждаться, приходи. Да и Хаит-амин, Урман-Палван, Нор-Мурад-Палван тебя без помощи не оставят.

Джигиты молчали.

Бозор-амин забеспокоился.

— Вам не по душе, что ли, совет?

Джигиты отвечали:

— Отчего не по душе?

— Конечно, можно и так...

Но один, сидевший позади всех, сказал, опустив глаза:

— А я иначе думаю.

Хаит-амин вздрогнул.

— Что же ты думаешь?

Все гости со своих почетных мест внимательно смотрели на этого джигита.

— Я считаю, что оружие мы сами должны сдать комиссии. И тогда мы перед ней не будем виноваты. Я уже взял его, чтобы отнести в комиссию, но в это время пришел от вас человек и позвал меня сюда. Я спрятал ружье в солому, отложив это дело до завтра, и пришел сюда.

— Ты же был солдатом его высочества? Тебе это оружие дали для защиты ислама. Как же ты отдашь его неверным?

— Я был эмирским солдатом. А что я видел от эмира? Староста схватил меня и сдал вместо какого-то сбежавшего солдата. Привели меня в Бухару, два месяца держали взаперти в наказание за то, что тот солдат сбежал. Началась война. Прямо из тюрьмы меня отправили воевать, дали пятизарядку. А я, когда дошли до Шакальего озера, не сделав ни одного выстрела, сбежал. Чего мне воевать за эмира? Прямой дорогой пришел сюда, ружье спрятал, пока ему хозяин найдется. Теперь хозяин нашелся, ему я и отнесу.

— Если ружье ты получил от эмира, разве не эмир хозяин этому ружью?

— Верно,— ответил джигит,— ружье я получил от эмира. Сейчас вместо эмира хорошо ли, плохо ли, мусульмане или неверные, но сидят другие. Ружье государственное имущество. Хозяин ему тот, кто управляет государством. Эмира-то нет в Бухаре. Там новая власть. И ружье, значит, принадлежит этой власти.

Бозор-амин взволновался:

— Хасан, послушай меня!

Но Урман-Палван прервал Бозора-амина:

— Подождите, помолчите маленько, амин-бобо. Ты, Хасан, о том, что здесь было, никому не болтай. Даже жене — ни слова. Помни, у курицы одна голова. Ступай, поспи эту ночь, а поутру отнеси свое ружье комиссии. Сам отнеси.

Хасан вышел.

В комнате наступило молчание.

Наконец Хаит-амин сказал:

— Не надо слушать таких темных людей. Завтра же снесите свое оружие Бозору-амину. Мука у нас есть, пшеницы тоже хватит, кому что нужно — берите без стеснения из его амбара.

— Что ж, если так, нам можно идти?

— Идите, отдыхайте!

Джигиты пошли, но в прихожей их нагнал Хаит-амин.

— Вы там смотрите, из ворот выходите поодиночке. Ступайте каждый в свою сторону. На улице не толпитесь. А не то, кто его знает!..

После ухода бывших воинов эмира Урман-Палван недовольно проворчал, не глядя на Бозора-амина:

— Эх, амин-бобо, когда же вы избавитесь от своей простоты? Я же просил созвать лишь солдат, имевших чины, тех, кто предан эмиру. А вы позвали какого-то недовольного парня, сбежавшего из эмирских войск! Если он останется жив, не сегодня-завтра он станет большевиком и пристрелит нас с вами.

Хаит-амин поддержал Урман-Палвана:

— Он и теперь уже подвергает нас опасности. Утром он пойдет сдавать оружие, донесет комиссии о нашем разговоре — и конец!

— Нет, ну зачем так говорить? — смущенно оправдывался Бозор-амин.— Я, сознаюсь, оплошал. Но дело можно поправить, не беспокойтесь. Мы примем меры.

— Меры-то примем. Не можем не принять. Иначе нам нет покоя. Здесь кто есть? — проговорил Урман-Палван.

— Мои работники Шариф и Шахим.

— А вы уверены в них?

— Вполне.
— А вы, караулбеги?
— Я готов. Только надо подождать, пока он заснет.
— Подождать надо. Но откладывать дело нельзя.
— Он отсюда далеко живет?
— Версты полторы. На той стороне озера.
— Часа через два пойдем! — решил Урман-Палван.
Все замолчали.
После полуночи, когда уже петухи прокричали, месяц скрылся и тьма сгустилась такая, что своего собеседника разглядеть было нельзя.

* * *

Четыре всадника в коротких халатах, низко опоясанных, с подвязанными, как у мертвецов, подбородками, чтобы скрыть бороды, с ружьями за плечами, объехали озеро и, заметив деревню, остановились.
— Лошадей надо оставить здесь,— сказал Хаит-амин.
— Та ли это деревня? — усомнился Урман-Палван.
— Она самая.
Съехав с дороги, лошадей привязали к каким-то деревьям. Одного из спутников оставили их караулить.
Втроем пошли в деревню.
Один из них остановился в темноте и прислушался. Затем он твердо свернул в сторону, и спутники пошли следом за ним.
— Вот здесь! — прошептал он перед небольшими воротами.
Другой, потрогав ворота, сказал:
— Заперто. Придется перелезать через стену.
Стена была невысока, и они друг за другом перелезли через нее.
С дерева громко закричал петух.
Тут же в комнате женщина проговорила:
— Э-э, вставайте, петухи пропели.
— Ничего, я еще немножко посплю.
— Вы же велели разбудить вас, как только пропоет петух. Ну, вставайте же.
Один из тех, что стояли за дверью, шепнул:
— Скорей надо входить.
— Пошли!
Один из них с размаху ударил сапогом дверь, и дверь упала.
Все трое быстро вошли в дом.
Слуга, сжимавший в руках свечу, быстро зажег ее.
Двое других напали на вскочившего мужчину и на женщину, испуганно сидевшую на постели.

Не давая им ни опомниться, ни вскрикнуть, напавшие выхватили ножи.

— С ним покончено! — сказал один.

— И с ней — тоже,— добавил другой.

Около матери ползала девочка, едва проснувшаяся, пачкая руки в материнской крови.

Тот, который убил мужчину, набросил на девочку окровавленное одеяло, чтобы не слышать ее плача.

— Возьмите что-нибудь в узлы! — сказал Хаит-амин.— Пусть думают, что это воры.

Погасив свечу, он вышел последним и приказал:

— Не забудьте ружье из-под соломы достать.

Другой торопливо пошарил в соломе и взял пятизарядку.

Спустя час в доме Бозора-амина Урман-Палван и Хаит-амин отмывали от крови руки, одежду, сапоги, ножи. Шариф подавал им воду.

Шахим развязал узлы, вынул старую одежду и, облив ее керосином, сжег.

Хасан с женой были первыми жертвами басмачества в Шафриканском тумене.

Трехлетняя девочка их, вымазанная в крови отца и матери, осталась сиротой.

К четырем ружьям, с которыми выходили в эту ночь из дома Бозора-амина, прибавилось пятое. Их положили с сотнями других под большую скирду соломы.

Басмачи начали свои преступные действия.

5

В эту зиму не было больших холодов.

В канавах и ямах лужи замерзали лишь по ночам, а днем снова таяли.

Но на песчаных холмах, где стоял дом Палван-Араба, было сухо.

На одном из этих холмов в ясную, звездную ночь лежал Сафар-Гулам.

Звезды сияли так ярко, как это бывает в мороз. Глядя на них, Сафар-Гулам думал:

«В необозримых пустынях, в бесконечных песках без вас путник не нашел бы дорогу, а для того, кто хорошо знает свою дорогу, вы не нужны. Сегодня мне без вас было бы спокойней. Глаза врагов могут заметить встречу, которую мне хотелось бы утаить. Скройтесь вы, звезды, уйдите за облака».

Может быть, он сложил бы об этом песню. Но песен ему никогда не приходилось складывать. И он только смотрел на небо и думал.

Вдруг он встал, пошел к дому и заглянул в щель стены.

Внутри двора слабо горел огонь очага, но никого не было.

«Что с ней? Почему так задерживается?»

Он снова вернулся к холмам и начал разгребать песок. Влажный песок легко поддавался его сильным рукам, и вскоре получилась канавка, где легко мог укрыться человек.

Сафар-Гулам улегся в этой канаве, наслаждаясь одиночеством и тем, как хорошо укрыт он здесь, словно в крепком надежном доме.

Затем встал, взял несколько связок бурьяна из лежавших вблизи, принес к своей канавке и сложил их на ее краю.

Снова улегся и, засыпав себя до шеи песком, на голову положил сухой бурьян.

«А теперь еще лучше!»

Выглядывая из-под хвороста, он всматривался в дом.

Над домом, казавшимся безлюдным, показался дымок.

«Э, они вздумали еду варить. До утра, что ли, мне лежать в этой могиле?»

Но вскоре дым рассеялся.

«Теперь они поедят, и она придет».

И продолжал смотреть в сторону кухни. Дым не поднимался больше, но на крыше мелькнула тень, спрыгнула на забор, а с забора на песок.

«Наконец-то!» — обрадовался Сафар-Гулам.

Никого не видя на песках, всматриваясь в призрачную, мерцавшую мглу ночи, женщина подошла совсем близко и пробормотала:

— Значит, не дождался и ушел.

И она направилась обратно к дому.

— Мухаббат!

Она остановилась, оглянулась — вокруг никого не было.

— Кто это? Шайтан, что ли?

— Ой нет, это не шайтан. Это я!

— Сафар-джан! Где ты?

— Здесь!

Хворост свалился с его головы, и она увидела одну лишь голову, словно тела не было.

Испуганная Мухаббат присела возле головы Сафар-Гулама.

— Что ж это такое?

— Тише, не говори так громко. Так надо было.

— Почему же ты меня не позвал, когда я тебя здесь искала?

— Я хотел проверить, видно меня или нет, заметят ли, если кто-нибудь посторонний пройдет мимо. А почему тебя так долго не было?

— Они поздно вернулись. Еще хорошо, что хозяин заранее приказал приготовить мясо. Я быстро сделала плов и подала. Хозяйки тоже ушли ужинать к себе. А я побежала сюда, даже котла не облизала,— не поела остатков.

— Все пришли?

— Из тех, кто был на прошлой неделе, все. Приемная комната полным-полна.

— Ладно, иди. Когда уберешь скатерть и подашь чай, стань за дверью и слушай, если во дворе никого не будет. Смотри, не пропусти ни слова, а когда улягутся спать и заснут, приходи сюда.

Мухаббат нехотя встала.

— Надоела мне такая жизнь. После целого дня забот даже побыть с тобой не могу.

— Потерпи, не переживай. Все будет. Побудем еще вместе. А пока надо заниматься делом.

— От дела я не бегу и не боюсь дела! А вот если попадусь, мои мечты со мной уйдут в могилу.

— Не уйдут. Не бойся. Затем и делаем это, чтобы поскорее быть вместе. Иди скорей!

— Не хочется от тебя уходить.

Она было пошла, но остановилась.

— Помоги мне хоть на стену подняться.

— Ладно. Идем.

Он поднял ее, и она ухватилась за верх стены. Он поддержал ее ступни, пока она забиралась на стену. Уже оттуда, сверху, она сказала:

— Чуть было не забыла, слушай.

— Что?

— Урман-Палван разослал своих людей для охраны вокруг деревни. Когда пойдешь, остерегайся!

— Не беспокойся.

Сафар-Гулам вернулся к своей канавке.

Снова он взглянул на дом. Там опять уже никого не было.

Со двора он услышал голос одной из хозяек:

— Э, Мухаббат! С крыши что-то упало. Глянь-ка,— не то кошка, не то собака, как бы в котел не залезли, не испоганили бы котел.

— Кошка была, я прогнала! — ответила Мухаббат, соскабливая со дна котла пригоревшее мясо, рис, лук и морковь. Мухаббат ужинала.

6

В доме Палван-Араба, где в 1918 году двое царских чиновников удивляли крестьян своим необычным поведением, в той же комнате сидели многие из тех, кто был здесь тогда.

На почетных местах — Хаит-амин, Бозор-амин, Нор-Мурад-Палван, Урман-Палван, Исмаил-мирахур, а у двери, как и надлежит хозяину дома, на корточках сидел грузный Палван-Араб.

Вдоль стен разместилась молодежь, а в прихожей — джигиты.

После плова на конском сале, после жирной конской колбасы, когда перешли к чаю, Хаит-амин спросил Урман-Палвана:

— Теперь вы, Палван, скажите: что, по-вашему, надо делать?

— Открыто напасть. За нас сейчас вся страна. Главари Восточной Бухары — Гиссара, Куляба, Балджуана, Дарваза. Все они действуют сообща, под командой зятя халифа — Энвера-паши...

Мулла, восседавший в большой белой чалме, исполнявший обязанности казия, блюстителя всех ветхих установлений шариата, прервал Урман-Палвана:

— Этот Энвер-паша — джадид. Где он появится, там джадиды вылезут. Опять откроют свои школы, будут учить в них детей, как неверных.

— Энвер-паша падишахом у нас не станет. Он хорошо знает военное дело, и его дело — воевать. А когда мы победим, в Бухару вернется эмир и воссядет на свой престол. Тогда и определим, как поступить с ним. А сейчас вся Каршинская степь и все деревни в этой степи в руках басмачей. Власти остались лишь в городах, как в осаде. Бухарские тоже готовы восстать: в Каракуле действует Мурад-Палван, в окрестностях Бухары — Азам-ходжа, у нас в Гиждуване — братья Мулла Каххар и Наим-Палван. Самое подходящее время!

Договорив, Урман-Палван исподтишка взглянул на молодежь: что они думают?

Один из них, перехватив взгляд Урман-Палвана, спросил:

— А если мы восстанем, не придет ли помощь властям из Ташкента или из Самарканда? Ведь они могут испортить нам все дело.

Урман-Палван поспешил его успокоить:

— В Туркестане свои басмачи есть. Большевики до сих пор не смогли полностью очистить от басмачей Ферганский округ. Самаркандские деревни — в руках Бахрама-бека, Хамракула-бека и Очила-бека, в Ура-Тюбе — Халбута-бек, в Фалгаре и в Матче правит саид Ахмад-ходжа. Если у Ташкента и Самарканда есть силы,

почему же они у себя не могут с ними справиться, не наведут порядка?

Бозор-амин поддержал Урман-Палвана:

— Власти уже гниют изнутри. К нам приезжал председатель комиссии Мухиддин-махдум Ходжаев. Он тут собирал оружие и золото. Половину всего этого он сдал государству, а половину положил себе в карман. Теперь он ушел к басмачам. Военный министр Арифов, из бухарских джадидов, тоже готов восстать. Имеем достоверные известия.

Эти слова покрылись радостными возгласами. Молодежь, а за нею и старики захлопали в ладоши.

Такой знак одобрения не по душе пришелся мулле, он покраснел от гнева.

— Эти ваши рукоплескания — джадидский обычай. Обычай большевиков и иноверцев. Мы надеемся вашими руками утвердить ислам, а вы этими руками нарушаете обычаи шариата.

Хаит-амин резко прервал его:

— Ладно! Когда победим с божьей помощью, вас назначим раисом всего туменя. Тогда вы установите порядок по шариату.

Но мулла не успокоился:

— Сейчас Бозор-амин радовался, что джадид Мухиддин-махдум перебежал к басмачам. Чему ж радоваться? Этот Мухиддин — истый джадид, неверный. Я сам видел, как он папиросы курил. Если он стал басмачом, басмачество прогневит бога, принимая таких людей.

Урман-Палван утешил его:

— Не огорчайтесь! Басмачи его не приняли. Даже убить хотели. Он сбежал и от них. В Самарканд.

— Слава богу! — облегченно вздохнул мулла.

— Эй, мальчик, принеси-ка покурить! — крикнул в прихожую Нор-Мурад-Палван.

— Из кальяна курить не грех, отец?

— Грех! — ответил мулла.— Но от этого человек не становится богоотступником. А папиросы — это выдумка иноверцев. В священном предании сказано: «Кто переймет обычаи чужого народа, того считать принадлежащим к нему».

Мальчик внес кальян, украшенный тонким серебряным узором. Подойдя к Хаиту-амину, мальчик поднес мундштук к его губам.

Улыбаясь, Хаит-амин затянулся, глядя в глаза мальчику, и, посмотрев на его брови, обернулся к спесиво восседавшему мулле.

— Ах, курить из рук такого черноглазого и чернобрового красавца — это праведное дело. Иначе мы не оценим обещаний пророка, сказавшего, что такие мальчики нам будут служить в раю.—

И повернул кальян к мулле: — Последуйте моему примеру. Ибо сказано: «Изредка кокетство и пляски, а изредка — божье богу и пророку его».

Мулла затянулся и, возвращая кальян Хаиту-амину, игриво взглянул на мальчика.

Этот взгляд муллы вызвал смех и опять рукоплескания. Но теперь мулла ничуть не рассердился, лишь лицо его покраснело.

Хотя мулла и разрешил курить, Палван-Араб из уважения к духовному сану вышел курить в прихожую. Затянувшись, он оставил у мальчика кальян и пошел во двор.

Мулла смутился.

— Чтобы доставить вам удовольствие,— сказал мулла Хаиту-амину,— я прикоснулся губами к кальяну, но мне неловко перед баем,— вон он пошел курить в прихожую, потому что я его ругал за пристрастие к табаку.

— Ругали? Почему же?

— Да, читал наставления. Это же обязанность муллы.

— Так вы прочитайте такое наставление и нам! — предложил Хаит-амин, чтобы утешить муллу.

Мулла заговорил так громко, чтобы его отчетливо слышали все:

— Мое первое наставление: как только победите, еще раньше, чем возвратится эмир, хватайте всякого, кланявшегося советским властям, и вешайте его!

— А это не слишком строго? Кто же тогда дождется эмира? Ведь и муллы не раз кланялись властям, даже льстили им,— усмехнулся Хаит-амин.

Мулла рассердился и заупрямился:

— Мулла, заискивающий перед неверными, наихудший богоотступник.

— Но ведь он носит чалму. Его надлежит почитать, как отца. Так ведь, мулла?

— Гнать их надо, таких мулл! Я слышал, что мулла из деревни Ходжа-Сактаре везде расхваливает новые власти. На пир басмаческого главаря Мулла Каххара он не пошел. Всюду говорил, что на этот пир потрачены награбленные у народа деньги, что такой пир поганый, и даже родных туда не пустил, чтобы и они не опоганились. Разве это мулла? Разве можно таких щадить?

Исмаил-мирахур, слушая их разговор, порадовал муллу:

— Таких мулл мы расстреляем прежде всех.

Мулла, видя, что слова его действуют, продолжал поучение:

— Мое второе наставление заключается...

Но его прервал Палван-Араб, вбежавший в комнату в явной тревоге, чем-то взволнованный.

— Неслыханный случай!

Все обернулись к нему.

Дрожа и задыхаясь, он рассказал:

— Когда я вышел во двор, на террасе я увидел тень. «Кто это?» — спрашиваю. А тень не ответила, спрыгнула с террасы и убежала на женский двор. Меня дьявол попутал,— я тоже побежал в комнаты к женам, все обыскал, даже в сундук с сахаром заглянул. Никого! Осмотрел кухню, комнатку рядом с кухней, под амбарами — никого! Кто-то здесь был и подслушивал!

Все вскочили с ковров, хватаясь за оружие, опрокидывая чайники, наступая на чашки и друг на друга.

— Увидев меня, он прыгнул на крышу, оттуда спустился по стене и ушел. Я думал, кто-то ходил к женам. Я перерыл их комнаты и только время даром потерял. Если мы его не поймаем,— беда, он приведет сюда красноармейцев.

Урман-Палван умолк и постепенно овладел собой.

— Скорей! Надо обыскать все вокруг! Надо непременно найти этого шайтана! Идемте скорей!

Щелкая винтовками, джигиты выбежали со двора, а оставшиеся в комнате молчали, подавленные страхом и опасеннями.

— Что ж мне теперь делать? — первым спросил мулла и с перепугу сунул голову под одеяло, покрывавшее жаровню с углями.

Однако долго просидеть в таком положении — под одеялом не смог, от углей шел дым. Задыхаясь, мулла вытянул оттуда голову, а вслед из-под одеяла густо повалил дым.

— Что это? — подбежал Хаит-амин. Он приподнял одеяло и вытащил из углей чалму муллы. Она тлела и дымилась. Палван-Араб торопливо облил ее водой.

Воинственность муллы, исчезнувшая с первых же слов Палван-Араба, сменилась яростью.

— Я в этом доме потерял чалму! Хозяин обязан оплатить мне ее стоимость!

Хаит-амин ответил:

— Чалму потеряли? Радуйтесь! Сейчас можете потерять голову.

Ярость муллы исчезла бесследно. В комнате, полной чада, снова все смолкли.

Молчание нарушили джигиты, вернувшиеся с воинственными, возбужденными лицами; сжимая винтовки, они свирепо сверкали глазами: полчаса шарили вокруг по всем дворам, по всем тропинкам — никого!

У гостей Палван-Араба остался один выход — бежать, и басмачи поспешно приготовились к бегству. Надели широкие халаты.

Запрятали под халатами оружие. Сели на лошадей и остановились перед воротами.

Урман-Палван выехал вперед, осмотрелся вокруг. Ночь была звездной и тихой.

Урман-Палван вынул свисток и свистнул четыре раза.

На этот свист съехались дозорные, стоявшие на карауле вокруг деревни.

Басмачи бежали, оглядываясь на молчаливую деревню, торопясь поскорее и подальше уйти отсюда в степь.

Палван-Араб остался дома.

Всю ночь он ворочался на одеялах, задыхался, не в силах уснуть.

Едва забрезжил рассвет, Палван-Араб поднялся, чтобы совершить омовение и встать на молитву. Он крикнул в кухню:

— Мухаббат! Принеси воды!

Никто не ответил.

Время молитвы проходило. Он сам взял воду.

После молитвы он отправился на поиски Мухаббат.

Ее нигде не было. Ни в ее комнате, ни в кухне, ни в женских комнатах.

Он вышел за ворота посмотреть, нет ли там следов ночной тени того человека, который подслушивал ночью.

У стены на песке он увидел следы двух человек: широкие мужские следы и узенькие — женские.

Следы привели его к канавке, в которой вполне могли укрыться двое людей.

Следы вели дальше от канавки. Они уходили в песчаные холмы, минуя деревню.

Так рухнула смутная надежда, что все происшедшее ночью лишь привиделось ему. Человек был, все слышал, ушел и увел Мухаббат. Ту Мухаббат, которая изо дня в день слышала все, что творилось и говорилось в доме.

А в доме говорилось такое... А бывали здесь такие люди!

«Я пропал!»

7

В узком крытом переулке гиждуванского базара стояла необычайная тишина.

Купцы, закрыв свои лавки, сидели на ступеньках лавок, перешептываясь друг с другом. Увидев милиционера, одиноко идущего с рынка, купцы смолкли и насторожились.

Милиционер вошел в тесный переулок.

Кто-то из купцов окликнул его:

— Не слышно ли чего-нибудь? Как там, уважаемый милиционер, захватили их?

— Пока неизвестно, но все равно захватят! — И, уверенно сказав это, он пошел дальше, к кургану.

— Хорошо, если б так. Мы уже приготовили подарки за добрую весть,— усмехнулся купец вслед милиционеру и вынул часы.

— Ого! Пора на предвечернюю молитву.

Он положил на каменное крыльцо своей лавки чалму и халат и пошел вместе с другими к мечети.

В мясном ряду, где торговали салом и маслом, купец увидел слегу, прибитую под потолком крутого перехода.

Подняв голову, купец приостановился.

— Что вы там увидели? — спросил его спутник.

— Пока ничего. Но не теряю надежды очень скоро увидеть здесь то, что всегда здесь вешают.

— Завтра в это время увидите.

— До завтра терпения не хватит. Хорошо б сегодня же ночью либо завтра утром, пораньше.

Милиционер поднялся на курган, подошел к воротам милиции.

Дежурный спросил его:

— Как там? Захватили их?

— Дело плохо. Что можно сделать, когда милиционеры даже не обучены, как надо? Стрелять не умеют.

— Да еще начальником у них сын бая.

— Да. Это тоже сказывается. Ты не устал?

— Нет еще. Но раз ты пришел, постой тут, а я прилягу.

— Ладно. Ложись.

Он взял ружье и встал на место товарища. А другой, положив рядом с собой ружье, лег возле ворот.

Лежа, он задумчиво смотрел на отблески заходящего солнца, розовыми пятнами разгоравшиеся на стене.

— Что ж, что суждено, то и случится! — сказал, стоя на посту, другой.

— Суждено? Это суждено с того дня, как сын бая пролез в начальники милиции.

— Это верно. Я сейчас шел через базар. Там купцы все наготове. Один из них спросил: «Не слышно ли чего-нибудь?» А потом поиздевался мне вслед: «Мы приготовили подарки за хорошую весть». А я будто не слышал, ушел от них.

— Да, пожалуй, они уже и подарки готовят. Не для нас, для тех. Не удивлюсь, если между нашим начальником и купцами есть связь. До них, пожалуй, новости доходят раньше, чем до нас.

Он замолчал. Последний раз взглянул на угасающие блики солнца. Сон сморил его.

* * *

Солнце село. Наступила тоскливая темнота.

Внутри Гиждуванской крепости в те годы бывало людно и шумно, словно в пчелином улье, но в этот вечер стояла полная тишина.

Тишина и в городе, и за городом...

Издалека, откуда-то еще очень издалека, доносился то ли вой, то ли лай.

Город явно зашевелился.

Вой издалека нарастал, становился явственней.

Дежурный тревожно и торопливо толкнул спавшего товарища.

— Ака-Урун! Эй, Урун!

Но тот спал крепко.

Наконец он очнулся.

— А? Что ты сказал?

Вслушался и, сразу проснувшись, вскочил: он сразу все понял.

— Ого-го-го, бе-ги-ги; угу-гу-гу, дер-жи, дер-жи. Бей, у-бей...

Уже не вой, а слившиеся в нарастающий гул крики.

— Пришли! — вскрикнул проснувшийся милиционер, схватил ружье и стал рядом с товарищем.

Крики становились отчетливее, перебиваемые робкими выстрелами.

Милиционеры проверили ружья и патронташи, проверили запоры ворот и притаились, глядя сквозь щели.

Шум приблизился.

Из общего гула выделялись голоса, отдельные слова. Наконец они прозвучали неожиданно близко, почти над самым ухом и неожиданно спокойно.

Около двадцати пяти джигитов, увидев ворота милиции, замолчали. Один из них крикнул:

— Кто там?

— Твоя смерть, Урун-Наркалла! — ответил недавно спавший милиционер.

— Ака-Уран! Не делайте этого, идите к нам! Вся страна уже с нами!

— Я с вашим эмиром не был, и с его охвостьем мне делать нечего! — ответил Урун.

— А? Так получай!

Несколько джигитов выстрелили разом, воздух еще дрожал.

Но им ответили два выстрела из ворот крепости. Один джигит скатился с седла. Одна лошадь рухнула под джигитом.

Джигиты умчались.

Милиционеры выстрелили вслед басмачам.

Но басмачи накатились новой волной. Окружили крепость.

Шум, крики, стрельба.

Двое милиционеров отстреливались, единственные защитники крепости.

Вдоль стен крались темные тени.

Стреляли в них.

Другие тени подползали ближе.

Стреляли в них.

Но в это время несколько человек, обойдя крепость, вскарабкались по старой стене и, спустившись с крыш во двор, подкрались к милиционерам сзади.

Джигиты кинулись на милиционеров.

— Держись, Рустам-Ашки! — крикнул Урун, отбиваясь от четырех басмачей.

— Да здравствует революция! Смерть басмачам!

Но два удара ножом свалили его.

Невдалеке, весь в крови, лежал Рустам-Ашки.

Басмачи захватили Гиждуванскую крепость.

Шум наполнил крепость, базар, улицы и переулки Гиждувана. Во всех уголках города: в пыльном Дервишабаде, в переулках Косагарона, в узких тупичках Нагзакарона и Узбекона — всюду крики, стоны, плач, выстрелы:

— Ой, ой, какой грех он совершил?.. В чем виноват?! Что мне делать, несчастной?..

Гулкие удары большого барабана и рокот маленького напомнили гиждуванцам жестокие, темные времена эмира.

Так продолжалось всю ночь.

До рассвета.

Едва показалось солнце, улицы Гиждувана наполнили муллы в пышных чалмах, караульные, опоясавшие свои халаты белыми платками, и баи в новых халатах с торжественно и широко расчесанными бородами.

Перед бывшим налоговым управлением стояли, спешившись, молодые джигиты в шапках, держа коней под уздцы. За ними толпились зеваки, словно в Бухаре перед эмирским дворцом в ожидании зрелищ и новостей.

Когда они увидели людей со свитками, воткнутыми в складки чалм, заволновались:

— Неужели сам эмир прибыл?

— Друг! Что слышно? Вы теперь кем стали? — спросил мул-

ла, выступая из круга зевак, у другого муллы, выходившего с указом в чалме.

— Я? Казий Гиждуванского туменя.

— А вы кто? — не унимался мулла.— С чем вас поздравить?

— Я? Раис Гиждуванского туменя!

— А кем вон они?

— Миршаб этот, а другой — амлакдар.

— О! — восхитился мулла из зевак.— Ну, поздравляю вас, друзья! Поздравляю вас!

— Да благословит бог ваши поздравления,— ответил за всех казий.— Он подошел к раису: — Друг, можно взглянуть на ваш ярлык?

— О, пожалуйста! — И мулла наклонил голову.

Мулла внимательно осмотрел ярлык. Он был написан от имени эмира и подписан за него Муллой Каххаром и Урман-Палваном.

— Как я рад за вас! Говорят: «Палка царя взамен царя». Еще сам эмир не прибыл, а беки уже правят за него.

— Я сейчас приду! — ответил раис, забирая из рук муллы-зеваки свой ярлык, и куда-то заторопился.

Мулла подошел к казию и зашептал:

— Я рад, что вы стали казием, я рад! Но почему ж не меня назначить гиждуванским раисом? Ведь я ваш соученик по медресе. А вы назначили раисом такого олуха?

— Ей-богу, клянусь, меня даже не спросили, а не то я непременно предложил бы вас! — извинился казий.— Но вы не огорчайтесь. Кое-что найдется и для вас. Я вас устрою казием Вабкента.

— Ах, Вабкент уже взят?

— Сейчас едут брать.

Из ворот налогового управления выбежал мальчик в халате, опоясанный шелковым платком.

Все посмотрели на него, ожидая каких-то новостей.

— По седлам! И скажите всем: по седлам!

И, крикнув это, он опять убежал во двор.

— Это что же за милый мальчик? — спросил, глядя ему вслед, мулла.

— Любимчик Урман-Палвана,— объяснил казий.

— Если бог одаривает человека, он не спрашивает родословной. Ведь даже у эмира не могло быть никого красивей!

— У них есть с собой и покрасивее! — вздохнул казий.

В это время вернулся раис.

Он нес под мышкой ременную плеть с толстой засаленной рукояткой.

— Откуда это у вас? — завистливо спросил казий.

— Когда раис его высочества сбежал и его управление разгромили, я прихватил эту плеть: «Авось когда-нибудь пригодится». И спрятал. И вот сегодня она опять нужна.

И раис позвал какого-то человека из зевак.

Тот подбежал. Богослов гордо вручил ему плеть.

— Ты будешь моим плетконосцем!

— Слушаюсь! — ответил тот и с готовностью стал позади раиса.

— Вы удачно выбрали человека. Он лет пятнадцать носил плети всем раисам, вашим предшественникам.

Вдруг, прерывая все разговоры, снова раздались крики:

— Беги, бе-ги!.. Ска-чи, ска-чи!..

Из управления амлакдара вышли главари басмачей.

Мулла Каххар и Урман-Палван, поднявшись в седла, поехали рядом, а за ними почтенные Хамракул-бек, Дани-бек и прочие, недавно присоединившиеся к басмачам.

Впереди бежали, спотыкаясь и торопясь, четыре новоиспеченных владыки Гиждуванского туменя — казий, раис, амлакдар и миршаб.

Доехав до базарного перекрестка, Мулла Каххар остановил лошадь и позвал своего младшего брата:

— Наим-Палван!

Тот подскакал галопом.

— Езжай в Ходжа-Сактаре, убей там Мухиддина-ходжу, а дом его разграбь. Сына его либо убей, либо забери. Оттуда поезжай в Хутчу. Там найдешь комсомольца. Его тоже убей. Убей вместе с отцом и матерью. А потом нагоняй нас в Вабкенте.

— Очень хорошо! — ответил Наим-Палван, круто повернул лошадь и, махнув своим джигитам, чтоб следовали за ним, поскакал выполнять поручение.

Мулла Каххар повернулся к своим людям.

Четырем владыкам туменя он сказал короткую речь:

— Отпускаю вас к вашим трудам. Управляйте туменем хорошенько. Составьте списки всех большевиков, джадидов и всяких сомнительных, если кто уцелел. И доложите мне. Я тогда дам указания. Оставайтесь с богом!

Четверо владык, опустившись в пыль на колени, прочитали благодарственную молитву о здравии, благополучии и победах своего повелителя.

Мулла Каххар, едва дождавшись конца их молитвы, похожей на погребальные причитания, со своим отрядом уехал из Гиждувана.

Проводив главарей, четверо владык вошли под каменный купол базара и, сев там в масляном ряду, собрались составлять заказанный список.

Купец, вечером говоривший с милиционером Рустамом, услужливо принес со своего склада ковер и одеяло и расстелил их для четырех владык.

Потом купец с сожалением посмотрел на жердь, прибитую поперек прохода, и вздохнул:

— Слава богу, что мне довелось еще раз увидеть эти барабаны на их местах. Если б еще увидеть и его высочество опять на бухарском троне, больше мне нечего было бы желать.

Женщина, явившаяся к судье с просьбой освободить ее заключенного сына, пробормотала про себя в ответ:

— Свое высочество увидишь ты повешенным на перекладине. Это будет!

— Бог даст, увидите! — ответил купцу владыка ночи.

Совещание началось.

Басмачи в это время выходили из города, и шум затихал.

В Гиждуване наступило молчание.

Оно нарушалось лишь причитаниями и плачами женщин, потерявших за ночь отцов, мужей, сыновей, да робким, удивленным, испуганным плачем осиротевших детей.

8

В 1921 году в Самаркандской долине прошли большие дожди. Приток Зеравшана, река Каракуль, местами вышла из берегов и затопила поля.

На дороге из Вабкента в Бухару по обе стороны старого моста Мехтаркасым остановились два отряда, не решаясь перейти вздувшуюся реку вброд.

На северной стороне моста со стороны Вабкента остановилось более трех тысяч басмачей Урман-Палвана. На другом конце моста стоял пришедший из Бухары отряд красноармейцев и красных партизан. Боясь наткнуться на пулеметы, басмачи не решались переходить мост.

Ночью в чайной, брошенной сбежавшим хозяином, совещались командиры и несколько человек из партизанского отряда:

— А если враги подложили под мост взрывчатку?

— Откуда у басмачей взрывчатка? Да и не умеют они обращаться с взрывчаткой, они — невежды.

— Во время колесовских событий в тысяча девятьсот восемнадцатом году эмиру помогали белогвардейские инженеры и анг-

лийские агенты. Тогда они сумели разрушить железнодорожный путь от Чарджуя до Зирабулака и от Кагана до Термеза. Среди них могут и сейчас быть английские военные специалисты. Эта война — классовая война.

— Ведь сумели же они сжечь железнодорожный мост между Гиждуваном и Кызыл-Тепе! — подтвердил слова командира Сафар-Гулам, пришедший с партизанским отрядом.

— Главное: нам нельзя терять время. Напасть мы должны до рассвета. Если басмачи увидят, что нас мало, наше положение ухудшится.

— Как это нас мало? Нас двести пятьдесят человек.

— Их около четырех тысяч.

— Все равно, мы пойдем на них.

— Нам бесполезная смерть не нужна.

— Но мы погибнем, чтобы предотвратить гибель Бухарской народной республики! — воскликнул один из добровольцев отряда.

— Откуда вы взяли, что Бухарская народная республика гибнет? Она даже не в опасности. Теперь, когда весь трудовой народ Бухары понял правду, никакие басмаческие шайки не одолеют целого народа. С нами рабочие и крестьяне Ташкента и Самарканда. Бухарская народная республика станет социалистической, она будет развиваться в единой семье с Россией, со всеми социалистическими республиками.

— Однако действия некоторых членов правительства вызывают сомнения,— ответил тот же голос.

— Вы о том, что военный министр Арифов сбежал к басмачам? И о том, что Усман-ходжа изменил народу? Так знайте, что все эти усман-ходжи и арифовы — это лишь грязь, прилипшая к здоровому телу. Чем скорее она отвалится, тем чище станет тело. Теперь у нас глаза открылись, мы стали зорче, бдительнее. Мы проводим чистку всех партийных и государственных органов. Мы освобождаемся от всего гнилого, нездорового, мы уже оздоровили наши ряды. Надо действовать. Сейчас наш план таков: воспользоваться темнотой, перейти реку вброд и напасть на басмачей врасплох.

Сафар-Гулам попросил слова.

— Есть у меня такой план: я хочу одно дело сделать.

— Самовольно?

— Нет, с вашего разрешения.

— Что именно?

— Вниз по течению есть хороший брод. Я со своим отрядом перейду там реку. На том берегу есть деревня Ширин. Мне хорошо знакомы эти места. Выйдя к этой деревне, мы окажемся у

басмачей в тылу. Если мы нападем на них одновременно с двух сторон, темной ночью, то им останется только бежать.

— Если мы их всех не уничтожим, они разбегутся, а потом опять соберутся и снова выступят против нас. Надо придумать такой план, чтобы их уничтожить сразу всех,— перебил его доброволец.

— Если мы их всех не можем уничтожить сразу, значит, нам надо отказаться от борьбы? — сдерживая раздражение, спросил командир отряда.

— Я не досказал еще! — продолжал Сафар-Гулам.

— Сколько человек пойдет с вами, Сафар-Гулам?

— Двадцать. Если мы отгоним басмачей от моста, мы спокойно перевезем на тот берег наше снаряжение. И на том берегу отряд наш обрастет трудовым народом Вабкента, Пирмаста, Шафрикана и Гиждувана. Силы наши там удесятерятся.

— План ваш годится. Но только нужно в него внести уточнения. А именно: перейдя реку, надо обойти басмачей, не вступая с ними в соприкосновение. Занять исходное положение и дать сигнал. По этому сигналу мы пойдем в атаку. Через пятнадцать минут после сигнала ваш отряд начнет нападение. Ваш удар по времени совпадает с нашим подходом к басмачам. Понятно?

Не теряя времени, принялись приводить в исполнение решение командира отряда.

Сафар-Гулам со своим отрядом перешел реку и подошел к деревне Ширин.

Из деревни неслись крики и вопли.

Все жители деревни, от стара до мала, человек двести, залезли на крыши и оттуда звали на помощь.

Подъехав к крайнему дому, Сафар-Гулам негромко спросил жителей:

— В чем дело? Почему такой крик?

Хозяин дома тихо подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Вместо ответа он, увидев вооруженных людей завопил:

— Басмачи! И с этой стороны басмачи!

Шум и крики возросли.

— Э, братья! — крикнул Сафар-Гулам.— Где басмачи? Мы от властей. Мы их ловим. Где они?

— Если ты от властей, бери их! Они вон там, на том конце деревни.

— Пусть один из вас слезет с крыши и покажет, в каком доме.

— Нет. Мы с крыши не сойдем. Если умирать, так уж лучше в своем доме, у своего имущества. Если ты от властей, сам ищи басмачей, сам их и лови.

Сафар-Гулам махнул на них рукой. Об этой деревне, уединенно расположенной в стороне от больших дорог, много ходило разных смешных историй. Жители ее сохраняли нравы и обычаи каких-то давних времен. Темные и невежественные, они слепо слушались советов своего деревенского «мудреца», мудрость которого породила множество веселых рассказов.

В непроглядной тьме, на узкой кривой улице, не прекращались жалобы и крики, как в курятнике, куда забрался ястреб.

Этот шум помог Сафар-Гуламу незаметно для басмачей почти наткнуться на них.

— Вот они! — шепнул Сафар-Гулам, соскакивая с седла возле стоявших на привязи нескольких басмаческих лошадей.

Отведя лошадей в тупичок между домами, Сафар-Гулам оставил двух партизан на карауле, а с остальными прокрался к дому, где во дворе только что раздался выстрел.

Вскоре они заметили двух басмачей, стоявших у своей коновязи.

— Не стрелять! — скомандовал Сафар-Гулам.— Только мы с Юсуфом стреляем в этих двоих.

Двумя выстрелами они уложили обоих басмачей.

Проскочив мимо испуганных лошадей, партизаны добежали до ворот дома и заперли их. Трое басмачей выскочили из дома.

Двоих уложили двумя выстрелами.

Третий кинулся обратно в дом.

Часть отряда осталась охранять выход из внутреннего двора во внешний, а остальные, подставив друг другу спину, поднялись на крышу.

Еще двоих басмачей свалили, когда они пытались по крыше курятника уйти из дома.

Четверо остальных отстреливались, бегая по двору и не видя в темноте противника, сами же они были освещены тлеющим очагом кухни. В этом дворе они и нашли свой конец.

Во дворе и в доме затихло, но еще больше шума подняли ширинцы на своих крышах.

Сафар-Гулам спустился со стены во двор. Двое из басмачей, тяжело раненные, еще жили.

— Давайте прикончим,— обратился молодой боец к Сафар-Гуламу.

— Нет, был приказ пленных и раненых не убивать. Пусть лежат. Если доживут до утра, отправим их к врачу,— ответил Сафар-Гулам.

Во дворе, среди разбросанных одеял, подушек и всякого скарба, лежало тело человека и валялся убитый баран.

— Что-то он не похож на басмача,— присмотрелся Сафар-Гулам,— он бос, и на нем один лишь рваный халат.

— Это мой муж! — раздался робкий, испуганный женский голос.

— Не бойся, тетя. Мы не басмачи, мы от властей. За что убили твоего мужа?

— Да будет твоя тетка жертвой за тебя,— начала женщина.— Нам сказали, что басмачи взяли Вабкент и ездят по деревням, грабя крестьянские пожитки. Мы испугались, позвали нашего мудреца и попросили совета: «Они находят закопанное в земле. Что ж нам делать?» Мудрец сказал: «Если басмачи придут, вы все свои вещи поднимите на крышу. И там спрячьте». Мы так и сделали и сами с мужем спрятались там же. А басмачи, когда в доме у нас ничего не нашли, вышли во двор и увидели мужа. Муж стоял на крыше и все время кричал: «Басмачи пришли!» А басмачи ему велели сбросить с крыши вещи. Но муж смелый человек, он не испугался и не захотел бросить вещи, а только крикнул: «Я своими руками свои вещи не сброшу. Если хотите — лезьте сами и забирайте». «Тогда мы тебя самого сбросим!» — ответили басмачи и выстрелили. Он упал вниз. Потом мне крикнули: «Сбрось вещи!» Я побросала им вещи, а потом полезла и сама вниз, раз уж муж был внизу, подумав: «Если он мертв, заверну его, если жив — завяжу раны».

— А кто же убил барана? — удивился Сафар-Гулам.

— Ой, что же я буду делать?! Разве баран тоже разбился? — завопила женщина. Потом продолжала: — Этого барана мы с мужем с трудом затащили на крышу. Когда муж свалился, испуганный баран тоже кинулся за ним. И вот, как видите, разбился. Я этого барана заработала честно своей прялкой. Вот уж никогда не думала, что так глупо потеряю его, столько труда положила, чтоб заработать на него деньги...

Вокруг засмеялись — не удержались. Но слушать ее не было времени.

Сафар-Гулам велел собрать винтовки. Их оказалось десять.

Над деревней все еще стоял, не затихая, крик:

— Спасите от басмачей!

На предложение Сафар-Гулама сойти с крыши теперь, когда басмачи были убиты, с крыш продолжали кричать:

— Спасите от басмачей!

Сафар-Гулам знал в этой деревне одного человека и побежал к его дому. Хозяин, как и все, отсиживался на крыше.

— Насыр-ширинец! — позвал Сафар-Гулам.— Иди сюда, не бойся.

— Я не такой дурак, чтобы лезть под твою пулю. Говори оттуда, я здесь услышу... Спасите от басмачей!..

— Ты не узнал меня, что ли?

— А ты кто?

— Я Сафар, я же тебя спас, когда ты тонул.

— Ой, неужели и ты стал басмачом? Спасите от басмачей!

— Да не басмач я! Я от властей. Басмачей, что ворвались в деревню, я перебил. Слезай.

— Ой, дай я тебя расцелую!

— Слезай!

— Эй, люди! Слушайте — это я придумал, как прогнать басмачей, моя голова сообразила!

— Не сбежали они! Перебили мы их!

— Эй, люди! Все басмачи отправились на тот свет. Слезайте с крыш. Если бы не я, никто из вас не спасся бы! Все были бы убиты, все были бы ограблены...

Все население поспешило слезть с крыш.

Насыр-ширинц кинулся к своему спасителю Сафар-Гуламу:

— Только скажу тебе: дома хлеба ни крошки нет! Мы не пекли хлеб: «Все равно придут басмачи и заберут хлеб».

— Не надо мне хлеба. Мне нужны люди. От убитых басмачей у нас есть десяток винтовок и десять лошадей. Мы партизаны и хотим из вашей деревни взять десять человек в наш отряд.

— А зачем тебе этот отряд?

— Бить басмачей.

— Ты же их убил.

— Не всех. Большой отряд стоит на мосту Мехтаркасым.

Насыр снова закричал:

— Спасите от басма...

Но Сафар-Гулам остановил его:

— Перестань орать! Слушай!

— А?

— Если вы не перестанете орать, басмачи опять придут, а если дадите мне подмогу, мы уничтожим их!

— Мы бедные люди, как мы будем воевать?

— Если богачи стали басмачами, бедные люди должны воевать против них. Я не всех зову. Дай мне десять здоровых парней,— этого будет достаточно.

Насыр задумался.

Сафар-Гулам терял терпение,— ночь шла, командир ждал сигнала, а ширинцы не торопились.

— Думать некогда! Если ты этого не понимаешь, кличь скорей своего мудреца.

— Эх, ты разве не знаешь? В деревне теперь я стал мудрецом.

— Тогда тебе и думать незачем. Ты же и так знаешь, что надо скорей помочь мне.

— Конечно, знаю!

И Насыр поспешно и решительно вызвал, громко выкликая в темноте, десятерых парней.

Но парни заупрямились:

— Мы не пойдем!

А один добавил:

— Как можем мы идти без своего мудреца? Вот если ты пойдешь, то и мы за тобой.

— Правильно,— сказал Сафар-Гулам.— Девять пойдут из тех, что ты назвал, а десятым ты будешь сам.

— Нет. Что ты говоришь! Как же останется деревня без мудреца?

— После победы ты вернешься, а пока в деревне подождут.

— Нет, брат Сафар. Там меня могут убить. И что тогда тут будет?

— Я тебя из реки спас?

— Истинно так.

— Сейчас от басмачей спас?

— Истинно так, и не меня одного, а нас всех.

— Так неужели я допущу, чтобы тебя убили?

Мудрец заколебался.

— Ладно! — сказал Насыр, чувствуя, что все равно ничего другого придумать нельзя.— Пойду! — решительно и с отчаянием крикнул он.

Сафар-Гулам дал ему винтовку и скомандовал:

— По коням!

Но из десяти парней одному приходилось остаться — десятым шел сам мудрец. Ширинцы заспорили, кому же идти.

— Ты иди, а я останусь! — говорили они друг другу.

В это время Сафар-Гулам заметил одного из своих партизан, сидевшего у стены.

— Ты что?

— Я ранен в руку, крови много вытекло, я совсем ослаб,— слабым голосом произнес он.

Сафар-Гулам моментально спешился и, подойдя к раненому, осмотрел его руку.

— Ничего страшного,— сказал он и, вынув из кармана юноши бинт и вату, перевязал ему рану.

— Нужно было сейчас же перевязать рану. Эти бинты вам дают не только для вытирания лица и рук, а также и для того, чтобы перевязать раны.

— Насыр, возьми этого джигита под руки и отведи к себе в дом. Он уже пообедал, ему ничего не надо. Завтра придет доктор и увезет его, и тебе никакого убытка не будет,— сказал Сафар-Гулам.

Насыр-ширинец повел раненого в дом. Отобранные им люди все еще спорили между собой, и никто из них на лошадь не садился.

— Стойте спокойно! — сказал им Сафар-Гулам.— Он придет — всех вас рассудит...

Насыр пришел.

— Прикажи всем этим десяти молодцам сесть на лошадей басмачей, а сам садись на лошадь раненого,— проговорил Сафар-Гулам.

Насыр скомандовал, и все сели на лошадей.

— Ну, мы поехали,— обратился Сафар-Гулам к жителям села,— тела басмачей вы где-нибудь похороните. Двое из них ранены, если не умрут — передайте их доктору, а той женщине помогите похоронить мужа.

— Разве он убит? — вскричали все и сразу закричали: — Смерть басмачам!!

Наконец отряд двинулся.

9

Командир ходил по короткой тропинке. Вслушивался в темноту. Смотрел в ту сторону, где должен был находиться Сафар-Гулам. Подойдя к командиру части, Джавад сказал:

— Запаздывают! Что там могло случиться?

— Что же? Басмаческий лагерь спокоен по-прежнему.

— Может быть, переходя брод, встретились с разведкой басмачей? С той стороны слышалась стрельба.

Было видно, что командир также обеспокоен. Джавад предложил:

— Надо начать атаку. Иначе рассвет опередит нас, и все наши планы провалятся.

— Вопреки решению военного совещания?

— Можно провести новое совещание.

Командир молчал.

Ночь была темная, молчаливая. Лишь река шумела.

Отряд лежал наготове у самой воды.

Вдруг залп нарушил молчание. Он раздался позади басмачей. Но командир по-прежнему вслушивался и молчал.

— Чего же мы теперь ждем? — спросил Джавад.

— Мало винтовок дали этот залп. Ведь там наших двадцать человек, а в залпе их гораздо меньше.

— Может быть, потеряли людей в стычке.

Командир послушал еще. Тьма молчала.

Он дал команду идти вперед.

* * *

Наим-Палван, один из басмаческих главарей, слушал рассказ сонного племянника Амана. Аман впервые самостоятельно провел налет на Хутчу.

— Комсомольца мы изрубили в Хутче на куски,— бормотал сонный Аман.— Старику, за то, что вырастил такого сына, отрезали голову, а бороду выкрасили в крови. Мать кричала. Она должна была вскоре родить. Я сам проткнул ее чрево штыком. Ну, дом разграбили, как было велено. Комсомольский костюм мне пришелся как раз впору.

— Это ты молодцом. А что в Сактаре было?

— Мы этого Мухиддина-ходжу привязали к дереву и расстреляли, собрав на это зрелище всех жителей селения. Жену и детей затащили в комнату и хотели их сжечь там заживо. Но тут явились седобородые хаджи, принялись плакать и просить нас не трогать этой семьи. Потом сами зашли в комнату: «Тогда жгите и нас вместе с ними!» Пришлось отпустить их всех. У этих хаджи святые предки. Мы побоялись тревожить их души. Руки у нас не поднялись на них. Но в доме мы ничего не оставили. Растащили все до последней соломинки. Только одну старую чалму оставили, чтобы завернуть расстрелянного. Да и это по просьбе хаджи...

Аман склонил голову на ружье и стал засыпать.

На этот раз Наим-Палван толкнул его как следует.

— А, что вы сказали, дядя? — вздрогнул он, протирая глаза.

— Если нужно у тебя узнать что-либо, надо тебя усыпить,— засмеялся Наим-Палван.— Я сообщу в особый отдел, если они тебя захватят, то пусть, прежде чем допрашивать, сначала усыпят, а потом допрашивают. Тогда у тебя развяжется язык.

В это время послышалась стрельба.

— Возьми ружье, Аман. Пойди взгляни, что там. Верно, наши вернулись от ширинцев. Посмотри, не привезли ли чего-нибудь ценного. А не то Урман-Палван заберет себе всю добычу. Не привели ли там красивых женщин, девушек и юношей...

Аман уже выходил из палатки, когда раздался второй залп. Вслед за ним несколько одиноких выстрелов.

Наим-Палван поспешно схватил халат и надел:

— Это не наши. Слишком много винтовок. Не обошли ли нас? Иди буди главарей, крикни воинам, чтобы просыпались.

Но заспанные главари уже сами поднимались и выходили. Муллы заблаговременно поспешили стать на молитву. Джигиты, схватив ружья, побежали к коням. Всадники поскакали на север от лагеря: там завязалась оживленная перестрелка и, видимо, происходило что-то значительное.

Но Мулла Каххар вернул скакавших к северу и повел к югу:

— Сюда! Напали с этой стороны.

От реки донесся шум сражения, заглушившего шум реки.

Залегшие среди камней красноармейцы видели на мутном полотнище неба темные тени всадников и стреляли почти без промаху с короткой дистанции. Басмачи скакали среди больших скользких камней и не видели противника: стреляли наугад, не причиняя большого урона.

Джигиты не решались подъезжать близко к реке, постепенно пятясь к лагерю и отстреливаясь.

Так красноармейцы постепенно приближались к басмаческому лагерю, если можно назвать лагерем беспорядочную стоянку головорезов, и обходили его.

Выстрелы с севера тоже приближались.

— Окружены! — потеряв самообладание, взвизгнул один из главарей, Метан-Палван.

Вся большая басмаческая банда металась из стороны в сторону. То, хлеща лошадей, спешили к северу, то, круто повернув их, мчались к югу.

Вспыхивали выстрелы. Валились всадники с лошадей, раненые лошади падали на всадников.

Когда же со стороны моста зататакал пулемет, вся банда содрогнулась. Всадники сталкивались в свалке один с другим, лошади грызлись, ни о каком сопротивлении в этой суматохе и думать было немыслимо.

Чей-то резкий и отчаянный голос крикнул:

— Кто не сумеет удрать, тот не мужчина!

Это возопил Урман-Палван, оборонявший проезд на большую дорогу между Бухарой и Вабкентом.

Услышав этот голос, басмачи, до того метавшиеся без всякого толку, сразу обрели цель.

Они все повернули в одну сторону, на северо-восток, но уже не кричали: «Бей! Режь! Бери!» — а вопили, злясь, что кони не могут скакать быстрее:

— Удир-р-рай! Дир-р-рай! Ай!

Рассвело, и поднялось солнце. На месте недавнего лагеря басмачей лежали окровавленные трупы, стонали раненые, валялись брошенное оружие и палатки с разрубленными веревками.

Лучи солнца играли красными, зелеными и фиолетовыми бликами на обнаженных клинках окровавленных кинжалов... На площади было тихо, только галки мрачно каркали, выклевывая глаза у мертвецов...

Красноармейский отряд ушел, оставив лишь несколько человек подобрать раненых и собрать оружие.

Среди оставшихся был и Сафар-Гулам.

Он спросил у командира:

— Почему оторвали меня от моего отряда и оставили здесь?

— Ты пойдешь под военно-полевой суд.

— Но я поклялся, что, пока не разобьем басмачей, не выпущу оружия, не слезу с коня. Если я провинился, можно отложить разбор дела до конца борьбы.

— Но ты ведь и сейчас сидишь на коне! — ответил командир.

— Я имею коня не для того, чтобы красоваться, а чтобы окончательно уничтожить басмачей.

— Твое дело рассмотрят и решат быстро. Ты не потеряешь много времени. Товарищ Джавад остался, чтобы допросить тебя.

Командир ушел. Спустя немного времени явился товарищ Джавад с бумагой и чернильницей.

— Товарищ, слезьте с лошади. Я вас допрошу.

— Я поклялся не слезать с коня, пока не уничтожим басмачей. Вы мне лучше разрешите преследовать их.

— Нет! Есть постановление военного собрания, и оно должно быть выполнено.

— Ладно, спрашивайте его, а он пусть сидит на своей лошади,— вмешался возвратившийся командир.

— У меня нет сейчас времени слушать вашу биографию. Ознакомимся с ней как-нибудь потом. Начнем прямо с дела: почему вы ночью так запоздали?

Сафар-Гулам рассказал о происшествии в Ширине и в доказательство показал на ширинцев, уже проявивших себя в этом бою. Те подтвердили сказанное им.

— А почему из-за возни в деревне вы забыли о главном, о приказе командира своевременно зайти в тыл противника?

— Если бы я не уничтожил басмачей в Ширине, они остались бы у меня в тылу и могли бы испортить мне все дело. А это отразилось бы и на общем плане нашего командира.

Джавад записал этот ответ.

— А почему первый залп вы дали не из всех двадцати винтовок, как было условлено? Командир из-за этого не был вполне уверен в вашем местонахождении.

— В Ширине мы убили десять басмачей. Я подумал, что залп из десяти винтовок не встревожит басмачей, они его могли принять за стрельбу своего отряда. Так и вышло — при первом залпе они голов не подняли с подушек.

— А почему во втором залпе было более двадцати выстрелов?

— Я приказал и ширинцам стрелять, чтобы басмачи поняли, что к ним в тыл зашел большой отряд. Первый раз я стрелял, чтобы их не спугнуть, второй раз, когда не спугнуть их уже нельзя было, я решил напугать их посильнее.

— А почему вслед за залпом было дано несколько одиночных выстрелов?

— А это ширинцы! У них руки дрожали, они стреляли первый раз в жизни.

Записав ответ Сафар-Гулама, Джавад строго сказал:

— За то, что вопреки решению Военного совета вы дали залп не из двадцати винтовок, вы предаетесь суду. Из-за этого отряд сомневался, и дело могло кончиться безуспешно.

— Сознаюсь, я виноват. Сам это понимаю. Но, пока будет суд, разрешите мне принимать участие в борьбе.

— Нет, нельзя! — решительно сказал Джавад.

Сафар-Гулам умоляюще посмотрел на командира глазами, полными слез.

И слезы эти разжалобили даже дисциплинированного, закаленного в борьбе командира. Человек плакал оттого, что ему не разрешили участвовать в классовой борьбе. Командир вступился за него:

— Сафар-Гулам виновен. Он должен был действовать в точном соответствии с приказом. Из-за его действий мы могли потерпеть неудачу, если бы не ваша большевистская инициатива и сообразительность. Все кончилось благополучно. Поэтому и предлагаю простить ему этот проступок, взяв с него слово в следующий раз так не поступать.

Джавад согласился, командир предложил:

— Его партизанский отряд передан под командование Эргаша. Надо написать, чтобы отряд вновь вернули под командование Сафар-Гулама.

— Разве мой отряд передали Эргашу-аке? — быстро спросил Сафар-Гулам.

— Да, временно поручили ему.

— Тогда, по-моему,— сказал Сафар-Гулам,— его не надо забирать у него. Эргаш-ака — старик, нашедший новые силы и молодость в классовой борьбе. Он будет мстить классовым врагам до конца. Не нужно его огорчать. Мне будет достаточно вот этих ширинцев.

Джавад спросил:

— Ширинцы знают военное дело?

— Нет, пока не знают, еще вчера они, только услышав выстрелы, дрожали как осиновый лист. Но ничего, привыкнут и научатся. К ним я подберу еще людей, и у меня станет большой отряд.

— А этот старик зачем тебе в отряде? — Джавад показал на Насыра.

— Этот старик мне очень нужен. Он у ширинцев считается мудрецом. Без него ширинцы обойтись не могут. На привалах он необходим как веселый рассказчик. Однажды я его спас, когда он тонул. Занятная история...

— Ладно, Сафар. Забирай своих джигитов и догоняй отряд,— сказал командир.

Вскоре отряд Сафар-Гулама уже скакал по дороге, нетерпеливо вглядываясь вперед, торопясь нагнать товарищей.

Издалека доносилась песня о предстоящих победах:

Идем мы, идем мы вперед,
Привычны к боям и походу.
Крепим мы свободы оплот.
Коль надо, умрем за свободу.

Идем мы, идем мы вперед.
Мы бьем басмачей без пощады.
Нас алое знамя ведет.
Боям и походу мы рады.

10

Отряд, занятый преследованием шайки Урман-Палвана, в четвертый раз обыскивал одинокий, покинутый большой дом басмача, куда наивным, доверчивым крестьянином приходил когда-то робкий Эргаш, где разговаривал он с тремя конюхами о непосильных налогах, где рассказывал он о безрадостной жизни на улице Рабов.

Теперь, не сходя с седла, въехал в этот двор уже поседевший Эргаш во главе своего славного партизанского отряда.

Деревенский староста, хранивший ключи от покинутого дома, провел их по всей усадьбе, показал ему под ивами, где был водо-

ем, сараи, полные дров, конюшню, где давно уже не было лошадей, угнанных басмачами.

Сором, ветками завален был просторный двор, словно кто-то нарочно раскидал тут эти пучки соломы, щепки и хворост.

Поиски и на этот раз оказались бесплодными.

Отряд снова выехал на дорогу.

Провожая красноармейцев и партизан, староста кланялся и улыбался:

— Я здесь староста. Я Советской власти не изменяю. Басмачей прятать не буду. Не утомляйте себя напрасно. Если только тень басмачей замечу, немедленно вас извещу.

— Я тоже не зря их здесь ищу. У меня есть свои сведения.

— Я понимаю, что вас извещают,— серьезно ответил староста.— Но есть такие люди, которые, для того чтобы показать себя усердными, дают ложные сведения. Если б басмачи проезжали здесь не только сегодня, а вчера, на дороге остались бы следы лошадей.

— Ладно! — ответил командир отряда.— Прощайте.

И отряд поскакал в одну из дальних деревень, к Денау, где тоже стояла покинутая басмачами усадьба.

Но когда они проезжали через одну из соседних деревень, Эргаш показал на базарную мечеть и предложил:

— Давайте остановимся здесь.

— Почему? — удивился командир.

— Мне подозрителен этот староста. Он из кожи лез, чтобы показать себя советским человеком. А советскому человеку для этого незачем из кожи лезть. Он даже дорогу показывал, на которой нет следов.

— Так ты думаешь, что басмачи где-нибудь недалеко?

— Я слышал, что Урман-Палван нигде не может достать ни себе пищи, ни корма лошадям и никому не доверяет. Если он явился из песков, значит, крутится где-нибудь около своего дома. Я думаю, что он у себя в деревне, приехал ночью, а теперь где-нибудь отсиживается.

— Ладно. Постоим здесь.

Отряд спешился. Лошадей отвели под деревья. Люди достали хлеб, развязали сумки.

Ширинец Насыр размотал красный пояс и взял из него лепешку. Отломил половину, а другую завернул обратно в кушак и опоясался.

Командир, глядя на Насыра, спросил, улыбаясь, у Сафар-Гулама:

— Твой ширинский мудрец ничего зря не делает. Зачем он хлеб носит в поясе, а не в сумке?

— Мудрость его в этом случае такая: «Если меня басмач убьет, хлеб в сумке пропадет, а если он будет в поясе, он пойдет со мной в могилу».

Все засмеялись.

Сафар-Гулам спросил:

— Так ведь, Насыр?

Насыр засмеялся:

— Если б ширинцы слышали тебя, брат Сафар, они за такие рассуждения выбрали бы тебя мудрецом, а меня прогнали бы прочь.

Два года прошло с тех пор, как Сафар-Гулам увел с собой в партизанский отряд десятерых ширинцев во главе с их мудрецом Насыром. За эти два года ширинцы научились грамоте. В военном деле они если и не превзошли своих товарищей, то и не отставали от них.

— Теперь это тебе не страшно — сам можешь командовать отрядом,— сказал Сафар-Гулам.

— А все это стало действительностью в результате победы Октябрьской революции, торжества национальной политики большевистской партии,— добавил командир.

— Но рассказы ширинцев, действительно, очень занимательны,— сказал Сафар-Гулам.

— Теперь уж, пожалуй, над ширинцами не посмеешься. Теперь они, пожалуй, и сами посмеяться сумеют.

— Да, ты мне обещал, Сафар, когда-нибудь рассказать о ширинцах?.. Если у тебя есть желание — расскажи.

— Я хотел рассказать о случае со мной и Насыром. Но будет лучше, если сам он расскажет.

— А как тебя Сафар-Гулам спас? — спросил командир.

Насыр, покраснев от смущения, откашлялся.

— А вот как. Один раз я нагрузил на осла две корзины винограда и отправился в Бухару. И вот идет мой осел, и я иду рядом, поглядываю на виноград, а виноград — в корзинах. Так мы дошли до берега Зеравшана, и надо переходить мост Мехтаркасым. А мост в те времена был деревянным. Тут я заметил, что река сильно разлилась, а мост мне казался ненадежным. Когда кто-нибудь ехал мостом, мост весь дрожмя дрожал. «Нет, думаю, я не так глуп, чтоб ехать по такому мосту, потому что со мной виноград, а я не затем его повез, чтобы топить в Зеравшане. За две корзины винограда пуд пшеницы можно купить!» Не зная, как быть, я повернул осла от реки и вернулся к себе в Ширин — спросить совета у нашего мудреца: «Как быть, если мост дро-

жит?» Ну, мудрец, как всегда, сказал: «Эх, что ж это вы будете делать без меня? — И говорит: — В такое половодье по дрожащему мосту ехать нельзя. Ты иди с ослом вброд. Не бойся». Я пошел к реке, а сам себя ругаю, почему не догадался сам пойти вброд. Но река так разлилась, вода так крутилась, что брода нигде не было. Я туда-сюда, никакого брода. Не долго думая, я погнал осла прямо в реку: «Если, думаю, в воду не войти, так броду вовек не сыщешь!» Сам пошел за ослом следом. Осел прошел в реке несколько шагов и стал. Опустил голову и стоит. Я изо всех сил его толкнул, а осел упрямится. Я зашел спереди, взял осла за уши и потащил. Осел пошел сперва медленно, потом быстрее, но тут я заметил, что осел идет не в Бухару, а в Каракуль. Как я его ни повертывал, он меня не слушал. Тогда я испугался, что мой виноград попадет вместо Бухары в Каракуль, и я отпустил осла, но схватился за корзины. Мы пошли еще быстрее, то проваливаясь в воду, то поднимаясь над ней, и я уже не мог понять, куда несут меня поток и осел. Вдруг вижу — какой-то юноша, верхом на лошади, кинул веревку, обхватил меня веревкой вокруг пояса, привязал веревку к лошади и повернул лошадь к берегу. И потянул меня. Когда он меня потянул, корзины выскользнули у меня из рук. Я только успел крикнуть: «Ай, виноград!» И ничего больше не помню. Открываю глаза и вижу, что лежу на берегу, головой книзу, и изо рта у меня льется вода, как из чайника. А всадник спешился, стоит надо мной и смотрит на меня. Когда он увидел, что я открыл глаза, он говорит: «Ну, теперь ты спасен!» А меня зло взяло: «Я бы и потонул, не беда, но когда потонул виноград, нет пользы от моего спасения!» Он мне ничего не сказал, вытащил на ровное место, а у меня сил нет двигаться. Он взял плетку и ударил меня и так стегал от плеч до колен. Я решил, что он рассердился за мои слова, но я думаю: «Ладно, пусть бьет, плетка у него мягкая, я не чувствую никакой боли». А сказать это или заслониться от плетки у меня сил нет. «Когда ж у него рука устанет?» — думаю. Но, видно, рука у него сильная, и мне, наконец, стало больно, все тело как будто загорелось. Тогда я не стерпел и закричал: «Братец, прости! Я тебе больше не скажу обидного слова! Я тебя не попрекну, что ты вытащил меня, а не виноград!» Он засмеялся: «Ну, теперь ты вполне спасен!» И всадник этот — это наш дорогой Сафар-Гулам. Он меня дважды вытащил — первый раз из зеравшанского водоворота, а другой раз — из ширинского невежества. Он вовлек меня в борьбу за счастье бедняков, он второй раз открыл мне глаза!

— Когда ты тонул, у вас в деревне другой мудрец был, а как же сам-то ты попал в мудрецы?

— Я-то? А так: когда эмир объявил войну «за веру», он потребовал от своих подданных лошадей. У нас, у ширинцев, было пять лошадей на всю деревню. В зимнюю распутицу на ослах от нас нельзя было выехать, ослы не могли пройти через грязь. Мы собрались и говорим: «Как же нам без лошадей жить в зимнюю пору?» Все очень обеспокоились, а наш мудрец к этому времени уже умер, и не у кого было спросить совета. Тогда я вдруг надумал: «Люди! — говорю,— не горюйте, я придумал!» — «Что?» — «Очень легко мы спасем лошадей! Мы отведем их во двор с высоким забором и крепкими воротами, а ворота запрем на замок. Когда придут за лошадьми, мы скажем: лошадей, мол, у нас нет, а не верите, обыщите все дворы. Они зайдут в отпертые дворы, не найдут ни одной лошади и уйдут. Так мы спасем лошадей». Но один ширинец со мной заспорил: «А если они велят отпереть высокие ворота? Что мы тогда ответим?» — «А мы скажем: «Ключи потеряны».— «А они на улице увидят следы подков и назовут нас лжецами».— «А мы разбросаем по улице ветки, и следов никто не увидит». Всем моя выдумка понравилась. Они пристали ко мне с просьбой — стать мудрецом. Я не мог один идти против всех и согласился.

Командир и Эргаш о чем-то задумались, а потом командир спросил:

— Ну, а спас ты лошадей?

— Нет. Когда они за лошадьми пришли, мы сделали так, как решили: «Ключи потеряны».— «Ключи-то потеряны, а где ваш мудрец?» Я выступил вперед. Меня положили наземь и принялись бить плетками. Я крепился, крепился, а потом бросил им ключи; они меня оставили, открыли ворота и увели лошадей. Ширинцы обиделись было, что я отдал ключи, но я им ответил: «Лошадей увели, но ваш мудрец спасся от плети. Что дороже — лошадь или мудрец?»

В это время со стороны деревни Балаи-Руд раздался выстрел.

Командир вскочил.

— По коням!

Уже на бегу командир сказал:

— Ты прав, Эргаш: Урман-Палван был где-то здесь.

Отряд уже мчался к деревне, когда кое-где из окрестных деревень и усадеб прогремели один за другим несколько выстрелов.

— Это люди Урман-Палвана. Он им дал сигнал, а они ему ответили и выехали.

Из Балаи-Руд Урман-Палван уже выехал. Отряд повернул в сторону степи.

Вдалеке по гладкой пустынной степи мчались, как тени, несколько всадников.

Гнаться за ними было бесполезно.

Отряд вернулся в Урман-Палванову усадьбу.

Во дворе староста закапывал яму. Возле ямы стоял осел под двумя большими вязанками длинного хвороста.

— Ну, староста, проводили Урман-Палвана? Теперь на душе у вас легче?

— Ой, клянусь, я не видел этого злодея. Он сюда не приезжал. А если приезжал, где же следы?

— Конских следов нет, но есть следы царапин, сделанных на месте следов ветками.

— Ширинская маскировка! — усмехнулся командир.— Но нас не проведешь, мы не ширинцы. Что ты тут делал в этой яме?

— В ней хранилась морковь. Теперь морковь вся израсходована, и я засыпаю яму.

— Ну-ка, погоди ее засыпать! — сказал Сафар-Гулам.— Я взгляну на нее.

Сафар-Гулам сбежал в яму.

— Ага! Нашел! — крикнул он оттуда.

Из этой неглубокой ямы шел вход в другую — просторную и высокую, как сарай. Такие бывали в Бухаре на постоялых дворах, где ставили ослов и лошадей. Здесь вполне могло поместиться несколько человек с лошадьми.

Сафар-Гулам увидел на земле свежий конский помет, а на земляном возвышении блюдо с остатками плова.

Сафар-Гулам вынес наверх блюдо и объяснил:

— По всему видно, в этой яме Урман-Палван со своими людьми пробыл несколько дней. Староста вход в яму снаружи то заваливал хворостом, то открывал. Он расстелил ветки кругом, чтобы скрыть следы подков на земле. Сейчас, когда яма освободилась, он пытался замести последние следы. Мы его застали за этим делом.

— Выходи-ка вперед, староста. Мы тебя отдадим в руки правосудия.

Староста сделал несколько шагов вперед.

Сзади него раздался выстрел. Пуля попала между лопаток и вышла из груди. Староста упал...

— Не удалось старосте отвечать перед народным судом! А за то, что вопреки военной дисциплине и советскому закону я убил его, сам понесу ответ перед судом за свой поступок,— сказал Эргаш. Староста этот был сыном Абдуррахима-бая, а Эргаш — сыном Рахимдада — Некадама, бывшего рабом в семье казия.

11

Осень 1923 года близилась к концу.

Степь давно выгорела, и лишь сухие стебли полыни да почерневшие изломанные ветрами ветки колючек торчали на голом просторе.

Змеи, суслики, ежи и скорпионы еще не залегли на зимний покой. Волки и шакалы до наступления холодов бродили поодиночке, еще не собирались в стаи.

В те дни, кроме них, в этой степи бродили еще и другие хищники, выброшенные сюда человеческим обществом. Оно прогнало их за дикость, но так как звери эти были двуноги,— общество волков и шакалов не приняло их. История поставила их между двух миров — из человеческого мира выгнала, а в животный не допустила. Эти звери — басмачи Шафриканского туменя. Острый меч красноармейцев — рабочих и крестьян, красных партизан загнал их в эту степь — их последнее убежище. И едва вдалеке появлялся всадник, едва слуха их достигал человеческий голос, они кидались в глубь пустыни.

Но и тут, в пустыне, эти бывшие чиновники бывшего повелителя строго соблюдали обычаи времен эмира: носили чалмы, повязанные бухарской репой. Но чалмы эти так загрязнились, что походили на тряпки, которыми обтирают котлы.

Они носили широкие халаты из цветастого сатина, но от конского пота, крови и гноя халаты так задубели, что коробились, как кожухи, и напоминали верблюжьи потники после возвращения каравана из далекой дороги. И все это пахло тухлым мясом или могилой. Дороги их подходили к концу, и концом этим будет могила.

Они не ели больше, как бывало, конскую колбасу, кур, жареную баранину и шашлыки. Их грабежу приходил конец. Кусок заплесневелого хлеба да горькая, как полынь, соленая вода — вот все, чем могли они кормиться теперь: в деревнях были партизаны, а в городах стояли крепкие караулы.

В эту степь бежало их больше тысячи, а теперь осталось пять сотен.

Тайно, по ночам, джигиты, потеряв веру в своих главарей, уходили поодиночке в сторону деревень и сдавались на милость народа. Некоторые же пробирались в города и, затаившись там, принимались за мелкое воровство и грабеж, но это занятие оказывалось кратковременным и кончалось печально.

Они возненавидели и эту степь, давшую им последнее пристанище, жестокую, бесплодную, безводную степь.

Они пробовали веселиться, но шутки их всегда сводились к одному — к смерти.

Среди них был весельчак, развлекавшийся тем, что в дни, когда стоял на карауле, вдруг поворачивал коня к лагерю и, мчась, кричал:

— Вставайте! По коням! Красноармейцы идут!

Услышав его крик, басмачи вскакивали впопыхах, кто в одном сапоге, кто вовсе босиком, кто — подтягивая на бегу штаны, кидались к лошадям и, остервенело хлеща измученных лошадей, мчались в глубь пустыни.

А насмешник, скача следом за ними, издевался над нелепым видом этого воинства, объятого страхом.

Проскакав полторы-две версты, останавливались,— измученные лошади уже не могли бежать. Главари сползали с седел и вели лошадей в поводу до нового привала.

А насмешник докладывал:

— Господа главари! Видимо, мне почудилось, вокруг никого нет. Возвращайтесь спокойно в ваш высочайший лагерь.

Бозор-амин, измученный этой «игрой в смерть», этим томительным ожиданием смертельного конца, сказал однажды Хаитуамину:

— Я больше не двинусь с места, даже если собственными глазами увижу красноармейцев или партизан. Лучше лечь от красноармейской пули, чем вскочить от крика: «Вставайте!»

— Я тоже. Вчера я разжег костер, разделся и принялся жечь вшей...

И от этого слова у всех зачесалось под одеждой, и каждый, запустив руки под платье, принялся сосредоточенно скрести кожу.

— А в это время крик: «Вставайте!» Я вскочил в это деревянное седло без штанов, без халата, проскакал две версты без отдыха, а сегодня не могу сесть от боли,— кряхтел Хаит-амин.

Урман-Палван утешал их:

— Все эти жертвы во имя его высочества. Абдулла-хозяйчик, вернувшись из Афганистана, рассказывал: в Гиждуване, когда его высочество ночевал в доме у Абдуллы, вдруг узнали, что красноармейцы уже входят в город. Тогда эмир вскочил на коня и самоотверженно скакал до горы Карнаб. Абдулла-хозяйчик сам видел, во что превратился августейший зад после этого переезда. Это было страшное зрелище! Это событие должно поселить в наших сердцах твердость, ибо доказывает, что не только мы, но и августейший терпит лишения в равной мере.

— Если нам крикнут: «Вставайте!», надо встать и сражаться,— сказал Исмаил-мирахур.

— Ваши слова похожи на похвальбу англичан,— ответил Нор-Мурад-Палван.

— Это на какую? — спросил один из джигитов.

— В начале басмачества англичане много нам всего наобещали. Вначале они действительно немало нам помогли. Но когда народная власть окрепла, а победы наши померкли, англичане отошли в сторонку, почесывая затылок...

— Какое же это имеет отношение ко мне? — рассердился Исмаил-мирахур.

— Очень большое. Вы вот убеждаете нас воевать, а как дойдет до дела, как увидите, что мы терпим поражение, так раньше всех сбежите,— окрысился Нор-Мурад-Палван.

— Мы похожи на голодного волка: ради куска мяса он лезет в западню, а попав, крутится, чтобы выбраться, но еще больше запутывается.

Молодой джигит, слушавший этот разговор, хлестнул с размаху по песку плетью и твердо сказал:

— У нас есть один путь спастись — это выехать из песков и сдаться. Советская власть может простить нас.

— Сдаться? — вскричал Бозор-амин.— Сдаться и забыть все блага и радости эмирского времени?! Забыть дни, когда ты повелевал людьми?! И не ждать больше эмира, и не расчищать ему путь. А не ждать его — значит отказаться от надежды жить прежней жизнью. Явиться к прежним своим работникам, которые вчера выплакивали у меня кусок хлеба, поклониться им и выплакивать у них уже не кусок хлеба, а жизнь? Да ни за что! Сдаться? Такое слово сказать здесь мог изменник или тот, кого подослала Советская власть.

— Изменник! — закричали главари, вскакивая с мест.

Молодого джигита схватили и поволокли к ближнему холму. Остальные смотрели на расправу.

Некоторые из джигитов отвернулись.

Раздался выстрел. Среди темной ночи блеснула искра и тут же погасла... Вокруг распространился горьковато-острый неприятный запах.

Главари вернулись на свои места.

Вдалеке темный комок корчился в судорогах, разбрызгивая вокруг себя кровь.

* * *

Рассвет... В степи тихо... Мелкие насекомые, надоедливо жужжавшие всю ночь среди высохшей травы, сейчас замолчали. Лошади, жалобно ржавшие ночью от голода, теперь потеряли всякую надежду на получение еды, неподвижно лежали, вытянувшись, словно дохлые.

Басмачи, истерзанные укусами вшей, чесоткой и зудом, теперь крепко уснули.

На земле и везде кругом было абсолютно тихо. Ни один звук не нарушал тишины, нигде не было видно движения ни одной живой души.

Перед шалашом Бозора-амина стоял с кувшином в руке мальчик лет шестнадцати, поджидая вышедшего Бозора-амина.

Бозор-амин вернулся. Мальчик полил ему на руки воду и хотел было передать кувшин.

Бозор-амин одной рукой взялся за ручку кувшина, а другой крепко схватил руку мальчика.

— Иди сюда.

Мальчик пробормотал: «Оставьте, оставьте», пытаясь увильнуть в сторону, но Бозор-амин обеими руками вцепился в него.

— Прежде, чем все проснутся...— Он потащил мальчика к шалашу.

В эту минуту раздался голос басмача:

— Вставайте! Бегите! Красноармейцы пришли!

— Разве не слышите, Бозор-бобо! Пустите меня.— Упираясь в землю ногами, мальчик старался вырваться из цепких рук.

— Не бойся, это обычная шутка,— таща его, отвечал Бозор-амин.

Послышался выстрел. Пуля, пролетев над головой Бозора, попала в уголок шалаша, прорвав материю.

Теперь и Бозор уже понял, что это не шутка. Обычная шутка кончилась, как шутка лжеца, который кричал, что у него «дом сгорел».

Есть рассказ о том, как один лжец каждую ночь выскакивал на крышу дома и, обманывая, кричал: «Эй, люди! Мой дом сгорел! Помогите мне!»

Сладко спавшие люди вскакивали, наполняли водой ведра, кувшины и бежали на «пожар». Прибегали и видели — все тихо, нигде ничего не горит.

— В чем дело? Где горело? — спрашивали они.

— Ничего, просто я пошутил,— отвечал лжец.

Таким образом он обманул их несколько раз. Но однажды его дом на самом деле начал гореть, но сколько он ни кричал и ни звал на помощь — никто ему не помог, не поверив его крикам. И дом его сгорел дотла. Так было и с Бозором. Через короткое время он понял, что «дом» его окончательно «сгорел».

Джигиты и главари, толкая друг друга, хватали поводья лошадей и вскакивали в седла в исподнем, без халатов, многие без оружия.

Как ни хлестал Бозор-амин своего коня нагайкой, конь приседал, вскакивал на дыбы, но не двигался с места.

Только тогда Бозор-амин заметил, что он забыл его отвязать.

Перерубив недоуздок саблей, Бозор-амин поскакал прочь.

Нахлестывая коней, стиснув зубы от бессильной ярости, впереди и позади Бозора-амина мчались главари и джигиты.

Раненые всадники, падая с седел, повисали на стременах, волочились за лошадьми, разбивая головы о твердую землю. Некоторые, поникнув в седле, мертвые, еще мчались вперед, прочь от красноармейских пуль и клинков, словно страх еще не покинул этих мертвецов, словно страх их был сильнее смерти.

Красноармейцы и партизаны настигали басмачей. Огнестрельный бой сменился рукопашным боем на клинках, на ножах, штыками.

Когда встало солнце, на песках лежало больше ста убитых басмачей... Оставив их позади, отряд продолжал погоню...

12

Безлунная, беззвездная, мрачная ночь, хоть глаз выколи. Красноармейцы и красные партизаны, преследуя по пятам убегавших басмачей, направились к селу. Мир был погружен в тишину.

После недавнего дождя земля еще не просохла, и конница шла неслышно.

Командир красноармейского отряда запретил курить, зажигать спички.

Лишь изредка звякала шашка о стремя да конь пытался заржать.

Так, в тишине и во тьме, отряд подошел к большой деревне, тянувшейся у самого края песков.

Деревню обошли стороной и въехали в нее с другого конца.

Сафар-Гулам, знавший эти места с детства, ехал впереди, чаще угадывая, чем разглядывая дорогу.

У въезда в деревню он остановился. Остановился и отряд.

Сафар-Гулам прислушался.

В деревне было так же тихо, как и в песках.

Молодой джигит, едущий рядом с Сафар-Гуламом, указывая на высокую стену, сказал:

— Вот здесь они.

— Эта усадьба мне хорошо знакома.

Повернув коня, Сафар-Гулам доложил командиру:

— Они здесь. На усадьбе.

По безмолвному приказанию командира весь отряд, как один, тихо приблизившись к усадьбе, спешился.

Половина отряда, окружив усадьбу, осталась снаружи.

А другой половине Сафар-Гулам показал тот перелаз, где, бывало, ждал он свою Мухаббат, где и сам он перелезал, когда главари совещались в этом доме.

Этим перелазом, подсаживая друг друга, отряд поднялся на стену, залег на кровлях и притаился, постепенно осваиваясь с темнотой и начиная различать строения во дворе, входы и выходы.

Сафар-Гулам, Эргаш, командир и часть бойцов спустились во двор.

Во дворе было тихо и безлюдно.

Часть отряда затаилась у дверей конюшен и сараев, где могли находиться люди.

Но главари сидели в приемной комнате хозяина. Оттуда сквозь дверную щель пропикали полосы света.

Ширинец Насыр, громко откликнувшись на призыв командира, отошел к освещенной комнате.

Его услышали.

— Кто там? — раздался чей-то голос, и, отбросив прикрывавшую выход занавеску, высунулся человек.

Выстрел срезал его.

Сафар-Гулам, взглянув на убитого, легко узнал в нем Палван-Араба.

Вслед за Палван-Арабом в проход выскочили двое басмачей.

Один тут же свалился, пробитый пулей командира. Другой успел отскочить обратно в комнату.

— Нас захватили! Мы погибли! — кричали они.

Басмачи, выхватывая из-под ковров винтовки, кинулись к стенам.

Мулла, сорвав с головы чалму, бросился к нише, где лежали сложенные одно на другое одеяла, и спрятался в них.

Басмачи через дверь открыли стрельбу в проход. Подойти снаружи к дверям комнат стало невозможно. Лампа закачалась, закачались и тени в комнате, где метались басмачи, задевая друг друга, натыкаясь на стены, спотыкаясь об одеяла. Они метались, как крысы в крысоловке, не зная, что предпринять.

Хаит-амин привалился к груде одеял, но одеяла заворочались под ним. В ужасе он вскочил и принялся расшвыривать их. Из-под них послышался испуганный голос муллы, старавшегося поглубже залезть в одеяла.

Командир не торопился штурмовать комнату. Он хотел дать басмачам время понять, что никакого выхода у них нет.

Но и проводить время в бездействии он не мог. Отряд обшарил дом, надворные постройки и собрал в амбаре обитателей дома: слуг, нескольких джигитов, спавших в конюшне.

Вдруг на отдаленном конце деревни прогремел залп из нескольких винтовок.

— Отвлекают! — засмеялся Сафар-Гулам.

— Что это значит? — забеспокоился командир, кивком головы указывая в сторону залпа,— не обманул ли нас этот джигит? Не завел ли в западню? Может быть, басмачи сконцентрировали свои главные силы где-нибудь в другом месте, а нас заманили сюда?

— Не беспокойтесь! — оставался хладнокровным Сафар-Гулам.— Этот джигит сбежал от них. Он замучен приставанием Бозора-амина. Я ручаюсь за него.

— Чьи же это выстрелы? — допытывался командир.

— Простите, я не полностью передал вам сведения джигита. Дело в том, что прислужник Урман-Палвана сообщил ему о хитром маневре басмачей. Сюда они пришли с лучшими и преданными своими джигитами, а в другом месте поместили остальных. В случае нападения те должны поднять стрельбу, тем самым отвлечь наше внимание от главной силы. Вот они и отвлекают.

— За то, что ты своевременно не сообщил мне такие важные сведения, делаю тебе вторичное предупреждение.

— Принимаю! — козырнул Сафар-Гулам.

На мгновение в комнате все затихло: видно, басмачи услышали залп и ждали, не уйдет ли весь отряд туда.

— Начнем! — сказал командир.

Несколькими пулями пробили дверь.

В комнате кто-то закричал от нестерпимой боли. Крики слышались невдалеке от двери.

Еще несколько пуль в дверь.

Огромная лампа, качнувшись, опрокинулась вниз, керосин загорелся, растекаясь по комнате.

Урман-Палван накинул на пылающую лужу одеяло, но либо опоздал, либо керосина разлилось слишком много, одеяло не потушило огонь, а само вспыхнуло. Вспыхнула и пола его стеганого халата. Пуля, войдя через дверь, пробила ему плечо. Дымящийся, он свалился у стены.

Пламя разрасталось. Чад наполнил комнату. Дышать в ней становилось невозможно. Горели одеяла, огонь подбирался к раненым.

Оттолкнув тех, кто мог ему помешать, Хаит-амин подскочил к двери и распахнул ее.

Вместе с ним из комнаты вырвался чад и дым. Он стоял в дверях, а позади пылало пламя. Он стоял, уверенный, что пуля сразу кончит все это. Но никто не стрелял.

Он удивленно посмотрел в узкий проход, озаренный отблесками начинавшегося пожара. Но никто не стрелял. И никого не было в узком проходе.

Он удивленно сделал несколько шагов.

И тогда, сам не понимая, с какой стороны, он услышал спокойный голос:

— Бросьте оружие, выходите. Огонь страшен только вам. Если вздумаете защищаться, то участь ваша ясна: получите пулю либо сгорите.

В это мгновение из комнаты выскочил мулла в загоравшемся халате.

Хаит-амин, отстранившись, пропустил муллу во двор, где им занялись партизаны, а сам вернулся и крикнул в комнату:

— Выходите! Сдавайтесь! Наше дело кончено!

И первым пошел во двор, чувствуя, как невидимые руки из темноты держат каждый шаг его на прицеле.

Бозор-амин с обгоревшей бородой, Урман-Палван, опирающийся на джигита, все главари, столько крови пролившие в этих краях, вышли обгорелые, закопченные, окровавленные, сверкая недобрыми испуганными глазами.

Насыр пошел в комнату узнать, не остался ли еще кто-либо там.

В груде тлеющих одеял он нашел труп убитого басмачами юноши.

А главари стояли среди двора молча и сурово. И только мулла не переставал говорить:

— Я мулла. Я только служитель божий, я их просвещал и отвращал от зла. Зачем же вы ставите меня рядом с ними? Вы же видите, я и так уже потерял бороду. Ой, сгорела моя борода!

— Молчи, если жизнь твоя уцелеет, я отдам тебе свою бороду,— сказал Эргаш.

— А неужели вы хотите меня убить?

— Никого мы не хотим убивать. Но если вашу жизнь найдут вредной для народа, суд отнимет ее у вас! — строго сказал ширинец Насыр.

Пожар погасили. Брезжило серое, сырое утро.

Грязные, обгорелые, молчаливые звери стояли среди красноармейцев, столпившихся, чтобы рассмотреть тех, от кого столько мучений знали эти края. Рассмотреть, наконец, тех, за кем так долго гонялись, кого ни разу еще не доводилось увидеть так близко.

Наконец, окружив конным конвоем, пленников повели. Последний раз шли по этой земле те, кто так долго топтал и осквернял ее.

Вставало солнце.

Разгорались на востоке, подымаясь вверх, облака. Серая ночная туча уплывала в сторону.

Крестьяне с мотыгами в руках, гоня впереди себя ослов, шли на поля. Оглядываясь, смотрели вслед и, улыбаясь, о чем-то переговаривались между собой.

Разгоралось утро.

Эргаш ехал вслед за конвоем, впереди своих партизан, и пел:

Годы рабства прошли навеки,
Не вернутся к нам никогда.
В прах разбиты эмирские беки,
И низвержен эмир навсегда.

Нас к победам ведут коммунисты.
С нами вместе — рабочий класс.
И не смогут капиталисты
Одолеть никого из нас.

Ныне всем угнетенным народам
Мы свободу и счастье несем.
Всех врагов священной свободы
Мы со всей вселенной сметем.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1927—1933

1

Зима кончалась. Солнце светило ярко, грело землю.

Снег таял. Дороги просыхали.

Хотя земли, вспаханные за осень и за зиму, еще не отошли, но кое-где уже поблескивали зеленым огоньком первые всходы.

Возле стен земля уже не только просохла, но и прогрелась, и на ней можно было присесть, беседуя, полюбоваться наступающей весной, светящейся чистой синевой неба.

На деревенские улицы выпустили скот, застоявшийся за зиму в темных, душных хлевах. Коровы и телята, не притрагиваясь к еде, лежали на солнце, просушивая свалявшуюся грязную шерсть, облизывая ее длинными розовыми языками.

Ослы, не трогая первой нежной травы, неподвижно стояли, дремля, нежась в тепле долгожданного солнца, галки поклевывали сбитые до крови холки ослов, выдергивали зимнюю шерсть на гнезда. Но и галок ослы не трогали, не сгоняли, чтобы не нарушить сладостной неги приближающейся весны.

Лишь время от времени долгим, томительным ревом животные выражали всю тоску долгих томительных зимних дней, словно хотели, выразив ее, отвязаться от нее, как от зимней шерсти и сырости.

Жизнь, словно встав из глубокой темной зимней могилы, радостно вырвалась к свету, переливаясь на солнце и наполняя всех силой.

По деревне зазвучали громкие крики играющих ребят, веселые говоры взрослых.

Женщины вынесли из закопченных сырых комнат прялки и люльки и, подстелив бараньи или козьи шкуры, сидели на земле, переговариваясь, пересмеиваясь.

Мужчины говорили своим односельчанам, сидя возле ворот богача Бобо-Мурада:

— За эту зиму у нас накопилось пропасть дел. Время терять нельзя... Если еще дня два-три постоит такое тепло, надо везти навоз в поле, дворы вычистить и готовиться к севу, и землю, что не успели запахать с осени, надо пахать. Пора.

— Такое раннее тепло добра не сулит,— важно сказал сидевший у стены Бобо-Мурад.

Бобо-Мурад, постелив маленький коврик, захватил с собой чайник и теперь сидел, попивая чай и слушая разговоры крестьян. Иногда он вставлял свое слово, говорил истины, проверенные опытом долгой жизни.

— Если шесть месяцев без просвета валит снег и льет дождь,— это добрая зима. Такая зима не хитрит, не лжет. Ей можно верить, весной она не вмешивается в крестьянские дела, за лето у крестьян будет добрый урожай. А при солнечной, сухой зиме надо быть настороже. Если зима сухая, летом все посевы сгорят. Нынче тепло, а спешить не надо. Надо недельку подождать, осмотреться.

— Конечно,— согласился крестьянин.— При сухой зиме земля пойдет под посев сухою, твердой, хорошего урожая не будет. Но нынешняя зима не была сухая. Два месяца дожди не переставали. Только теперь и прояснило, и теперь самое время унавозить ее и запахать.

Другой старик, лежавший невдалеке от Бобо-Мурада, возразил, сердито взглянув на него:

— Не дай бог, если зима сурова, сырая да морозная. Если шесть месяцев хорошей погоды нет, у крестьян все дела остановятся. Мы сеем хлопок, овощи, растим сады. Нам нужно солнце в сентябре и в октябре, нужно и в ноябре, иначе урожай останется в поле. Особенно — хлопок. И осеннюю пахоту не успеем закончить. А если не будет хорошей погоды в марте и в апреле, мы не сможем вовремя посеять ни хлопка, ни овощей.

— Но ведь есть же земли, где зима длится шесть месяцев. Шесть месяцев там льют дожди, валит снег, трещит мороз, метет метель, а ведь и там крестьяне сеют и пашут и собирают богатые урожаи! — сказал Бобо-Мурад тоном знатока.

— В тех землях крестьяне сеют зерно — ячмень и пшеницу, а овощи растут не на поливных землях. Там чем больше дождя, тем лучше. Им и летом там нужен дождь. А у нас говорят: «Летних дождей бойся больше, чем змей»,— ответил старик.

— Эту зиму надо считать хорошей,— поддержал старика другой крестьянин.— Осень выдалась сухая, собрать урожай мы успели. Озимь посеяли. Два месяца шел сплошной дождь, а теперь сразу стало тепло.

— Вот-вот,— подтвердил старик.— Я шестьдесят лет на всякую погоду глядел. И считаю: зима была хорошей.

— Бай не о крестьянах тужит, у него своя забота,— сказал крестьянин по имени Самад, тачавший старые сапоги.— Половина нашей деревни прирабатывает ремеслом. Летом крестьянствуем, зимой работаем на Бобо-Мурада. Так? Бобо-Мурад скупает на базаре или у старьевщиков, что обходят деревни, старые сапоги по рублю за пару. Рубль дает нашему брату за работу, рубль платит за головки. Так ему пара сапог обходится по три рубля. Вот пришью я к старым голенищам новые головки, получу за это рублевку, а хозяин на базаре возьмет за них двадцатку. Нам рубль, а ему — чистых семнадцать. Так?

— Никакое дело не грех,— сердясь, ответил Бобо-Мурад.— Один крестьянствует, другой скупает урожай, третий продает рис, а я вот перепродаю сапоги. Каждый делает свое дело и заботится о своей пользе.

— Взять хотя бы погоду,— усмехнулся крестьянин.— Ведь и тут у нас с вами польза не совпадает, Бобо-Мурад. Когда потеплеет, крестьяне бросают сапожное дело и уходят на свои поля. У вас работа стоит. Вам это не нравится. Вы этого не любите. Вы идете к такому крестьянину с уговорами: «Ты, брат, брось свою землю на недельку. Дошей мне сапоги за эту неделю, а потом делай, что хочешь». Послушает вас крестьянин и упустит лучшую пору для пахоты, а там и с посевом не управится, а осенью, глядишь, соседи урожаи собрали, а у него не поспел, ему надо подождать, а тут вдруг дожди полили или мороз стукнул. Бывает так? Очень часто. А если не послушает вас крестьянин, отложит сапоги, тут вы свою пользу упустите. Так?

— Вовсе не так. Мне наплевать, когда станет тепло. Нынче или через неделю. Неделя ни тебе, ни мне ничего не даст. Если ты и работаешь для меня, так для своей же пользы, а не для моей.

Самад, размахивая сапогом, возразил:

— Нет, бай, если я за неделю пришью новые головки к шести парам голенищ, я получу за это от вас шесть рублей. Вот и вся моя польза. А вы на этом наживете больше ста. А я ведь не один. Тут на вас работает половина деревни. Если человек двадцать не послушаются ваших слов, во что вам обойдется неделя? Вот почему вам не хочется раннего тепла!

— Не говорите, бай, что только баи знают счет,— вмешался человек без бороды, до сих пор молчавший и с улыбкой что-то за-

писывавший в своей книжке.— Благодаря Советской власти и ремесленники и поденщики знают теперь арифметику.

— А я что? Я об их же пользе, о крестьянской хлопочу. Сегодня они имеют от меня приработок, а завтра могут его потерять. В такое время мне эту пользу лучше не иметь, чем иметь.

— Какое же такое время?

— А такое! Жизнь с каждым днем хуже и хуже. Эмир убежал. Провозгласили Бухарскую народную советскую республику. А теперь Бухара соединилась со всем Туркестаном. У людей отобрали и землю и воду. Что же тут хорошего? Право, не знаю.

— Знать-то вы знаете, да от людей таите. Вы им говорите только то, что их тревожит и пугает.— Захлопнул тетрадь безбородый, положил ее перед собой.

— Это как же так? — прикинулся удивленным Бобо-Мурад.

— А так. Выгнали отсюда вашего эмира. Вы забеспокоились. Стала Бухарская народная советская республика. До тех пор, пока не притронулись к вашему, нажитому на народном горе, богатству, к захваченным вами земле и воде, вы были спокойны. Вам можно было по-прежнему торговать сапогами, наживать деньги, прибирать себе новые земли, а беднота по-прежнему не могла обойтись без приработка и за этим приработком шла к вам.

К словам безбородого присоединился крестьянин:

— Да, у вас было право собственности, вот вы и прижимали бедняков, не только скупая у них земли, но и заставляя их работать на этой земле на вас.

— Это было третьей причиной для вашей радости! — сказал безбородый.— А когда Бухарская народная республика превратилась в советскую и затем, в результате национально-государственного размежевания, образовались Узбекистан и Таджикистан, вошли в Советский Союз, это испортило вам настроение. Земля стала государственной, ни продать, ни купить ее уже нельзя.

Крестьянин опять поддержал его:

— И нет теперь у нас ни помещиков, ни безземельных бедняков.

— Да! А вы тут охаете: «Бухара ушла от нас!» Куда ушла? Никуда! Она на своем месте осталась. Вы говорите: «У людей забрали землю и воду». У каких людей? Чью землю? Чью воду? Разве забрали ее у малоземельного Нор-Мурада? Разве тронули ее у остальных малоземельных крестьян? Да ни одной горсти не взяли, наоборот, прибавили!

— Верно! — подтвердил крестьянин.— Мне от отца досталось десять танабов земли. В эмирское время я не мог рассчитаться по налогам и продал половину. Вам продал, Бобо-Мурад. Потом у меня умерла жена. Надо было устроить похороны и поминки.

Я продал еще половину. Опять же вам, бай! Потом, когда снова женился, для свадебных расходов продал еще часть. В недород я взял у вас, бай, два мана пшеницы. А когда она кончилась, я продал еще часть земли — рассчитаться за нее. Тут подрос сын, надо было устроить ему обрезание.

— А как же! — оживился Бобо-Мурад.— Детей мужского пола надлежит обрезать, ибо в шариате сказано...

— Вы даже заговорили, как мулла,— покачал головой крестьянин.— Так вот, откуда ж мне было взять денег на это обрезание? Что у меня оставалось? Ничего, кроме клочка земли. И я собрался расстаться и с этой землей, но тут вдруг вышел декрет, запрещающий и продавать и покупать землю. Конец! Больше я землей не торгую и никаких пиров по поводу обрезания не устраиваю.

— Расскажу вам одну историю,— со смехом сказал крестьянин по имени Гафур.— Однажды поэт Машраб на тощем осле поехал из Намангана в Балх. Когда подъезжал к Мирзачулю, он увидел необозримые стада баранов, коней, верблюдов. «Чей это скот?» — спросил поэт. «Хаджи Ахрара»,— ответил пастух.

Поэт Машраб полюбовался откормленным и бесчисленным скотом и поехал дальше. В Заамине, в Джизаке, в Янги-Кургане он проезжал между полями палившейся золотой пшеницы и ячменя, таких необъятных полей он в своей жизни не видел. «Чьи же это хлеба?» — спросил поэт. «Хаджи Ахрара»,— ответил тощий, оборванный крестьянин.

Поэт Машраб поехал дальше. Недалеко от Самарканда он увидел мельницы, сады, раскинутые широко вокруг, огороды, обильно политые, и, позавидовав хозяевам таких тенистых садов, таких благоустроенных огородов, спросил: «Чьи же это сады, огороды, мельницы?» «Хаджи Ахрара»,— отвечали ему оборванные садовники, сожженные солнцем огородники, кашляющие, изможденные мельники.

Поэт Машраб поехал дальше. Он въехал в Самарканд, и его оглушили крики, звон, шум и говор тысячеголосого огромного базара. «Чье это все — торговые ряды, постоялые дворы, нарядные чайные, караваны, которые приходят и уходят?» «Хаджи Ахрара»,— отвечали ему на базаре.

Поэт Машраб поехал дальше. Он проехал Карши, Гузар, Ширабад и возле Термеза увидел опять необъятные стада, табуны, отары, сады, огороды, мельницы. «Чье это?» — спросил он. «Хаджи Ахрара»,— снова ответили ему.

Тогда Машраб сошел со своего старого тощего осла, ударил его и сказал: «Иди к этому стаду, принадлежи уж и ты Хаджи Ахрару». И пошел пешком...

— Правильно! Очень меткий, очень поучительный рассказ у вас, Гафур-ака,— сказал безбородый.

— Так было у нас и с землей до Советской власти,— сказал рассказчик.— Маленькие участки все время норовили выскользнуть из крестьянских рук, чтобы присоединиться к просторным землям помещиков, как Машрабов осел к стадам Хаджи Ахрара.

— Правильно,— сказал безбородый.— Большевики не тронули нашей земли. Но я не удивлюсь, что они заберут у тех баев, что сами на земле не сеют, не жнут, а торгуют на базаре сапогами, пока крестьяне обрабатывают для них поля. Земля — это не осел, она ни подохнуть, ни сбежать не может, ни увезти ее отсюда нельзя, она вся тут, и ее раздадут тем, кто хочет ее обрабатывать своими руками, кому нечем прокормить семью, а вы нас пугаете, Бобо-Мурад, говорите нам: «Жизнь с каждым днем ухудшается!» Что-то не видим мы этого: не ухудшается наша жизнь. Нет, не ухудшается! Ведь давно никто не верит вашим вздохам и вашим словам, потому что у вас только слова, а у нашей власти — дело. Дело мы видим, и оно нам по душе. А слова ваши невидимы, да к тому ж и противны.

Гафур-ака добавил:

— А если кто и поверит пустым словам, истинные дела опровергнут всякое лживое слово.

Один из крестьян строго посмотрел на Бобо-Мурада:

— Теперь тут власть наша, она нам помогает. С нами вместе рабочий класс, нам помогает партия большевиков!

Бобо-Мурад недовольно ответил:

— По вашим словам выходит, что землю ни у кого не отнимали? А где вакуфные земли? У нашей мечети землю взяли. Была при мечети школа, ее закрыли, а раз нет земли, мечеть не может содержать школу. Ребятам бы надо в школе сидеть, а они вон по улицам бегают.

— Верно,— согласился безбородый,— отобрали землю у мечетей, но земля эта в нашей же деревне осталась. Теперь на ней работает беднота, и урожай с нее пойдет тем, кто на ней сеет. А прежде работала на этих землях та же беднота, но урожай получали муллы. А школа при мечети морочила головы ребятам, только и всего. Есть ли у нас грамотные или знающие крестьяне? Где они? Никого нет, ничему никогда эта школа не научила. Только молитвы зубрили,— вот и все. Зато вместо нее открылась советская школа, и на нее государство дает десять тысяч рублей в год, само дает, без всяких вакуфов-макуфов. И ребята из нее выйдут грамотными.

— Какая же польза от такой школы, когда никто не хочет учить в ней своих детей? — пожал плечами Бобо-Мурад.

— Кто это не хочет? Вы и ваш мулла нашептываете всем, что эта школа вырастит детей богоотступниками, грешниками, но ребята все-таки уже ходят в эту школу и...

В конце улицы показался всадник, разговор оборвался. Всадник подскакал к безбородому:

— Ака Сийаркул! Прочтите эту бумагу и оповестите людей.

Он отдал пакет и поскакал в соседнюю деревню.

Безбородый, названный Сийаркулом, внимательно дочитал до конца большой лист голубоватой бумаги. Улыбнулся. Поднял голову и весело посмотрел вокруг.

— Так слушайте! Буду читать:

«Настоящим доводится до сведения безземельных и малоземельных крестьян, а также всех трудящихся Шафриканского тумеия, что, согласно постановлению Бухарского окружного земводотдела, на реке Джилван начаты земляные работы. Цель этих работ в том, чтобы снова сделать полноводной занесенную песками реку. Земли, которые будут орошены в результате этих работ, подлежат распределению между безземельными и малоземельными крестьянами, а также будут выделены всем трудящимся, желающим заниматься земледелием.

Работы производятся под руководством опытных техников, ирригаторов.

Трудящимся, работающим по восстановлению реки Джилван, ежедневно выплачивается пять рублей, хлеб и горячее питание предоставляются бесплатно.

На работу принимаются все желающие...»

Выслушав это объявление, Самад воскликнул:

— Вот она, Советская власть. Вот она!

Он вскочил с места, подбежал к Бобо-Мураду и швырнул ему на коврик два сапога — один дошитый, а другой с недошитой головкой.

— Возьмите, бай, весь ваш товар. Конец! Шейте сами, а нам недосуг.

Бобо-Мурад вскочил, словно земля под ним вспыхнула. Он швырнул сшитым сапогом в Самада:

— Скотина! Безродный раб!

Самад увернулся от летевшего в его голову сапога.

Крестьянин Гафур, занятый прядением, молча слушал весь этот разговор, но, услышав ругань Бобо-Мурада, так же молча запустил в голову хозяина веретено и после этого объяснил:

— Самад — безродный раб, говоришь? Так я ничем от него не отличаюсь!

Веретено раскровенило Бобо-Мураду лоб.

Богач бросился было на Гафура. Самад схватил бая за длинную холеную бороду и дал ему несколько тумаков.

Нор-Мурад ухватил Бобо-Мурада за руки:

— Эй, бай, не надо драться.

Так бай, начавший драку, теперь не мог никого ударить, зато сам получал удары со всех сторон.

Старик, вскочив на ноги, стал у стены, чтобы не попасть им под ноги, и закричал:

— Бейте его там, где почувствительней.

Долго созревала в людях ненависть, годами созревала, пока не прорвалась в этих неумелых, но горячих тумаках.

Сийаркул растолкал нападавших и, увидев бая уже на земле, закричал:

— Не бейте его! Это незаконно! За то, что ругался, составьте на него акт, подадим в суд. А ты, бай, ступай домой.

Бобо-Мурад с трудом поднялся, держась за бок, ссутулившись, вымазанный липкой весенней слякотью.

Словно пьяный, он не сразу сообразил, куда надо идти, и бессмысленно смотрел по сторонам.

— Бай,— сказал Сийаркул,— дом ваш направо. Идите спокойно, они не тронут, я их буду держать.

Бобо-Мурад вытер рукавом залепленные грязью глаза, увидел, что Сийаркул и в самом деле держит Гафура и Самада, и тихонько, пугливо, как поджавшая хвост собака, пробирающаяся чужим двором, вдоль стен засеменил к своему дому. Подойдя поближе к воротам, побежал во всю прыть, резво вскочил во двор, не обращая внимания на сползший с ноги сапог, и ловко задвинул за собой засов.

Продолжая запирать ворота на какие-то еще цепи и замки, он выкрикивал со двора ругательства:

— Безродные рабы! Голодные оборванцы!

«Мир» между двумя полюсами бухарских деревень кончился.

2

Джилван под песком иссяк,
Посев у крестьян зачах.
Воды здесь меньше, чем слез,—
Не смыть ей ни слезы, ни страх.

Джилван, породивший эту песню в прежние времена, преобразился.

Вода уже не сочилась каплями, как слезы, она стремительно текла, плеща и крутясь, обильная, как в доброй реке. На месте

прежних пыльных каменистых берегов всюду растекались, журча, ручьи по каналам, обсаженным стройными тополями и гибкими, пушистыми ивами. Густо зеленели хлопковые поля, строго и четко распланированные, любовно вспаханные, заботливо окученные.

А по краю этих полей покачивали своей голубой листвой рощи саксаула, посаженные, чтобы укрыть поля от песков, наползающих из безводной каменистой пустыни. И не узнать, что всего лишь несколько лет назад эти поля пропадали среди зыбучих холмов, где тяжелая мотыга раба пыталась отбить летом чахлые всходы, а осенью горсть зерна от песков, от сухого знойного ветра, от безводья, от жадных рук эмира, от сотни бед и напастей.

Потомки рабов и потомственная беднота много раз в прежние времена принимались разгребать песок, заваливший Джилван. Но река, проблеснув ненадолго, снова зарывалась в песок. И, глядя, как снова иссякают струи в песке, народ пел:

Джилван под песком иссяк,
Посев у крестьян зачах.
Воды здесь меньше, чем слез,—
Не смыть ей печаль и страх.

Теперь она текла свободно, как сильная река. Отрытая трудолюбивыми руками крестьян с помощью мощных совершенных машин, по умным планам советских ирригаторов, текла стремительно, крутя водовороты, заплескивая свои берега, река Джилван.

Теперь, при таком ее сильном течении, реке не грозила опасность обмелеть от ила или песков. Теперь, если б дать ей волю, она углубляла бы дно, размывала бы берега. Но люди крепко держали ее в узде, понастроили плотины, искусственные пороги, чтобы ослабить силу потока и регулировать скорость течения.

Часть воды сворачивала в большие каналы, в Багафзал и в Тезгузар, уходила в былую степь, оживив там жесткую землю, напитав ее, покрыв ее садами, полями, зеленью.

Потомки рабов сложили и запели новую песню о реке Джилван.

Цветами покрылся берег бесплодный.
Блестят твои струи, Джилван полноводный,
Будто винные чаши, тюльпаны стоят,
Пьян от счастья, запел раб, отныне свободный:
— Эй, Джилва-ан... Эй!

Солнечная долгожданная осень. Настал сбор урожая.

Потомки рабов, безземельные крестьяне, деревенская беднота,— все наконец обрели землю, орошенную обильными водами Джилвана.

Во время жатвы новые хозяева новых полей перебрались сюда с женами и детьми и, пользуясь теплом ранней осени, работали на своих полях с рассвета до темноты.

С рассвета до темноты носили тяжелые ноши, смуглели на припеке, и ни в ком не было ни тоски, ни уныния. Усталость к вечеру казалась сладкой истомой.

Когда солнце склонялось к земле и прохлада наплывала прозрачным голубоватым маревом, у шалашей поднимались стройные струйки дыма, зацветали ласковым пламенем очаги, где женщины начинали готовить ужин.

После ужина крестьяне легли под открытым небом, прямо на земле, подстелив кошмы.

Лежа на спине, старик смотрел, как из тьмы поднимался месяц. Он слышал негромкие разговоры ребят и крикнул им:

— Эй, молодежь! Спели бы, а?

Один из юношей подтолкнул лежавшего рядом:

— Спой. Слышишь, Сабир-бобо хочет нас послушать.

— Ты сам спой. Ты лучше знаешь песни. А я подтяну.

— Давай споем «О Лейли».

— Давай.

— О Лейли, о Лейли! — поддержали, поднимаясь со всех сторон.

Один запевал, остальные, прихлопывая в ладоши, припевали:

О Лейли! Лейли, Лейли...
Сердце мое отдам Лейли...
Сердце мое возьми, Лейли!
О Лейли! Лейли, Лейли...

Молодежь села вокруг. Кто-то сказал:

— Сплясал бы кто-нибудь. А?

И тотчас же его поддержали:

— Фатима хорошо пляшет. Э, Фатима! Спляши. А?

— Где это вы видели мои пляски? — смутилась, но поднялась девушка.— Где это при вас я танцевала?

— Прежде мы вашего лица не видели, а теперь вы освободились и от черного покрывала, и от темного рабства. Наравне с нами работаете, наравне и отдыхайте. Нет беды поплясать при свете месяца,— уговаривал Сабир-бобо.

— Бобо-Сабир, я спляшу. Но не мне надо начинать. Сперва Мухаббат-апу попросим.

— Правильно,— подтвердил старик,— она — жена красного партизана. Она сама против басмачей боролась. Она первой у нас сбросила паранджу. Ей первой и плясать надо. А мы потом.

Все поддержали старика.

Мухаббат охотно вышла, когда ее попросили.

— Ладно, если это порадует вас, спляшу.

И юноши снова запели, мерно хлопая в ладоши:

О Лейли! Лейли, Лейли...
Сердце мое отдам Лейли...
Сердце мое возьми, Лейли...
О Лейли! Лейли, Лейли!..

Мухаббат, танцуя, прошла круг и, остановившись посредине круга, пропела:

Цветами покрылся берег бесплодный...

И молодые голоса откликнулись ей:

О Лейли! Лейли, Лейли...

И опять она:

Как вино, твои струи, Джилван полноводный...

И опять ей откликнулись:

О Лейли! Лейли, Лейли...

И под этот припев снова Мухаббат прошла круг. И снова остановилась.

Будто винные чаши, наш хлопок цветет...
О Лейли! Лейли, Лейли...
Богача теперь не боится голодный...
О Лейли! Лейли, Лейли...

И неожиданно она прибавила новый стих к этой еще не отстоявшейся песне:

Нападок баев теперь не боюсь!

Эти слова были встречены громкими рукоплесканиями.

О Лейли! Лейли, Лейли...

Раздались восклицания:

— Молодец! Молодец, Мухаббат, живи сто лет!

Мухаббат, возбужденная, села на свое место.

Я бью их палками и серпами,—

докончил частушку один из сидящих. Все его поблагодарили, аплодируя.

Засмеялись, одобряя.

— Ну, а теперь, Фатима, тебе плясать. Тебе!

— Ладно! Тогда мы спляшем вдвоем с Хасаном. Иди, Хасан!

Под тот же напев они вдвоем прошли круг, и тогда Фатима остановилась и спела:

В саду у меня цветок цветет...

Ей подпели:

О Лейли! Лейли, Лейли...

А она протянула руку:

На руке у меня соловей поет,

Хасан подпевал:

О Лейли! Лейли, Лейли...

А она улыбнулась:

Не боится богатых теперь Фатима,—
Теперь Фатима богата сама.

Хасан подпевал:

О Лейли! Лейли, Лейли...
Сердце мое возьми, Лейли!

И теперь Фатима подпевала ему, а он пел:

Сердце гордо и твердо мое, Лейли!
Ни к чему мне хозяйские сундуки,—
У меня есть сердце да две руки.
Сердце мое возьми, Лейли!
Возьми, Лейли!

И все подпевали:

О Лейли! Лейли, Лейли...
Ты милее всех других, Лейли,
И прекрасней всех твои цветники.
Но есть у меня две крепких руки,
Чтоб сорвать твой цветок, Лейли, Лейли!

— Молодец, Хасан Эргаш! Молодец!..— закричали ему.

А Фатима, которой и пятнадцати лет еще не было, растерялась, смутилась и убежала к Мухаббат.

Тут поднялся старик, удивленно поднимая полы своего халата.

— Братцы! Что же это такое?

— А что? Что с вами, Сабир-бобо?

— Подо мной — вода. Вода!

— Может быть, спросонья что-нибудь, Бобо-Сабир? — И вокруг засмеялись.

— Вставайте! Она и под вас пойдет. Слышите? — Он пошлепал ногой в подступившей к нему воде.

Все поднялись, собрались вместе, удивленно глядя, как при свете месяца медленно по серой земле расползается черное зловещее пятно неведомо откуда явившейся воды.

А вода натекала, тихонько булькая и неся на себе мелкие сухие стебли степной травы, отсохшие листья хлопчатника. А с полей слышался плеск струй,— там она растекалась уже свободным паводком.

Нор-Мурад проговорил:

— Это тезгузарцы виноваты. Они брали воду на свои поля, а когда вода перелилась через край, прозевали. Теперь она погубит нам весь урожай.

Сапожник Самад низко склонился к канаве.

— Нет, в Тезгузаре сегодня воды не было. Они воду не брали, канава еще сухая.

Бобо-Сабир ответил:

— После проверим, кто виноват. Гадать некогда! Надо скорей запрудить воду. Ты, Самад, иди туда с Нор-Мурадом. Возьмите ребят с собой, а остальным всем надо скорей идти в поле, убирать на сухое место хлопок. Надо также снопы проса и маша спасать. Скорей, братья!

Крестьяне заторопились к своим полям, а Самад с Нор-Мурадом и несколько ребят, захватив мотыги, побежали берегом Тезгузара искать промоину.

Пройдя немного, увидели, что в двух местах вода, перелившись через край, текла на поля, запруженная в этом месте так плотно, что ниже русло совсем опустело.

— Ох, тезгузарцы! — рассердился Нор-Мурад.— Пожадничали! Захотели всю воду к себе повернуть. А вода, видно, где-то просочилась на нашу жатву. И теперь нам беда, беда нам, беда...

— Скорей, скорей, чего там думать? Подумаем завтра. Надо скорей заделать промоину, а не то — беда! — торопил Самад.

— Да я о беде и думаю,— откликнулся Нор-Мурад.

— Раздевайся! — торопил Самад, сбрасывая халат и влезая в воду.— Иди сюда! Мы с тобой здесь ляжем поперек потока. А ребята пусть кладут глину тут вот, в воду повыше нас. Мы сдержим глину, чтобы ее не сносило, пока не окрепнет.

Они легли, укрепляя перед собой комья глины. Постепенно глинистая плотина преградила течение.

Во второй промоине они хотели поступить так же.

Но поток здесь был слишком быстр и силен. Сколько они ни бросали земли и глины, все уносилось течением. Комья расползались в воде, исчезали, как соль в кипятке.

От напряжения дрожали руки, плечи ныли, а вода текла, и казалось, промоина расширялась, а вода прибывала.

— Да мы ж делаем не то, что надо! — выскочил из воды Самад.— Нам скорей надо убрать доски на плотине.

— Растерялись, потому и не сообразили,— ответил продрогший Нор-Мурад, надевая халат на мокрое тело.

Все поспешили к плотине.

— Э, тезгузарцы воду украли! Два преступления сразу — крали воду и затопили наш урожай.

Затворы на плотине оказались на месте и заслоны подняты, но между заслонами и желобом кто-то вбил колья, прислонил к ним толстую кошму, и вся вода Джилвана, свернув в русло Тезгузара и не вмещаясь в нем, перелилась через край и хлынула на крестьянские поля.

— Ну, теперь у меня добрая добыча. Высушим ее и ночами будем подстилать, когда придется ночевать в поле,— сказал один из юношей, берясь за кошму.

Кошму вытянули.

Вода хлынула в свое русло, а в Тезгузаре сразу уровень ее опустился.

Крестьяне вернулись к неподатливой промоине и, не торопясь, плотно засыпали ее, утаптывая ногами и мотыгами.

Когда они пришли к своим остывшим, промокшим одеялам, большинство из крестьян уже ждали их.

— Ну как? — нетерпеливо крикнул им Самад.— Весь хлопок спасли?

— Часть,— ответила Мухаббат.— А много хлопка вода разбросала по полю, в темноте не видно, утром разберемся.

Молча снова легли на берегу Тезгузара. Ни говорить, ни спать никому не хотелось. Ждали, чтобы скорее наступил рассвет.

Издалека донесся конский топот.

— Кто-то едет.

— Какой-нибудь тезгузарец. Едет ругаться, что мы воду распрудили! — решил Самад.

— Пускай подъедет! Я ему тут прочту молитву. Ишь ведь, мало того, что мы за день устали, из-за них и ночь не пришлось глаз сомкнуть!

Всадник подъехал.

Он остановился, всматриваясь в лежащих людей.

Спешился, привязал лошадь и крикнул:

— Доброй ночи, товарищи, как дела идут?

Нор-Мурад сразу остыл. Это был Сафар-Гулам.

Мухаббат, услышав его голос, прибежала к нему:

— Что случилось? Чего это ты ночью приехал? Беда какая-нибудь?

— Никакой беды. По тебе соскучился.

— Ты правду говори. У меня сердце что-то ноет.

— Причина есть. Но не печальная, а радостная.

— А у нас тезгузарцы воду украли и затопили нам все поля. Многое из урожая погибло. Сейчас не видно, ждем, пока рассветет! — подошел Нор-Мурад, еще не расслышав слова Сафар-Гулама о радости.

— Какая ж радость, отец? — спросила Мухаббат.

— Радость? — удивленно переспросил Нор-Мурад.

— А такая радость — приехала комиссия. Будут проводить земельную реформу.

Все поднялись и окружили Сафар-Гулама.

— Как же это?

— Какая комиссия? Где она?

— А кому дадут землю Бобо-Мурада?

— Вот интересно: у торговца рисом Хатама тоже отрежут землю?

— Ну кому ж мне сперва отвечать? — засмеялся Сафар-Гулам.

Бобо-Сабир тоже подошел:

— А я хочу знать: два танаба земли позади моего дома вернутся ко мне? Их отнял у меня Бобо-Мурад. Дал взятку казию, написал подложную купчую и оттяпал. Отдайте мне, старику, ее назад, чтоб пахать мне около своего дома. Куда уж мне на старости лет ходить в этакую даль, сюда. А? Можно это? Сделайте такую милость. Что уж мне тут скитаться по берегам Джилвана!

— Ладно! Будет по-вашему, отец,— ответил Сафар-Гулам.

— А почему вы приехали сюда без комиссии? — спросила Мухаббат.

— Они приехали вечером. Мы провели совещание. Для работы с комиссией выбрали несколько человек. От женщин — тебя, Мухаббат. Завтра начнут работать. Чтоб завтра пораньше начать, я сейчас и приехал за тобой. Собирайся.

Пока она одевалась, один из молодых крестьян спросил:

— Бобо-Сабиру вы обещали отрезать землю у Бобо-Мурада. А мы как? По-прежнему будем копаться здесь, за тридевять земель от дому? А, дядя Сафар?

— Когда начнем работу, тогда увидим. Проверим списки, возьмем землю у купцов, у ростовщиков, у богачей, у которых земли больше, чем они сами могут обработать. Проверим всех безземельных, всех малоземельных. Соберем общее собрание. Тогда и решим.

— Вы мне не ответили, дядя Сафар. Конечно, бедняки в обиде не останутся. Но при разделе отобранных земель первыми получат те, кто будет ее обрабатывать сам?

— А что ж нам с тезгузарцами делать? — спросил Нор-Мурад.

— А что тезгузарцы?

— Ай-яй, ты, вижу, ничего не понял из того, что я тебе говорил: сегодня ночью они запрудили реку кошмой и забрали к себе всю воду. А из-за этого вода вышла из берегов, затопила у нас собранный хлопок, все снопы, все растащила в разные стороны, перемочила, и еще неизвестно, уцелело ли что-нибудь.

— Нужно составить акт и передать дело в суд.

— Когда Бобо-Мурад изругал нас, мы тоже, по совету Сийаркула, акт составили. Тоже передали в суд. А суд ничего не сделал. Тянул, тянул, пока не замял дело.

— Весной в суде еще были чуждые нам люди, они взяли с Бобо-Мурада взятку, а теперь состав суда обновили. Но только тут надо разобраться. Тезгузарцы воду никогда не воровали, да и никакой нужды в воде у них нет. А если б вздумали воровать, сделали бы это с умом.

— А кто ж еще будет поворачивать воду в Тезгузар? — спросил Нор-Мурад.

— Я говорю: тут надо разобраться.

Сафар-Гулам закурил. Немного помолчав, продолжал:

— По-моему, тезгузарцы ли, или кто-нибудь из другого селения, но сделали это классовые враги, сделали сознательно.— Сафар-Гулам снова зажег потухшую папиросу. Вдруг вспомнив, сказал Самаду: — Э, совсем было забыл: возьми-ка мою находку!

— Что ж это ты нашел? — полюбопытствовал Самад.

— По дороге лошадь испугалась чего-то, шарахнулась в сторону, а я решил посмотреть, что там, на дороге. Подъехал, вижу, лежит что-то темное. Присмотрелся,— сапог. Я его поднял. Думаю — кто-нибудь из наших крестьян нес хворост, положил сверху сапоги да обронил. Это по твоему прежнему ремеслу подходящая находка. Пускай она у тебя полежит,— может, кто-нибудь искать начнет, тогда отдашь.

Самад взял сапог в руки и по привычке оглядел его, насколько позволял месяц.

— Бедняга! Он в этих сапогах в воду попал, в сапоги натекла вода, промочил ноги, положил сапоги на хворост, чтобы, пока до дому дойдет, их ветерком пообдуло. Домой приходит, а одного сапога нет.

Он внимательно и задумчиво вертел сапог в руках, прощупывая швы привычными пальцами.

— Если хозяин не сыщется, этот сапог я беру себе. Ладно, брат Сафар? А?

— Бери, только к чему тебе один сапог?

— А помнишь, весной, когда мы подрались с Бобо-Мурадом, он запустил в меня сапогом? Потом сам убежал, а сапог у меня

остался. Так этот сапог, если хозяин не найдется, будет парой к тому.

— Это дело! — одобрил Сафар-Гулам.

— Сапог можно считать почти моим. Дай-ка мне спички, взгляну, стоящий ли товар.

Сафар-Гулам посветил ему спичкой.

Рассмотрев сапог, Самад задумчиво сказал:

— Как будто это моя работа. Зажги, пожалуйста, еще одну.

Снова он оглядел сапог и с удивлением поднял глаза на Сафара.

— Это ведь пара от того сапога. Этот сапог оставался у Бобо-Мурада. Видно, он подобрал к нему пару и кому-то продал. А сапогу другой сапог пришелся не по вкусу, и он от него сбежал, решил вернуться к прежнему.

— Погоди-ка, погоди-ка...— попытался собрать нахлынувшие мысли Самад.— Сапог мокрый, тонул в глубокой воде, потерян на дороге от Тезгузара к деревне. А по этой дороге никто из наших не ходил, и, кроме нас, ходить по этой дороге некому...

— А если б и пошел кто, то не в мокром сапоге...

Сафар-Гулам насторожился:

— Кто ж прошел?

— Сапог этот остался у Бобо-Мурада. Не слыхать было, чтоб в нашей деревне кто-нибудь покупал в это лето сапоги. А уж если б и купил у Бобо-Мурада, кто-нибудь из нас знал бы об этом.

— Значит, выходит, сапог мог потерять прежде всего сам Бобо-Мурад. Потерял по дороге с этих полей к нам в деревню. И на этих полях у Бобо-Мурада никаких дел нет, и никто тут днем его не видел. Зачем же понадобилось ему ходить по дороге ночью?

Нор-Мурад вдруг забыл о своей обиде на тезгузарцев. Его гнев направился в другую сторону:

— Ночью, крадучись, в поле из деревни никто не ходит с добрым делом. Это неспроста! По всему выходит, что ночью сюда приходил Бобо-Мурад или кто-то из его дома. И в ту самую ночь, когда кто-то пустил воду на наш урожай.

— А ведь я примечал, что у него разные сапоги на ногах. Один был этот, с широким голенищем, с грубой строчкой по голенищу, а другой — с узким голенищем и машинной строчкой,— сказал Гафур.

— Значит, здесь ночью был Бобо-Мурад. Зачем?

— Когда нам, беднякам, досталась эта земля, мы перестали работать на Бобо-Мурада. Все дела его остановились. Злобствовать-то он злобствовал, это все знают. Значит, приходил сюда не с добром.

— Раньше, когда ты, бывало, говорил: это дело рук классового врага, я всегда про себя думал: у Сафара это какая-то болезнь — во всем обвинять баев, и сегодня, когда ты об этом сказал, я опять так подумал. А теперь я пришел к выводу — это дело с водой дело рук Бобо-Мурада! — твердо, словно все наконец продумав, сказал Бобо-Сабир.

— Когда он ночью втыкал колья и пристраивал кошму, видно, оступился. На обратном пути разулся, сапог перекинул через седло, спешил поскорей отсюда убраться и не заметил, как сапог сорвался с седла. Все ясно! — согласился Нор-Мурад.

— Помните, он весной кинулся на меня, когда услышал, что я не хочу больше на него работать, а пойду сюда. Если он тогда, при людях, не смог сдержать себя, надо думать, дома у себя задыхается от злобы.

— Ух, негодяй! Я из-за него на тезгузарцев грешил! Затопил наши поля, весь урожай хотел погубить. А?

— Он нашу воду выпустил, а мы на его голове зажжем такой огонь, что ему жарко станет.

— Прежде всего отберем у него землю, рабочих быков, земледельческие орудия,— с этого и начнется пожар на его голове! — сказал Сафар-Гулам и, видя, что Мухаббат уже готова и ждет его, посадил ее к себе на коня, и они поехали в осеннюю тьму, торопясь в деревню, где с утра комиссия начинала учет земли, быков, инвентаря у тех, кто обогащался за счет труда батраков.

Вскоре топот копыт затих вдалеке.

Близилось утро.

Утро великого передела земли.

То, что и не снилось рабам, их дети сотворили наяву.

3

За большим блюдом жирного плова сидел хозяин дома Бобо-Мурад, деревенский мулла, хозяйский сын Шо-Мурад и двое работников Бобо-Мурада — Истад и Шадим.

Впервые в жизни старые работники удостоились приглашения к хозяйскому плову. Никогда в жизни не приходилось им сидеть с хозяином за одной трапезой. Стесняло их и присутствие столь высокого гостя, как деревенский мулла. Смущало и то, что хозяйский сын сидел дальше от муллы и, значит, на менее почетном месте, чем эти двое работников. Стесняясь, они брали плов помалу и в разговор не вступали.

Когда съели плов и прочитали молитву, Шо-Мурад отнес

блюдо и принес чайник с чаем. И снова сел на краю ковра ниже своих работников.

Истад и Шадим встали и почтительно попросили хозяйского сына сесть выше их:

— Вы вперед пройдите. Покорнейше просим.

— Нет! — ответил Шо-Мурад.— Вы старше меня. Вы для меня — как старшие братья. Мне зазорно сидеть впереди вас.

Мулла вмешался в их спор о месте:

— Сказано: «Гость старше отца». Шо-Мурад моложе вас, он должен почитать вас по возрасту, а к тому же вы здесь сегодня в гостях.

Первую пиалу чая Шо-Мурад протянул мулле, а вторую не отцу, а Шадиму, сидевшему впереди Истада.

Шадим, смутившись от этой чести, покраснел и протянул пиалу мулле.

Мулла, только что выпивший свою пиалу, отказался.

Шадим предложил хозяину, но и Бобо-Мурад отказался.

Когда он ее протянул было обратно Шо-Мураду, мулла почтительно сказал:

— Брат Шадим, пейте сами. Не стесняйтесь. В прежнее время, по невежеству, хозяин иногда грубил своим работникам, но теперь Бобо-Мурад осознал свои прежние ошибки, знает, как надо обращаться с настоящими помощниками в своих трудах. Работник — это первый друг хозяина по приобретению богатства. Между вами и хозяином разницы нет. Ведь если он придет к вам, вы же тоже примете его в своем доме с честью и уважением.

— У нас и домов-то нет. Негде принимать! — со стыдом и досадой ответил Истад.

— Если не было до сих пор, теперь будет. И земля у вас будет. Ведь если хозяин даст вам по четыре-пять танабов земли, вы начнете ее обрабатывать исполу, на паре хозяйских быков, разве хозяин обеднеет? Нет, не обеднеет,— ласково объявил мулла.

— Я даже хочу построить каждому из вас по дому на танабе земли в поле, поближе к деревне! — добавил Бобо-Мурад.

— Видите, сколь милостив к вам хозяин! — восхитился мулла.— А вы должны ценить это, за добро платить не злом, а добром.

— А какое же зло мы ему делаем? — спросил Истад.

— Есть такие работники, что норовят отнять у хозяев их землю, зарятся на их скот, на их имущество, доносят комиссии о хозяйских делах и тайнах. Это грех. Это большой грех перед богом. С таких работников не надо брать пример, не вздумайте подражать им.

Мулла принялся за чай, а работники, подтверждая слова муллы своим молчаливым согласием, сидели в раздумье, опустив глаза.

Бобо-Мурад сказал мулле:

— Я так решил — четыре танаба земли, ближней к селу, которая у меня от Нор-Мурада, да два танаба за домом Бобо-Сабира прошу вас записать на имя Шадима, а шесть танабов лучшей моей земли позади моего дома запишите на Истада.

И обратился к работникам:

— Как? Подходит вам это?

— Ладно. Пишите,— согласился Шадим, а Истад молча кивнул головой, все еще раздумывая о чем-то, чего не хотел или не умел высказать.

— Помоги вам бог! — торжественно проговорил мулла.— По словам нашего пророка, одно дело отнять у человека его имущество, а другое — принять от него дар. Хозяин дарит вам по шесть танабов из лучших земель. Вот какова его милость.

Бобо-Мурад продолжал речь муллы:

— А если вы присоединитесь к вашим деревенским босякам и разбойникам, заберете и разделите всю землю богатых крестьян, а также и мою землю, если заберете и разделите ее между собой, что вам достанется? По скольку земли там на каждого из вас выйдет? Едва ли по два танаба наберется. А то и меньше того! А больше ни за что не достанется!

Мулла, подтыкая под себя халат, сел поудобнее и сказал:

— Есть такой рассказ:

«Однажды эмир Шах-Мурад выехал из дворца и в сопровождении свиты направился к водоему Диванбеги.

Проезжая мимо бани Тукум-Дузи, он услышал крик из банной топки:

— Эй, эмир, постой, постой! У меня к тебе есть иск!

Удивился эмир, натянул поводья и свернул к бане.

Там стоял по пояс в золе человек и звал его.

— Не стесняйся, эмир, подъезжай ближе. Это я тебя звал!

— Какой же у тебя ко мне иск?

— О наследстве.

— Так иди сюда, докажи свое право!

— Мне нельзя встать. Если я встану из золы, обнажатся все те места, которые подобает прикрывать, и твой богослов накажет меня сорока плетями «за обнажение наготы». Если ты пожелаешь меня выслушать, позволь мне говорить отсюда.

— Говори. Какие ж у тебя доказательства?

— Я твой брат по рождению, поэтому ты должен половину наследства, оставшегося нам от предков, отдать мне.

— А чем ты докажешь, что ты мне брат?

— А тем, что и ты и я равно дети праотца нашего Адама от жены его Евы. Но у тебя столько богатства, владений и сокровищ, а я гол и голоден. Ты красуешься в седле, а я пресмыкаюсь в золе. Ты пребываешь в славе и чести, а я в безвестности и небрежении. Раздели сейчас же наше наследство!

— Правильно и убедительно доказал! — согласился эмир. Вынул из кошелька два черных медных гроша и кинул их человеку.

— Как же так? — удивился человек.— Из всех твоих богатств на мою долю ты выделяешь только эти две монетки?! Неужели это все? Будь справедлив, дай мне хотя бы четверть твоих сокровищ.

— Верь, что ты получил больше, чем тебе причитается! — возразил эмир.— Ведь если все нищие Бухары узнают, как бесспорно доказал ты свое право на наследство, они потребуют у меня своей доли. И мне придется им тоже выделить их часть. И по этому дележу тебе не останется даже и этих двух медных грошей».

— Вот,— добавил мулла.— Если все бедняки захотят получить свою долю из хозяйских земель, никому не достанется больше одного танаба. А посему мы и запишем как великое благодеяние эту землю на вас...

Мулла вынул пенал, достал из пенала перо и начал писать дарственную на землю, когда вдруг, не стучась, вошел один из бедных крестьян и, оглядевшись, спокойно сказал:

— Идите, бай, скорей,— вас вызывает комиссия по земельной реформе.

Бобо-Мурад побледнел, поднялся. Спазма сдавила ему горло, и он стоял, поглаживая шею. Потом посмотрел на Истада и Шадима:

— Вы приходите за мной следом. Я, если понадобится, выставлю вас свидетелями.

Растерянный и осунувшийся, он вышел на деревенскую улицу.

Двор сельсовета заполняли разные люди. С одной стороны толпились бедняки, хозяйские работники, безземельные и малоземельные крестьяне.

Их лица были возбуждены и радостны, разговор громок и весел.

А на другой стороне двора сидели на корточках, привалившись к стенам, торговцы и землевладельцы. Лица их были синевато-бледны, щеки осунулись, и только глаза выражали напряженную, встревоженную жизнь, то взглядывая с негодованием, ненавистью и гневом в сторону бедноты, то потупившись. Здесь никто не говорил громко, а только перешептывались.

В одной из комнат сельсовета, в кабинете Союза бедноты, работала комиссия по земельной реформе. Она просматривала и све-

ряла материалы, уже изученные ею, спрашивала и выслушивала каждого богача и владельца земли и затем выносила окончательное решение.

Так дошла очередь и до Бобо-Мурада.

Его вызвали.

Побледнев, он неторопливо вошел и негромко ответил на первые вопросы.

— Ваше имя?

— Бобо-Мурад.

— Имя отца!

— Мирза-Мурад.

— Занятие?

— Крестьянство.

— Есть побочные занятия?

— Нет.

— Ложь! — воскликнул сидевший на полу Самад.— Обувью спекулирует, торгует сапогами. Это ж всей деревне известно.

— Что вы на это скажете?

— Зимой, когда на поле работы нет, иногда покупаю пару-другую ношеных сапог, чиню, а потом продаю. Маленько поддерживаю этим свое хозяйство.

— Неправда! — возмутился Самад.— На него больше двадцати сапожников работало. За пару нам платил по рублю, сам продавал не менее как по пятнадцать рублей, а чаще всего по двадцать за пару. Вот и считайте, «маленько» это или нет. Вру я, что ли? Когда в Джилван пустили воду и вся беднота получила там землю, никто не стал на него работать. Теперь его доходы, пожалуй, сократились.

— Ладно. Скажите, сколько у вас земли? — спросил председатель комиссии.

— Сорок танабов.

— Опять неправда! — удивился на этот раз уже Нор-Мурад.— У него не меньше восьмидесяти танабов, а это равно двадцати гектарам.

— А кто тебя спрашивает, раб? — потерял самообладание Бобо-Мурад.

— Предупреждаю,— строго сказал председатель Бобо-Мураду,— за такие слова, как «раб», вас будут судить. Советская власть не делит людей на благородных и рабов, она знает только два класса — эксплуататоров и трудящихся.

— Довольно врать, Бобо-Мурад! Хватит той лжи и того обмана, что слышала от тебя наша деревня за твою жизнь. Теперь-то, на старости лет, не ври,— ведь курицу, прежде чем резать, и ту сажают на привязь, чтобы она не поела какой-нибудь дряни,

чтоб успела очиститься, а ты вот-вот уже с жизнью распростишься, а никак от своей скверны не хочешь очиститься. Или не можешь?

— Да его ложь бесполезна. Ведь земля-то его у всех перед глазами. Ее в сундук не запрешь, не закопаешь, под халат не спрячешь. Все знают его землю, а сколько в ней гектаров, какое имеет значение? Говорил бы прямо начистоту. Мы ведь ее, когда пожелаем, всегда смерить можем. Так-то, Бобо-Мурад! — с укором сказал Сабир-бобо.

Со всех сторон послышались голоса крестьян:

— Да что там спорить, восемьдесят танабов у него вполне есть.

— Двадцать-то гектаров? За глаза!

— Вот! — сказал Нор-Мурад.— Ну, я, допустим, из рабов. А ведь Сабир-бобо не из рабов, он потомственный бухарский крестьянин. Так? А и он сказал, что двадцать гектаров у тебя есть. Не менее. Значит, рабы тут ни при чем.

— А вы у моих батраков спросите. Они на моей земле всю жизнь проработали. Должны ее лучше вас знать. Пусть они скажут,— сколько у меня земли.

Председатель ему ответил:

— Сколько бы ее ни было, сейчас вы сами сказали, что на ней работают ваши батраки, а не вы сами. Так?

— Советская власть разрешает в пору таких работ, как посев или окучка хлопка или сбор урожая, брать одного-двух работников.

— А вы разве хлопком занимаетесь?

— Я имею договор засеять под хлопок двадцать танабов.

Сабир-бобо снова заговорил:

— Договор вы заключили, это верно. Семена и деньги от государства взяли. Из семян выбили масло на маслобойке. Верно? А деньги положили в сундучок — к доходам от перепродажи сапог. Для отвода глаз четыре танаба кое-как пропахали и засеяли, а когда надо было поливать посев, махнули на него рукой, и он зачах. Верно?

— Вопрос ясен,— сказал председатель.— Но все ж спросим ваших свидетелей. Кто там у вас?

— Истад и Шадим.

— Позовите их.

Оба встали перед председателем.

— Вы работники Бобо-Мурада?

— Да.

— Сколько земли у вашего хозяина?

— Да небось тридцать танабов есть,— ответил Шадим.

— А по-твоему?

— Должно быть, столько же.

— Бобо-Мурад! Вы сказали, что у вас сорок танабов, а они говорят тридцать.

— Я считал так, они считали иначе. Каждый человек считает по-своему.

— Они забыли то, чему их научил бай,— решил Самад.

— Ладно. Выйдите. Мы разберемся,— сказал председатель Бобо-Мураду.

Бобо-Мурад вышел. Истад и Шадим остались стоять. Председатель снова спросил их, и снова они ответили, что у их хозяина около тридцати танабов земли.

— Они подкуплены! — вскочил Самад.

— Нет! — спокойно возразил Сафар-Гулам.— Они обмануты. Им нужно открыть глаза. Разъяснить им заблуждение и вывести их на верный путь.

Председатель сказал:

— Земли хозяина в первую очередь должны отдать вам. А что останется, отдадим другим беднякам. Зачем послушались богача и обманываете нас?

— Нам чужого не надо. Мы еще боимся бога.

— Не понимаю такой совести! — сказал сидевший рядом с председателем Эргаш.— Два дня назад вы приходили ко мне и просили дать вам лучшие земли вашего хозяина. Вы говорили: «Они пропитаны нашим потом». А сегодня у вас вдруг заговорила совесть. Откуда она?

— Тогда нас дьявол попутал, а теперь нас бог просветил.

— Хорошо, идите. Если вы боитесь бога, пусть он вам и землю дает. А у нас есть бедняки, которые, не боясь бога, охотно возьмут эти земли.

— Я вот хоть и боюсь бога, но два танаба позади своего дома все равно возьму. Их у меня Бобо-Мурад обманом отхватил, не боясь бога,— сказал Сабир-бобо.

Истад и Шадим постояли, словно борясь с искушением что-то сказать, переглянулись и медленно вышли.

Вопрос о землях Бобо-Мурада в основном был решен, и комиссия перешла к рассмотрению следующих дел.

4

Темной ночью представители комитета бедноты — Сафар-Гулам, сапожник Самад, Мухаббат, Нор-Мурад, еще несколько недавних бедняков и несколько милиционеров подошли к воротам Бобо-Мурада.

Самад постучал.

Никто не отзывался.

Он постучал снова.

За воротами и во дворе все было тихо.

— Что там? — забеспокоился Сафар-Гулам.— Надо перелезть через стену, а не то он сбежит.

— Верно! — согласился Самад.— Я сейчас поищу где-нибудь лестницу.

— Не надо. Что нам, не приходилось, что ли, через такие стены прыгать? Ну-ка, подсадите!

Один за другим, помогая друг другу, все тихо перебрались через стену во двор.

Во дворе — ни души. Приемная комната заперта на замок. Хлев и конюшня пусты. Дверь людской открыта.

— Истада и Шадима тоже нет! — сказал Самад, заглянув в темную пустую людскую.

— Бедняги застряли между двух миров! — сказал Сафар-Гулам.

— Когда землю у Бобо-Мурада взяли, работы у них никакой не стало. А после того, как их поймали на базаре, когда они хозяйскую корову норовили продать, они совсем от нас отошли. Продались хозяину,— сказал Самад.

Осмотрев двор и никого не найдя, пошли к женскому дворику.

Сафар-Гулам постучал в маленькую резную дверь.

Послышались шаги и женский голос:

— Отец? Почему вы так скоро вернулись?

— Мы не отец. Мы сами его ищем! — ответил Сафар-Гулам.— Где бай?

— Не знаю,— ответила женщина.

— Вы же сейчас спрашивали: «Почему так скоро вернулись?» Откуда ж он должен вернуться? Куда он ушел? — строго спросил Сафар-Гулам.

— Два дня назад он поехал в Гиждуван. Сказал, что пробудет там недельку,— ответил голосок за дверью.

— А где твой старший сын?

— Он с отцом уехал.

— Ладно. Тогда, чтоб посторонние мужчины вас не смущали, к вам войдет Мухаббат и осмотрит комнату.

— Пусть войдет.

Войдя в комнату, Мухаббат увидела пылающий очаг.

— Зачем в такую погоду огонь горит?

— Саксаульного угля мало стало, хочу пережечь дрова на уголь.

Но из огня торчали зубья бороны. Жена Бобо-Мурада жгла земледельческие орудия, чтобы они не достались крестьянской бедноте.

— Вы, я вижу, и железные зубья пережигаете на уголь! — показала на костер Мухаббат.— Ладно! Железный уголь получится.

Осмотрев все комнаты, Мухаббат не нашла там никого из мужчин и вышла.

— Мы уходим. Закройте за нами ворота! — крикнул Сафар-Гулам.

Все вышли на улицу.

— Я не верю этой женщине. Как-нибудь Бобо-Мурад пронюхал о нашем решении и готовится бежать, а пока где-то спрятался и жену подучил так отвечать. Ее слова о том, что два дня назад он уехал в Гиждуван,— явная ложь.

— Я его вчера видел в деревне,— подтвердил Нор-Мурад.

— А почему ты это не сказал там, этой женщине? Ты бы ее сразу сбил с толку.

— Постеснялся, как бы ты не сказал, что я не могу себя правильно вести при исполнении заданий комитета. Но тебе я скажу: я и сына его вчера видел.

Юсуф, услышав эти слова, добавил:

— Его сына и я вчера видел. Он мне сказал: «Сейчас ваше время. Делайте, что хотите. Скоро опять все переменится, придет и наше время».

Сафар-Гулам рассердился:

— Почему вы не сообщаете об этих делах в комитет? Надо все делать вовремя.

Мухаббат подзадорила его:

— Надо делать все вовремя, правильно ты сказал. А почему сам прозевал,— Бобо-Мурад успел зарезать двух рабочих быков, продать двух коров, а еще двух коров перехватили уже на базаре, да и то потому, что его работники замешкались. А инвентарь, которого нам так не хватает, его жена сейчас сжигает. Это нас тоже касается: надо все делать вовремя, не упускать времени.

— Верно говоришь! — согласился Сафар-Гулам.— Сейчас надо ухо держать востро, не зевать, не дремать. Этого требует от нас большевистская партия. И сейчас нам никак нельзя упустить Бобо-Мурада.

— А не то к утру он сбежит! — поддакнул Самад.

— Одному надо остаться тут, покараулить, а остальным где-нибудь ждать неподалеку.

— А неподалеку тут Сабир-бобо. Посидим у него,— предложил Самад.

— Ладно, пойдем к нему, а кто останется здесь?

— Я останусь,— сказал Юсуф.— Ведь наши дома рядом. Никто не удивится, если и увидит меня здесь.

Так и решили. Юсуф остался, а остальные вошли в узенький, заросший травой проход, идущий к дому Сабира-бобо.

Вдруг из его дома раздался жалобный женский вскрик.

— Неужели старик бьет свою старуху? — забеспокоился Сафар-Гулам.— Не похоже на старика.

— Э, Мухаббат! Иди скорей прямо на женскую половину. Что там у них?

Но калитка оказалась запертой на цепочку.

Опять пришлось перебраться через невысокую ветхую стену двора.

Во дворе темнота не остановила их,— глаза уже свыклись с темнотой, а из дома раздавались вскрики, приглушенные и мучительные, но голос был мужской. Мухаббат кинулась туда.

Едва вскочив в дом, она выбежала, порывисто дыша.

— Скорее! Там несколько человек избивают кого-то.

Сафар-Гулам услышал:

— Убили ее, убили! Убивайте и меня! Мне без нее не жить!

И на эти жалобы хриплый голос ответил:

— И тебя убьем. А сперва поглядим, как тебе сейчас сладко, чтоб ты и на том свете эту ночь помнил, раб подлый!

— Скорее туда! — крикнул Сафар-Гулам, выхватывая свой наган.

Мухаббат осталась во дворе, а Сафар-Гулам кинулся впереди всех в комнату.

Там четверо стояли над окровавленным Сабиром-бобо. Тело его жены лежало на ковре, кровь и седые волосы закрывали ее лицо.

— Руки вверх! — внезапно крикнул Сафар-Гулам.

Выронив ножи и откинув топор, затрясшиеся от неожиданного ужаса злодеи подняли руки. Это были Бобо-Мурад, его сын Шо-Мурад и работники — Истад и Шадим.

Их обыскали. У них нашли какие-то записки, пузырек с жевательным табаком, у Шо-Мурада — старинный револьвер «бульдог» с четырьмя патронами в барабане.

Преступников окружили и повели в сельсовет.

Сабира-бобо повезли в город, в больницу.

В сельсовете осмотрели записки, найденные у преступников.

Две из них были дарственные грамоты, написанные муллой от имени Бобо-Мурада о шести танабах земли, подаренных Шадиму, и о шести танабах, подаренных Истаду.

Третья оказалась богословским толкованием шариата, дескать, убийство не считается грехом и преступлением, если человек убьет того, кто его открыто ограбил.

Все эти записки написаны были одной и той же рукой, почерком деревенского муллы.

Допросили убийц.

— Я так понимаю,— сказал Сафар-Гулам баю.— Сабир-бобо взял у тебя обратно свою землю, и ты решил ему отомстить. Ты готовился не спеша, посоветовался с муллой, взял у муллы прощение этого греха, спрятал это «отпущение грехов» у себя на груди и несколько дней носил его. Это видно по тому, что записка смялась. Так?

Бобо-Мурад молчал.

— Так? — переспросил Сафар-Гулам.

Не поднимая от полу глаз, Бобо-Мурад хриплым голосом ответил:

— Да. Так.

— Ты ждал случая, но откладывал это дело. Хотел сделать его тихо и незаметно, а помешала тебе новость, которую ты узнал сегодня: решение арестовать тебя. Тогда ты решил, прежде чем сбежать из деревни, все же довести намерение до конца и кинулся к Сабиру-бобо, пока жена твоя жгла крестьянский инвентарь, чтобы он не достался нам. Так?

— Ты сам знаешь, чего же спрашиваешь?

— Так. А за что ж вы убили жену Сабира-бобо?

— Жену-то? А иначе было нельзя. Когда мы Сабира-бобо повалили, она вбежала и закричала. А она всех нас знала. Если бы мы ее оставили, она выдала бы нас.

— Ну, когда увидишь рядом с собой муллу, попроси его,— он тебе и на это убийство напишет разрешение.

Бобо-Мурад промолчал.

5

На дворе похолодало, шел снег пушистыми, легкими хлопьями. Неся перед собой светильник, Садык вошел в хлев. Там было тепло и тихо.

Задав скоту корм, он подошел к быку, ласково погладил его сильную, мускулистую шею, гладкую, гибкую спину.

— Ну, Черный Бобер!

Черный огромный бык никого к себе не подпускал. Он был крут и беспощаден со всеми, он знал только Садыка.

Бык обнюхал халат хозяина и лизнул его руку.

Садык гладил быка, слезы душили Садыка.

«Не могу. Нет, сам не могу. Родился на моих руках, растил его, холил. Вырастил. Пахал на нем танаб земли в день. А теперь отдать? Отдать, не зная кому! Нет, не отдам».

Тяжело втянув голову в широкие плечи, Садык стоял и думал.

Бык перестал жевать. По временам он тыкал морду в кормушку, перебирал губами сено, но тотчас поворачивался к хозяину и тихо, тяжело мычал.

«Нет, не могу! — вздохнул Садык.— Не отдам. Силой захотят отнять? Тогда что-нибудь придумаю».

Опять он погладил быка.

— Черный Бобер! Черный Бобер! Не бойся, не отдам! Надо поговорить с беднотой. Объясню им, скажу им: не надо нам колхоза! А ежели отговорю их, никакого колхоза не будет, тогда и земля у меня останется, и ты останешься, Черный Бобер. Останешься моим, Черный Бобер. Моим.

От этой надежды лицо Садыка посветлело. На душе стало вдруг легко и радостно. Садык обнял бычью морду и поцеловал его в гладкую, скользкую горбинку на носу. Потрепал его сильные, гладкие плечи.

Когда Садык вернулся в комнату, семья его уже спала.

Садыку хотелось поговорить о своих раздумьях. Хотел было разбудить жену, но вспомнил: «Что могут посоветовать нам женщины? Волос их долог, а ум короток».

Но ни успокоения, ни сна не было.

Забылся лишь на мгновение, и тотчас приснилось, как двое бедняков уводят Черного Бобра из стойла. Садык схватил нож и кинулся за ними. Он хотел воткнуть нож в Черного Бобра, но, словно восковой, нож вдруг стал легким и мягким.

С бьющимся, ноющим сердцем Садык проснулся.

Он сел и прислушался. Все вокруг было тихо. По-прежнему мирно спала семья.

Садык опять лег, но сна не было. А если вдруг забывался, снова что-то случалось с Черным Бобром: то его кто-то бил на каком-то чужом дворе, то он шел полем, волоча чужую соху.

Видно, уже перед утром его, словно обухом ударило, свалил сон. Он спал тяжело и, видно, недолго, но когда проснулся, во дворе уже светило солнце и ребята весело играли сырым, тающим снегом.

Жена во дворе у очага мыла котел.

Помывшись, Садык сел к жаровне, накрыв одеялом ноги.

Жена, постелив скатерть, поставила перед Садыком чашку каши, а сама села в стороне, внимательно приглядываясь к мужу.

Рассеянно начав свой завтрак, он не замечал ни вкуса еды, ни даже того, что он ест.

— Что с вами, отец? — спросила у него жена.

— Да нет, ничего.

— А я смотрю, не заболели ли вы, сохрани бог! Ночью проснулась, слышу, вы что-то охаете, стонете, мечетесь из стороны в сторону. Я тронула вас, думала, у вас жар. Нет, жара не было. Как только начало светать, вы успокоились. Я скорей ребят прогнала во двор, чтоб вас не будили. Кашу сварила получше, а вы и не едите ее.

— Сколько времени сейчас?

— Да уже полдень.

— Ого. Много я спал! — И Садык заторопился.

— Ну куда вы? Покушайте сперва.

Но Садык, не слушая ее, вышел во двор и уже оттуда крикнул жене:

— Поймай большую пеструю курицу. Я ее вечером зарежу. Посолишь, а завтра сваришь.

— Что вы? Зачем ее резать? У нее гребешок покраснел, она вот-вот нестись начнет. Зиму передержали, а теперь резать?

— Не только ее, всех кур за эту неделю надо порезать,— строго и отрывисто ответил Садык.

Жена побледнела и с тревогой посмотрела на мужа.

— Как же нам без кур? Яйцами я кормлю детей, когда мяса нет. За зиму весь запас яиц кончился. Я все ждала, чтоб куры скорей стали нестись. Теперь вот-вот яйца будут, а вы резать велите?

Садык потерял самообладание от ее упрямства:

— Жена! Волос твой долог, а ум короток. Не соображаешь того, что не сегодня-завтра тут колхоз будет. Всех кур до одной туда заберут. Не лучше ли их съесть самим?

— Кто ж их у нас заберет?

— Колхоз.

— А кто это такой?

— Беднота.

— Те, что при земельной реформе забрали у богачей землю, бороны и сохи?

— Эти самые. А особенно те из них, что стали большевиками и комсомольцами.

— Вы же сами говорили, что середняков власть не трогает, а даже помогает им, в чем есть нужда.

— Так было. Помогали. У нас только бык был, а нам корову дали. Правильно. Вот и была помощь.

— Так чего ж вы испугались?

— Если они заберут все наше имущество, что ж мне останется от «всей их помощи»?

Садык задумался.

Она подошла к нему ближе.

— Как богу угодно, так и случится. Что суждено, того не миновать. Не расстраивайтесь. Идите к очагу, погрейтесь. Чаю заварю. Вы опять что-то побледнели.

— Нет, мне надо пойти, надо поговорить... Покойный Бобо-Мурад, видно, верно говорил.

— А что он говорил?

— Когда реформу проводили, он мне сказал: «Смотрите, сейчас вы, середняки, заодно с беднотой против нас, но придет день, и то, что происходит с нами, произойдет с вами. Тогда вспомните старого Бобо-Мурада». Так что он верно сказал. А ведь бог его любил, без того откуда ж ему было взять столько имущества, столько богатства.

— Тут божья любовь любовью, а он не от любви разбогател. Мы все знали его: ростовщик, бессовестный был,— пять пудов пшеницы одолжит, а при расчете требует десять. Сколько земли у народа отнял за долги! А перед смертью сколько зла натворил: жену Сабира-бобо убил, Сабира-бобо до смерти забил — бедняга умер в больнице... Божья любовь?

— Ну, я пойду.

— Куда ж идти в этакий холод?

— К Хаджиназару. Погорюем с ним вместе, посоветуемся.

Он ушел...

В жаровне у Хаджиназара весело горели дрова.

По комнате растекалось ласковое тепло.

Возле огня, укрывшись стеганым желтым халатом, в шапке, с повязанной поверх нее шерстяной чалмой, дремал Хаджиназар.

Услышав в прихожей несмелые шаги, он очнулся:

— Кто там?

— Это Садык.

— Чего ты там топчешься? Иди сюда.

— Я думал, вы спите. Хотел уйти.

— Какой сон в это время! Иди, потолкуем.

Садык уселся у очага, а Хаджиназар напротив, накинув на плечи свой халат, засунув за спину подушку.

Садык протянул было ноги к жаровне, но отдернул их:

— Ох, как жарко натопили. Чуть не обжегся.

— Я абрикосовые деревья срубил! Пусть лучше меня греют, чем зачахнут в колхозе. Десять деревьев срубил на дрова. А кто может запретить? Нужны мне дрова? Нужны. Свои деревья рублю? Свои. И конец!

Садык спросил с отчаянием и страхом:

— А колхоз будет? Это решено?

— Пока не решено. Но решат. Большевики такой народ,— если задумают, кончено. Их ничем не уломаешь, поставят на своем.

— Но если большинство не захочет идти в колхоз, не потянут же силой?

— То-то и горе, что большинство захочет. Уже хотят. Кто это большинство? Голодные работники да босые бедняки. У кого никогда ничего не было, те и хотят. А их большинство. Им терять нечего. Ну, отдадут назад четыре танаба, что получили при земельной реформе,— и конец.

— А ведь и такие есть бедняки, которым и четыре танаба не досталось. Такие особенно захотят колхоз. Их ничем не удержишь ведь? — теряя последнюю надежду, спросил Садык.

— Им что! А вот у нас заберут все, что осталось, все дочиста! А потому, пока суд да дело, я прирезал хорошего курдючного барана. Одно сало. Засолил его и съем сам, со своей семьей. И конец.

— Я тоже хотел было прирезать быка. Доморощенного своего Черного Бобра. Да не могу. Рука не подымается.

— Ждешь, чтоб у них рука поднялась? У них подымется,— им что!

— Другие уведут, я не увижу. А сам не могу. Я сам его растил, холил.

— Продай мяснику. И не увидишь, как зарежет, и деньги тебе пригодятся. А в колхоз попадет — и быка потеряешь, и денег не найдешь.

— Да, видно, так и придется сделать. Что тут еще придумаешь?

Помолчали. Садык, продолжая горестно раздумывать, спросил:

— А нельзя ли чего-нибудь сделать, чтоб бедняки не захотели идти в колхоз? Чтоб заявили: «Не хотим!» Как хорошо мы зажили бы тогда!

— Дело не в одних безземельных, не только в бедняках, из середняков тоже многие свихнулись, помутились разумом, потянулись в колхоз. Вон взгляни на сыновей Юлдаша. Двое учились в школе и совсем от нас отпали,— один агроном, другой какой-то машинист. И еще своего брата Махмуда с толку сбивают. Они собрали бедняков, середняков, говорили-говорили и решили устроить колхоз.

— Помилуй бог! — тяжело вздохнул Садык.

— Если б середняки не свихнулись, одна беднота ничего бы не добилась. Если б и создали колхоз, прогорели бы! — назидательно изрек Хаджиназар.

Садык попытался втиснуть свою надежду в эту узенькую щель:

— Вот и надо не терять времени. Надо до собрания отговорить середняков.

— Не одних середняков. Надо попробовать и кое-кого из бедноты отколоть. Ведь иные после реформы впервые в жизни стали хозяевами. Только было почувствовали сладость от хозяйства, поняли, как хорошо иметь собственную землю, собственных быков, собственную соху — и вдруг: «Отдай назад!» Ох, как это им покажется солоно! Вот эту соль и надо собрать да посыпать им на сердце. Да покруче!

Но, подумав, богач сказал:

— Однако это не простое дело. Хотя, конечно, «пока корень жив, есть надежда на урожай», как говорится. Но скот надо порезать. Ведь если колхоз не создастся, скот мы всегда купим.

В раздумье Хаджиназар закрыл глаза. Но, словно вспомнив о чем-то, вытащил из жаровни чайник горячего чая.

— Совсем забыл! Давай выпьем чайку.

Наливая чай, он говорил:

— От земельной реформы я мало пострадал. Часть земли у меня отрезали, но с той, которую мне оставили, я получил почти такой же урожай. Быки у меня остались те же, скота столько же, да к тому ж еще бедняки начали ко мне ходить. Землю они получили, а скота нет. Кто просит быка, кто осла, кто соху, кто борону. Я им не отказывал, давал. Пожалуйста! «Но взамен ты мне отработай». И они работали на моей земле. Вот и вышло, что работников я теперь не держу, а в то же время их у меня стало больше, чем было. Понял?

Подав пиалу гостю, Хаджиназар накрыл ладонью теплый чайник и задумался.

Помолчав, он вздохнул:

— Это несчастье. Имя этому несчастью «колхоз». Он что возраст,— от него не спасешься, не спрячешься. Не вступить — горе, а вступить — вдвое. Ведь они все, эти голодранцы, туда войдут. Кто ж мне тогда вспашет землю, кто же соберет урожай? Никто на меня работать не захочет. Вот ведь какое дело. Да к тому ж большевики косо на меня посмотрят. И тут этакое начнется, помилуй бог! А вступлю в колхоз, и поплывет из дому все имущество — бык за зерном, осел за быком, соха за ослом, борона за сохой. Прощай, мое добро! Да еще и самому придется работать, как бедняку, вровень с ними. А за ними угонишься ли? Тут и откроется, что и мотыгу я не так держу, и мои ж быки меня не слушают. Когда всю жизнь в хлопотах, всю жизнь в делах, до работы ль было?

— Я-то работы не боюсь! — ответил Садык.— Я люблю работать. Землю люблю. Когда по пашне идешь, а она теплая. Или урожай собираешь, он сам, тяжелый, как золото, так и тянется к тебе в руки. Нет, работы я не боюсь. А вот не хочу, чтоб отцовскую землю мою взяли. Шесть танабов. И чтоб Черного Бобра какой-нибудь бездельник, злодей впрягал в соху, гнал бы, бил бы. Не стерплю этого. Вот этого не могу.

— Ты, значит, пришел меня спросить: идти в колхоз или не идти. Так, что ль?

— Затем и пришел.

— Так слушай. Раз лисенок спросил у матери-лисы: «Как от волка спастись?» Лиса ответила: «Разные способы есть. Но лучший — это вовсе с ним не встречаться».

— Так,— ответил Садык.— Понял. Но если колхоз все-таки создадут. Тогда что?

— Тогда иди в него. Прикинься овцой, но будь волком. Где можешь, там мешай им. Мешай всей работе!

— Этого я не смогу. Я с семи лет работаю. Как же это: пойти на работу и не работать? Нет, так я не могу.

Покашливая, кто-то вошел в прихожую и там шаркал туфлями, снимая их.

Бормоча молитву, в комнату вошел мулла.

Хаджиназар и Садык почтительно встали, приветствуя его.

Мулла, не ожидая приглашения, прошел вперед, сел на почетном месте у жаровни и прочел молитву.

— Я ходил к Шахназару, шел назад и надумал...

— Сейчас я вернусь! — перебил его Хаджиназар.

Он вышел в прихожую и крикнул:

— Науруз! Принеси скатерть и чай.

— Как, у вас работники? — спросил мулла, когда бай вернулся.— Последнее время от дурных работников много огорчения у хозяев.

— А их у меня нет. С тех пор как вышел указ заключать с ними договоры, я не стал их держать. Поэтому при реформе мне и землю оставили. Не всю, но достаточно.

— А кто ж у вас работает? В поле и по дому?

— Вы спрашиваете про Науруза и про Хамида? Так ведь это братья моей жены. В мире только от смерти нет лекарства. Вы в нашей деревне недавно, поэтому кое-чего не знаете. Когда власть предложила заключить с работниками договоры,— я их прогнал. И хоть я совсем старик, взял себе в жены бедную девушку,— у нее есть два брата, а земли нет. Ну, вот они и работают на нас. За работников их не считают, плату за работу они не берут, работают за хлеб-соль. Вот ведь как.

— Ваше счастье, что старшие жены приняли молодую. А то вам не сладко бы пришлось: ведь власть запретила старым жениться на молодых и вторую жену брать запрещено.

— Мои жены хорошо знают: я уж старик. От новой жены им убытка не будет, а польза есть,— они целые дни спокойно сидят, а молодая ведет хозяйство.

Принялись за чай.

— Вы сказали, что шли от Шахназара Юлдаша?

— Лучше б не ходил. Рассердил он меня. Спрашивает: «Ну, отец, что новенького на свете?» Я ему отвечаю: «колхоз». А он опять: «А когда у нас колхоз будет, тогда что будет?» Я отвечаю: «Если бога не боитесь, устраивайте колхоз». А он: «Бог к колхозу отношения не имеет». Я ему: «Пророк не разрешал колхоза». А он: «Так ведь при пророке колхозов не было, как же он мог разрешать или запрещать то, чего никто тогда не знал». Я ему: «Знаменья есть... В России в колхозах сгорел весь урожай. Скот с голоду дохнет. В Гиждуване тоже земля расступилась и поглотила колхозников». А он сперва рассмеялся, потом рассердился: «В России бог урожай не сжег и скота не морил. Жгли богачи да подталкивали их попы. А жгли потому, что нет у них силы остановить рост колхозов, не смогли убедить крестьян, так начали хлеб жечь, а скот травить. А вы — на бога! А про гиждуванцев врете вы. И сами знаете, что врете. И вранью этому семилетний ребенок не поверит. И в доме у меня этого вранья чтоб не было. Вставайте-ка, да и вон отсюда. Вон! Чтоб духа вашего тут не было!» Так и выгнал. Хоть бы земля расступилась, чтоб мне лицо в ней спрятать. Меня словно огнем ожгло. Пот выступил. Я еле встал и убежал. Вот и пришел к вам. Что ж вы скажете? Что это такое?

— Поехали бы в Гиждуван. Там заодно с колхозниками и вас бы поглотила земля вместе со стыдом вашим,— засмеялся Хаджиназар.— Есть такой рассказ:

«В одном селе жил знахарь. Как посмотрит на больного, сразу видит, чем больной питался.

Как-то раз сам заболел.

Соседи зашли его проведать и видят: старик совсем болен; спрашивают у сына:

— Отец не обучал вас своей науке?

— Нет. Отец сказал, что у меня нет способности к знахарству.

Жители испугались, что знахарь умрет и деревня останется без лечебной помощи. Они поклонились знахарю:

— Завещайте свою науку сыну. Оставьте ему свои книги. Пусть он нас лечит!

Знахарь сжалился над ними и согласился:

— Мой сын не пригоден ни для какого дела, кроме как быть муллой, ни на что другое ума не хватает. Но ради вас я оставлю ему свои знания.

Соседи, успокоившись, ушли, а знахарь позвал сына и сказал:

— Признаюсь, я и сам не умею лечить. Зато я хорошо знаю, как морочить народу голову. Когда меня призывали к больному, я внимательно осматривал двор. Смотрел, какие остатки еды валяются в мусоре — там корки от дыни или арбуза, шелуха от лука, очистки от морковки, свежие кости. А всякий знает, что в деревне больному дают то, что сами едят.

Я захожу, выслушиваю сердце, потом говорю: «Ай-ай! Зачем же вы сегодня дыню ели?»

А если видел лук, морковь, кости — значит, был плов, и я говорю: «Ай-ай! Ваша болезнь ухудшилась оттого, что вы плов ели. Тяжелая пища. Не следовало бы, а теперь что я смогу сделать, после плова?»

Даю какой-нибудь отвар. Из трав его отварить можно. Получаю плату и ухожу. А за мной остается слава: «Какой знахарь! Все насквозь видит! Даже видит пищу в животе, как будто больной из стекла!»

Даже если больной умрет, его родные все равно доверия ко мне не теряют: «Ведь говорил же знахарь, что больной съел морковь. Какое уж лечение после этого!»

Так изо дня в день росла моя слава, а с ней и мои доходы. Но у тебя ума мало. Сумеешь ли ты? Но раз люди просят, знахарствуй после меня... Дай тебе бог...

Знахарь умер. Сын начал лечить.

Когда пришел новый знахарь в первый раз к больному, он во дворе у него, кроме седла и осла, ничего не заметил.

Вошел к больному, послушал у него сердце и говорит:

— Ай-ай! Зачем это вы ослиное седло ели? Вам это вредно. Вот ваша болезнь и усилилась.

Больной, хоть был совсем плох, так рассердился, что вскочил и разбил знахарю нос.

А родные больного тоже так обиделись, что выгнали вон этого знахаря, и никто его больше к себе не звал».

Хаджиназар замолчал, глядя на муллу.

Мулла удивленно спросил:

— Что ж это такое? На что вы намекаете?

— А к тому, что вы, видно, тоже ни к чему другому не способны, как только быть муллой. Надо это помнить и в крестьянские дела без толку не совать нос. Шахназар учился на советских курсах. Там он испортился. Зачем вас к нему понесло? Да еще врали про Гиждуван, а до Гиждувана отсюда восьми верст нет,

всякий знает, что там никакая земля не разверзалась. Я разве этому вас учил? Еще хорошо, что он вас не побил.

— Почему? Ведь Лота земля поглотила? Почему же она не могла поглотить колхозников Гиждувана? — оправдывался мулла.

В это время раздался призыв к послеполуденной молитве.

Мулла поневоле замолчал.

Хаджиназар, воздев руки к потолку, произнес:

— О господи! Во имя Мухаммедова призыва избавь нас от колхоза! — и громко начал читать молитву в подкрепление этой заветной просьбы.

— Грех разговаривать, слушая призыв к молитве,— попрекнул мулла Хаджиназара.

Но в это время с улицы раздался совсем другой призыв:

— Эй, крестьяне, бедняки, середняки, работники, бывшие рабы, все трудящиеся! Завтра в этот час соберетесь к сельсовету. Состоится собрание по вопросу об организации у нас колхоза!

Мулла, забыв на полуслове молитву, кинулся к мечети.

Садык тоже не достоял молитвы.

— Прошу прощения. Мне надо домой. Надо успеть зарезать своих кур.

Хаджиназар, застыв с поднятыми к потолку руками, собирался с мыслями.

— Прирежь и Черного Бобра. Обязательно! И конец! — крикнул он вслед Садыку.

6

Крестьяне собрались в сельсовете.

Было тесно. Столько людей редко собиралось сразу.

Представитель района рассказал о преимуществах колхозного труда перед единоличным. Свою речь он закончил призывом:

— Предлагаю вам вступать в колхоз. Вступать всем, кто любит землю, кто не боится работы, кто хочет жить в достатке, кто верит своей власти, а не шепоту, не клевете наших врагов. Если здесь объединятся все трудящиеся крестьяне, все, кто привык обрабатывать свою землю сам, на вашей земле вырастет сильный, мощный колхоз.

— А вступать как? По своей доброй воле или по предписанию? — спросил Садык.

— Только по доброй воле. Принуждения тут не может быть. Но думаю, что сама жизнь заставит каждого подумать о своей собственной выгоде...

Садык перебил:

— Значит, по доброй воле?

— Да, только по доброй воле.

— Тогда мы не вступим, мы не хотим нарушать обычаи отцов и дедов наших.

Сафар-Гулам встал.

— Ты, Садык, от чьего имени говоришь? Ты сказал: «Мы не вступим». Кто эти самые «мы»? Если это богачи и землевладельцы и ты себя причисляешь к ним, тогда знай, что таких мы в колхоз не пустим, даже если бы эти «мы» очень хотели вступить. Понял? А если ты от трудящихся крестьян говоришь, тогда я тебе скажу — никто из нас не поручал тебе говорить от нашего имени. Тогда ты говори только от своего лица. Говори: «Я не вступлю». И мы тебе ответим на это: «Твое личное дело. За уши мы никого в колхоз не тянем».

— Я сказал «мы», потому что от многих слышал, что они не хотят вступать. От большинства это слышал.

— Так из них, из твоего большинства, за себя каждый сам скажет. Зачем ты смущаешь людей?

Раздалось несколько голосов:

— Неправда! Мы вступим в колхоз! Он нас не смутит. Мы не такие, чтоб пустые слова нас сбили с толку.

— А зачем шептаться по углам? — спросил Сафар-Гулам.— Не лучше ли сказать это здесь, перед всеми: не вступлю, мол, потому что мне то-то и то-то не нравится в колхозе. Будет честно и ясно.

Словно стрела впилась в Садыка: «Честно, ясно». Ему хотелось и говорить и поступать только так — честно, ясно, прямо.

Смутившись, Садык сел и подтолкнул Нор-Мурада:

— Встань. Скажи им.

— Зачем вы людей пугаете, не даете им слова сказать? — крикнул Нор-Мурад.

— Ты не из пугливых. Встань и скажи! — ответил Сафар-Гулам.

— А чего мне бояться? Я при эмире столько всего пережил, что теперь мне ничего уж не страшно. Я при эмире часть своей земли потерял. Я и последние два танаба собирался продать, да декрет помешал. И слава богу! Теперь я получил от властей четыре танаба земли. Я хочу на ней работать. Сам работать. И жить, как сам захочу. А вы собрались отнять ее у меня, эту самую землю. Разве я соглашусь на это? Решите силой взять, берите. А сам я не отдам. Ни за что! Потом, кроме того, еще... Потом...

Он стоял, удивленный, что сказал все так коротко, а думал обо всем этом так долго. И твердя: «Потом, потом»,— он сам себе не верил, что сказать уже нечего.

Тут встал председатель комитета бедноты Эргаш-бого Гулам и договорил за Нор-Мурада:

— Он сказал все, чему его научили. Больше сказать ему ничего не поручили, а сам ничего не может придумать. А начал ты правильно, Нор-Мурад, при эмире тебе, действительно, туго жилось. Испытал и лишения, и мучения, и всякие жестокости. И не только ты сам, а и отец, и дед, и все предки твои испытывали жестокости эмирской власти, голод, холод. Отцы и деды наши, твои и мои, да и многих здесь, были рабами. Их покупали и продавали, как рабочий скот. А теперь ты пришел в Союз бедноты, в союз своих братьев, и все ждали, что ты подашь пример, скажешь то, что думаешь и чего хочешь сам. А ты что сказал? Чьи слова? Чьи мысли высказал? Свои? Нет, Нор-Мурад! Мы здесь говорим о колхозе, а ты вместо разговора прицепился к своей земле и заплакал: «Не дам, не выпущу, мое!» Не дашь? И не надо. Землю не возьмем и тебя с нее не сгоним.

Нор-Мурад постоял, потупившись, потом сел и зашептался о чем-то с Садыком.

Эргаш крикнул ему:

— Нор-Мурад! Ведь я тебе говорю. Почему ты не слушаешь?

— Слушаю я! — откликнулся Нор-Мурад.

Эргаш продолжал:

— У тебя четыре танаба земли есть. А есть у тебя чем пахать землю? Ведь осла — и того у тебя нет. У кого ты будешь просить пару быков? У бая. Выпросишь, вспашешь. Но ведь не даром же,— за быков-то надо платить. Один раз хватит расплатиться, а при неурожае так и не хватит.

Эргаш посмотрел, слушают ли его. Слушали, затаив дыхание.

— А в колхозе твою землю непременно вспашут. Вместе со всей колхозной землей. Никак не хуже. Почему? Да потому, что весь рабочий скот будет объединен. Потому, что государство даст нам плуги вместо сох, пришлет на наши поля тракторы, культиваторы, такие машины, каких мы еще и во сне не видели. И при такой обработке твоя земля даст урожай втрое. Я вижу: ты простонапросто не разобрался в этом деле, даже не знаешь, что такое колхоз, а выступил тут, не подумав. Ты сперва подумай, Нор-Мурад. А подумаешь, скажешь совсем другое.

— Почему «не подумав»? Я знаю, что такое колхоз!

— Знаешь? Тогда встань и скажи всем: что такое колхоз?

— А что ж тут знать? Колхоз — это все равно что земельная реформа. При земельной реформе землю забирали только у богатых, а при колхозе и до бедноты добрались.

Эргаш весело засмеялся.

— У одного человека спросили: «Что такое рыба?» Он ответил: «Она вроде верблюда — у нее тоже два рога есть». Вот и ты

такой же — не разглядел ни рыбы, ни верблюда, ни земельной реформы, ни колхоза.

И Эргаш объяснил ему:

— При земельной реформе брали землю у тех, кто сам ее не обрабатывал, кто жил за счет других, работавших на этой земле. Эту землю отдавали таким, как ты, кто работал на ней сам, не жалея сил. Землю отдали ее истинным хозяевам. А при колхозе эти же самые бедняки объединяют эту же землю, объединяют свой рабочий скот и обрабатывают сообща эту же самую свою землю. Но уж тебе не придется ходить по дворам и выпрашивать, как милостыню, пару быков. Быки для твоей земли будут у тебя в колхозе.

— Его баи обманули! — крикнули Эргашу.

— Они и меня хотели сбить с толку. Подослали ко мне муллу с проповедью. Ну, я ему в ответ свою проповедь прочитал,— засмеялся Шахназар.— А подсылали!

— Дайте мне слово! — поднялся седобородый Кулмурад.— Вот в нашей деревне были очень богатые скотоводы и землевладельцы, но были и рабы, и пастухи. Мы, деревенские большевики, с красными партизанами, когда они вернулись с войны, организовали в прошлом году артель скотоводов. Мы объединили своих каракулевых овец. В нашу артель вошло много бедняков, пастухов, бывших работников. Сто человек. А скота мы набрали более полутора тысяч голов. Мы половину приплода зарезали на шкурки, продали их государству, выполнив план на сто тридцать процентов. Выполнили и мясопоставки. И все же поголовье у нас удвоилось. А что сделали за тот же год богачи-скотоводы, что сделали крупные землевладельцы? Они свои стада порезали, распродали, часть угнали на сторону, даже в другие страны. И что получилось? Получилось, что у них этого скота больше нет и у государства его нет. А скот ценный, каракулевый! А мы свое стадо растим. Пасем его поочередно, по пять человек. Пока пятеро пасут наш скот, остальные девяносто пять в поле работают. А за наш труд,— его на долю каждого человека приходится по полтора месяца в году,— государство нам дает чай, и сахар, и мануфактуру, и денег, и еще пшеницы по сто пудов в год на каждого! А порознь каждый пас бы своих десять или пятнадцать баранов, все свое время на них бы тратил и половину того не получил бы, что мы теперь получили. Теперь у нас в деревне крестьяне собираются объединить и рабочий скот и землю обрабатывать так же сообща, как сообща стадо пасем. Будет у нас колхоз. Земледельческо-скотоводческий. Я слушаю тут и понять не могу: чего вы от явной, ясной, прямой своей большой пользы отшатываетесь. Не отшатываться, не отмахиваться, а хвататься за колхоз надо,

просить, настаивать, требовать, чтоб каждого из вас, ежели вы достойны, приняли в колхоз! Вот говорю, сам на себе испытавши.

Сийаркул сказал:

— Верхом на осле за социализмом не угонишься. Социализм не построить на двух танабах земли с одним ослом в хозяйстве. Не построишь его и на четырех танабах с лошадью, запряженной в соху. Я рабочий. Всю жизнь на хлопковом заводе работал. А смолоду очищал хлопок на деревенском веретене. Не смыкая глаз, не разгибая спины, за сутки человек мог на веретене очистить самое большее пуд хлопка. Самое большее! А на заводе такой же рабочий не только очищает, но и прессует и в кипы вяжет по сорок пудов хлопка в день. Почему? Потому что он работает не один. Работают сто человек, и эти сто человек за день сдают четыре вагона упакованного хлопка! Вот что значит совместный труд и машины. В одиночку, дома, эти сто человек пропустили бы в сутки сто пудов, а на машинах и сообща — четыре вагона! Техника помогает. Но техника может развиваться в колхозе, а в отдельных, маленьких хозяйствах разве развернешь ее? Надо земледелие поставить на тот же уровень, что и фабрики. Сообща купить умные, послушные машины, сообща работать, распределяя работу между собой. Тогда мы таких добьемся успехов, что и не снились нашим отцам.

На слова седого, темнолицего Сийаркула откликнулись такими рукоплесканиями, что старый рабочий растерялся и смущенно оглянулся на председателя.

А председатель поднял руку:

— Товарищи! Кто за колхоз, поднимите руки!

Много рук поднялось.

— Так, опустите. Кто против?

Председатель увидел поднятые руки Нор-Мурада.

— Ты все же против? — спросил Эргаш.

— Нет! Я «за»! Другие одной рукой голосовали за, а я двумя.

— Так ты же голосуешь против.

— Нет, я исправляю свою ошибку,— я всегда буду обеими руками голосовать «за». За колхоз! Я все понял.

7

Садык, задыхаясь от быстрой ходьбы, вернулся с собрания и нетерпеливо позвал жену:

— Привяжи всех кур.

Сказав это, снова пошел на улицу.

Жена заголосила ему вслед:

— Ой, ну что это за напасть такая? Неужели всех надо резать?

Садык, прикинувшись, что не слышит, даже не оглянулся.

Волей-неволей пришлось переловить всех милых ей кур. Их было двенадцать.

Поймав, она связывала каждую веревкой.

Дети, плача, пытались отогнать кур от ее торопливых рук, умоляли пощадить кур, но ей от их слов становилось еще горше: ведь она и сама бы отпустила их на волю, а приходится говорить детям, что кур очень нужно зарезать.

— Не мешайтесь! Не вертитесь под ногами. Смотрите, может, и вас придется переловить, а нож-то — вот он, ой какой острый!

Оробев перед такой угрозой, смекнув, что в доме происходят какие-то непостижимые, но страшные дела, ребята присмирели и, чтобы не попадаться матери на глаза, убежали на улицу.

А мать, перевязав всех кур, прилегла и протянула ноги к жаровне. Она размышляла о том, что происходит.

«Здесь кто-то сошел с ума: или муж, или крестьяне, вступающие в колхоз»,— решила она после долгих раздумий.

Солнце уже село.

Темнело, когда Садык вернулся домой.

Дети ждали его.

Едва он показался, все они кинулись к нему с криком:

— Отец милый, милый отец, не режьте кур! Оставьте наших кур.

— Молчать! — свирепо остановил их Садык.— А не то обрежу вам уши! Мать! Неси мне брусок и нож.

Ребята, напуганные грозным окриком отца и зловещими словами — «нож, брусок, обрежу», забились под одеяло над жаровней и притихли.

Жена принесла нож.

— Отец! Еще и дня не прошло, как мы их связали. Они еще нечисты, есть их нельзя, да еще, говорят, после заката грешно резать и скот и птицу.

— Я спрашивал у муллы. Он сказал: «Режь, не грех, если есть срочная надобность».

— Какая же срочная надобность? Можно и завтра зарезать.

— Нет, завтра нельзя, завтра уже колхоз начнется. Раз все вступают, и я вступлю. А раз вступлю, я уже не буду их обманывать, тогда уж мое имущество станет общественным. И тогда уж ни сам его не коснусь, ни другим не дам! Завтра поздно будет, совесть мне не позволит, раз я вступлю в колхоз.

— Кур разве тоже объединяют?

— Все объединят. Все вещи. Все хозяйство. Каждый, кто вступает, сам составляет список своего имущества и при вступле-

нии передает в колхоз. Ведь они могут проверить. Придут, увидят кур. Эх господи! Надо сейчас же резать, а уж потом я составлю список. Потом, если и найдут перья, пускай забирают себе на подушки.

— Корову, теленка, быков, осла куда денем?

— Одного быка и одного осла придется отдать. Нельзя не отдать. А насчет остальных я велел прийти мяснику.

— Ой, и их зарежете? Что же мне делать, когда будет столько мяса?

— Ты молчи! Я тебе не обязан доклад делать, что куда девать, что солить, что варить. Что надо, то я и делаю. И молчать! Поняла? Душа у меня разрывается. У тебя, что ли, она разрывается? А? У меня! А иначе нельзя!

И одну за другой он резал кур и, еще трепещущих, бросал жене.

Покончив с этим делом, он вымыл руки и снова ушел на улицу.

— Постойте! — крикнула она.— У меня ведь суп сварился. Поели бы.

— Оставь меня! Ничего мне в горло не идет, понимаешь!

— О господи! — запричитала она негромко, боясь, что кто-нибудь услышит ее.— Неужели колхоз — это такое несчастье? А я все смотрела, ждала этого, как нашего счастья. Право, тут кто-то сошел с ума. Кто? Муж?

В полночь Садык привел домой длинного молчаливого мясника.

Оставив его возле хлева, Садык вошел в комнату, зажег коптилку и понес в хлев.

При мерцающем, тусклом свете мясник, ощупав корову и телку, подошел к Черному Бобру.

Черная гладкая шерсть быка багрово переливалась при свете коптилки. Красный немигающий глаз быка, скошенный на мясника, не сулил ничего доброго.

Едва мясник протянул руку к быку, Черный Бобер боднул чужого человека и чуть было не вскинул мясника, но опытный человек ловко увернулся от опасных рогов.

Садык попытался успокоить Черного Бобра, поглаживая его могучую шею.

Мясник спросил:

— Так сколько же вам за этих трех?

— За четырех. Надо ведь и теленка считать.

— Когда покупают мешок с дынями, пару дынь дают в придачу. А я покупаю у вас столько скота, пускай уж теленок пойдет придачей.

— Ладно, пускай пойдет.

— Говорите цену. Надо спешить. Ночь кончается.

— Время идет. Ох, ничего не могу сообразить. Вы-то сколько думаете дать?

— Ну что ж, за этого бычка я, пожалуй, могу дать пятьсот. За старую корову четыреста. За телку — двести. Итого тысячу сто.

— Рахим-ака! Что это вы говорите? Это Черный Бобер-то бычок? Ему шесть лет. Да он из быков бык! Два месяца я на нем уже не работаю. Он одного жмыха съедает по пять фунтов за ночь. У него и в костях-то небось все залито жиром.

— Я же не тащу ваш скот из хлева. Пускай стоит, как стоял.

— Рахим-ака! Если человек тонет в грязи, ему надо руку протянуть. Не хотите руку пачкать, так хоть не толкайте его назад в грязь, если он из нее выбрался.

— Нет, зачем так говорить? Куда я вас толкаю? Я даю цену. Не подходит, ваше дело.

— Ну какая ж это цена?

— А мне легко ли сбывать этот скот! Украдкой придется его резать, украдкой продавать мясо. А попадусь, мне одного штрафа придется платить в три раза больше, чем все это дело стоит. Нет, больше не дам. Прощайте.

И мясник пошел к воротам.

Но ведь ночь кончается!

— Куда ж вы? — крикнул Садык.— Постойте! А сколько вы хотите с меня за тощую корову, которую я у вас смотрел?

— Пятьсот.

Садык рассердился.

— Что ж, за сумасшедшего, что ль, вы меня считате? А? Нет, я Черного Бобра лучше отдам в колхоз. Я хотел от продажи иметь хоть маленькую выгоду. А если так, зачем же мне его продавать?

— Ну, ладно, ладно. Желаю вам удачи. Отдаю вам корову за четыреста, и по рукам.

— Нет,— отдернул руку Садык.— Не выйдет! Я лучше свою корову отдам в колхоз. Вы за нее даете четыреста, а она куда лучше вашей.

Но мясник ухватил руку Садыка.

— Ладно. Бог с вами. Желаю вам удачи. Берите за триста. Этот скот я сейчас уведу, а утром, на рассвете, приведу вам ту корову и принесу восемьсот наличными. По рукам?

Садык согнулся, как под непосильной ношей.

— Ладно. Желаю вам удачи.

Мясник повел скот за ворота.

Садык, уже не скрывая и не стыдясь слез, шел, привалившись к Черному Бобру, оглаживая его скользкую теплую шею, такую

знакомую морду с твердой горбинкой на широком носу. Слезы застилали глаза, и не видно было, сгущается мрак или проходит.

В это время раздался громкий жалобный крик жены, смотревшей сюда с женского дворика:

— Ой, коровушка! Через три месяца отелилась бы. Молоко бы давала густое, жирное! Сметану делали бы густую-прегустую!

Садык захлопнул ворота и подбежал к жене:

— Молчи! Услышат! С ума, что ль, сошла?

Но, взглянув на ее заплаканное, огорченное, доброе, родное лицо, сам заголосил, схватившись за голову.

Заявлений о желании вступить в колхоз подано было много.

Эргаш сидел в комитете бедноты, разбирая заявления и разговаривая с подавшими их.

— В заявлении вашем указана соха. А почему не указана корова?

— Я беден. Корове у меня нечего делать.

У другого Эргаш спросил:

— У вас земли много, а бык один. Как же вы всю свою землю пахали на нем?

— У меня один бык, я его отдаю вам. Вам мало? А почему не мало, когда вон голодранец с одной сохой вступает?

Эргаш, внимательно посмотрев на недовольное лицо собеседника, положил его заявление к другим.

— Разберем. Обсудим.

И отвернулся к Хаджиназару:

— У вас три заявления написано. Одно от вас. А эти?

— В них написано, от кого они.

— А что это за люди?

— Братья моей жены. Сами прийти стесняются, прислали со мной.

— Понятно. У вас в заявлении указана только одна корова. Где же остальной скот, где хозяйственный инвентарь? Разве вы бедняк?

— Я не называю себя бедняком. Но нынешнее время — время трудное. Я совсем разорился. Одного быка и корову я осенью продал, а деньги проел. Молодого бычка и курдючного барана заколол, за зиму съел. Осел сдох. Понять не могу отчего. Молодой, сильный осел был, взял и сдох. Беда не приходит одна. Вслед за ослом верблюд в ростепель поскользнулся и сломал ногу. Пришлось прирезать. Мясо я пожертвовал, роздал народу. В конце зимы...

Нор-Мурад перебил Хаджиназара:

— Ладно, дед! Я боюсь, как бы вы сейчас еще не сказали, что в конце зимы вымерло и все ваше семейство, и сами вы в том числе.

Эргаш взглянул на Нор-Мурада без улыбки, но с полным пониманием.

— Ну, а что случилось с сохой, бороной, с мотыгами?

— Не дают слова сказать,— сердито покосился Хаджиназар на Нор-Мурада.— Соха? Борона? А вы забыли разве, какие холода стояли этой зимой. А дров мне, старику, где взять?.. Да... Пришлось сжечь. Вместо дров.

— Разберем,— ответил Эргаш.— Разберемся.

И когда Хаджиназар, потоптавшись в раздумье, словно намереваясь еще что-то сказать, или спросить, или припомнить какие-то невысказанные доводы в свою пользу, молча отошел, подал заявление Нор-Мурад.

Эргаш с удивлением прочел длинный список Нор-Мурадова имущества:

— «Котел чугунный, бок отколотый. Кувшин медный, бухарский. Прялка. Веретено. Корзина для хлопка. Блюда глиняные, три...» Зачем нам это?

— А откуда мне знать, что понадобится колхозу? Что имею, то и отдаю. Раз я вступаю в колхоз, зачем мне посуда? Приду в колхоз, поем, да и назад домой.

— Кто тебе сказал, что котлы и посуда у нас будут общими?

— Так на улице такой разговор был.

— Богачи и враги распускают такие слухи. Незачем этому верить. Стыдно, Нор-Мурад. Мы войну с тобой вместе прошли, я думал, она тебя уму-разуму научила...

— А разве плохо объединить всю посуду? Зачем каждому отдельно варить обед? Лучше прийти в колхоз, поесть, да и назад.

— Не все с этим согласятся. А навязывать людям общий обед мы не можем. Это дело личное. Одно дело хозяйствовать, другое — обедать. В колхоз идут добровольно, и вопрос о питании может решаться только добровольно.

— А веретено для очистки хлопка и прялка для пряжи пригодятся колхозу,—сказал однорукий юноша, сидевший тут же.

— А зачем они нужны? — спросил Эргаш.

— Мы боремся с теми, кто укрывает хлопок. А с помощью прялки и веретена хлопок расходуется дома. Мы даже думаем составить отряд из пионеров и комсомольцев и пройти по дворам, собрать этот инвентарь.

— Эх,— вздохнул Нор-Мурад.— Жалко, я староват. Но вы примите меня в отряд, и я пойду с вами по дворам. Ведь у того же Хаджиназара штук десять прялок найдется. Ими-то он не станет

отапливаться. Они-то у него, я догадываюсь, целы и сохранны и даже где-нибудь прибраны от любопытных глаз.

— Что ж, пятидесятилетний почетный пионер будет украшением отряда! — сказал однорукий юноша и взглянул на Хаджиназара.— А вы, дядюшка, не успели сжечь свои прялки?

Богач обиделся:

— Товарищ Юлдашев! Покойный родитель ваш Юлдаш-ака был человеком бедным, добрым, скромным. Никогда никого не задевал, зря не обижал. Откуда у вас столько ехидства? Под каждого копаете, во всякое дело суете свой нос. Нехорошо, право.

Вожатый не замедлил ответить:

— Вам, конечно, нравилось, что были бедны да молчаливы, работящи да скромны. С такими баям легко было. Пользуясь скромностью наших отцов, вы тогда спускали с них по три шкуры. А мы хотим по праву получить обратно взятое вами у отцов. Оттого у нас и нрав другой.

Эргаш просматривал заявление Садыка, когда бай спросил:

— Простите, пожалуйста. Я хочу вас спросить.

— Спрашивайте! — поднял голову Эргаш.

— Если я дам в колхоз двадцать танабов хорошей земли, самой лучшей земли, а уважаемый Нор-Мурад даст четыре танаба плохой, никуда не годной, при сборе урожая мы получим равные части?

Эргаш ответил:

— Пока будем вместе работать. Ко времени сбора вопрос этот успеем обсудить и согласовать в районе.

И вернулся к заявлению Садыка:

— Так, Садык-ака. У тебя указано восемь танабов земли. Соха, борона. Бык, осел. Ты, видно, честно, с чистым сердцем идешь в колхоз.

Хаджиназар принял эти слова Эргаша как личную обиду.

— Что ж, брат Эргаш, это и понятно. Садык — середняк. Его хозяйство покрепче, чем у меня, вот он и вносит больше, чем я.

Однорукий Юлдашев сказал:

— Вот, дядюшка, выходит, что Садыку придется больше получить урожая, чем вам.

— Почему же?

— Потому что он вносит в колхоз больше, чем вы.

— Даже если его осел стоит больше меня, то ведь моя земля больше его земли!

— Да, действительно осел Садыка стоит больше вас,— не очень вежливо усмехнулся Юлдашев.

Хаджиназар, занятый размышлениями о дележе урожая, пропустил мимо ушей насмешку Юлдашева.

В это время Эргашу подал заявление человек в голубой чалме.

Эргаш посмотрел заявление.

— Разве вы не были муллой?

— Я после революции это дело бросил. Изредка, когда очень уж просят, читаю молитвы и отпеваю покойников. Но если это грешно, я брошу и это.

— К чему эти отпевания колхозникам? У них вся жизнь впереди! — весело развел руками Нор-Мурад.

После муллы подал заявление бледный, как мертвец, молчаливый человек.

— Чем вы занимаетесь? — спросил Эргаш.

— Обмываю покойников.

— А в поле не работали?

— Не приходилось.

— Вы решили заняться земледелием?

— Если хватит времени, займусь. Но ведь моя работа необходима для общества.

— Иначе говоря, вы хотите обмывать мертвых, а свою долю урожая получать с живых?

— Не откажусь, если будет урожай.

Юлдашев засмеялся:

— Вот, например, я коммунист. Обойдусь без ваших обрядов. На вашу долю останутся только те, кто завещает обмыть их по старым обрядам. Но сколько будет таких колхозников? Поэтому ваш труд в колхозе, мы надеемся, не найдет себе большого применения.

Хаджиназар, ворча, вышел.

— Тут и помрешь, даже не обмоют!

— Вы, значит, не примете от меня заявление?

— Не могу не принять,— задумался Эргаш.— Мы все заявления обсудим на общем собрании, решим о каждом в отдельности там же. Кого собрание утвердит, тех примем. А часть, я думаю, будет отклонена.

Со двора послышался шум:

— Колхозников решено хоронить необмытыми, неотпетыми. Без молитв.

— Колхозникам не дадут обмывать своих покойников.

— Нет, такой колхоз не для нас!

Эргаш встал и поспешил во двор.

Юлдашев, Нор-Мурад и несколько крестьян выбежали за ним следом.

Эргаш крикнул:

— Люди! Слушайте! Не верьте брехне!

Но народ шумел.

— Это «работа» Хаджиназара, арестовать бы его,— предложил Юлдашев.

Но Хаджиназара во дворе уже не было.

Бросив это вслух, как спичку в бочку с керосином, он поспешил уйти подальше от пожара.

8

Когда настали первые дни колхозной жизни, начались трудности.

Общественный рабочий скот поставили на колхозном дворе. Ни стойл, ни конюшен приготовить не догадались, рассчитывая на погожие дни. Не успев привыкнуть друг к другу, оставленные без привязи, ослы погрызлись с ослами, быки перебодались с быками, калеча друг друга, наполнив окрестности ревом и ржанием, словно на деревню обрушилось стихийное бедствие.

В ночной темноте, при тусклых вспышках светильников, среди вздыбленных лошадей и ослепших от ярости быков, колхозники, с опасностью для жизни, кое-как развели скот в разные стороны двора и поставили на привязь.

Но тут обнаружилась новая беда.

Объединяя скот, забыли объединить корма. Готовя скот в колхоз, запасы на зиму не приготовили, а некоторые под влиянием вражеской агитации распродали и то, что было. По дворам валялись лишь жалкие остатки клевера и соломы. Этих остатков могло хватить всего на несколько дней.

Не было надежды и на урожай кормовых трав.

Из туменя дали план на большие посевы хлопка за счет остальных культур, хотя время для посева хлопка уже ушло.

Баи, не принятые в колхоз, и мулла возликовали, шепча крестьянам:

— Скот-то ваш подохнет с голоду. К тому и велось это дело, чтоб вас без скота оставить.

— Вслед за скотом и вы все перемрете с голоду: из хлопка-то плова не сваришь, хлопок-то скоту не скормишь.

— Большевикам этот хлопок и не нужен. Когда они велели сеять его? Когда уж поздно было. Зачем? Не урожай им нужен, не хлопок, им нужно, чтоб у вас ничего не было.

Иной из колхозников, огорченный и раздосадованный первыми неудачами, раскрывал свое ухо при встречах с богачами, задумывался над словами, а богачи шептали настойчиво, неустанно, сочувственно вздыхая, сострадательно улыбаясь, сокрушенно покачивая головой.

Сокрушаясь о голодающем скоте, боясь, что и самим не уйти от голода, некоторые из колхозников отшатнулись от общего дела, бросили колхозную работу, растерянно расхаживали по деревне, жалуясь на неудачи и не зная, как утешить друг друга во всей этой беде.

И в это время товарищ Сталин написал статью «Головокружение от успехов».

Встала задача закрепить достижения, исправить ошибки и повести борьбу с клеветой богачей и мулл.

Видя, что надежды их рассыпаются в прах, богачи пустили новые слухи:

— Сверху есть приказ: уходить из колхоза, жить по-прежнему, своими хозяйствами.

Работа начала налаживаться при практическом руководстве работников района и центра, беспрерывно наезжавших с директивами партии.

А после того, как знаменитые «25 тысяч» работников промышленных центров прибыли в села и деревни с особыми директивами ЦК ВКП(б), подул новый, живой, чистый воздух.

Садык, погоняя перед собой осла, тащил упиравшуюся тощую корову.

Жена встретила его в воротах.

— Отец! Вы тоже вышли из колхоза?

— Нет, не вышел! — сердито ответил Садык.

— А зачем же привели скот?

— Временно. Пока нет помещения и пока нет корма.

— Многие уходят из колхоза. Почему бы и вам не уйти?

— Нет, я не уйду. Назло Хаджиназару не уйду. Чтоб ему пусто было, не уйду! Он меня все время пугал колхозом. Из-за него, окаянного, я погубил весь скот. Я Черного Бобра погубил.

— Да. И кур тоже... А какая у нас корова была!

— Он всех отговаривал. А сам раньше всех побежал в колхоз. Так устроил, что теперь у него три хозяйства. Даже на воротах три номера прибил. Будто там три семьи живут!

— А зачем?

— А затем! Прибыль в колхозе будут распределять по семьям или по хозяйствам. Он хочет получить три доли. Поняла?

— А если бы вы ушли из колхоза, зажили бы мы по-прежнему. Завели б и корову и кур.

— Сегодня на собрании такой разговор был: можно корову дома иметь и кур можно иметь, если это не мешает работе в колхозе.

— Это хорошо.

— Что ж хорошего?

— А что?

— Где возьмешь корову, где добудешь кур? Из-за негодяев, вроде Хаджиназара, ни у кого не осталось ни скота, ни птицы, ни клочка сена, ни снопа клевера.

— Но у нас-то ведь еще цело сено. Хватит на корову до новой травы. Деньги от мясника тоже целы. Можно на базаре купить корову.

— Денег, что мясник заплатил за три головы, не хватит и на одну корову. Коров на базаре нет. А сена до новой травы нам и так еле хватит. Эту падаль, что я купил у мясника, надо кормить? Осла надо кормить? Вот тебе и все сено.

— Что ж, для того, что ли, мы сено сберегли, чтоб колхозный скот кормить? Эта корова с ослом уже не наши, они — колхозные.

— А я и сохранил свое сено затем, чтоб досадить Хаджиназару. Он свое отвез в Гиждуван на базар и нас всех уговаривал сделать так же. У кого не было лошади, чтоб свезти на базар сено, у тех Хаджиназар покупал сено и отвозил сам. Когда он мне посоветовал сено продать, я решил сделать наоборот, потому что я в нем сомневаться стал. Дверь от сеновала замазал, завалил хворостом. Вот сегодня и вижу, что правильно поступил.

— Значит, если человеку не веришь, надо поступать наоборот?

— Конечно! — назидательно ответил Садык.— Разве ты не слышала: один человек спросил муллу: «Как мне избавиться от наущений беса?» Мулла ответил: «Поступай наоборот!» Вот и я, пока слушал беса, этого щербатого Хаджиназара, потерял и своего Черного Бобра, и весь скот. А поступил ему наперекор — и сохранил сено.

— Но почему ж все-таки вы хотите кормить этим сеном колхозный скот, а не свою корову?

— Опять свое твердишь! Я ж тебе сказал. И к тому ж на осле я буду работать. Я старый пахарь. А извозчик и пахарь сами голодать будут, пока не накормят свою лошадь или своего быка.

В надежде на будущее жена Садыка примирилась с настоящим.

— Ладно. Вырастет клевер, травы накосим,— тогда и купим корову.

— Нет, на это не надейся: все земли пойдут под хлопок. Говорят, никаких кормовых трав в колхозах сеять не полагается.

— Как же засеять столько земли хлопком? Где же найдут столько скота, чтоб ее вспахать? Да и тот скот, что есть, куда он годится? Это же одни кости. Где у него сила, откуда было ему за зиму ее набрать?

Но разговор их прервался: с улицы раздался странный, ни с чем не схожий гул.

Гул медленно нарастал.

Садык выскочил за ворота. Жена побежала на крышу.

По улице со стороны Гиждувана медленно ползли два гусеничных трактора.

Они везли за собой четырехколесные арбы, наполненные товарами, зерном, мануфактурой.

Тракторы шли неторопливо, и что-то было торжественно гордое, неотвратимое в их неуклонном и спокойном движении, когда, легко преодолевая колдобины и канавы, машины проходили через деревню.

Деревенские жители выбежали на улицу. Женщины, забывая об обычаях, выскакивали за ворота с непокрытыми головами, широко раскрыв глаза, опустив затрясшиеся руки: «Господи, господи, спаси и помилуй». Ребята бежали впереди, спеша насмотреться на диковинные машины.

Перед правлением колхоза тракторы остановились.

Трактористам пожимали руки.

Товар с арб понесли в колхозные амбары.

На крыльцо вышли Сафар-Гулам, Кулмурад, Эргаш.

Начался митинг.

Сафар-Гулам рассказывал, сколько земли может за один день перепахать такой трактор. Сравнил труд послушной машины с трудом самого сильного коня.

С крыльца сошла Мухаббат.

Тихая Мухаббат, вернувшаяся несколько дней назад из города, подошла к трактору, села за руль и повела трактор.

На нее смотрели с испугом. Старики онемели, раскрыв рты и растопырив руки.

Женщина не боялась этой машины, направила ее в колхозный двор, нигде ничего не задев. Поставила машину под навес и спокойно сошла, вытирая тряпкой руки, словно плов сварила, словно корову подоила.

В деревне еще не знали, что в городе Мухаббат кончила курсы трактористов.

Но она еще не дошла до правления, как раздались крики, спор, опять крики:

— Не нужен нам трактор! Прочь его! Вон его отсюда!

На эти крики из правления вышел Сафар-Гулам.

— Что случилось?

Несколько колхозников, возбужденно споря, подошли к Сафар-Гуламу.

— Не надо нам этого трактора. Он опоганит землю. Урожай на ней не уродится. Трактор — это не от бога, это от дьявола!

— Не надо трактора! У нас есть соха, есть мотыга,— ими прародитель наш Адам работал, он оставил нам их, а мы их бросаем? Нет! Не бросим!

Услышав о дьяволе и об Адаме, Сафар-Гулам засмеялся.

Но вдруг брови его сурово сдвинулись:

— Идите за мной!

Он провел их сперва в один из амбаров на колхозном дворе. Отперев дверь, он сказал:

— Смотрите!

В закромах, почти до самого верха, лежала только что ссыпанная сюда пшеница.

— Видели это?

Крестьяне смотрели, любуясь нежно золотившимся отборным зерном.

Кто-то взял горсть зерна, подержал на раскрытой ладони, понюхал, попробовал на зуб и нехотя, словно жалея расстаться с сухими тяжелыми зернами, пересыпал их тонкой струйкой на другую ладонь.

— Видели? Теперь идемте.

Они вышли.

Сафар-Гулам запер на замок этот амбар и повел их к другому.

За крепкой дверью там лежали тюки мануфактуры, тесно сложенные, и видно было, что ее здесь много и что она разнообразна.

Розовели цветы на плотном сатине, пестрели края тюков с пестрым ситцем. Веселая искорка пробегала по ребру скатанного ферганского шелка. Можно было угадать, как цветист, как ярок и ясен узор на шелку, туго свернутом в небольшие куски.

Сафар-Гулам показал ящики с чаем, ящики с мылом.

Приподняв узкую дощечку на крышке ящика, вынул пачку чая, и все увидели знакомую обертку любимого отличного зеленого чая.

И опять Сафар-Гулам вывел их всех из амбара, запер дверь и проверил замок.

Среди двора все остановились.

Подошло еще несколько крестьян.

Сафар-Гулам сказал:

— Видели? Все эти товары получил колхоз из района. Эти товары мы дадим тем, кто будет лучше работать. А я предлагаю вам такое условие: если земля, вспаханная сохой, окажется лучше вспаханной трактором, если из-под сохи урожай выйдет лучше, чем из-под трактора, весь товар дам тем, кто пашет сохой. Если ж трактор вспашет землю лучше и урожай вырастет на ней обильный, не взыщите: товары получат в первую очередь те, у кого будут лучше показатели.

Слова Сафар-Гулама озадачили крестьян: как твердо сказано,— у кого будут лучшие показатели, тем и товар. Тем и уважение! Никто не решился спорить с Сафар-Гуламом.

Задумчиво, тихо переговариваясь, разошлись.

Вернувшись домой, Садык застал жену забившейся в угол. Голову она накрыла одеялом и прижала одеяло к ушам.

— Мать, что случилось? — спросил Садык, стаскивая с жены одеяло.

— Ушел он?

— Кто?

— Антихрист.

— Какой?

— А тот, что при конце света всех загребет.

— Где ты его видела? В голову тебе, что ли, ударило?

— Вы ж сами его видели, отец! — удивилась она, выглядывая из-под одеяла.

— Когда?

— Да он же прошел по улице, а вы бежали за ним следом.

— Ох! Так ведь это же трактор! Он колхозные земли пахать будет. А каких не успеет вспахать, те запашем сохой. Рабочего скота у нас мало, а земли много. Нам и прислал район машины на помощь. Вставай!

Втайне жена еще сомневалась: что это за диковинный пахарь объявился? Но нельзя перечить мужу. Она сделала вид, что вполне верит его словам. Сбросила одеяло и встала.

Но лицо ее было бледно от страха.

— Кто тебе объявил, что это антихрист? И почему ты спрятала голову под одеяло?

— Когда я поднялась на крышу, чтоб взглянуть на улицу, вижу, идет по улице что-то длинное, ноги спутаны; не успела присмотреться, слышу, у соседей кричат: «Конец света, конец света, антихрист пришел!» Это у рисоторговца, у Ширбека, жена завопила. Я заглянула с крыши к ним, а они меня позвали: жена Ширбека и Халифа-биби. Я к ним сошла, а они мне: «Бога вы не боитесь, если на такую вещь смотрите!» — «На какую?» — «Да это ж антихрист идет. Кто его увидит или услышит, тому прямая дорога в ад!» Говорят, а сами закрывают головы, чем попало. А мне еще мать такое же рассказывала, когда я маленькой была. Я, как услышала это, прямой дорогой сюда. Завернула голову одеялом, чтоб ничего не видеть, ничего не слышать. От страха меня в пот бросило. Сижу, вспоминаю: мать мне рассказывала, когда я была

маленькой, что нет тому спасения и прощения, кто услышит стук и треск его барабанов. А он как трещит-то, сквозь одеяло слышно! Вот я и сидела тут ни жива ни мертва, как вы подошли! «Кто?» — думаю. Сердце остановилось. Ведь чего ж мне самой-то в ад лезть? С этих-то пор!

— Стыдно слушать тебя! Эти соседки против колхозов: слушают своих мужей, норовят каждому колхозному делу наперекор что-нибудь сказать. Чьи они жены? — Ширбека-торговца, Хаджиназара — негодяя, погубителя моего Черного Бобра. Вот и пускают пыль в глаза. А ты-то зачем им веришь? Ты-то чего боишься?

— А откуда знать, будет ли от трактора польза колхозу? Сами вы сегодня впервые его увидели.

— Мне гиждуванские колхозники говорили, что на полях из-под трактора урожай у них вдвое против прежних вышел. Да и в правлении об этом говорили люди, к которым я веры не потерял. Трактор только и может нас выручить. Не сомневайся, вспашем землю, сколько понадобится, урожай соберем хороший. А если что мне не по душе, так это насчет кормовых трав. Если их не посеять, трудно нам будет. А сеять их не собираются.

— Почему ж не собираются? Почему бы и не посеять немного? И колхозный скот был бы сыт, и мы бы могли держать корову.

— Сегодня говорили об этом в правлении. Я им говорил: «Посейте понемногу клевера, кукурузы, люцерны. Понемногу,— говорю,— не в убыток хлопку». Против меня тут же выступил Шашмакул. Даже кулаком меня обозвал.

Садык задумался. Помолчав, он сказал жене:

— Все-таки дела в колхозе налаживаются. Перегнули, теперь выпрямляют. Думаю я, насчет травы тоже дело поправят. Сколько ни думаю, никак не пойму, какой от нее вред колхозу, какой вред хлопку? А польза будет. Большая польза. Зачем же от пользы отказываться?

Страх у жены прошел. Лицо ее опять зарумянилось, глаза повеселели. На душе у нее стало даже легче и веселее, чем было до появления трактора.

— Ну вот,— сказал Садык, погладив ее синевато-черную косу.— Не надо тебе страшиться чужим страхом, лучше живи своей радостью.

— Откуда ж взять радость-то? У меня пустые руки, чем их займешь? Ни скота, ни птицы. А я радовалась, когда видела, как дело спорится. А когда нет дела... Вы вон и то, с той ночи, как увели от нас Черного Бобра, в первый раз сейчас вспомнили про мои косы.

— С той ночи и меня будто что придавило. Какая-то тьма в глазах. Хожу и весь свет другой — деревья серые, вода желтая, земля под ногами твердая, как камень. И ничего мне не надо, ни еды, ни твоих кос, ни людского разговора. А сегодня, как только пришли машины, был у нас в правлении митинг. Сафар-Гулам-ака говорил, Мухаббат показала, как послушен трактор,— женщину слушается. Вижу, есть у нас сила! Понял: запашем поля, власть о нас помнит. И стало в глазах светло, на душе легко и видно далеко вперед. Понимаешь ты меня или нет?

Она внимательно слушала, поглаживая его шелковистую бороду.

— Понимаю вас, понимаю, отец!

— Ну, разводи огонь. Есть хочу. Поедим, немножко вздремнем, и пойду пахать.

Жена удивленно, не решаясь еще верить ему, ждала каких-нибудь слов, чтоб поверить, что Садык опять стал прежним, каким был до потери Черного Бобра.

Шелковистые завитки скользили между ее пальцев. Лицо Садыка было прежним, спокойным, ласковым, взгляд задумчивым и внимательным, а губы улыбчивыми.

И словно не было и не могло быть на этом лице ни сдвинутых бровей, ни растерянного, пугливого взгляда, ни тоскливо сжатого, молчаливого рта!

Садык вышел к детям, а его жена встала и пошла к очагу.

Весело запылали колючки.

И в этот вечер огонь слушался ее лучше и горел ярче, и запах варившегося мяса и лука был, видно, крепче, чем прежде.

И она управляла огнем, слушая, как дети наперебой рассказывали ей о тракторе, мешая правду с вымыслом, рассказывали восторженно, веря в то, что нет ничего на свете, чего не смог бы осилить и сделать трактор, настолько послушный человеку, что любая женщина может повелевать им.

9

Запахали. Засеяли. Взрастили.

Пришло время собирать хлопок. Приближалась зима. Белые холодные тучи застилали небо.

Дул студеный ветер. От ветра трескалась кожа на руках, лицо краснело, глаза слезились. Хлопьями падал тяжелый, влажный снег.

Люди разбрелись по полю, занятые сбором хлопка. Но людей в этот день было мало.

Подходя к сборщикам, Сафар-Гулам удивился и встревожился:

— Что случилось? Где народ?

— Отправились на пир.

— Куда это?

— В сад к Фазилу-баю. У него обрезание младшему сыну, и он позвал крестьян из всех соседних деревень. Пир на весь мир. Кому удалось не попасться на глаза брату Эргашу, все ушли туда.

— Новая проделка классового врага! — сказал Сафар-Гулам.— И вы попались в этот капкан.

— Что же это за капкан? — сердито ответил один из сборщиков.— Как сказано — «будь хоть козел, лишь бы доился», а жирный горячий плов не молоко разве в такой холод! Да еще даром! Вот вы, классовые друзья, заставляете работать на стуже, так что руки потрескались. А классовый враг угощает пловом, угощает чаем.

Гафур-прядильщик сказал:

— Бай устроил пир во время уборочной не затем, чтоб вас накормить и порадовать, а чтобы сорвать сбор хлопка. Чтоб навредить колхозу, да и крестьянам-единоличникам. Время сейчас каждому дорого: мороз вот-вот побьет все, чего не успеем собрать. А работаешь ты не для нас, а для себя. Для самого себя, друг. Пойми.

— А если надо было собирать хлопок, почему его сбор затянули до морозов? Тепло-то было всю осень! — проворчал Мавлйан.

— Мы его два месяца собираем. А где ты тогда был? Почему тогда не шел нам помогать? Если б ты пришел, да, глядя на тебя, пришли и остальные, мы давным-давно собрали б весь хлопок. А то я тебя тут вижу всего в четвертый раз.

— Нет, это ты зря говоришь — я шестой раз вышел. А моя жена разве не работала? Если я иду на базар или еще куда по делам, сюда выходит моя жена. Ведь доход будет распределяться по хозяйствам? От моего хозяйства тут всегда работает человек. Ты зря вздумал меня пробирать.

Гафур сердито отозвался:

— А я что ж, за три хозяйства, что ли, буду получать? А на работу выхожу я сам, и моя жена, и дочь.

Фатима, его дочь, поддержала отца:

— Вы, отец, понимаете, зачем нам надо так хорошо работать, а дядя Мавлйан этого не понимает. Он еще не осознал значения борьбы за полное обеспечение нашего социалистического государства своим хлопком. Надо ему разъяснить, может быть, он и перестал бы сердиться, что не попал на пир к богачу.

Озабоченный Сафар-Гулам пошел на соседний участок. Подошел Садык и ответил Мавлйану:

— Я тоже одним хозяйством считаюсь. Однако работаю сам с женой. Вместе. А Хаджиназар придет доход получать за три хозяйства. Но ни на посевной, ни на окучке, ни на поливе, ни на чеканке, ни на сборе никто его и в глаза не видел. Это, конечно, обидно тем, кто работает.

Острая на язык Фатима и тут добавила:

— Хаджиназар в поле не ходит, но он и дома не сидит,— он в правление ходит. Целые дни там сидит,— своего прежнего писаря протащил завхозом, а как только дядя Сафар выедет в поле, так Хаджиназар садится в правлении и рассуждает с завхозом, как дальше жить.

Мавлйан сердито ответил ей:

— Сафар-Гулам — председатель колхоза. Незачем ему по полям глину месить. Его дело — сидеть в правлении, караулить порядок.

— Если он и дядя Эргаш засядут в правлении, кто же колхозные дела двинет? Они ходят по дворам и чуть не силой тащат таких, как вы, на работу. А в правлении сидит Хаджиназар, ему ничего не хочется делать.

— Ты вот знаешь про эти дела Хаджиназара, а почему не скажешь Сафару или Эргашу? Ты комсомолка. Ты обязана такие дела не в себе таить, а оглашать. Обязана! — закричал Садык.— Если мы скажем, подумают, что у нас склока. Подумают, что колхоз хотим развалить. А ты — комсомолка, к твоим словам прислушиваются.

— Они мне отвечают: «Погоди. Соберем хлопок, тогда разберемся. Тогда займемся правлением, а пока надо заниматься полями».

— Я с женой целые дни тут работаю, а Хаджиназар бездельничает. А потом явится к горячему плову и запустит в блюдо сразу три руки! — закричал Садык.

— Я не человек, что ли? — спросил Науруз, старший брат жены Хаджиназара.— Хаджиназар не выходит, а я-то работаю!

— Ого! — ухмыльнулся Гафур.— Ты вместо Хаджиназара? Так ведь ты же записан как отдельный хозяин! И твой брат — тоже отдельный хозяин. При чем же тут Хаджиназар? Ты сам за себя, твой брат сам за себя, значит, и твоему шурину надо работать самому за себя.

— Какие мы хозяева! Какие могут у нас быть хозяйства! Где уж нам работать на себя? Ни у меня, ни у брата нет ни клочка земли. От колхоза до сих пор горсти пшеницы не получили. Това-

ров ни на копейку не получили. Мы работаем в колхозе, а хлеб нам дает шурин.

— Да это ж вроде прежнего рабства! — удивилась Фатима.— Надо вам глаза раскрыть. Нельзя колхозу терпеть такой позор.

И опять сборщики, двинувшись строем, пошли по полю, между почти черных высоких кустов, где, как хлопья пены, белели раскрывшиеся коробочки хлопка.

Мавлйан остался позади.

Словно ребенок, сидел он на земле и катал смешавшиеся с мусором комки хлопка по подолу своего халата.

Когда вернулась Фатима, чтобы вывалить из мешка набитый туда хлопок, Мавлйан сказал:

— Ишь ты, как туго набила мешок! Больше всех собираешь, раньше всех приносишь. Зачем это ты так стараешься? Рук не жалеешь? Думаешь, своими двумя руками накормишь весь нищий народ?

Фатиму, думавшую в это время о проделках Хаджиназара с двумя его работниками, слова Мавлйана огорчили, она ушла, ничего не ответив.

Со стороны Гиждувана послышался барабанный бой.

Шли пионеры и комсомольцы.

Фатима остановилась и посмотрела в их сторону.

Глаза ее повеселели. Она пошла навстречу этим желанным помощникам.

Городская молодежь разделилась на бригады.

Вызвали друг друга на соревнование по наибольшему сбору хлопка, на быстроту в сортировке и чистоту хлопка в каждой бригаде.

Хлопок словно закипел в их молодых, резвых, веселых руках.

Мавлйан и Науруз смотрели с удивлением на ребят, покинувших теплые городские комнаты, чтоб на пронзительном ветру помогать колхозу,— колхозу, от которого им не причитается ни доходов, ни почета.

А среди хлопкового поля шутил с ребятами Нор-Мурад.

— Прошу вас, ходатайствую: повяжите и мне красный галстук, хотя мне только пятьдесят лет. Я обещаю вырасти исправным пионером.

А Фатима работала с комсомольской бригадой, напевая с ними:

Всюду хлопок белеет,
Как цветы в цветниках,
О Лейли, Лейли, Лейли...
Спелый хлопок белеет,
Словно чаши в руках,
О Лейли, Лейли, Лейли...

10

В правлении вокруг неяркой керосиновой лампы сидело несколько человек из членов правления.

Негромкий разговор затянулся, и, может быть, только теперь и зашла речь о самом главном.

— Десять дней колхоз бросал все свои силы на сбор хлопка. Изо дня в день помогали нам пионеры и комсомольцы. Весь хлопок, наконец, удалось собрать. Весь урожай. А вышло, что и таким трудом нам не удалось выполнить план. Собрали только семьдесят процентов. Что же это такое? — в раздумье говорил Сафар-Гулам.

— Да, это и мне непонятно,— подтвердил Эргаш.— Большая часть наших земель вспахана трактором. Вспахана глубоко, отлично. Так никто никогда на быках не пахал. Семена нам дали отборные. Агроном нам помогал советами все лето. Бедняки и честные середняки работали трудолюбиво. Хлопок уродился хороший. Со сбором мы запоздали, но ведь все же мы окончили сбор. Почему ж хлопка мало? Почему его меньше, чем мы планировали? На небо, что ли, он улетел или под землю провалился?

Гафур сказал:

— Фатима говорила мне, что кое у кого из колхозников, да и у единоличников, сохранились и прялки и веретена. Во многих домах могут очищать хлопок, если захотят. Не разошелся ли он по рукам?

Нор-Мурад напомнил:

— Видите! А когда я принес в колхоз свое веретено с прялкой, меня осмеяли. Только вон товарищ Юлдашев меня тогда поддержал. А надо еще тогда было подумать о вреде этих вещей. Собрать их, чтоб не торчали они у людей перед глазами, не наводили на грешные мысли.

— Правильно! — поддержал Юлдашев.

— Один раз угадал, так уж не хвастай, не заносись! — засмеялся Сафар-Гулам.

Завхоз сказал:

— Удивляюсь, кому это нужно чистить и прясть хлопок? Для чего? Чтоб ткать нашу грубую, неприглядную холстину? Да у нас теперь сколько хочешь есть и сатина и ситца. У меня лежал целый тюк сатина, на нем тракторы изображены. Так его никто ни одного метра не взял.

Гафур ответил:

— Фатима говорила, что Хаджиназар пустил среди колхозников такой слух: «Если на сатине люди и лошади или тракторы есть, нельзя покупать такой сатин,— где такой сатин будет, там нельзя молиться, аллах не услышит молитву».

Нор-Мурад обратился к завхозу:

— Ты мне дай из того тюка с тракторами несколько метров. Я из него себе одеяло сошью. Я молитв не читаю, и бог мне ни к чему!

— Не могу! — торопливо ответил завхоз.— Когда я увидел, что колхозникам не смогу этот сатин продать, пустил его в свободную продажу, на сторону. Его у меня разобрали. Я давал по четыре, по пять метров.

— Жалко. И ничего не осталось?

— Куда там!

Сафар-Гулам прервал их разговор:

— У нас решается вопрос о хлопке, а вы тут торговлю затеяли. Надо разобраться, куда девался хлопок. И если его расхищают, надо пресечь это. Решительно пресечь.

Эргаш предложил:

— Нужно объявить и обязать всех, кто имеет прялки, веретена и хлопкотрепалки, сдать их.

— Не выйдет! — покачал головой Сафар-Гулам.— Не выйдет,— один принесет, а десятеро спрячут, скажут: «Нет их у нас и не было». А когда надо, достанут и опять за старое примутся.

Нор-Мурад поддержал Сафар-Гулама:

— Хаджиназар непременно все спрячет, а нам скажет: мол, веретена и мои прялки все сдохли, а остальных я зарезал и съел, ведь зима-то была суровая...

Все засмеялись, так похоже он передал голос Хаджиназара.

— Надо сделать так, чтоб и весь этот инвентарь забрать, и расхищенный хлопок вернуть. Вот как надо сделать,— решил Сафар-Гулам.

— И я предлагаю послать по дворам пионеров. Пускай по домам посмотрят,— предложил Юлдашев.

— Можно и пионеров,— согласился Сафар-Гулам.— И сделать это надо быстро, неожиданно. Согласны?

— И что же, все дома будем осматривать? — поспешно спросил завхоз.

— Конечно, чтобы не было обид.

— Начнем с моего дома! — попросил Нор-Мурад.— Но предупреждаю: у меня есть пять фунтов хлопка — это я отложил себе на новый халат. Его прошу не трогать.

— Не только пять фунтов, а если и один грамм найдем, и тот

заберем. А на халат или на одеяло кооператив получит литерную вату. Тогда покупайте и шейте, пожалуйста.

— У нас и сейчас три тюка литерной есть! — быстро сказал завхоз.

Гафур предложил:

— Давайте начнем не с Нор-Мурада,— мы от него пять фунтов всегда возьмем,— а начнем с Хаджиназара. Этот ведь если держит, то не для халата, а для продажи. У него должно быть больше.

Сафар-Гулам согласился.

— А не то, пока мы будем обходить дома, Хаджиназар все успеет спрятать.

Но завхоз заспорил:

— Надо сперва зайти в два или в три бедняцких дома, а уж потом к Хаджиназару, а то он отправится с жалобой в Гиждуван: середняков-колхозников, мол, притесняют!

— Это верно! — согласился Сафар-Гулам, неприметно подмигнув Юлдашеву.— «Середняков» обижать нельзя.

— Ну, начнем, не теряя времени! — сказал Юлдашев.— Я сейчас соберу пионеров и организую отряд.

— Я первый! — заявил Нор-Мурад, подняв обе руки.— Иди собирай остальных пионеров.

Посреди двора Хаджиназара стоял Нор-Мурад.

Внутренний дворик в это время осматривали пионеры.

Оттуда послышался оживленный спор, и один из ребят, с красным галстуком на смуглой шее, выбежал возбужденный и встревоженный:

— Дядя Нор-Мурад! Идите сюда скорей!

Одним прыжком Нор-Мурад оказался во внутреннем дворике. Вскочив туда, он застыл от удивления и растерянности.

Посредине двора зияла разрытая большая яма, в которой спрятаны были прялки, хлопкоочистилки.

Возле нее с лопатами в руках стояли Науруз и Хамид.

Земляную насыпь покрывали овечьи шкуры, а на них лежал двумя грудами хлопок. Возле валялись две хлопкотрепалки, каким обычно разбивают хлопок перед чисткой.

Тут же лежали вороха очищенного хлопка, готового для одеял. Этот хлопок лежал между пионерами и растерянно стоявшими женщинами.

В стороне от них согнулся Хаджиназар, крепко ухватив новое, недостеганное одеяло. Двое пионеров, уцепившись за это одеяло, тянули его в свою сторону.

Нор-Мурад соображал, с чего начинать: с хлопка или с инвентаря?

Но, вспомнив слова Юлдашева о том, что причиной расхищения хлопка был инвентарь, Нор-Мурад спрыгнул в яму и тотчас завопил оттуда:

— Ой, умираю! — В ногу ему впился острый конец прялки.

— Дядя Нор-Мурад! Что вы там делаете? Вылезайте! Надо отобрать новое одеяло: в нем пуда два хлопка!

Нор-Мурад, быстро оглядевшись в яме, выбрался наверх. Прихрамывая, он подошел к хлопку.

И хотя жены Хаджиназара убежали через маленькую калиточку к соседям, бай закричал на Нор-Мурада, крепко прижимая одеяло к животу:

— Тебе кто разрешил входить сюда? Это женский двор. У меня тут женщины и дети!

Но вдруг Хаджиназар взвизгнул и присел от боли:

— Ой, палец!

Один из ребят укусил его за мизинец и, пользуясь мигом, когда бай кричал, вырвал у него одеяло.

— Ничего, Хаджиназар, если я случайно увидел ваших жен, дело поправимое. Разрешаю вам зайти ко мне во двор и взглянуть на мою старуху. Вот мы и сквитаемся.

Хаджиназар промолчал. Охая, он сосал укушенный палец.

Кто-то из ребят пошутил:

— У деда Хаджиназара четыре жены, а у вас, дядя Нор-Мурад, одна, как же можно сквитаться?

Нор-Мурад прервал их:

— Хватит вам разговаривать. Позовите сюда Эргаша и Сафар-Гулама, надо скорее забрать отсюда хлопок.

Потом он обратился к Хаджиназару:

— Разве у вас не было мешковины, что пришлось пошить мешки из сатина?

— Это не мешки. Это одеяла.

— Разве в одеяла набивают столько ваты?

— Я стар стал. Захотелось сшить одеяло помягче.

— А вон там сложены друг на друга мешки, еще не стеганные? Тоже одеяла?

Богач растерялся.

— Вы напали на мой дом. Изувечили мне руку. Я в долгу не останусь. Я составлю акт и подам в суд.

— Ничего, за увечье колхоз назначит тебе пенсию, если установят, что увечье получено на колхозной работе.

Вскоре пришли Эргаш с сыном — комсомольцем Хасаном, Сафар-Гулам, Юлдашев и несколько колхозников с мешками в руках.

Нор-Мурад сказал:

— Зачем мне ваши мешки? У меня есть, и к тому же сатиновые.

— И в самом деле! — удивился Сафар-Гулам.

Но хлопка хватило и на принесенные мешки.

Юлдашев заглянул в комнату.

— Ого! Идите-ка сюда!

Вся комната была заполнена одеялами. Одни лежали еще не стеганные, другие — совсем готовые, положенные друг на друга до самого потолка. Стояла швейная машина с разложенными вблизи отрезами для шитья. Лежал початый тюк сатина и ножницы на нем.

Гафур засмеялся, глядя прямо в глаза Хаджиназару:

— Вы же сами говорили всем, что, если в доме окажется одеяло с рисунком лошади или трактора, в доме нельзя будет молиться и бог от того отвернется. Зачем же вы в свой дом притащили целый тюк такого сатина?

Богач молчал, отвернувшись.

Эргаш ответил за хозяина:

— Хаджиназар решил жить без бога.

Юлдашев спросил:

— Эти одеяла для продажи? Не так ли, хозяин? Теперь, говорят, так делают: набьют в одеяло пуда два хлопка, сдают в багаж и отправляют, куда надо.

— Я тоже слышал. Но такие одеяла перешивают из старья. А Хаджиназар не пожалел нового сатина.

— Он молодец! — засмеялся Юлдашев.— Другие зарабатывают только на хлопке, а он хотел заработать и на сатине. Ведь этот сатин идет в хлопководческие районы по удешевленной цене, а в других районах за него дадут в пять раз больше.

— Вот кому продавал сатин наш завхоз! — сказал Эргаш.— А нам он говорил, что сбыл его на стороне по четыре, по пять метров.

Сафар-Гулам ответил:

— Дойдем и до завхоза.

Хлопок упаковали и понесли на колхозный склад. Забрали инвентарь.

Выходя, Сафар-Гулам взглянул на бая:

— Всего хорошего, дядя, выздоравливайте. В следующий раз опять обработайте хлопок на прялках, чтобы заводу поменьше хлопот было.

Вдруг он заметил сидящего у стены Нор-Мурада.

— А ты чего застрял?

— Я инвалид. Не могу ходить, поднимите, отнесите меня домой.

— Как инвалид? Каким образом? — Сафар-Гулам подошел к Нор-Мураду.

— Когда он прыгнул в яму, чем-то случайно проткнул ногу,— ответил за него подбежавший к ним Хасан.

— Во-первых, не чем-то, а совершенно точно — прялкой,— сердито заговорил Нор-Мурад.— Во-вторых, я потерял очень много крови и у меня отнялась нога.

— Разве ты был без обуви? — удивился Сафар-Гулам.

— Хорошо, что она еще раньше соскочила с ноги, иначе пришлось бы чинить и обувь.

— Вот и хорошо, а нога твоя без починки заживет,— пошутил подошедший Эргаш.

— А что я буду кушать? Пока вы мне не назначите пенсию за инвалидность?

— Что за пенсия за инвалидность? — встревожился Эргаш.

— Если вы обещали Хаджиназару за укушенный палец выдать пенсию, то почему же не хотите давать ее мне? — озабоченно и серьезно ответил Нор-Мурад.

— Кто сказал, что Хаджиназару собираемся давать пенсию? — рассмеялся Эргаш.

— Не знаю, кто-то из пионеров.

— Хаджиназару органы революционной законности назначат в исправительном доме уголовный паек,— сказал Хасан.

Все рассмеялись.

— А ну, покажи, я посмотрю, что у тебя за рана? — наклонился Сафар-Гулам к Нор-Мураду.

— Ой, ой, не трогайте! — схватился тот руками за ногу.

— Что, совсем невмоготу? — подбежал Гафур.

Сафар-Гулам снял тряпку и увидел, что ранка совсем не глубокая, кровь уже подсохла.

Увидев, что обман ему не удался, Нор-Мурад решил перевести все на шутку:

— Вас, большевиков, не проведешь.— Он поднялся и пошел. Остальные, хохоча, пошли за ним.

Когда колхозники вышли, Хаджиназар оглянулся. Он увидел Науруза и Хамида, по-прежнему стоявших на краю опустевшей ямы.

Хозяин свирепо закричал на них:

— Бездельники! Чего стоите? Чего хлопаете глазами? Засыпайте эту яму! На что мне яма посреди двора? Сровняйте ее с землей! И конец!

11

И снова наступила весна. В ночной темноте зацвели абрикосы, наполняя воздух горьковато-нежным запахом.

Сын Эргаша Хасан после собрания пошел вместе с Фатимой.

— Как тебе нравится это собрание? — спросил Хасан.

— Мне было очень интересно. Замечательны указания партии, изложенные в докладе. Ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации. Уничтожение кулацкой уравниловки в распределении доходов, борьба за высокую производительность труда. Я думала о большом колхозе с колхозными стадами скота, с колхозным птицеводством. В деревне появятся ученые колхозники, чтобы правильно вести земледелие, скотоводство, сады. Вокруг них образуются активы любителей. А ведь среди крестьян у каждого есть любовь к тому или другому,— одни любят сады, другие — птицу, третьи — скот. Как вырастут люди! Как одно потянет за собой другое. В жизни откроются такие возможности, каких мы и не предвидим сейчас!

— Да,— ответил Хасан,— наша партия указывает нам единственно верный путь, она раскрывает перед нами огромные перспективы к нашему всестороннему развитию, к зажиточной, богатой жизни всего советского народа. Вся жизнь, вся работа вдруг открылась в новом свете! Как ясно, как четко. И каждому становится ясной, четкой каждая задача, каждая обязанность.

Они шли по безмолвной, безлюдной улице между глиняных низеньких стен и чувствовали, какой огромный могущественный мир впереди принадлежит им.

Молча, мечтая, они шли рядом, взволнованные и серьезные.

Так дошли до перекрестка.

Здесь остановились.

— Ты домой? — спросила Фатима.

— Нет, сперва провожу тебя.

Он взял ее крепкую мускулистую руку и пошел с ней рядом в сторону ее дома.

Они шли тихо.

Ночь стояла темная, беззвездная, прохладная, полная запахов,— ночь ранней весны.

Рука двадцатилетнего Хасана крепко держала руку восемнадцатилетней Фатимы.

Мечты Фатимы странно переплетались,— мечты о чем-то огромном, вновь понятом сегодня на собрании, и о чем-то другом, тоже близком сердцу, но очень простом и тоже большом. И казалось: одно без другого не складывается в мечту, а вместе это выходило так замечательно, что казалось несбыточным.

— Мне не понравилось выступление Шашмакула.

— Какое?

— Когда он назвал Садыка кулаком. Какой же Садык кулак? Был середняком, а теперь активный колхозник.

— У Шашмакула есть цель так говорить.

— Какая?

— Когда-то Шашмакул был сторонником сплошного посева хлопка. Тогда Садык говорил, что часть земель надо отвести под кормовые травы. Рассердившись, Садык сказал тогда Шашмакулу: «Ты пастух и крестьянских дел не знаешь». Потом был указ о посевах наряду с хлопком и других культур. Садык оказался прав. С тех пор Шашмакул затаил на Садыка обиду. Каждый раз говорит что-нибудь против.

— Шашмакул называет середняка кулаком, это как раз на руку кулакам, а с другой стороны, он защищает, как может, Уруна-бая Кальячи.

— Ну, это бесполезная затея. Если в районе есть всего сотня кулаков, то и в этой сотне первым выйдет Урун-бай. Если в районе всего один кулак,— это будет все тот же Урун-бай.

Рука Фатимы дрогнула в руке Хасана.

Фатима спросила:

— А дочь его?

Хасан помолчал, раздумывая.

— Нет, его дочь я не могу считать принадлежащей к кулакам.

Рука Фатимы попыталась выскользнуть из рук Хасана, но Хасан еще крепче ее сжал.

— Фатима, когда ты оцениваешь человека, не поддавайся личным чувствам. Я знаю, что Кутбийю ты не любишь. Но я не могу говорить неправду, чтобы лишь угодить тебе. В истории нередко случалось...

— Довольно истории. Говори свою правду покороче. В чем твоя правда?

— Она в том, что Урун-бай — кулак, купец, ростовщик, классовый враг, но его дочь Кутбийа не может считаться кулачкой.

— Как же это — член кулацкой семьи и не кулак?

— Но ведь Кутбийа давно ушла из отцовского дома. Живет с бедной теткой, вдовой. Учится в советской школе.

— Ты считаешь, что, уйдя к бедной тетке, она ушла из-под родительского влияния?

— Да, я думаю так.

— На каком основании?

— Она не закрывает лицо. Родители не разрешили бы ей сбросить паранджу.

— Может быть, она сбросила паранджу, чтобы поймать в свои сети какого-нибудь комсомольца?

— Вот ты и выдала себя! — торжествующе воскликнул Хасан.— Если двое людей любят друг друга и хотят жить вместе, разве про это можно сказать, что один из них попал в сети или поймал в свои сети? Разве дочь кулака, уйдя из-под отцовского влияния, должна искать себе обязательно кулацкого сына? И разве комсомолец изменяет комсомолу, если полюбит честную девушку, ушедшую из кулацкой семьи?

— Прости! — сухо и твердо сказала Фатима.— Ты меня не понял.

Они дошли до ворот Фатимы.

Высвободив свою руку из руки Хасана, Фатима попрощалась.

— Больше не будем говорить об этом...

И вошла в дом.

Хасан Эргаш возвращался в темноте, и какое-то тяжелое чувство давило его. Он не мог разобраться в этом чувстве. Разговор с Фатимой чем-то встревожил его.

Он не решил еще, куда идти: домой спать или в красную чайхану, где, может быть, встретится Кутбийа? Нет, ему хотелось побыть одному.

Маленькие, узкие деревенские улочки вывели Хасана в степь.

Было прохладно, но Хасан расстегнул ворот рубашки.

Чистый, свежий степной ветер, запах зацветающих садов наполнили Хасана радостным, счастливым волнением.

Хасан присел под огромным старым карагáчем, раскинувшим свой просторный, темневший в ночи шатер.

«Есть ли у Фатимы основания упрекать меня?»

Он подумал:

«Есть. Она меня полюбила и решила жить со мной. Но когда заметила, что Кутбийа мне милей, стала ревновать. Ей обидно.

Прав ли я?

Я не говорил Фатиме, что думаю на ней жениться. Я, правда, думал об этом, но ей не говорил. Я с Фатимой ничем не связан. Я люблю ее, но как товарища детских лет. Нет, я ничем не связан с Фатимой».

Так, освободив себя от Фатимы, он задумался о Кутбийе:

«Кутбийа меня любит. Так любит, что и мое сердце зажгла. Только при такой горячей любви можно жить друг с другом. А не нарушит ли жизнь с ней моих ленинских принципов? Нет!» — подумал он.

Хасан снова перебирал все доводы, торопясь отбросить те, что

смущали его. Он подбирал доказательства для тех, которые укрепляли права Кутбийи на жизнь с комсомольцем.

«Нет, не нарушит! — решительно успокоил он себя.— Хотя я люблю ее, но комсомол я люблю сильнее. Если я замечу в ней черты, враждебные комсомолу, я немедленно от нее уйду.

А есть ли польза от женитьбы на Кутбийе?

— Есть! — Он поторопился собрать все доказательства, не желая думать об отрицательных доводах.— Она отошла от родителей из-за любви ко мне. Живя с ней, я воспитаю в ней колхозницу, ударницу, активистку».

Он уже не мог усидеть под карагачем.

Он вскочил и, перепрыгивая наугад через канавы, поспешил к красной чайхане, где по вечерам собиралась молодежь почитать газеты, поговорить, поиграть в шахматы.

Хасан уже подходил к красной чайхане, когда какая-то тень оторвалась от стены и кинулась ему навстречу.

Сердце дрогнуло. «Классовый враг?»

Он схватился было за револьвер.

Но аромат духов, шелест бухарского шелка, нежные быстрые руки, тронувшие его распахнутую грудь, сразу окружили и одурманили его.

— Кутбийа! Ты до сих пор здесь? — Сердце его билось, готовое вырваться из груди и взлететь вверх, как голубь.

— Где же мне быть в эту ночь? В такую ночь, когда решается, что ждет меня — жизнь или смерть, счастье или горе,— куда я пойду в эту ночь? Я тебя ждала, чтоб ты мне ответил. Желанный ответ — жизнь. Нет — тогда могила!

— Пусть в могилу отправляются твои отец и мать и все наши классовые враги! А ты, отдавшаяся сердцем нам, достойна цвести в цветнике социалистической жизни!

Услышав это, Кутбийа вскрикнула:

— Желанный ответ! — и прижалась к нему.

Хасан обнял ее.

— Уйдем, здесь нас увидят.

Он повел ее в темноте под низкими ветвями раскидистых зацветающих деревьев.

Теми же узенькими улицами они вышли в степь.

Бок о бок, рука об руку, безмолвные, прислушиваясь к биению своих сердец, они шли, овеянные прохладным, весенним, ароматным ветром.

Они опустились на землю под черным покрывалом старого карагача.

— Ты обещала ждать меня в чайхане. Почему ж оказалась на улице?

— Я до конца вашего собрания сидела в чайхане. А когда туда пришел народ, вышла на улицу, чтоб никто не видел нашей встречи. Почему ты так долго не шел?

— Я вышел вместе с Фатимой. Наш враг не дремлет. Я не мог отпустить ее одну по ночной улице. Я ее проводил и пошел к тебе.

— Ты все еще не разлюбил ее?

— Я ее не любил, поэтому не мог и разлюбить.

— А все говорили, что ты ее любишь.

— Правильно, люблю, но как товарища по работе и по убеждениям. Когда надо, я всегда готов ей помочь в любом деле. Но жениться на ней не собираюсь.

— Она мне не нравится.

— Это потому, что ты дочь кулака и мещанка. А она — дочь труда и комсомолка. Тебе до нее — длинная дорога. Когда ты со мной перевоспитаешься, привыкнешь работать, отбросишь мещанские привычки, тогда оценишь Фатиму, полюбишь ее...

Кутбийа спросила грустно и озабоченно:

— Хорошо, постараюсь. Но какой же ты мне дашь ответ?

— Я решил с тобой жить! — просто и твердо сказал Хасан.— Но условия прежние.

— Какие?

— Начисто порвать связь с отцом и с матерью, забыть о них. Второе: если понадобится, рассказать все деловые тайны родителей. Не мне, нашему коллективу. Третье: бросить свои мещанские привычки, стать моим товарищем по работе.

— Хасан, мой милый! — Она обняла его за шею, потянула к себе.— Я для тебя, Хасан, для твоих черных глаз, для твоих густых бровей, для этих сильных рук, для всего тебя я готова кинуться в кипящий котел, в пылающий костер, в речные водовороты. Твои условия легче водоворотов, костров и котлов, как же мне не принять их? Я согласна, Хасан!

12

Началась весенняя посевная 1933 года.

В прозрачном воздухе, ясном, как горная вода, текли прохладные струи легкого ветра. Пахло из садов едва раскрывшимися цветами абрикосов и молодой листвой. И этот свежий нежный аромат ветра смешивался с густым, уютным запахом свежевспаханной земли.

На колхозных полях было людно и оживленно.

Колхозники, разделенные на бригады, работали каждый на своем участке. Бригады, прикрепленные к определенным участкам, любовно возделывали свою землю, соревнуясь одна с другой.

Тракторы шумно и неустанно двигались в разных местах обширных полей, как маневровые паровозики на станциях.

Дымок тракторов всплывал, поблескивая, как резвая рыбка, в небо и тотчас исчезал в его просторе.

Жаворонки шныряли по бороздам, разыскивая червей и зерна, вдруг взмывали вверх, словно вздернутые к небу невидимой струной, на мгновение повисали высоко-высоко, трепеща крыльями и заводя песню, а затем падали с этой песней, то вдруг останавливаясь в своем падении, то снова сближаясь с землей, и, коснувшись земли, смолкали.

Где-то в дальнем саду куковала кукушка.

Муравьи вытаскивали из своих складов остатки зимних запасов, чтобы проветрить их на пригреве.

Все жили большой радостной, весенней заботой.

Небольшие неровные участки земли — наследство, полученное колхозом от единоличных хозяйств,— в этом году впервые потеряли свои давние, древние очертания. Тракторы прошли по всему огромному полю из конца в конец, и ровные борозды протянулись там, где еще недавно хозяин крошечного надела ограждал свои владения от соседа.

На одном из участков бригаде колхозников было дано задание мотыгами разровнять землю.

На один из бугорков, присев отдохнуть, колхозники положили свои мотыги и разговорились.

— От русских рабочих мы получили тракторы. Избавили они нас от тяжелой работы. Хорошо бы теперь получить нам такие машины и для боронования земли. Нам еще легче стало бы.

— Если они придумали трактор, то и такую машину придумают непременно. Трактор за день пашет столько земли, сколько на паре быков не вспашешь за десять.

— Трактор не только тем хорош, что пашет быстро, а и тем, что глубоко пашет.

Бритый человек, в куртке и в военных брюках, усомнился, закручивая вверх усы:

— А какой толк от этой глубины? Ну, перевернет он пласт кверху дном, а земля-то все та же.

— А толк тот, что ни прошлогодние корни, ни стерня не засоряют нового поля, а попадают вглубь. Там перегнивают, удобряют землю, питают молодой посев, а поле наверху становится чистым.

— Что попусту говорить, всякий видит пользу от машин! — сказал один из колхозников.

Но бритый упрямился:

— Знаю одно: сеялки ни гроша не стоят. Я в прошлом году сеял сеялкой. Сеял-сеял, а всходы вышли редкие. И меня ж еще обвинить вздумали. Слава богу, Шашмакул заступился, а то под суд бы попал. С тех пор я от сеялок держусь подальше, к мотыге поближе.

— Что-то ты не то говоришь. Руками никогда ровно не посеешь. После ручного сева нельзя применять культиватор, а после сеялки и культиватор пойдет, и простой мотыгой работать легче.

Один из колхозников вспомнил:

— Бывало, Сийаркул-ака говорил: когда на поля выйдет много разных машин, станут колхозные поля похожи на фабрики и на заводы. Я однажды с Сийаркулом ездил на хлопковый завод. Там всю работу выполняют машины. Очищают хлопок от семян. Очищенный хлопок прессует и связывает в тюки машина. Если и на поле все работы будут выполняться с применением машин, пожалуй, действительно наши поля будут как заводы и фабрики. Машины увеличивают урожай, колхозы при добрых урожаях стали большевистскими, а колхозники зажиточными!

— Это я знаю. Сийаркул говорил, что партия призвала и к машинизации сельского хозяйства. Теперь мы на прошлую жизнь смотрим, как с зеленой горы в черную пропасть.

— Вон и женщины-то наши, как муравьи, трудолюбивы. Работают на поле рядами! А прежде они знали только котлы, посуду, шитье.

Нор-Мурад, пятидесятилетний пионер, раньше всех усевшийся на бугорке для разговора, долго ждал для себя подходящей темы.

Теперь он живо заговорил:

— Женщины! Моя старуха, бывало, меня обманывала. Если решала что-нибудь себе купить, то потихоньку откладывала из того, что я давал ей на еду. За это ей от меня и попадало. А теперь, в прошлом году, я едва-едва заработал сто трудодней, а она — полтораста. Купила все, чего ей не хватало, а я и сказать ничего не могу: на домашние расходы дает наравне со мной. Мне и жить легко стало, и жена ходит веселая.

— Если вы будете так же весь этот год работать, как сейчас, боюсь, что на свою рубаху вам придется брать из ее денег.

Бритый сел рядом с Нор-Мурадом.

— Вы гордитесь заработком вашей жены, а на самом деле вы заставляете жен работать, как рабынь.

Нор-Мурад рассердился:

— Хоть ты себе и усы закрутил, и сбрил бороду, и брюки-галифе надел, и прозвище носишь «Хамдам-форма», а ни черта ты не смыслишь. Свобода женщин у капиталистов понимается как право на безделье. Там такая свобода только у богачей. А у нас свобода — это право на труд, на образование, на отдых.

— Правильно,— поддержал Шахназар Нор-Мурада.— Вот Хадича, младшая жена Хаджиназара, она у него работала, как рабыня, из тех, что покупали в Бухаре. Работала с утра до ночи, а одежды не имела, в ушах звенело от ругани почтенного супруга, тело ныло от пинков. А как только она от него освободилась, стала ударницей в колхозе. За прошлый год заработала двести пятьдесят трудодней. Дом себе поставила.

Нор-Мурад засмеялся:

— Эрназара за лень выгнали из колхоза. Он сперва огорчился. Потом увидел на Хадиче шелковый платок, бархатный камзол, лаковые туфельки и оживился, воспрянул духом. А как только разузнал, что она выработала двести пятьдесят трудодней, так совсем покой потерял и послал к ней сваху. Но Хадича не растерялась: «Скажи, говорит, этому лодырю, что если я захочу замуж идти, так выберу себе ударника, чтоб не было мне стыдно за мужа. А Эрназару посоветуй пустыми надеждами голову не забивать». Вот какие у нас женщины! Неужели мы им уступим? Давайте-ка поработаем!

И Нор-Мурад резко вскочил, схватив мотыгу.

Но рядом неожиданно прозвучал голос Юлдашева:

— Нор-Мурад-ака! Зачем утомляться? Вы так долго отдыхали, что резкий переход от покоя к энтузиазму может вам повредить.

Нор-Мурад растерялся:

— Товарищ Юлдашев, у вас хоть и одна рука, но глаз не менее четырех. Так далеко отсюда вы работали и все же увидели, как работает наша бригада! А мы кончили работу, поэтому и присели.

Председатель совета урожайности, пришедший вместе с Юлдашевым, внимательно осмотрел землю.

— Такую работу нельзя принять.

У Хамдам-формы один ус опустился, а сам Хамдам побледнел.

— Почему?

— Потому что вам поручили разравнивать землю, а вы этого не сделали.

Юлдашев подтвердил слова председателя:

— Вместо того чтобы бугры срыть и землей завалить ямы, срыли бугры до того, что получились новые ямы.

Нор-Мурад рассердился и закричал на Хамдама:

— Я тебе говорил! Я говорил, что ты портишь поле, а не выравниваешь. Ишь, усы подровнял, а землю выровнять не мог!

— Он портил, а вы где были?

— Я говорил, да он-то не слушал!

Кто-то невесело сказал:

— Из-за него пропала паша работа, да и осрамил нас.

— Ну работа-то не пропала! — возразил Юлдашев.— Как могла работа пропасть, когда вы не работали?

— Я заметил, что Хамдам дело портит, ну и сел, чтоб не тратить сил попусту.

Составили акт.

Подписали акт председатель совета и Юлдашев. Подошел бригадир соседнего участка, присоединил и свою подпись. Но покачал головой:

— Я тут рядом работал. Надо б нам было вызвать их на соцсоревнование, чтоб не было им повадно сидеть сложа руки.

— А я тогда и не сидел бы! — воскликнул Нор-Мурад.— Я б тогда показал, как работать!

— Это не поздно исправить!— ответил Юлдашев.— Заключайте договор на соревнование и принимайтесь за дело.

Бригадир распределил обязанности между колхозниками бригады и, в свою очередь, посоветовал заключить договор. Все принялись за работу.

Нор-Мурад заявил:

— Хоть душу вон, а достоинство надо вернуть.

Но после каждых пяти-шести взмахов мотыгой он распрямлялся, чтобы погладить поясницу.

Хамдам, работавший рядом, подошел к Нор-Мураду.

— Вы меня попрекали за плохую работу. Не откажитесь, поучите меня. Я тогда и свою долю выполню, да и с вашей долей справлюсь.

— Вот молодец! — одобрил Нор-Мурад.— Если так сделаешь, каждый тебя похвалит, а не то обзовут вредителем и выставят из колхоза.

Вечером, принимая от колхозников работу, бригадир особо похвалил работу Нор-Мурада и Хамдама-формы.

— Я не только сам резв, как пионер, а еще и Хамдама втянул, неопытного в крестьянском деле. Ишь как активно работал!

— Молодец!

— Я всегда такой! — гордился Нор-Мурад.

А Хамдам в душе радовался:

«Прежде я сбросил бороду и подровнял усы, и Шашмакул признал меня активистом. А сегодня я добился того, что и простак Нор-Мурад признал меня активным колхозником».

13

Так Хамдам добился признания, так он прослыл активистом.

Нор-Мурад решил, что Хамдам устыдился плохой работы и, внимая дельным советам пятидесятилетнего пионера, взялся за дело всерьез.

А Хамдам объяснял всем, что это Нор-Мурадовы упреки заставили его одуматься, сделали активистом. Он получил задание вместе с несколькими колхозниками прокопать арык — оросительный канал.

Нор-Мурад, улучив минутку, зашел на участок Хамдама, посмотрел, как там у них: спорится ли дело.

Постояв около колхозников, копавших канал, Нор-Мурад деловито сказал:

— Ты совсем человеком стал, брат Хамдам. Хорошо работаешь, молодец!

— Если я и стал человеком, то лишь благодаря вам, Нор-Мурад. Ваши слова были хоть и горьки, но справедливы. Их горечь, как хина при лихорадке, освежила меня. Я излечился от своей болезни, от невежества и от лености. Я очень благодарен вам!

— То-то,— гордясь и сияя, ответил Нор-Мурад.— Всегда слушай советы человека, износившего рубашек вдвое больше, чем ты. Слышал: партия отменила уравниловку при расчетах с колхозниками? При оплате теперь будут учитывать качество работы и опытность работника.

Тревожная искра мелькнула в глазах Хамдама, но, улыбаясь, он ответил:

— Так оно и должно быть! По справедливости.

И, не выражая голосом никакого сомнения, он спросил Нор-Мурада:

— А у вас как идут дела? Догнали лучших ударников? Годитесь в женихи Хадиче?

— Дела не плохи,— серьезно ответил Нор-Мурад.— Норму перевыполняю. Качество хорошее. Я теперь мастер по выравниванию земли. Агротехник видел мой участок, очень хвалил и сказал: «На таком поле ни капли воды зря не пропадет. Ни один куст без воды не останется».

— Ну, значит, скоро можно заслать сватов к Хадиче! — засмеялся Хамдам, скрывая насмешку.

— Еще бы! — задумчиво ответил Нор-Мурад и пошел, приговаривая: — Не сдавайтесь, ребята! Нажимайте!

— Нажимай, ребята! — бодро крикнул повеселевший Хамдам.

* * *

Арык, который рыл Хамдам-форма вместе с колхозниками, тянулся на полкилометра вдоль реки, из которой он получал воду.

Между прежним арыком и рекой проходила широкая проезжая дорога. Но Хамдам заявил, что дорога эта колхозу не нужна, вырыл арык ближе к реке, а дорогу перекопал, присоединив эту землю к землям колхоза.

Один из колхозников, заметив, что арык совсем прижался к реке, а дорога пропала, сказал Хамдаму:

— Арык-то у нас стал ровный и глубокий, да вот дороги не стало.

— А на что она? Многоземельные баи не берегли землю, вот и проложили дорогу здесь. А настоящая старинная дорога идет вон там, по тому берегу. Мы в ширину прибавили к колхозу земель на три метра, а длиной на полкилометра, не меньше. Вот и сосчитай, сколько земли у нас прибавится. Несколько гектаров. А пока агроном пронюхает о ней, пока ее внесут в планы да в договоры, мы урожаем с этой земли на много процентов увеличим колхозный доход. Понимаешь?

Хамдам спрыгнул в арык и принялся обравнивать его края со стороны реки и велел остальным обрубить с этой стороны края арыка и тем еще ближе придвинуть его к реке.

— Вот и еще полметра земли нашли! — восклицал Хамдам.

Хамдам с колхозниками закончил рытье арыка. Русло выровняли, углубили и придвинули к реке по Хамдамову указанию.

Вечером довольный Хамдам вернулся к себе домой, весело пообедал и, когда стемнело, пошел к чайхане.

Чайхана, освещенная сорокалинейной лампой-молнией, была полна людей.

Хамдам остановился в тени шелковицы, всматриваясь в людей, увлеченных разговорами, шахматами, чаепитием. Время от времени колхозные музыканты брали свои дудочки, бубен и двухструнные дутары, и все затихали, слушая знакомые любимые народные напевы.

Но Хамдам-форма пытливо разглядывал всех из своего укрытия.

«Нету его. Надо подождать. Он непременно придет».

Он стоял один, заслоненный деревом, и вслушивался в громкие разговоры людей.

Заговорили о достижениях и успехах, сделанных за этот день. Жаловались на промахи, упущения и помехи в работе. Делились своим многолетним опытом потомственных земледельцев и пытливых колхозников.

В каждой компании шел свой разговор, каждая пила чай из своего чайника, но Хамдам, стоя в тени, слыша разные разговоры, понимал, что хотя и за разными чайниками, в разных компаниях сидят эти люди, но разговор у них у всех один, об одном, одними заботами они озабочены, одними успехами они обрадованы, что это не различные компании, а одна большая семья, отдыхающая здесь после общей работы на своем общем поле.

Хамдам-форма уловил голос Нор-Мурада:

— У меня жалоб нет. На что мне жаловаться? Сегодня мы выровняли двенадцать гектаров земли. Она готова к пахоте, пожалуйста.

Уже Хамдам начал было вслушиваться в другой разговор, но услышал, как Нор-Мурад заговорил о нем:

— Наша бригада не только сама изо всех сил работает. Мы и за такими лентяями присматриваем, как Хамдам-форма. Злостный лентяй, но я заставил его работать...

Эти слова обрадовали Хамдама. А Нор-Мурад продолжал свое хвастовство.

— Сегодня я просто рот раскрыл, когда увидел Хамдамов арык. Он широк, как Хамдамов рот, глубок, как его глаза, гладок, как его бритый подбородок, и прям, как его нос!

Колхозники засмеялись. И Хамдам засмеялся за своей шелковицей.

Хасан Эргаш сказал, смеясь:

— Вы такой молодец, дядя Нор-Мурад, что годитесь в женихи для самой разборчивой невесты нашей.

Все повернули смеющиеся лица к Хадиче, и она, покраснев, засмеялась вместе с другими.

Хамдам подумал:

«Успех успехом, но женихом Нор-Мурад не станет, а вот я могу стать женихом. Вполне могу! Но свататься пойду не к толстощекой Хадиче, а...»

И Хамдам невольно погладил и подкрутил свои усы.

«Через таких самодовольных простаков, как Нор-Мурад, я привлеку к себе доверие колхозников. Для меня откроется путь к любой работе. И тогда я обниму тонкий стан милой, стройной Кутбийи. Кутбийи! Да...»

Чуткое ухо Хамдама уловило голос Шашмакула:

— Я и прежде утверждал, что Хамдам-форма хороший колхозник. Но Сафар-ака и дядя Эргаш смеялись, когда я это говорил. Вот пускай они теперь устыдятся, слушая похвалы Хамдаму. Похвалы такого правдивого человека, как Нор-Мурад.

Сафар-Гулам ответил ему:

— Цыплят по осени считают. Осенью и увидим, каков кол-

хозник выйдет из Хамдама. Хорошо сделать одно дело — это еще не означает, что человек стал хорошим колхозником. Колхозник должен с весны до осени и с осени до сева работать ровно, исправно, добросовестно, какое бы дело ни выпало на его долю. Вот если везде, куда его поставит колхоз, Хамдам будет хорошо работать, тогда только мы скажем — «хороший колхозник».

«Ха! — удивился Хамдам.— Я еще до осени должен работать, чтоб стать хорошим колхозником!»

Музыканты снова заиграли, заглушив разговоры.

Хамдам отошел от дерева и ушел в темноту.

«Пока Хасан Эргаш здесь, пойду-ка я разыщу Кутбийю. Надо ей рассказать о моих успехах. Пусть они подсчитывают свои достижения, а мы подсчитаем свои».

Он шел в темноте, вдоль стен, вслушиваясь в безмолвие деревенской ночи, шел так, чтоб никто не встретился ему.

На краю деревни Хамдам-форма подошел к крайнему дому.

Зашел со стороны степи и тихонько царапнул ногтем о стекло занавешенного окна.

Изнутри комнаты ему ответили таким же звуком. И занавеска приподнялась.

Хамдам пальцем написал на стекле, слегка запыленном степным ветром: «Я».

Занавеска опустилась, и через некоторое время в комнате женский голос сказал:

— Бабушка! Я схожу за Хасаном-джаном в красную чайхану. Он что-то долго не идет.

По улице протекал ручей, обсаженный старыми раскидистыми шелковицами. От их больших густых ветвей ночная тьма казалась еще чернее.

Хамдам перебежал дорогу, перепрыгнул ручей и остановился на другой стороне улицы, на тропинке между ручьем и стеной.

Ночь была тиха, спокойна. Деревня безмолвна. Ни ветерка, ни шелеста. Лишь сердце Хамдама тревожно и громко билось.

Наконец скрипнула калитка.

Хамдам услышал легкие, быстрые шаги.

Прошелестел шелк платья.

Хамдам сказал:

— Я!

Она остановилась.

— Где ты?

— Здесь, под деревом.

— Где тут через ручей перейти? Ничего не вижу.

— Вот он, мостик! — сказал он, подняв руку.

— Теперь вижу.

И она вошла в непроглядную тьму под дерево.

— Кутбийа, моя дорогая!

Приблизив свое лицо к лицу Хамдама, Кутбийа зашептала:

— Пусти. Он может увидеть!

— А ты его еще любишь? Еще послушна ему?

— Я и тогда его не любила, и теперь не люблю. Но пока с ним не разойдусь, должна быть послушной, иначе провалится все дело. Садись! Время идет. Он скоро вернется.

Хамдам сел под дерево, обняв Кутбийю.

Она прижалась к нему.

Приглаживая ее волосы, выбившиеся из-под шелкового платка, Хамдам говорил:

— У тебя комнаты с окнами и печками, железная кровать с пружинами, платья из бухарских шелков, шелковые платки и шали, шелковые чулки и лаковые туфельки, и всего этого у тебя с каждым днем становится больше. И твои стройные ножки хотят хорошо обуваться. Твои черные волосы привыкли к шелковым платкам, твое шелковое чело... О Кутбийа! У меня темнеет в глазах. Сердце разрывается: разве ты бросишь все это?

— Успокойся. Ну! Успокойся! Всем этим можно соблазнить рабыню. У кого не было ничего, тому это соблазнительно. А я — дочь Уруна-бая. У отца в доме двенадцать комнат. Чем соблазнит меня этот русский дом, эти шелковые платья? В отцовском доме я носила платья, шитые золотом.

— Чем же Хасан тебя соблазнил?

— Когда настало тяжелое время, я решила спасти своих. Решила выйти за партийца или за комсомольца. Простодушнее всех мне показался Хасан. Я и завлекла его.

Кутбийа вздохнула.

— А вышло, что не он попался, а ты попалась сама.

— Да. Верно. Он сказал: мне твое социальное положение не подходит. Тогда я, с согласия родителей, ушла от них к тетке. И спросила Хасана: «Теперь подходит?» Он ответил: «Если дашь слово начисто и во всем с ними порвать, тогда подойдет». Я пообещала. Я думала, что, когда мы положим головы на одну подушку, он станет сговорчивей.

— И что же?

— Откуда ж мне было знать, что его сердце не простодушно, а твердо, как камень? Как камень! Крепче камня!

Она помолчала. Хамдам слушал напряженно, а сердце его опять билось громко и тяжело.

— Я выказала ему любовь. Он тоже. Даже горячее, чем я. Но чем больше я притворялась влюбленной, тем сильнее и сердечней раскрывал он свою любовь.

— А если любовь его сердечна, что же он хорошего сделал для твоей семьи?

— Как бы он ни любил, как бы горяч ни был его порыв, стоило мне заговорить о своем отце, он мгновенно бледнел от такой злобы, что, если я тянулась к нему, он отбрасывал прочь мои руки, отталкивал меня и вставал: «Наша любовь только до этого разговора. Ты дала слово об этом не говорить. Нарушишь свое слово, и я свое нарушу. Не пеняй на меня». И опять нужно было немало сил, чтоб его успокоить, чтоб его оставить с собой, чтоб он не уходил. Так и не смогла ничего добиться. Он из железа. Его не перемелешь, словами не прошибешь. Лживыми ласками не проймешь.

Кутбийа замолчала.

— Ну, а потом?

— Потом? Имущество у отца забрали, отца с матерью выслали. Братьев выслали. В нашем доме устроили школу. А я осталась тут одна, против своего желания.

Кутбийа, шумно вздохнув, вытерла глаза, на которых, может быть, и не было слез.

Но по сердцу Хамдама, изнывающему от любви, прошла горячая волна жалости.

Хамдам, прижимая к себе Кутбийю, зашептал:

— Так уйди от него. Распишись со мной. Но одно условие: когда распишемся, позовем муллу и совершим обряд. Но только так, чтобы никто не знал.

— Если, бог даст, доживем до этого дня, позовем муллу, заключим брачный союз.

— А что нам мешает? Не хочешь с ним жить, иди завтра в загс и разводись. А послезавтра распишешься со мной. И конец. Для чего ж сидеть и плакать, для чего томить себя? И меня. Так ты и ему отомстишь за то, что не послушал тебя, твоим родителям не помог, твои надежды не оправдал. Понимаешь?

Кутбийа, отодвинувшись от Хамдама, серьезно и строго ответила:

— Нет, на этом мое сердце не успокоится. Я колхозу должна отомстить. Колхоз разорил отца. Колхоз исковеркал мою молодость. Колхоз дал силу рабам и беднякам. Вот почему мне рано уходить от активиста и комсомольца. А тебе пора действовать. Тебе надо...

Широкий рукав соскользнул с ее поднятой руки. Горячей рукой, украшенной широким браслетом, она обняла Хамдама. Прижалась к нему...

Хамдам прижал к себе ее голову.

— Я первый тебе помогу.

— Я на тебя надеялась.

— Почему ж теперь не надеешься?

— Нет, и теперь надеюсь. Я тебе верю. Не верила б, не говорила бы. Но только я слышала, ты стал активистом-колхозником.

— Твой отец всегда мне доверял. Никогда я не обману его доверия. Сперва я откровенно отвиливал от работы. Вредил, где мог. И не всегда осмотрительно. Чуть-чуть не попался. Тогда я взялся за дело с другого конца. Теперь меня хвалят. А я все тот же и хочу того же.

— Как же тебе удалось?

— Мне трудную работу поручили, и я с успехом ее выполнил. Вот меня и называют «активистом». Но я такой же активист, как ты жена активиста.

— Какая ж нашему делу польза от этого?

— Польза есть. Дело, за которое меня хвалят, это наше дело.

— Не понимаю.

Кутбийа спрашивала, играя его гордо закрученными усами.

— Мне поручили вырыть арык. Я его так вырыл, что, когда для полива его наполнят водой, его без труда можно разрушить. А восстановить будет нелегко. Хлопок останется без воды самое меньшее на неделю, а то и дней на десять. Ты небось знаешь, что если с первым поливом запоздать, урожай снизится наполовину. Самое меньшее — наполовину. Понимаешь?

— Это все? — спросила Кутбийа, прикидываясь разочарованной.

— Нет, не все.

Хамдам снова расправил и закрутил усы, смятые Кутбийей.

— Что же еще?

— Половину мешка отборных семян я заменил гнилыми.

— А еще что?

— Если за мной закрепится звание «активиста», мне и доверие будет. Тогда при окучке я кое-что схитрю с удобрениями.

Кутбийа сказала деловито:

— Вот что: Хасан работает на сеялке. У него сеялка, культиваторы и другие машины. Он говорил, что еще плохо их изучил, что не всегда понимает, как с ними надо обращаться. Ты скажи, что уже работал на сеялке. Давай Хасану советы. А советуй так, чтобы делалось наше дело, а не колхозное. Так одной стрелой мы двух зайцев убьем: и севу повредим, и доверие к Хасану испортим, выставим Хасана вредителем. Если усомнятся, что он сознательно вредил, будут считать его неспособным либо дураком. Вредить людям — значит больше всего вредить колхозу. Это мне отец говорил. Он объяснял мне, что их сила в людях, что надо выбивать людей. Мы пулей выбивать их не можем, надо действовать словом.

Хамдам с готовностью согласился:

— Это у меня в плане на первом месте! Я Хасану так подстрою, что хлопок либо совсем не взойдет, либо так взойдет, что его придется окучивать по многу раз, чтобы...

Не дослушав, Кутбийа прижалась к его лицу, лаская губами его брови, глаза, усы.

Не коснувшись губ, она откинулась и шепнула:

— Я давно тебя люблю. Твои черные глаза, твои темные брови, твои густые усы. Но что-то еще мне дорого в тебе. Я не могла понять, что мне в тебе так дорого. Не могла понять, а теперь знаю. Ты осуществляешь мои самые тайные, самые тайные мои желания. Я мечтаю, а ты действуешь. Ты мои мечты проводишь в жизнь. Ты одной стрелой пробиваешь двух зайцев.

— Не только двух зайцев. Они пробьют зверя покрупнее. Ты видела,— я всегда работаю около разных машин. Видела?

Он вгляделся в ее лицо, смутно белевшее в темноте.

— Эти машины пришли, чтобы развивать хлопководство. Я так сделаю, чтоб от них был только вред. А это повредит и руководителям колхоза. Подорвет веру в них. Это разладит порядок, и работа в колхозе разладится.

— Ой, Хамдам-джан! Дорогой мой Хамдам! Скорее бы настало время, когда твой крепкий, мужественный стан станет моим!

Но огонек фонаря, приближавшийся со стороны чайханы, разъединил их.

Хамдам исчез в темноте.

Кутбийа, быстро оправив платье, громко застучала каблуками по большой дороге, направляясь к огоньку фонаря.

Через несколько шагов она встретила нескольких колхозников и Хасана.

Кутбийа пошла с ними:

— Ой, милый Хасан! Почему задержался?

— Разговор был интересный. Соревнование и ударничество дали отличные плоды. Прежние лентяи — и то стали активистами. Потом меня попросили еще раз объяснить лозунг партии: сделать колхозы большевистскими и колхозников зажиточными. Ну, как твоя голова? Перестала болеть?

Отстав, они шли вдвоем.

Кутбийа, ласкаясь, успокоила его:

— Голова прошла. Но сердце заболело: ты долго не шел, я соскучилась. Вот и пошла тебе навстречу.

Он ее задумчиво спросил:

— Кутбийа! Ты меня правда любишь?

— Если б не любила, разве вышла б к тебе в такую темень, когда люди без фонаря не могут ходить?

— Вот, если любишь, иди работать в колхоз. Работать в полную силу. Чтоб стать активисткой, чтоб с тебя пример брали! Это моя мечта.

Их спутники свернули к своим домам.

Фонарь тоже унесли в один из домов.

Стало совсем темно.

Только их шаги еще звучали на твердой дороге среди безмолвия уснувшей деревни, среди необъятного простора полей, протянувшихся до песков пустыни.

— Ну, когда ж, наконец, ты будешь доволен мною? Я все для тебя делаю, а тебе всего этого мало. Ты еще и еще чего-нибудь от меня хочешь.

Она обнимала его. Его щек касались ее волосы, спутанные руками Хамдама-формы.

14

Весна разгоралась. Небо синело прозрачное и безоблачное.

Солнце светило ярким, чистым светом.

Всходы хлопчатника дали уже по три, по четыре листка.

Женщины и девушки работали по всему полю, выпалывая сорняки среди всходов хлопчатника. Чистые яркие краски женских одежд сияли на солнце.

Началась и окучка, то здесь, то там вспыхивал белый блеск отточенного кетменя.

Опытные земледельцы хозяйственно шли по рядам, прореживая всходы.

Прореживали осторожно, как бы раздумывая над судьбой каждого ростка, и, решив эту судьбу, заботились, чтоб не потревожить всходов, радостно раскрывшихся рядом.

Поливальщики чистили арыки, еще сухие, куда скоро пустят обильную прохладную воду.

Конюхи резали клевер.

На ослах и в носилках разносили удобрения к узким межам, куда не могла добраться арба.

Но на одном из участков колхозники собрались, занятые оживленным разговором.

Говорили горячо, волнуясь, словно решая чью-то судьбу, словно вынося приговор кому-то, кого было жаль сурово наказать, чьему поступку не могли подыскать ни оправдания, ни объяснения.

Сафар-Гулам обходил этот участок с агротехником.

Хлопок на этом участке взошел так редко, что среди всего поля один этот участок виден был издалека, словно на пушистом зеленоватом ковре моль выела весь ворс до основы.

Сафар-Гулам озабоченно говорил:

— Ведь мы уже пересеяли это поле. Это второй посев. Первый посев еще реже вышел. В чем тут причина?

— Земля та же, что и везде. Семян особых на этот участок не выделяли. Значит, дело в сеялке. Думаю, отмер у сеялки слишком опустили, поэтому семена ушли в землю глубже, чем надо. Часть из них в глубине сгнила. Другая часть проросла, но редко. Кто у вас работал на сеялке?

— Вот этот парень,— показал Сафар-Гулам на Хасана Эргаша.

Хасан стоял молчаливый, бледный, озадаченный.

— Ты чей сын? — спросил агротехник.

— Мой! — твердо ответил Эргаш, стоявший среди колхозников.

— Большой у вас сын. С отца ростом.

Сафар-Гулам ласково посмотрел на Хасана:

— Он у нас комсомолец, активист.

— Поди сюда! — позвал агротехник.

Хасан невесело подошел.

— Ты хорошо знаешь, как надо налаживать сеялку? Учился?

— Учился.

— Перед работой ты осмотрел ее?

— Да, осмотрел. Она была в порядке. Когда я осматривал ее, там и Хамдам-ака со мной был. Она была в порядке!

Хамдам-форма подтвердил, глубокомысленно крутя ус:

— Он правильно говорит,— сеялка была в порядке. Это какая-то сумасшедшая сеялка. Я в прошлом году сам на ней сеял. И у меня была та же история. И я тогда ее проверял. И у меня она в порядке была.

— Может, она испортилась во время работы? — предположил Шашмакул.

— Сеялка может сама испортиться, но отмер не может! — ответил агротехник.— Виноват либо Эргашев, либо кто-то другой, вредивший за спиной Эргашева во время работы.

Один ус у Хамдама опустился.

Побледнев, Хамдам, озабоченно взглянув на небо, сказал:

— Ого, почти полдень! Надо мне идти, а не то не успею выполнить норму.

Но Шашмакул его остановил:

— Ты член комиссии. Пойдешь после проверки.

Сафар-Гулам спросил агротехника:

— Пересевать еще раз уже поздно? Что же делать? Может быть, прогалки засеять по старинке, с мотыгой?

— Так оставлять жалко: много земли пропадет. Надо засеять: так если не хлопок, то хоть курак будет. А может, при удачной осени, и хлопок поспеет,— ответил агротехник.

Хамдам возразил:

— Я бы уничтожил весь этот хлопок и весь участок засеял бы джугарой. Джугары мы отсюда мешков сто соберем. А нашему хлопковому плану это не помешает. Урожай и так у нас выйдет вдвое против прошлогоднего.

Юлдашев нахмурился:

— Вредительская идея.

Шашмакул заступился за Хамдама:

— Почему вредительская? Член комиссии вносит предложение. Надо обсудить, а не затыкать ему рот.

Вперед выступил Садык:

— Можно мне сказать?

— Конечно!

— Мы в прошлом году сделали ошибку, когда из-под мотыг засеяли пустые места. Всходы позднего посева и сами не выросли, и ранним мешали расти. На этих неровных посевах трудно было и поливку и окучку так подгадать, чтоб и тому и другому потрафить. И что вышло? Вместо того чтоб снять с того поля тысячу шестьсот килограммов с гектара, как планировалось, этого смешанного хлопка нам едва-едва удалось по тысяче килограммов собрать. Да труда сколько потратили попусту!

Шашмакул перебил его:

— Что же вы предлагаете?

— Погодите. Я еще не сказал «дад».

— Что это за «дад»? — спросил агротехник у Сафар-Гулама.

Сафар-Гулам улыбнулся:

— Однажды один мулла спросил юродивого Машраба: «Как твое имя?» Юродивый, заикаясь, ответил: «Худа». Муллы кинулись на юродивого и принялись его бить, крича: «Богохул!» Но юродивый закричал: «Стойте! За что вы меня бьете? Я хотел вам ответить, что имя мое Худадад! А вы, суетливые муллы, не даете человеку слово досказать!» Вот это у нас и стало поговоркой, когда просят сперва дослушать.

— В таком случае договори свой «дад»,— сказал агротехник Садыку.

— Надо оставить хлопок, как он есть. Надо только поработать над ним. Окучить его не четыре раза, а раз пять или шесть. Следить, чтоб сорняков не было. Кроме минеральных удобрений, подсыпать золы. Он тогда разветвится, раскинется, займет ветвями эти прогалки и даст с каждого куста вдвое больше коробочек.

Все дело только в том, чтоб на этом участке не жалеть сил, поработать, как надо. Потратим сюда вдвое больше труда, соберем и хлопка вдвое больше. Вот мой «дад».

Шашмакул сердито спросил Садыка:

— Вы ручаетесь, что с каждого гектара здесь мы получим по тысяче восемьсот килограммов?

— Если б я сам здесь работал, я б поручился за две тысячи четыреста.

— Если будет меньше, чем вы сказали, мы вас обвиним в надувательстве. Даже во вредительстве.

Юлдашев удивился:

— Что это за угроза? Пугать опытного колхозника, когда он вносит дельное предложение?

Агротехник сказал:

— Я поддерживаю Садыка-ака. Его мысль правильна. Предлагаю поручить этот участок бригаде Садыка.

— Остаюсь при своем мнении,— проворчал Шашмакул.

Комиссия тут же решила закрепить этот участок за Садыком. Поручили Садыку самому подобрать себе людей на помощь из тех колхозников, кого он захочет привлечь к этому делу.

Председатель комиссии Сафар-Гулам сказал:

— С этим вопросом покончено. Теперь пойдемте поглядим хлопок, у которого сохнут корешки и макушки.

Пошли дальше по узкой мягкой борозде.

Сафар-Гулам увидел Хасана, понуро шедшего вслед за комиссией, и сказал ему:

— Ты иди делай свое дело. Запрягай культиватор и выезжай на поле.

Хасан Эргаш, оживившись, пошел к своим машинам.

Агротехник спросил:

— Эту землю вспахали с осени?

Председатель комиссии ответил:

— Да.

— Трактором?

— Да.

— А поливали зимой?

— Да.

— Местные удобрения давали?

— Давали.

— И минеральные?

— И минеральные.

— По скольку на каждый гектар?

— По вашему указанию. Семьдесят два килограмма на гектар.

— А на той земле?

Агротехник показал на соседний участок с бледной листвой.

— И там сделали все, как и здесь, и в одно время с этим участком. Все в одно время — и окучка, и полив, и удобрения.

— Если верно все, что ты говоришь, то можно подумать, что этот хлопок пострадал либо от божьего гнева, либо от козней дьявола! — рассердился агротехник.— Так не бывает, чтоб соседних два участка, одновременно засеянные, одинаково обработанные, дали разный рост растений. Тут что-то не так!

Хамдам-форма торопливо сказал:

— Я думаю, тут дело в минеральных удобрениях. Я слышал, что в Гиждуване от минеральных удобрений погибло много хлопчатника.

Прядильщик Гафур спросил Хамдама:

— Тогда скажи, почему эти удобрения не повредили моему хлопку?

Юлдашев поддержал Гафура:

— В самом деле, почему? Может быть, сюда дали удобрений меньше? Или больше?

— Нет,— ответил колхозник, работавший на этом участке.— Я хорошо помню: я получил из амбара сто сорок четыре килограмма, привез их сюда, здесь и разделили пополам на эти два участка. А тут в каждом участке точно по одному гектару.

— Может быть, на глазок делил?

— Не на глазок, а ведрами. Да вот Хамдам,— он при этом был,— он скажет.

Хамдам подтвердил:

— Он правильно говорит.

— Здесь есть какая-то запятая. Думается мне, что земля, на которой высох хлопок, излишне удобрена, хлопчатник сожжен излишком удобрений, а там по бледным листьям видно, что удобрений недодано. А может быть, совсем не дано.

— Что ж нам делать?

— Засохший хлопок не выправится. Это ясно,— глядя на желтые борозды, сказал агротехник.— Это ясно. А вот там, где чахлые всходы, надо землю смягчить культиватором, дать туда килограммов двадцать удобрений, и, думаю, они выправятся.

Нор-Мурад предложил:

— Если можно выправить дело там, где недодано удобрений, можно дело выправить и тут. Надо лишние удобрения отсюда убрать.

Хамдам и еще несколько человек засмеялись.

Агротехник поддержал Нор-Мурада:

— Можно попробовать, он прав. Как, по-вашему, это сделать?

Эта поддержка ободрила Нор-Мурада.

— Нужно сбросить удобренную часть, а взамен привезти свежей земли.

— Ну, это трудно. Лучше немного свежей земли подбросить к корням при окучке. Но засохшие растения не оживут.

Нор-Мурад не согласился с агротехником:

— Трудно? Нам, работающим по-большевистски, никакая работа не трудна. Чего вы смеялись? Вот товарищ одобряет меня. Он только считает, что много земли трудно привезти...

В это время к Сафар-Гуламу подбежал встревоженный, запыхавшийся Хасан Эргаш.

— Дядя Сафар! Культиватор пропал.

— Как пропал? Куда он пропадет?

— Вчера я выпряг лошадь, оставил культиватор в поле,— там, где с утра надо было продолжать работу. А сейчас прихожу — его там нет.

Хамдам пожал плечами:

— Украл кто-нибудь.

Сафар-Гулам возразил:

— Кто же украдет культиватор? Зачем? Куда с ним вор сунется?

— Мотыгу, которой пять рублей цена, и ту крадут.

Юлдашев насторожился.

— Нет, это не воровство. Мотыгу можно на базар снести. Культиватор не снесешь. Его не продашь. Тут другое. Тут работа врага!

В это время с конца поля, от реки, раздался испуганный крик поливальщика:

— Сафар-ака! Эй! Сафар-ака! Идите сюда, скорей!

— Что там случилось? — закричали ему.

— В новом арыке вода поднялась, слилась с рекой.

Забыв о культиваторе, все кинулись к реке.

* * *

В деревне, население которой почти все ушло на полевые работы, было безлюдно и тихо.

Хамдам незаметно отстал от всех, сошел с борозды и торопливо ушел с поля к деревне.

Знакомой тропинкой он прошел к дому Хасана, зашел со степи и заглянул в окно сквозь стекло, по-прежнему слегка затуманенное степной пылью.

В комнате сияли солнечные пятна. Отраженное зеркалом, ослепительным пятном солнце горело на потолке, озаряя всю комнату.

Хамдам увидел Кутбийю. Она валялась на высокой кровати.

В белом маркизетовом платье, на пышной подушке, она показалась ему прекрасной и нестерпимо желанной.

Он рассматривал ее, прижавшись к стеклу,— ее расплетенные волосы, разметавшиеся по подушке, ее открытые руки, такие маленькие, такие нежные...

Она спала?

Быстрым взглядом он оглядел и всю комнату, куда ему ни разу не случалось входить.

Вдоль одной из стен тянулись веревки, на которых висели перекинутые халаты, платья Кутбийи, шелковый расшитый золотом пояс, костюм Хасана.

На гвозде висело пальто, шапка, опушенная мехом. У другой стены стоял стол. На нем — бумага, стакан с карандашами. Стопка книг и газет. Книги виднелись и в нише на полке.

Ковер на полу. Хороший текинский ковер.

«А! — удивился и озлобился Хамдам.— Раб, сын раба, бедняк, пастух! Пастух! Как живет! А? Родился в лачуге, рос в хлеву, а как стал жить благодаря колхозу! Нет, такого от колхоза не оторвешь! Так и отец Кутбийи не жил!»

Отец Кутбийи был баем. По его милости и Хамдам жил богато. Но свои богатства они тратили на пиры, на козлодранья, на постройку жилищ, летом невыносимо душных, в зимние холода нестерпимо холодных. Теперь он заглянул в эту солнечную, чистую, застланную деревянным полом, застекленную комнату, как в невиданный, чужой, соблазнительный мир. Заглянул, крадучись, словно грех на это смотреть, и, словно огнем, обожгла его сердце лютая, яростная злоба.

«Ничего! Разбогатею. Снова разбогатею. Тогда и поставлю себе такой вот дом. Не через колхоз. Через колхоз мне не разбогатеть, там надо работать, соблюдать дисциплину. Это не для меня. Бог меня создал не для того. Эти будут работать для себя, а не для меня. Надо развалить колхоз. Надо обессилить его, чтоб народ отшатнулся от него, чтоб народ захотел прежней жизни. Тогда я сумею устроить свою жизнь. Тогда я ее устрою!»

Мысли его летели, а время шло, а времени было — в обрез. Взгляд его шарил по комнате, опять возвращался к Кутбийе. «Вот и она против колхоза».

Глаза его вспыхивали блеском надежды, мечты, желания, когда обращались к ней. Гасли, наливались злобой, когда он видел признаки довольства, изобилия, достатка. Новые хромовые сапоги в углу. Шелковый новый мужской халат. Брюки, перекинутые через веревку,— суконные.

Он провел ногтем по стеклу. Она не шевельнулась. Он провел гогтем еще раз. Нет, она спала. Стучать не решился: мать Хасана могла услышать. Тогда, оглянувшись по сторонам, он пальцем написал на стекле слова навыворот, чтоб ей легко было прочитать: «Арык разрушен», «Культиватор пропал».

Когда проснется, прочтет. Потом сотрет. А мать у Хасана неграмотная. Взглянув на Кутбийю еще раз, он ушел.

Почти около дома он неожиданно встретил Хасана.

— А, Хамдам-ака! Какими судьбами вы в наших краях?

— Так, дело было! — пробормотал Хамдам.

Хасан словно и не вслушивался в ответ Хамдама. Задумчиво и невесело ушел он к себе домой.

Хамдам-форма посмотрел ему вслед.

Он забеспокоился, не попадется ли тому на глаза надпись, но рассеянный вид Хасана успокоил Хамдама: «Ему сейчас не до того, чтоб смотреть на окна! А если увидит? Что скажет ему Кутбийа, когда он ее спросит? Что она ему скажет? Но, может быть, она уже проснулась и стерла. Чего зря беспокоиться? А если он увидит?»

Но, обгоняя его, торопливо бежали к реке колхозники с мотыгами в руках. Спешили исправить капал.

Хамдам присоединился к ним. Вскоре он уже торопил их, кричал, что дело требует быстроты.

15

Сентябрьское солнце ласково грело землю.

День стоял теплый, прозрачный, как весной.

Обширное хлопковое поле казалось садом, где расцвели бесчисленные кусты белых роз. Хлопок раскрылся, и сбор начался.

Кое-где на расчищенных токах, куда колхозники сносили собранный урожай, выросли белые груды хлопка, пушистые и яркие, словно маленькие облака спустились с ясного неба и легли на теплой земле среди темной зелени колхозного поля.

Руки колхозников привычно легко касались созревших хлопьев и снимали их с коробочек в широкие мешки. Снимая созревшие хлопья, руки сборщиков бережно обходили еще не раскрывшиеся коробочки, где урожай еще зрел. К этим кустам, когда они покроются новым урожаем, сборщики вернутся через несколько дней.

Хлопок на кустах поспевает не сразу, не весь урожай одновременно, а постепенно, день за днем, как на своих кустах расцветают розы. Поэтому на один и тот же участок за урожаем приходится приходить по нескольку раз во время сбора.

Руки сборщика кажутся легкими, хлопок не сопротивляется им, не требует напряжения, он словно сам втекает в ладони, едва его коснутся пальцы. Но весь день руки протянуты, весь день они тянутся от куста к кусту. После долгой утренней работы так хорошо разогнуться, опустить руки и поднять лицо к небу, взглянуть в его синюю глубину, где легко, еще редкие и прозрачные, плывут сентябрьские облака.

— Товарищи, завтракать!

Бригадир Мухаббат сзывает колхозников звонким, веселым, дружеским голосом:

— Завтракать!

Колхозники сходятся к грудам хлопка, ссыпают сюда из мешков собранный хлопок, отряхивают халаты и платья. Присаживаются над ручьем вымыть руки, поплескать прохладной водой на усталые лица.

Вдалеке одиноко продолжала сбор Фатима. Она наклонялась от куста к кусту, словно не слышала бригадирского зова.

— Завтракать, Фатима!

— Я здесь поем, за работой!

— Иди, Фатима! Не бойся, не отстанешь.

Соревнование между колхозницами давно стало повседневным делом. Труд стал увлекательным, как игра, как состязание. Каждой хотелось выйти в первые ряды сборщиц. Фатима занимала первое место, собирая хлопок быстрее других, и дольше других оставалась в поле.

— Не боюсь сама отстать! — крикнула Фатима.— А хочу, чтоб вся наша бригада вышла вперед!

— Выйдем, Фатима! Не бойся! Иди к нам!

Их разговор звенел над полем, слышный далеко вокруг.

— Бригада выйдет, я не боюсь! Бригада выйдет, а я хочу, чтоб весь колхоз наш вышел на первое место!

— Выйдет, Фатима! Не бойся! До сих пор выходил и теперь выйдет!

В соседних бригадах прерывали завтрак, слушая разговор двух колхозниц.

— Я знаю! Я за колхоз не боюсь! А я хочу, чтоб весь район наш вышел на первое место.

— Позавтракай с нами, Фатима! Чего ты, право? Что ж, наш район хуже других, что ли? Выйдем, Фатима. Не бойся!

— А республика наша выйдет? Ты же подписывала соревнование. Мы ж соревнуемся с Азербайджаном. Мы же боремся за полное обеспечение нашего социалистического государства своим хлопком, за полную независимость Советского Союза по хлопку!

Кутбийа сидела за скатертью, разостланной среди раскидистых тенистых кустов хлопчатника. Прислушиваясь к этому перекрику, Кутбийа сказала:

— Красные слова, в духе времени! — Она опустила глаза, вытаскивая шелуху хлопковых коробочек, забившуюся под ногти, а кое-где занозившую ее нежные пальчики.— Подлаживается под требование времени.

Мухаббат удивленно обернулась к Кутбийе:

— Что ты говоришь? Зачем ей подлаживаться? Она сама комсомолка. Она уж три года работает в колхозе. И все это время работает как ударница. Она хороший инициатор и организатор. Хорошо б другим равняться на нее. Вот что я скажу тебе, Кутбийа!

Вытирая платочком каждый палец, Кутбийа ответила:

— Может быть. Все равно: не нравится мне эта Фатима!

— Может быть, ее руки не так тонки и нежны, как у тебя! Если она пожмет твою руку, тебе покажется — ее рука жестче хлопковой шелухи.

Одна из девушек засмеялась:

— Если такой грубой покажется ей рука комсомолки, какой же кажется ей рука комсомольца?

Мухаббат многозначительно сказала:

— Там другое дело! Там грубая рука привела к советскому загсу, к красной свадьбе, в духе времени,— это могло не так понравиться, как понадобиться.

Кутбийа нетерпеливо поднялась, отошла к ручью и остановилась в тени ивы. Сняв беленький передник, сшитый специально для сбора хлопка, она отряхнула его, кончиками пальцев тщательно выбрала из него соринки, встряхнула и тогда лишь надела снова.

Она засучила до локтей рукава новенького сатинового платья, сшитого для этой работы и сегодня надетого в первый раз, потому что неудобно выходить на колхозную работу в шелковом.

Внезапно раздался голос Хамдама-формы. Кутбийа вздрогнула от неожиданности.

Хамдам подошел к сборщицам.

— Отдыхаете, тетя Мухаббат? Устали? Надо беречь силы, не растрачивать их зря.

И, не дожидаясь ответа, прошел к ивам, где стояла, как манекен в магазине готового платья, неподвижная, прямая и опрятная Кутбийа.

Взяв ее восковую, бескровную, узкую ручку, Хамдам пожал ее.

— Берегите себя, милая Кутбийа. Не напрягайтесь через силу.

Она молчала, глядя на него.

— Жаль мне этих ручек. Вы их портите работой.

— В них и так уж не осталось силы. Но что ж мне делать? Надо ведь! Он ведь заявил: «Я не могу жить с женой, которая в такое горячее время отлынивает от работы. Если хочешь жить со мной, работай со всеми, или оставайся мещанкой, но тогда — прощай».

Одна из девушек, заметив, как крепко держит Хамдам руку Кутбийи, сказала, обернувшись к Мухаббат:

— Видно, рука Хамдама-формы для нее не груба.

Мухаббат посмотрела в сторону ив:

— Его рука как раз по ней. Дочь кулака Уруна-бая вполне бы подошла для Урун-баева подкулачника. «Теленок с телкой старинные друзья». Жалко Хасана-джана. Запутался в этих руках и себе жизнь испортил, и Фатиме разбил.

— А что Хасан? Как там у него? Ведь его во вредительстве обвиняют.

Мухаббат нахмурилась:

— Обвиняет-то кто? Шашмакул. Тоже — обвинитель! А я уверена, что никогда Хасан-джан намеренно не сделает вреда колхозу. Уверена! Но я не удивлюсь, если из-за этой самой Кутбийи он влипнет в какую-нибудь беду.

Но девушку беспокоила судьба Хасана:

— А теперь-то он под судом или нет?

— С ответственной работы его сняли. Но из комсомола не исключили. Учли, что родом он из рабов, что отец его, Эргаш,— красный партизан. Решили подождать, посмотреть, как он дальше будет работать.

— А я недавно слышала, что его будут судить.

— Недавно из политотдела приезжал Кулмурад и заявил, что, кто бы ни был человек, если есть на него подозрение, нужно раскрыть его лицо, нужно дело доследовать до конца. А если при этом доследовании докажут связь Хасана с тем делом, если установят вину Хасана, тогда и он пропадет, и этой «модннце» несдобровать.

Весь этот разговор не ускользнул от острого слуха Хамдама. Он решил, что колхозницы шепчутся о нем и о Кутбийе.

Не выпуская ее руки, он, засмеявшись, повернулся к Мухаббат:

— Вот разговариваю с дочерью старого моего хозяина. А она, вижу, стала женой активиста-комсомольца и позабыла своего старинного слугу. И не смотрит на меня, не хочет меня знать!

И, снова обернувшись к Кутбийе, зашептал ей:

— Раз он так ставит вопрос, уходи от него скорей. До каких пор, боясь посторонних глаз, будем по темным углам прятаться? Давай скорей распишемся и начнем жить официально.

А Кутбийа, заметив, что бригада пошла собирать хлопок, облегченно вздохнула и ответила:

— Надо еще немножко подождать.

— Чего подождать? Я свои обещания выполнил. Хоть совсем разрушить колхоз я пока не смог, но вред нанес большой. Хасан тоже выбит из седла,— к нему теперь нет уважения, нет у него авторитета. Если теперь от него уйдешь, тебя никто не осудит. А когда мы будем вместе, нам вдвоем и наше дело легче делать.

Кутбийа нежно погладила ладонь Хамдама.

Осторожно, вкрадчиво высвободила свою руку. Потянув руку Хамдама вниз, она сказала:

— Сядь.

И села сама, прислонившись к дереву. Хамдам сел перед ней на влажную землю. Он положил ее руки к себе на колени и ласково гладил их.

— Я измучился, ожидая тебя.

— У меня у самой нет терпения ждать. Но что же делать? Надо еще потерпеть.

— Зачем?

— Я надеюсь скоро избавиться от него. Освободиться от него с честью, чтоб разговоров не было.

— Как же это?

— Его отец Эргаш и мать его скрывают от меня свои тайны. А я все-таки разгадаю их.

— Какие ж это тайны? И как же ты их думаешь узнать? Через кого?

— Через Нор-Мурада. Он хоть и активист, да простофиля. У него все выпытать можно. Надо только подойти к нему с умом. Я с ним часто разговариваю.

— И что ж он тебе рассказал?

— Он говорит: Хасана будут судить. Его обвиняют в умышленной порче сеялки и в краже культиватора.

— И ты решила дождаться суда?

— Нет, суда можно не ждать. Но как только на общем колхозном собрании его обвинят, как только колхозники от него отшатнутся, так и я смогу от него уйти. Тогда все коммунисты и каждый комсомолец одобрят мое решение. Тогда я, как свободная советская женщина, захочу выйти замуж за активиста. Этим активистом будешь ты. Кто ж тогда меня осудит?

Хамдам, обняв Кутбийу, потянул ее к себе:

— Иди ко мне! Дай мне поцеловать сладкие уста за медовые слова.

— Увидит кто-нибудь! Пусти!

Кутбийа, вытянув шею, осмотрелась кругом.

И Хамдам осмотрелся.

— Успокойся. Здесь, у ручья, хлопок в рост человека, густой. Кто нас здесь увидит? Я этот хлопок не люблю за ту пользу, что дает колхозникам. Но благодарен ему, что так надежно скрывает нас. Пока не подойдут вплотную, нас не увидят. Вон какой хлопчатник!

— За то и я недовольна тобой. Сеялку ты испортил. Культиватор спровадил с глаз долой. А они при первом сборе с каждого гектара собрали по две тысячи четыреста килограммов. После второго и третьего сбора у них выйдет около трех тысяч килограммов с гектара. А Садык на испорченном участке обещал собрать по две тысячи четыреста килограммов. Вот результат всех твоих дел.

— Ты забыла, что ли? Я же подменил отборные семена гнилыми.

— И это они исправили. Пересеяли этот участок, и теперь, я сама видела, там вышел средний урожай.

— А культиватор?

— Они купили новый. Им это теперь ничего не стоит. При таких доходах.

— А про арык забыла?

— А что арык? Ты считал, что оставишь хлопок без воды дней на десять, а они в один день все поправили. Вышло так, что воду на поля пустили вовремя.

Хамдам согнулся то ли под тяжестью ее обвинений, то ли от сознания своей беспомощности перед неудержимо, неотвратимо нарастающей мощью и успехами колхоза. С последней надеждой Хамдам напомнил Кутбийе:

— А минеральные удобрения?

— А что? Там и взялся Садык собрать свой урожай. Да если и не соберет, даже если ни килограмма не соберет со всех этих восьми гектаров, пропадет, что ли, колхоз от этого? Ведь колхоз в этом году собирает одного только хлопка полный урожай с двухсот пятидесяти гектаров. Что значат при этом какие-то восемь гектаров! Да и неизвестно, не выполнит ли Садык свое обещание. А если выполнит, то и здесь, выходит, соберут полный урожай. Вот тебе и удобрения. Нет, Хамдам, наш удар не удался. А ударить по колхозу надо так, чтоб он у самого корня затрещал. Тогда нам можно спокойно смотреть в будущее.

— А еще ты забыла, что я сделал с Хасаном?

Она одобрительно хлопнула в ладоши.

— Это ты сумел. Тут ничего не скажешь. Каждый удар по видным колхозникам — это словно кирпич выбить из фундамента. Так, кирпич за кирпичом, можно завалить и весь дом. Так и надо нам действовать.

— Ну, я рад, что хоть один мой удар порадовал тебя, радость моя!

— Так порадовал, будто мои родители вернулись из ссылки и получили назад свое имущество. Но это мало. Надо и других так же бить.

Она положила руку ему на колено.

— Хамдам-джан! Милый мой! Ты мой верный помощник. Скоро, скоро ты станешь моим мужем. А тогда ты не успокоишься, будешь продолжать это «дело»?

— Я, Кутбийа, пленен темнотой твоих глаз, этими бровями, как две черные стрелы. Черными твоими косами, темной твоей родинкой над густой бровью. Какую б мысль ни внушала ты, я выполню все.

— Вот этого-то я и боюсь.

И она сняла руки с его колена.

— Хасан не меньше тебя любит эти брови и косы, а как только дело коснется колхоза или комсомола, он всю любовь забывает. Если б ты был так же упрям в своем деле, как Хасан Эргаш в своем, тогда у нас «дело» пошло бы на лад! Только так, как Эргашев любит и укрепляет колхоз, ты должен его ненавидеть и разрушать. У того любовь, а у тебя ненависть. Понял?

— Прости меня, я тебя так люблю, что всякое дело примериваю на твой вкус. Всякий раз думаю: «А как это оценит Кутбийа? А понравится ли ей это?» Но ведь дело-то наше я начал раньше, чем договорился с тобой.

— Что ж ты сделал до встречи со мной?

— Я? Немало людей я оттолкнул от колхоза. Я внушал им, что работа дураков любит, что от работы лошади дохнут, что, сколько ни работай, всех денег все равно не заработаешь, и некоторые поддавались мне, отлынивали от работы, становились лентяями. А разве от них не убыток колхозу? Лишь немногие позже, когда распределялись доходы, раскаялись в своем малодушии. Немало я наворовал хлопка в колхозе, а потом спустил его на базар, немало загубил колхозного скота.

Хамдам растерянно взглянул в глаза Кутбийе.

— Я считал, что принес вреда не меньше, чем покойник Хаджиназар.

Кутбийа молчала. Он неуверенно говорил ей:

— Я только добро видел от твоего отца. Если колхозники богатство свое добывают в поте лица, то я богател, спокойно сидя на пороге твоего отца. Я только направлял труд бедноты, и она работала на Уруна-бая и на меня. Бедняки работали, как рабы, как ослы, а я только подгонял их. Я своих рук в холодной воде не мочил. По доброте твоего отца и я в колхоз вошел как малоземельный батрак, всю жизнь работавший на богача. И вот вышло, что дочь моего благодетеля согласна стать моей женой. О Кутбийа! Когда мы соединимся, мы добьемся своего!

— Я верю тебе, Хамдам. Слава богу, ты такой человек, на которого можно положиться.

И она позволила ему поцеловать себя, а потом прикинулась, что он поцеловал ее насильно, откинулась от него, вскочила и взлянула на солнце.

— Ой, поздно-то как! Надо скорей идти на сбор. А не то очень уж я отстану от них.

— Сегодня ты, пожалуй, не успеешь и половины нормы собрать. Это я виноват, прости меня.

— Норму! Норма сорок килограммов. Куда уж мне! Тут нужны деревянные руки, а не мои.

Она скромно взглянула на свои восковые пальчики:

— Я вчера собрала десять, а сегодня, пожалуй, и семи не соберу.

— И от этого нам польза! — сказал Хамдам.

— В таком случае три килограмма засчитываем в твою пользу.

— Согласен! — засмеялся Хамдам-форма.

Они пошли в разные стороны.

16

К Фатиме, продолжавшей не отрываясь работать на своем участке, подошла Мухаббат.

Она принесла Фатиме завернутую в платок кисть винограда и лепешку.

— Вот твоя доля, Фатима. Поешь.

— Спасибо, сестра.

— Ты сама соберешь оставшийся хлопчатник и снесешь весь твой сбор на весы или прислать за ним, помочь тебе?

— Никого не надо. Я сама соберу и снесу.

Мухаббат отдала ей завтрак, а сама принялась за работу.

Фатима положила сверток под куст и подумала: «Я пообещала собрать весь этот хлопок сама. Надо по-большевистски выполнять обещание».

Ее крепкая, мускулистая спина привыкла к труду, сильные быстрые руки были выносливы. Она не чувствовала усталости. Еще не хотелось ни отдыхать, ни есть. Работа захватывала и увлекала ее.

Кусты стояли редко, но по мере роста разветвлялись, раскидывались. Теперь на них раскрылось коробочек по семьдесят и даже больше. Каждый куст наполнял хлопком ее фартук, так обилен был урожай.

«Бедный Хасан! — думала она.— Вон какой урожай собираю я с твоего посева. А тебя чуть не засудили за него.— Она шла среди густых здоровых кустов, словно среди друзей.— Бедный Хасан! Ты виноват в том, что после того посева тут пришлось немало поработать. Немало, а зато теперь здесь кусты лучше, чем везде. Нет, ты не виноват, Хасан... А культиватор?»

Она вывалила хлопок из передника в мешок, крепче завернула рукава голубого сарпинкового платья и снова принялась за работу.

Ее крепкие, сильные, быстрые руки сверкали сквозь темные листья, быстро отрываясь от желтых коробочек к белому переднику.

Они мелькали равномерно, в лад с биением сердца. И в этой ее работе была пленительная красота, на которую никто не смотрел и которой сама Фатима не замечала. Она работала, словно вела какой-то замечательный, четкий, быстрый танец. Но мысли ее летали, как ласточки, далеко отсюда, вокруг Хасана.

Она не забывала ни его голоса, ни его слов, ни дней и вечеров, проведенных с ним, ни его мечтаний, ни сильного тела, ни крепких рук. Все в нем дорого было ей. И лицо, едва узнавшее бритву, и смуглая кожа, и его твердая воля, и мягкий голос, и серьезная, вдумчивая речь.

«Нет, Хасан, ты не виноват. Хасан, я в твою комсомольскую совесть верю. Совесть твоя чиста. По своей воле ты бы не принес нам вреда».

Передник наполнился, и опять она, прервав свое раздумье, переложила хлопок из передника в мешок.

А когда снова пошла между кустов, мысли ее вернулись к Хасану.

«Но как такое твердое сердце растаяло перед ленивой куклой? Чем она его пленила? Ну чем? Что нашли его темные глаза в ее бесстрастном, недовольном, бескровном лице?

Ах, Хасан! Как легко ты забыл время, когда мы вместе росли, вместе играли, вместе собирали первые урожаи хлопка на новых землях, на берегу Джилвана. И песни мои забыл. А мы ведь их вместе пели. И я гордилась, что у меня такой друг. Я пела:

В саду у меня цветок цветет,
На руке у меня соловей поет.

А ты, Хасан, забыл, как отвечал мне:

Есть цветок у меня, краше нет вокруг.
Краше всех цветов у меня есть друг.

Пара сильных рук есть сорвать цветок,
Есть друга обнять пара сильных рук.

Эх, Хасан, улетел соловей из моего сада, и цветок вянет, и сад мой поник».

И стало ей так жаль себя, словно огонь, долго тлевший внутри, вдруг вспыхнул, охватывая ее всю. И она негромко запела тоскливую старинную песню:

Мою розу унес беспощадный враг.
Соловья злой коршун настиг в кустах.
Беспечный садовник мой сад не хранил:
Погиб соловей и цветок зачах.

С этой песней она понесла хлопок к мешку.

— Я люблю песни. А особенно когда их ты поешь. И голос твой люблю. Но не нравится мне, что поешь ты такую тоскливую песню. От нее плакать хочется.

Фатима, вздрогнув, прервала песню от этого голоса: на нее, ласково и печально улыбаясь, смотрел Хасан.

Она торопливо смахнула слезинки, навеянные песней, и ответила:

— Куда уж тебе это слушать. Тебе по душе веселые да плясовые.

— В наше время не о чем тосковать. К чему нашей эпохе песни рабских времен, песни эмирских времен? Ты вон как работаешь, всем на радость, и песню надо радостную петь.

— Пустые слова,— ответила Фатима и отвернулась, чтобы ссыпать хлопок из передника в мешок.

— Ну давай хоть поздороваемся! — протянул ей руку Хасан.

— Тебе нужна нежная рука, Хасан, я у меня пальцы совсем огрубели. Не смею тебе их подавать.

И не дав ему руки, она пошла к тем кустам, откуда принесла свой сбор.

Не находя слов, чтоб ответить ей на упрек, он молча прошел за ней следом и сел невдалеке от нее.

— Слушай, давай поговорим по душам.

Она не подняла головы. Руки ее быстро, привычно, ритмично, легко касались пышно расцветших белых роз хлопчатника.

— Душевные дела прошли. Теперь ни к чему ни разговоры, ни шутки.

— Фатима!

Она молчала. Руки быстро, чуть нарушая прежний ритм, собирали урожай.

— Фатима!

Она молча продолжала работать.

— Слушай, Фатима! Прости меня, Фатима! Я виноват.

Руки ее дрогнули и остановились. Она обернулась быстро и гневно.

— Хасан! Хорошо, поговорим по душам. Такие слова стыдно слушать комсомолке от комсомольца. Такие слова говори кулацким дочкам.

— Я ошибся, Фатима. И хочу исправить ошибку.

Он опустил покрасневшее тоскливое лицо:

— Мы должны исправлять ошибки, когда их замечаем.

— Да! Не знаю. А может быть, ты попросишь помочь тебе в каком-нибудь... преступлении?

— Помочь прошу, но не в преступлении, а...

— Э, Фатима! Что ж ты ничего не ешь до сих пор?

Оба, обернувшись на голос, увидели Мухаббат, стоявшую возле нетронутого свертка с виноградом и хлебом.

— Не хотелось есть. Хотелось свое обещание выполнить, собрать весь хлопок на этом участке.

Мухаббат подошла и только тут увидела Хасана, сидевшего в тени раскидистых кустов.

— Ты, Хасан?.. Ты еще здесь? Видел их?

— Видел.

— Обоих вместе?

— Обоих.

— Что же ты им сказал?

— Они меня не видели. Я хотел сперва их послушать. Пополз в кустах и лег почти рядом.

— Что ж они говорили?

— Многое. Такое, что мне и в голову не могло прийти.

— Что ж такое?

— Когда придет время, вам с Фатимой первым скажу, а пока нельзя: их разговор касается всех моих несчастий.

— А Кулмурад еще не закончил следствие?

— Кулмурад сообщил свои выводы и уехал.

— Какие выводы?

— Для меня нежелательные, но желательные для Шашмакула и для Хамдама-формы.

Фатима услышала этот ответ, и руки у нее опустились. Мухаббат тоже побледнела.

— Ты ясней говори.

— Он считает, что я виноват в неправильной работе сеялки на севе и в пропаже культиватора. Вопрос обо мне ставят на общем колхозном собрании. Будут обсуждать в показательном порядке. А потом, дело ясное, исключат из колхоза и отдадут под суд.

— Не может быть... — прошептала удрученная Фатима и задумчиво, привычно протянула руки к белым прядям, свисавшим с куста.

— Такого вывода никто не ожидал! — удивилась Мухаббат.— А когда будет общее собрание?

— Шашмакул торопится. Настаивал, чтоб собрали дня через два-три. Но дядя Сафар, Юлдашев и многие из коммунистов не согласились. Решили отложить до конца сбора. Устроить собрание после Октябрьских праздников. Дядя Сафар сказал: «Сперва отпразднуем шестнадцатую годовщину Октября и проведем слет ударников хлопковых полей, а тогда рассмотрим твое дело. Мы выполним к тому времени план на сто процентов, а до тех пор надо работать спокойно и не отвлекаться от нашей основной цели».

— Ладно. Я помешала вам. Я пойду! — сказала Мухаббат.

— Да нет, не такой у нас разговор, чтобы вы ему могли помешать. Давно уж Фатима на меня сердита. Я послушал тех двоих и пришел к Фатиме сказать, что ошибся. Пришел прощения просить, а она еще больше рассердилась. Если бы вы не пришли, она изругала б меня еще крепче.

Фатима взволновалась:

— Ты ошибся, если принял мои ответы за брань. У меня нет прав ругать каждого человека.

— Она имеет право сердиться на тебя. Сначала ты причинил ей большую боль. А эта боль не проходит от пустых извинений. Ведь в песне-то, помнишь, как поют?

Сердце легко поранить, да трудно рану лечить.
Чашку разбить недолго, да долго ее чинить.
Но легче исправить разбитую чашку,
Чем снова поймать упорхнувшую пташку.

Когда запоешь, все складней получается. Но слова-то в песне те же,— улыбнулась Мухаббат, уходя.

— Я помню эту песню. Но ведь я-то не с пустыми извинениями пришел,— печально сказал Хасан.

Он постоял еще, но Фатима молчала.

Тогда и он пошел вслед за Мухаббат. И когда они далеко отошли от Фатимы, до них долетела ее песня:

Не смей свою любимую бранить,
она нежна.
Не сдержит всех жемчужин нить,—
она нежна.
В больное сердце камнем не бросай:
Нельзя над чашей камень уронить,—
она нежна.

И, уходя, вслушиваясь в легкий далекий напев Фатимы, Хасан шептал:

От сердца к сердцу протянута эта струна,
И чем туже она, тем звонче поет она.
И крепка, крепче стали, доколе жива любовь,
Не порвется она, хоть и очень нежна.

17

Во дворе правления колхоза оживленно толпились колхозники от мала до велика.

Вдруг, словно вспыхивал, возникал смех. Вдруг, перекрывая все голоса, звенела чья-нибудь веселая шутка.

Завхоз, свалив в угол амбара и еще раз пересмотрев мешки, подошел к весам и долго проверял их.

Все было готово, чтобы на склады ссыпать зерно, а в амбары принять товары.

Но тем, кто ждет, время кажется медленным.

И когда наконец вдали звякнул колоколец каравана, ему даже не сразу поверили,— казалось, караван пришел неожиданно.

Но по улице уже бежали ребята с криками:

— Караван пришел!

Ребята со двора тоже побежали навстречу каравану, а взрослые собрались у колхозных ворот.

Караван пришел.

Неторопливой, спокойной поступью вошли во двор тяжело нагруженные верблюды. Их светлую, слегка рыжеватую шерсть украшали красные ковровые седла, красные шлеи свешивались на верблюжьи груди широкой тесьмой с бахромой, красные уздечки охватывали узкие верблюжьи лбы, и на груди заднего верблюда медленно раскачивался медный, почерневший от дальних дорог большой колоколец.

Старый Эргаш, глядя на караван, засмеялся:

— В точности, как, бывало, ходили караваны наших богатейших купцов.

Сафар-Гулам тоже засмеялся:

— Но разница в том, что тогда водили караван, чтоб набивать карманы баев, а эти перевозят сокровища трудящихся, тех, что в прежние времена были рабами.

Кутбийа, стоя рядом с Хасаном, не сводила глаз с Хамдама-формы. Она услышала слова Эргаша и ответ Сафар-Гулама, и сердце ее тоскливо сжалось. Она вздохнула и посмотрела на небо. И снова с надеждой взглянула на Хамдама.

Один из колхозников добавил:

— И сами верблюды другие. У богачей верблюды ходили в плешинах да в ссадинах от непосильной работы, а у нас и скот живет в холе. Ишь как стоят горбы у них, ишь как хорошо они выглядят!

— Много их, бедняг, погибло от кулацкого ножа. И ведь мясо-то у них невкусное, чего резали?

— Чтоб нам поменьше досталось.

Хамдам взглянул на Кутбийю и дважды ребром ладони провел себе поперек груди.

Кутбийа в ответ улыбнулась ему.

Верблюды опустились на землю.

Сняли с седел тяжелые мешки с пшеницей и понесли их в амбары.

Взамен принялись вьючить огромные кипы хлопка.

Большая часть верблюдов уже была навьючена и отведена в сторону. Но несколько верблюдов еще лежали, послушно ожидая, пока закрепят на их седлах хлопок, туго набитый в мешки.

В это время во двор въехал, громко гудя, грузовик.

Между колхозниками зашла речь о грузовиках, их значении в колхозном хозяйстве.

— Если бы нам еще один грузовик, намного легче стало бы устраиваться со всеми делами! — сказал Юсуф.

— Приобретем! — ответил Сафар-Гулам.— А может быть, даже получим в премию за перевыполнение плана. Надо только так перевыполнить, чтоб не стыдно было премию получать.

Юлдашев возразил:

— А зачем нам ждать премию, дядя Сафар? Деньги у нас найдутся с избытком, надо купить, да и точка. Это нам не помешает перевыполнить план.

Шашмакул сердито проворчал:

— Сперва надо вредителей убрать, а не то и с грузовиком выйдет, как с сеялкой; а не то и вовсе пропадет, как культиватор.

Хасан отвернулся, словно и не слышал слов Шашмакула, но Кутбийа отлично расслышала и подмигнула Хамдаму.

Грузовик, сгрузив тюки мануфактуры, мешки с сахаром, ящики чая и всякие хозяйственные товары, нагрузил высокую груду мешков с хлопком и ушел со двора.

В это время подъехали арбы, гремя колокольчиками, подвешенными к сбруе лошадей. На одних арбах была нагружена пшеница, на других — мануфактура, сахар, чай, керосин, масло и другие товары. Арбы выстроились в ряд перед кооперативом.

— Столько товаров! — сказал Эргаш.— Прежде, бывало, арбы выстраивались только на базаре в Гиждуване перед лавками баев. У нас на весь Шафриканский район для товаров даже ни одного склада не было, а теперь в каждом колхозе свои амбары и склады и свой базар. Да какой! Купцы, бывало, торговали по мелочам, а у нас приходи, выбирай, сразу и не выберешь: то хорошо, а это еще лучше.

Юлдашев ответил:

— Так ведь то было в эмирском Шафрикане, дядя Эргаш. Ведь там только место прежнее, а город нынче совсем другой.

Кладовщик крикнул, стоя у своих весов в тени амбара:

— Товарищ Сафар, можно начинать?

— Да,— ответил Сафар-Гулам и, подойдя к весам, сказал ожидавшим колхозникам: — Дело обстоит так, товарищи,— сейчас кто нуждается, может получить пшеницу. Точные подсчеты по всем трудодням у нас еще не закончены. Выйдет, примерно, на трудодень каждому колхознику по восемь килограммов пшеницы и деньгами порядочно. Но окончательный расчет произведем, когда полностью закончим подсчет. А сегодня выдадим по шесть килограммов пшеницы на трудодень. Таково решение правления.

Вытащив свои расчетные книжки, водя пальцами по столбцам записей, колхозники принялись подсчитывать свои трудодни.

Хасан нерешительно подошел к Фатиме.

— Ну как, Фатима, хватит тебе трудодней на пропитание?

— Их у меня двести тридцать пять, Хасан,— просто и доверчиво ответила Фатима.

Видно, что-то перегорело в ней и сменилось каким-то новым чувством.

Хасан сразу уловил эту перемену.

Шутя он спросил:

— Ну теперь сменишь свое синее платье на новое. Нарядная будешь. Иль все деньги на книжку положишь?

Кутбийа, прислушиваясь к их разговору, незаметно, но с удовольствием взглянула на свое шелковое платье, на бархатный жакет, на лаковые ботинки.

— Есть у меня деньги и на книжке, Хасан, есть и шелковые платья в сундуке, и жакетки бархатные есть, и лаковые ботинки, и тюбетейки, шитые золотом. У меня много всякого добра лежит. Но я ведь не кулацкая дочь. Куда мне наряжаться? На работу? Я ведь не для виду работаю. В шелках моей работы не сделаешь.

Удар был направлен прямо в Кутбийю.

Кутбийа вспыхнула и растерянно подвинулась в сторону Хамдама.

Но в это время кладовщик позвал:

— Подходите, товарищи!

Фатима и Мухаббат ушли к весам.

Сафар-Гулам зачем-то отозвал Хасана.

Кутбийа могла спокойно справиться со своей обидой.

Отирая пестрым ароматным платком лицо, она подошла к Хамдаму.

— Слышал? Эта дочь батрачки гордится своими трудоднями! Эх, мне бы прежнее время,— я ей дала бы работу! Она бы у меня поработала! А теперь смеет еще смеяться!

— Ей недолго смеяться. Ее ждут такие же радости, как и ее Хасана. Тот сегодня пойдет под суд, а следом за ним и ей туда же расчистим дорожку.

— Хасаново дело сегодня будет разбираться?

— Да. Сегодня и наше дело должно быть решено. А? Так ведь, роза моя?

— Как только его осудят, я встану и заявлю: «С таким вредителем жить не желаю!» И перейду к тебе. Так наше дело и устроится. А распишемся завтра.

— Хоть бы уж скорей начиналось собрание! — задумчиво покрутил усы Хамдам-форма и отошел к Шашмакулу.— Когда начнется собрание? — спросил Хамдам.

Шашмакул не успел ответить,— его позвал Сафар-Гулам. Уходя, Шашмакул сказал:

— Я сейчас. Подожди.

Хасан отошел от Сафар-Гулама, прежде чем подошел Шашмакул.

Сафар-Гулам сказал Шашмакулу:

— Хасан заявил, что если вы начнете собрание, не дожидаясь Кулмурада, то Хасан не будет отвечать. Он все материалы передал в политотдел МТС, а политотдел поручил это дело Кулмураду. Чтобы разобраться в этом вопросе, нам, видно, придется дождаться Кулмурада.

— Хасан может возражать, сколько угодно. А общее собрание правомочно вынести решение, не спрашивая на это согласия Хасана.

— Это ты верно говоришь, собрание правомочно. Но наша задача ознакомиться с этим вопросом во всем объеме, прежде чем решать судьбу одного из наших товарищей. И поэтому я советую подождать Кулмурада.

— Что ж ты за коммунист? Постановление партийной организации знаешь?

— Знаю. Было решено провести сегодня собрание, но о Кулмураде ничего не сказано. Это мы должны решать сами.

— Вот получат колхозники пшеницу, и начнем собрание. Я коммунист, я ни на минуту не отложу дело о вредителе. Нельзя допускать никаких промедлений,— сердито ответил Шашмакул и, не слушая Сафар-Гулама, вернулся к Хамдаму.

18

Собрание назначили в красной чайхане.

Сафар-Гулам сел рядом с Эргашем, зная, что старый друг переживает это собрание тяжелее других: Эргаш верит своему Хасану, хотя не может привести никаких доказательств в его защиту.

Эргаш сидел, опустив глаза, сосредоточенно глядя вниз, словно перед ним проходили все долгие былые годы, с того дня, как в жалкой землянке умер его отец — «дедушка-раб».

Он помнил тот день, как далекий сон. С того дня начинались его воспоминания о детстве.

Он помнил, как над телом старого раба плакали две старые рабыни, выкликая какие-то мольбы о справедливости и жалобы на жестокость, как будто могла с неба снизойти справедливость при жестокости тех времен.

Ныне справедливость явилась. Не с неба,— с земли. Но ее не дождались ни старая мать Эргаша, ни убогая нищенка, плакавшая в тот далекий день над телом своего брата.

Справедливости дождался Эргаш после многих лет тяжелой борьбы с жестокостью прежней жизни.

Он дождался справедливости. И теперь он не мог понять, как же это так вышло, что люди, прожившие всю жизнь на глазах Эргаша, его односельчане, такие же потомки рабов, будут судить Эргашева сына, как врага этой справедливости.

Юлдашев сидел с Мухаббат, и оба они молчали, удрученные судьбой товарища, которого привыкли уважать за трудолюбие и любить за ясное, простое сердце.

Но Шашмакул нетерпеливо то вставал, то садился, бледный, облизывая сухим языком пересохшие губы. Ему не терпелось доконать уличенного им преступника.

Часть колхозников негодовала, что вредитель принес им столько беды, заставил положить столько лишнего труда для устранения повреждений в хозяйстве.

Хамдам сидел, поглядывая на Кутбийю.

И вспомнил, как лежала она на широкой кровати в маркизетовом платье. И мечтал, как возьмет ее маленькие руки и поцелует ее соблазнительные губки.

Кутбийа, забыв о Хамдаме, с ненавистью разглядывала Фатиму, придумывая для нее самые неожиданные и жестокие казни.

А Фатима сидела и не догадывалась, что ее мысли были очень схожи с тяжелым раздумьем старого Эргаша.

Она припомнила рассказы о бедной улице Рабов, о тяжелой жизни Эргаша и не могла поверить, что Хасан Эргаш вдруг захотел вернуть ту страшную прошлую жизнь, совершил вредительство в своем родном колхозе.

Хасан сидел в стороне, не глядя ни на кого, чтоб не раскрыть бури и горя, бушевавших в его сердце.

Он вздрогнул: наконец!

Юлдашев встал и подошел к столу, накрытому красным сукном.

— Товарищи! Садитесь ближе. Начинаем собрание.

Он подождал, пока все передвинулись к столу и сели тесно и напряженно.

Тогда Юлдашев рассказал о победах колхоза, о происках кулаков и лишь после этого заговорил о вредительстве, волновавшем всех:

— Нам еще неизвестны люди, совершившие его. Нам известно, что политотдел МТС, хорошо проверив все материалы, уже выявил виновников преступления, поэтому правление откладывало собрание до приезда Кулмурада, разбиравшего это дело. Но некоторые товарищи торопят нас и настаивают на том, чтобы открыть собрание сейчас. Слово даю товарищу Сафару.

Шашмакул сердито вскочил.

— Почему Сафару? Я коммунист. Первое слово должны дать мне. Надо уважать партию и Советскую власть!

Юлдашев, подняв руку, остановил его:

— Товарищ Шашмакул, слово дано Сафар-Гуламу. Подчиняйся порядку. Следующее слово — тебе.

Но Шашмакул, не слушая Юлдашева, продолжал кричать:

— Нужно уважать партию, нужно уважать Советскую власть. Я — коммунист.

Юлдашев перебил его:

— Кроме тебя, у нас и еще коммунисты есть. И с большим

стажем, чем у тебя,— это Сафар-Гулам и дядя Эргаш. Надо соблюдать порядок.

— Я прошу слова! — кричал Шашмакул.

— Дать ему слово! — крикнуло несколько голосов.

Юлдашев перекинулся несколькими словами с Сафар-Гуламом и сказал:

— Хорошо. Слово принадлежит Шашмакулу.

— Товарищи,— откашлялся Шашмакул,— нужно уважать партию. Нужно уважать Советскую власть. В деревне высшая власть — сельсовет. Вы, наверное, еще не забыли: этот вопрос мы много раз обсуждали и рассматривали...

Юлдашев перебил его:

— Слово тебе предоставлено по вопросу о преступлениях в колхозе, об этом и говори.

— Я и сам знаю, о чем мне говорить! — свирепо ворочая глазами и гневно раскачиваясь, посмотрел через плечо Шашмакул на Юлдашева.— Ты меня не учи!

Кто-то с места подсказал:

— Вы же хотели говорить о преступлениях Хасана.

— Об этом и говорю. Я, как коммунист, знаю, что Хасан разрушил арык и оставил хлопок без воды. Сверх того, он не явился на работу по восстановлению этого канала, а остался дома с женой.

— Правильно! — раздалось два или три голоса.

— На это есть свидетели! — строго взглянул на Хасана Шашмакул.— Один из свидетелей — наш активист, примерный колхозник Хамдам.

— Правильно! — подтвердил его слова Хамдам.

— Вот преступник... Нет, я имею в виду свидетелей,— продолжал Шашмакул.— Я записал всех свидетелей. Я передал список, куда надо. Мне обещано, что перед судом будут раскрыты все преступления Хасана. Он еще комсомолец, а хочет уже учить нас, коммунистов.

— А что еще сделал Хасан? — спросили с места.

— Я скажу! — пообещал Шашмакул, отирая лицо платком.

— Про сеялку! Про культиватор! — подсказали с места.

— Вот, вот! Хасан испортил сеялку, уничтожил культиватор. Он совершил и еще ряд тяжких вредительств. Можете не сомневаться, это я вам говорю. Я!

— А что он сделал с минеральными удобрениями? — спросил тот же голос с места.

— Вот, вот! Он так «удобрил» землю, что от этого погибла часть посевов. Есть свидетель, и это подтвердил агротехник.

— Какое у вас предложение? — спросили с места.

— Как преступника Хасана немедленно исключить из колхоза и отдать под суд.

Несколько человек захлопали в ладоши. Дольше всех хлопал в ладоши Хамдам-форма.

Фатима подумала: «Мало рукоплесканий. Люди ждут, хотят более веских доказательств».

Юлдашев объявил:

— Для сообщения слово имеет товарищ Сафар.

— Товарищи! В нашем колхозе в этом году было совершено несколько преступлений,— это известно. Кто совершил их, это неизвестно.

Шашмакул крикнул с места:

— Как неизвестно? Хасан Эргаш!

— Верно! — поддержал Хамдам.

— Из этих преступлений ряд произошел непосредственно в присутствии Хасана,— продолжал Сафар-Гулам.

Люди привстали с мест, вытянули шеи, чтобы взглянуть на Хасана.

Шашмакул, обращаясь к собранию, заявил:

— Такого человека необходимо немедленно убрать из колхоза!

— Исключить его немедленно! — крикнул кто-то.

— Товарищи! — спокойно возразил Сафар-Гулам.— Или вы меня не поняли, или я неясно выразился. Дело в том, что никем, никак пока не доказано, виноват ли Хасан в происшедшем.

Шашмакул закричал:

— Что ж, дьявол, что ли, испортил Хасану сеялку? Мы этот вопрос уже прорабатывали!

Сафар-Гулам продолжал:

— Нужно было привлечь к ответственности Хасана. При первой проверке никого другого мы не обнаружили.

— Вот это решение и надо провести! — крикнул Шашмакул.

Сафар-Гулам отрицательно покачал головой и спокойно продолжал:

— Но за последние дни мы обнаружили кончик от целого клубка преступлений. От целого клубка. Весь материал мы передали в политотдел. Сегодня должен сюда приехать Кулмурад. Не знаю, почему он запаздывает, но я предлагаю отложить это дело до приезда Кулмурада.

Шашмакул разгневанно встал:

— Что это за предложение? Это ж явная попытка замазать преступление Хасана. Это потворство преступнику, это переход на сторону кулаков.

Юлдашев встал:

— Товарищ Шашмакул! Призываю тебя к порядку.

Тогда поднялся Нор-Мурад и попросил слова. И, не дожидаясь согласия председателя, заговорил:

— Я люблю Хасана, как сына! Я знаю его, как активиста, комсомольца. Эргаш мне все равно что брат. Но колхоз я люблю больше. Я в колхозе двести трудодней выработал. Я семьдесят пять пудов пшеницы получил. А жена еще больше заработала! И вот Хасан Эргаш хотел нашему колхозу повредить. Как же это так? Я решительно требую: исключить! Больше я ничего не имею сказать.

Нор-Мураду похлопали. Вместе с другими он и сам похлопал себе, а потом посмотрел на Юлдашева:

— Мое выступление — это тоже нарушение порядка?

Юлдашев не успел ему ответить. Садык попросил слова.

Садык сказал:

— Я очень уважаю Эргаша, но я недоволен его сыном Хасаном. И прямо это говорю. Ведь его сын учит моих детей, что бога нет. Ну как же это так? Зачем же так обманывать моих ребят? А в остальном я Хасаном доволен. Ведь все наши ребята берут с Хасана пример, все говорят, что хотят работать, как Хасан-ака, поэтому я и думаю: не мог вредить такой парень. А предложение у меня — отложить дело Хасана, чтоб внести в это дело полную ясность.

Шашмакул даже привскочил со своего места.

— Товарищи! Слышали, что говорит кулак? Вот Сафар говорит, что в колхозе есть остатки кулачества, а кулака перед своими глазами не видит.

— Это какого же кулака? — нахмурившись, спросил Сафар-Гулам.

— А вот Садыка! Одно время он свое кулачество скрывал, ходил в рваном халате, теперь у него халат нарядней, чем, бывало, у Хаджиназара. Живот у него стал толще, чем у мясника Рахима, борода у него расчесана и блестит, как, бывало, у Теракула с маслобойки. Но тех всех признали кулаками или богачами и выслали. А этот пролез в колхоз и сейчас выступил в защиту преступника. Я, как коммунист, утверждаю, что Садык — кулак и кто согласен с ним — это подкулачники. Я утверждаю это со всей ответственностью.

— Поставить вопрос о Хасане на голосование! — крикнули с места.

— Голосовать, голосовать! — подхватили одинокие голоса с разных мест.

Юлдашев поднялся.

— Хорошо. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы Хасана Эргаша не исключать из колхоза, а отложить его дело для дальнейшего расследования, поднимите руки.

Больше половины колхозников подняли руки.

Шашмакул заревел, как раненый бык:

— Это неправильно! Сперва голосуй мое предложение — за немедленное исключение из колхоза. Почему ты сначала голосуешь предложение кулака? Кто за то, чтобы Хасана Эргаша немедленно исключить из колхоза и отдать под суд?

— Так,— неохотно уступил Юлдашев.— Поднимите руки, кто за предложение Шашмакула?

Опять немногим больше половины присутствовавших подняло руки.

— Вопрос решен! — радостно воскликнул, захлопав в ладоши, Шашмакул.

Со стороны Хамдама-формы раздались ликующие возгласы.

Кутбийа поднялась с места.

— У меня есть заявление. Разрешите огласить.

— Пожалуйста! — согласился Юлдашев, пытливо и настороженно вглядываясь в ее лицо.

Сафар-Гулам тоже придвинулся ближе, чтобы лучше ее видеть, словно ждал от нее каких-то очень значительных слов.

— Я хотела заявить, что не хочу жить с преступником и с настоящего момента считаю себя разведенной с ним.

Сафар-Гулам нахмурился и переглянулся с Юлдашевым.

Но Хамдам прервал слова Кутбийи новым взрывом рукоплесканий и ликующих выкриков.

Кутбийа продолжала:

— Спасибо вам, кто выявил преступления Хасана Эргаша.

И Кутбийа любезно кивнула головой Шашмакулу. Она пошла к Хамдаму, благодарно пожала ему руку и села рядом с ним.

Тогда поднялась Фатима.

— Этого не может быть! Хасан не преступник. Его не исключат из комсомола, потому что...

Шашмакул прервал ее.

— Вопрос решен. Собрание закрыто. Собрание закрыто! — крикнул Шашмакул.

И хотя председатель еще не объявил собрание закрытым, колхозники поднялись с шумом, возбужденно заговорив и заспорив.

Но в этот момент громко и радостно крикнула Мухаббат:

— Стойте! Собрание не закончено. Приехал Кулмурад. Кулмурад-ака, вот он! Приехал!

Все остановились. Те, которые вышли, поспешили вернуться.

Четыре всадника спешились возле чайханы.

Один из них Кулмурад, другой — районный следователь, и с ними — два вооруженных милиционера.

Кутбийа, увидев милиционеров, прижавшись к Хамдаму, шепнула радостно:

— Видно, его отсюда прямо в тюрьму отведут!

— Конечно,— и добавил громко, чтобы слышали и другие: — Советская власть не допустит, чтоб преступник, прикрываясь комсомольским билетом, продолжал свои преступления.

Услышав эти слова, Фатима откликнулась:

— Не может того быть, чтоб Хасан оказался преступником!

Кутбийа, осмелев, крикнула ей:

— После него очередь за тобой. Туда же!

Приход Кулмурада прервал этот спор.

Положив на стол сумки и портфели, Кулмурад и следователь поздоровались.

Шашмакул протиснулся к Кулмураду.

— Товарищ! Я хочу вас спросить как представителя политотдела. У меня чрезвычайный вопрос.

— Пожалуйста.

— Можно ли в наше время допустить пребывание кулака в колхозе?

— Ни теперь, ни при организации колхоза.

— А у нас в колхозе еще есть один кулак.

— Да. Есть. Но только не один,— ответил Кулмурад, раскрывая портфель и доставая оттуда бумаги.— Если б в вашем колхозе не было кулаков или остатков кулачества, не было бы и стольких преступлений. Одна из важнейших задач политотдела выявить этих кулаков и укрепить колхоз как в политическом, так и в организационном и хозяйственном отношениях.

— Сейчас здесь, на этом собрании, есть кулак, прикрывшийся именем колхозника.

— Кто ж это такой? — удивился Кулмурад, подняв голову от своих бумаг.

— Вон тот человек с густой бородой, толстым животом и в шелковом халате.

Кулмурад удивился еще больше.

— Но ты же показываешь на Садыка!

— Он и есть! — гордо подбоченился Шашмакул.

Садык побледнел. Руки его задрожали.

Хамдам-форма шепнул Кутбийе:

— Еще один покатился.

— А он коммунист?

— Хоть и не коммунист, а работает с ними заодно, всей душой. Это он своей работой спас посев Хасана. Если б не он, преступление Хасана было б видней и наказание строже.

Кулмурад, услышав Шашмакула, улыбнулся. Вынул портсигар и закурил.

— Я Садыка знаю. Когда я работал неподалеку от вашего колхоза, я видел, как Садык-ака применял советы агротехников, как он их понимал, как ими интересовался.

— Когда он вступил в колхоз, он ходил оборванцем, чтоб скрыть свои богатства, а теперь почувствовал себя в безопасности и нарядился в шелка. Дом у него полным-полон. Поэтому я и считаю, что надо его... Я, как коммунист, понимаешь?

Кулмурад перебил Шашмакула:

— Довольно болтовни. Может быть, партбилет у тебя и есть, но с тех пор, как ты его получил, ты, вижу, ничему не научился.

— Это почему ж такое?

— Если б ты был коммунистом, ты знал бы разъяснение нашей партии о том, как надо работать на селе и как распознавать кулаков.

— Я знаю это указание партии.

— А почему ж ты кулака определяешь по плакату — чтоб борода у него была густая да пузо толстое? А ты лучше на деле людей посмотри, на их работу.

Шашмакул был озадачен.

— Так, по-твоему, Садык — не кулак?

— Конечно, нет. А какие у тебя доказательства?

— А те, что у него имущества больше, чем у кулака.

— А откуда у него?

— Не знаю. Наверное, из колхоза.

— Вот в том-то твоя ошибка, что заработанное честным трудом в колхозе ты приводишь как доказательство кулацких признаков. Ты разве забыл указание партии сделать колхозы большевистскими, колхозников зажиточными? Колхозники должны гордиться тем, что, вступив в колхоз бедняками, они теперь стали зажиточными, надевают после работы шелковые халаты. Животы их не сохнут от голодухи, и сами они гордо глядят на мир, превращенный колхозным трудом в цветущий сад. И Садык это понимает и гордится своим достатком, потому что достаток этот не украден, а заработан честным трудом. Вот пойми это. И точка. А теперь у нас есть другие дела, и не мешай нам.

Юлдашев дал слово Кулмураду.

Кулмурад напомнил колхозникам об их больших успехах в этом году и обратил их внимание на то, что чем крупнее успехи

колхоза, тем яростнее сопротивление кулачества, тем неистовее злоба классовых врагов.

— За примерами не надо далеко ходить. Они у вас на глазах, у вас в колхозе. Политотдел немало поработал над тем, чтобы, поймав кончик нитки, постепенно распутать и весь клубок.

Шашмакул гордо крикнул:

— Сведения, данные мной, в конце концов оказались правильными!

Но Кулмурад даже не посмотрел в его сторону.

— Семена были подменены гнилыми. Сеялка испорчена. Культиватор украден в разгар работы, канал разрушен перед самым поливом и так далее.

Кулмурад остановился, чтобы глотнуть холодного чая.

Шашмакул воспользовался этим мгновением:

— И виновник этих преступлений Хасан Эргаш. Мы сегодня его исключили и отдали под суд.

Кулмурад ответил:

— Мы тоже заподозрили Хасана Эргаша. Не во всех преступлениях, а в некоторых из них. Сеялка, культиватор...

Хамдам подтолкнул локтем Кутбийю:

— Слышишь? Он подтверждает, Хасан виноват.

— Но мы искали преступников тщательно и выяснили такое обстоятельство: ночью пропал культиватор и в тот же день вода прорвала вредительски прорытую канаву. Когда все бригадиры кинулись на ремонт канала, один человек пошел в село и на стекле одного дома написал: «Канал испорчен, культиватор пропал». Хозяин сперва не придал значения этой надписи, потому что около своего дома он никого не встретил, кроме человека, которому вполне доверял.

Хамдам побледнел, но, услышав последние слова, облегченно вздохнул.

— Однажды хозяин дома увидел того же человека, занятого разговором с женщиной. Разговор шел о культиваторе, сеялке, обо всех остальных вредительских актах. Тогда хозяин дома нашел связь между этим разговором и надписью на стекле.

Сердце Хамдама готово было лопнуть.

Но Кулмурад добавил:

— Однако этих фактов для политотдела было недостаточно,— нам нужны были свидетели или документы.

Шашмакул опять крикнул:

— Я же указал вам на ряд свидетелей, которые доказали вину Хасана!

— Подожди. Я сейчас перейду к твоим свидетелям. Пока мы искали вещественные доказательства, мы считали Хасана виновным.

— Так я и считаю Хасана виновным! — удивленно проговорил Шашмакул.

Хамдам радостно и облегченно вздохнул.

Кулмурад продолжал:

— Уже сегодня, когда мы собирались сюда к вам, поступил дополнительный материал. Вы еще не знаете, что ваш культиватор найден. Он был сброшен в старый канал, занесен илом и обнаружен там при недавней расчистке канала. Там же нашли железную палицу с заостренным концом. У кузнеца Саттара из соседней деревни мы узнали, что палицу эту приносил ему Нугман-заде и просил выковать из нее кочергу. Кузнец Саттар выковал кочергу. Ее мы и нашли в канале около культиватора. Саттара-кузнеца знаете?

Собрание дружно подтвердило свое знакомство с кузнецом. Много лет все ездили и ходили к нему чинить инвентарь.

— А Нугман-заде кто?

Собрание молчало. Люди шепотом переспрашивали друг друга.

Наконец с места встал старик и сказал:

— Вот он!

Он показал на сжавшегося и будто высохшего Хамдама. Усы его нелепо вытянулись вперед, как рога.

Старик объяснил:

— Его отца звали Нугманом. Значит, Нугманов он и есть.

— Ты жил здесь под именем...

— Под кличкой Хамдам-форма! — подсказал Юлдашев.

По знаку следователя милиционеры взяли Хамдама.

Собрание онемело от неожиданности.

Хамдама пришлось вести под руки: он неожиданно так ослабел, что уже не мог пошевельнуться.

У двери он вдруг в порыве ярости ожил, попытался вырваться и крикнул:

— Рабы! Пастухи! На нашей земле жиреете. На нашем...

Рука милиционера так решительно дернула его вперед, что усы Хамдама приняли новое, еще более нелепое положение.

Кутбийа, белая, словно неживая, сидела в углу.

Фатима подошла к Хасану и села рядом с ним. Словно сквозь сон она слышала Кулмурада.

— Бывшие рабы и пастухи ныне трудятся на собственной, на своей земле. И никто у них ее не отнимет. Никто, никогда.

Колхозники теснились вокруг Хасана, и каждому хотелось пожать ему руки, похлопать по плечу, сказать веселое слово.

А Хасан видел только глаза Фатимы, смотревшие на него радостно и светло.

Эргаш встал, подозвал к себе Хасана и стал рядом с ним.

— Я сын «дедушки-раба». Моего отца звали Рахимдадом, а рабовладельцы прозвали его Некадамом. Он носил меня на руках, и тепло его рук — в моем сердце. Помни о нем, Хасан! Он твой дед. Он начал наш род на этой земле, которой теперь и мы владеем. Вот смотрите на нас! Я родился в доме раба. Я начал жизнь рабом, а продолжаю ее равноправным членом большого колхоза, я знаю цену земле, цену труду. Я понимаю, что для нас сделано большевиками. Я знаю, что сделала для нас партия!

Темнело. Но никто не уходил.

Сумерки, серые, сырые, ранние сумерки поздней осени сгущались под низкими холодными тучами.

Зажгли лампы.

— Вот,— говорил Эргаш,— мы здесь с моим сыном — перед вами. Каждый из нас может смотреть вам в глаза...

Ему хотелось сказать что-то такое большое, такое нужное, дать такую клятву, чтоб никто никогда не усомнился в Хасане.

Ему хотелось, чтоб его сыну все верили так, как сам он верил Хасану.

Но слова получались спокойнее и холоднее, чем то, что хотелось высказать.

Он не догадывался, что его раздумья поняты и разделяются здесь каждым. Здесь каждый знал, что жизнь впереди светла, труд дружен, правда непобедима.

Эргаш говорил, счастливо глядя всем в глаза:

— Это сделала для нас партия!

ПРИМЕЧАНИЯ

«Рабы» («Гуломон») — второй роман Садриддина Айни (после «Дохунды»), написанный в 1932—1934 годах, охватывает исторический период в целое столетие — от начала XIX века до победы колхозного строя после установления Советской власти в Средней Азии.

Впервые роман опубликован был в 1934 году на узбекском языке, на таджикском он вышел в 1935 году. Существуют два русских перевода романа «Рабы». Оба перевода выполнены были с сокращениями — Л. Соцердотовой с узбекского текста (Ташкент, 1935) и С. Бородиным (Москва, 1950) по тексту подстрочного перевода.

«Рабы» в переводе С. Бородина выдержали восемь изданий. Роман публиковался на некоторых языках народов СССР и иностранных языках. Настоящее издание воспроизводит текст, опубликованный во втором томе Собрания сочинений Садриддина Айни («Художественная литература», М., 1972).

Стр. 19. *Рабат* — большой, окруженный высокими стенами дом на торговой дороге, который служил как караван-сарай и постоялый двор.

Стр. 21. *Суфий* — монах, последователь суфизма, мистического течения в мусульманской религии. *Сардар* — военачальник, главарь. *Куф!* — восклицание, произносимое в конце молитвы, заклинание, очищающее якобы от нечистой силы.

Стр. 22. *Халиф* (халифа) — наместник пророка Мухаммеда, глава мусульманского государства и церкви; здесь — наместник шейха, главы суфийской общины, наставник. *Ага* — господин; почтительное обращение. *Хызр* — легендарный пророк, якобы ставший бессмертным, испив «живой воды». *Ильяс* — библейский Илья. Оба пророка считаются покровителями путников.

Стр. 23. *Кальян* — курительный прибор, в котором дым проходит через наливаемую в него воду и, как полагают, очищается от никотина. *Тенга* — мелкая монета, серебряная или медная, бывшая в обиходе в Бухарском эмирате. *Туман* — золотая монета, принятая в Иране. *Рупия* — серебряная монета, принятая в Индии и некоторых других странах; афганская рупия равнялась четырем бухарским тенгам. *Кукнар* — опиумный мак, наркотик.

Стр. 24. *Шах-Мурад Сарык* (1785—1800) — третий эмир Бухары из династии Мангытов, неоднократно предпринимавший набеги на туркменские земли. В Туркмении ему дали прозвище «Сарык», что значит «желтый».

Стр. 25. *Мешхед* — город на северо-востоке Ирана. *Астрабад* — иранский город близ Каспийского моря.

Стр. 26. *Герат* — город в северо-западном Афганистане. *Мекка* — священный город мусульман в Саудовской Аравии. Мусульмане при молитве обращаются лицом в сторону Мекки.

Стр. 27. *Серахс* и *Абиверд* — города на юге Туркмении. *Рустам* и *Исфандиар* — легендарные герои-богатыри, персонажи эпоса Абулькасима Фирдоуси «Шах-наме».

Стр. 29. *Шахимардан* — дословно «царь мужей», так назван Али — четвертый преемник пророка Мухаммеда и его зять.

Стр. 32. *Карагач* — лиственное дерево, вид вяза.

Стр. 35. *Теджен* — город в южной Туркмении.

Стр. 36. *Биби* — женщина почтенного возраста. *Ты же знаешь, что я разводка и что у меня нет детей.*— Четыре «законные» жены, которые позволяет иметь мусульманину шариат (свод мусульманского религиозного права), использовались, как правило, в качестве рабочей силы. Для увеличения этой «рабочей силы» с женами разводились под предлогом бездетности и оставляли их при доме, уйти «разводке» все равно было некуда, а вместо нее появлялась новая «законная» жена, иначе говоря — новые рабочие руки.

Стр. 40. *Бобо* — дед, дедушка.

Стр. 44. *Суннитская вера.*— Суннизм — одно из двух главных направлений в исламской религии. Сунниты признают, кроме Корана, сунны — устные предания, приписываемые пророку Мухаммеду, а также всех четырех его приближенных, преемников,— Абу-Бакра, Омара, Османа и Али. *Шиит-*

ская вера.— Шиизм — второе главное направление в исламе. Шииты, в отличие от суннитов, преемником Мухаммеда считают только Али. Шиизм является официальной государственной религией в Иране.

Стр. 45. *Пять святителей* — пророк Мухаммед, его дочь Фатима, ее муж Али, их сыновья Хасан и Хусейн, которых шииты считают святыми. *Двенадцать святых* — двенадцать шиитских предводителей, первым из которых является Али, а последний — Махди (мессия) — еще должен появиться. *Карши* — город в Бухарском эмирате, ныне центр Кашка-Дарьинской области УзССР.

Стр. 48. *Караван-баши* — караванщик, начальник каравана; здесь, как отмечает сам С. Айни в пояснении к таджикскому тексту, придворный титул в Хивинском ханстве. *Ургенчский караван-сарай* — один из многочисленных постоялых дворов в Бухаре, где останавливались караваны из Ургенча (Хивинского ханства).

Стр. 49. *Гиждуван* — город и один из туменей (уездов) в Бухарском эмирате, ныне центр Гиждуванского района Бухарской области. *Шафрикан, Вабкент, Зандане* — тумени в Бухарском эмирате. *Терьяк* — опиум.

Стр. 51. *Медресе* — духовное учебное заведение у мусульман, совмещавшее в себе среднюю и высшую школу. *Дарушшифа* (дословно — «дом исцеления») — медресе в Бухаре, где изучали медицину.

Стр. 52. *Тиргаран* — один из четырех купольных базаров Бухары; там находились ряды ремесленников, изготовлявших стрелы. *Арк* — крепость в центре Бухары, резиденция эмира и его правительства. В Арке же помещалась государственная казна. *Абхана* — тюрьма в Арке, которая была расположена под эмирскими конюшнями, откуда в нее стекали вода и нечистоты.

Стр. 53. *Кушбеги* — глава правительства, главный министр, в Бухарском эмирате. *Бахауддин* (1318—1389) — известный суфийский шейх, основатель мистического ордена Накшбандия.

Стр. 54. *Хатырчи* — город на северо-востоке от Бухары (ныне районный центр в Самаркандской области), где в 1821—1825 гг. происходило восстание узбекских хитай-кипчакских племен, вызванное усилением феодального гнета. Об этом восстании и идет здесь речь.

Стр. 55. *Хайдар* — четвертый бухарский эмир из династии Мангытов, правивший в 1800—1826 гг. *Имам* — духовный наставник у мусульман.

Стр. 56. *Средний двор* — дворик между гаремом и приемными комнатами во дворце эмира. В среднем дворике содержались мальчики, «услаждавшие» благочестивого эмира.

Стр. 57. *Удайчи* — один из низших придворных чинов, церемониймейстер при дворе эмира. Удайчи шел впереди эмира и громко молился за него.

Стр. 61. *Пул* — мелкая медная монета, равнявшаяся четверти тогдашней русской копейки.

Стр. 64. *Маш* — сорт мелкой среднеазиатской фасоли.

Стр. 70. *Аризачуб* — деревянная коробочка с отодвигающейся крышечкой. В нем пересылались заявления и послания к эмиру и поручения от него.

Стр. 75. *Купец показал ее Акраму-баю.*— Здесь автором приведена фотокопия подлинного документа, который гласит:

«Я, истец, предъявляю присутствующим здесь Нийазу-баю и Сафарубаю иск в том, что купил у них рабыню, присутствующую здесь, за 52 чистые высококачественные золотые монеты, чеканенные в Бухаре, каждая весом в один мискаль, с печатью на них покойного эмира — и они продали мне ее за вышеуказанную сумму. Сделка была совершена обеими сторонами... Продавцы получили деньги, а я — товар. Но позже в этой рабыне обнаружился ее давний порок, язва на лице, временами исчезающая; об этой язве я, истец, при покупке не знал. Посему считаю себя вправе покупку возвратить продавцам. Им же надлежит, приняв от меня рабыню, возвратить мне уплаченную за нее стоимость, указанную выше. Но, вопреки справедливости, не имея на то никакого основания, продавцы не согласились со мной. Прошу вас, чье стремя светит подобно луне, могущественного блюстителя священного шариата, да продлит бог ваше могущество — приказать продавцам исполнить свой долг, дабы справедливость совершилась, и да будет исполнено воздаяние вашему высочеству. О сем иске мнение блюстителей веры объявите, и да воздастся вам за сие». (Перевод взят из комментариев Л. И. Климовича к первому русскому изданию «Рабов».) В документе сбоку приписано: «Если покупатель найдет порок в купленном, он имеет право возвратить купленное», и приложены печати ученых законоведов-муфтиев. *Алам* — один из высших религиозных санов в Бухарском эмирате, глава мусульманских законоведов, разрешавший споры, которые возникали между духовными лицами.

Стр. 77. *Ака* — старший брат; почтительное обращение к старшему. *Некадам* — вернее, «неккадам», что значит «добрая поступь», стало новым именем, данным работорговцами Рахимдаду. *Кызылбаш* — дословно «красно-

головый», так называли шиитов, то есть иранцев. Первоначально кызылбашами назывались Сефевиды (иранская династия XVI в.), носившие красные головные уборы, а позже прозвище это распространилось на всех иранцев.

Стр. 81. *Казий* — судья, судивший на основе шариата. *Раис* — глава местной власти, надзиравший за исполнением религиозных обрядов и нравственностью мусульман, а также за правильностью мер, весов.

Стр. 82. *Чархаким* — дословно «четыре правителя»; так назывались главные представители власти в туменях и областях Бухарского эмирата: казий, раис, амлакдар — чиновник по сбору податей и миршаб — «владыка ночи» — начальник полиции.

Стр. 87. *Хаджа-Ариф* — большое селение, бывшее центром Шафриканского туменя.

Стр. 92. *Нишалла* — сладкое блюдо, приготовляемое из сахара и сбитых яичных белков.

Стр. 93. *Мираб* — чиновник, ведавший распределением воды при оросительной системе землепользования.

Стр. 94. *Бекасам* — шелковая полосатая ткань на халат. *Адрас* — полушелковая ткань, обычно полосатая.

Стр. 95. *Сандал* — жаровня под низким столиком, накрытым большим ватным одеялом.

Стр. 98. *Русский пришел и захватил нашу страну.*— Подразумеваются события XIX в., в результате которых Туркестан был присоединен к Российской империи, а Бухарский эмират и Хивинское ханство превратились в вассалов России. *Хазрет* — почтительное обращение к высокопоставленным лицам, у татар — к духовенству.

Стр. 103. *Хамал* — название первого месяца древнего солнечного календаря (с 22 марта по 22 апреля).

Стр. 115. *Алас* — суеверный обряд, заключавшийся в том, что знахарь, «врачуя», кружит над головою больного горящую палку, якобы отгоняя нечистую силу.

Стр. 116. *Что ты, Рахимдад?* — С. Айни в детстве хорошо знал Рахимдада-Некадама, которого почтительно звали «Бобо-Гулам» («дедушка-раб»). Подробности его биографии стали известны писателю тогда же от него самого и были рассказаны в «Воспоминаниях» («Бухара»). Сын Рахимдада Эргаш был другом детства С. Айни.

Стр. 120. *Зинхана* — дословно «дом для седла», небольшое помещение в конюшне, где местные правители и баи временно (до отправления в тюрьму) держали арестованных. *...ради жаждущих Кербелы.*— Имеются в виду Хусейн (внук пророка Мухаммеда, сын Али), его семья и приближенные, убитые в степи Кербела (в нынешнем Ираке). Кербела считается шиитами священным местом.

Стр. 125. *Амин* — сборщик податей, старшина села или района. *...взял две мерки собственной пшеницы...*— До установления размера подати крестьяне не имели права снимать урожай, при этом подать исчислялась одинаково как с полноценного участка, так и с побитого градом, объеденного саранчой или с осыпавшимся зерном, что происходило часто, поскольку амлакдары не приезжали вовремя.

Стр. 126. *Бек* — в Бухарском эмирате титул старших военных чинов и представителей гражданской администрации (амлакдара и др.).

Стр. 127. *Вакф* (вакуф) — движимая и недвижимая собственность, пожертвованная религиозной организации (мечети, медресе и др.), которая пользовалась доходами с этой собственности, но не имела права продавать ее. Институт вакфа превратился в один из важнейших источников обогащения духовенства.

Стр. 132. *...налогом на иноверцев.*— В странах ислама иноверцы облагались особым налогом — подушной податью. *Муфтий* — высшее духовное лицо, законовед, толкователь мусульманского канонического права — шариата; муфтий давал заключение — фетву по религиозно-юридическим вопросам. *Арендатор вакуфных земель* — лицо, арендовавшее вакуфную землю с целью вторичной сдачи ее в аренду крестьянам за двойную арендную плату. Порядок сдачи организацией вакуфной земли в аренду описан в шестой главе этой части романа. *Даруга* — должностное лицо, следившее за кучами обмолоченного зерна, ответственное за то, чтобы крестьянин не пользовался новым урожаем до взимания амлакдаром подати. *Кафсан* — подать, взимаемая в пользу людей амлакдара или арендатора.

Стр. 134. *...сбросьте с башни.*— Имеется в виду Большой минарет в Бухаре (XII в.), с которого сбрасывали преступников.

Стр. 135. *Дервиш* — бродячий монах-мусульманин. *Кокосовый орех.*— Имеется в виду продолговатой формы чаша для сбора подаяний, сделанная из скорлупы кокосового ореха или из тыквы. *Егу! Емангу!* — восклицание, обращенное к богу. *Пир* — старец, шейх, глава общины суфиев.

Стр. 137. *Мир-Араб* — одно из самых крупных Бухарских медресе, построенное в XVI в., в котором учился и некоторое время жил Садриддин Айни.

Стр. 138. *Ариф-рангубар.*— Рангубар значит «касильщик». *Мутавалли* — попечитель имущества, принадлежавшего медресе.

Стр. 139. *Хаджи* — лицо, совершившее хадж — паломничество в священный город Мекку.

Стр. 141. *Мударрис* — старший преподаватель медресе. Обычно в каждом медресе (за исключением самых крупных) был один мударрис.

Стр. 145. *Джадид* — представитель националистического движения, выражавшего интересы зарождавшейся в начале XX в. среднеазиатской буржуазии. Программа джадидов не выходила за рамки ограниченных буржуазных реформ, в основном в области просвещения. Несмотря на это, в условиях Бухары джадидизм имел определенное прогрессивное значение. Он являлся единственным оппозиционным движением в эмирате и объединял многих передовых людей того времени. Некоторые же из джадидов, оказавшись под сильным влиянием пантюркизма, превратились впоследствии в ярых врагов советского строя. *Улпан* — вид земельной подати, существовавшей до Октябрьской революции в Туркестане. При улпане крестьянин каждый год за свою землю платил определенную сумму.

Стр. 148. *Аксакал* — дословно «белая борода», старейшина рода, староста деревни. *Каган* — Новая Бухара, город в 12 км от Бухары, важный железнодорожный узел, находившийся в руках русских. После Февральской революции в Кагане был образован Совет рабочих и крестьянских депутатов, который сыграл большую роль в развитии классового самосознания трудящихся Бухары. Бухарский эмир 7 апреля 1917 г. объявил манифест реформ, но вскоре отказался от него. Началась реакция, многие джадиды были схвачены и казнены. Часть их была спасена отрядом революционных солдат, прибывших в Бухару из Кагана. Среди джадидов, которые понесли наказание 75 палками, а впоследствии были спасены отрядом и лечились в каганском госпитале, был и Садриддин Айни.

Стр. 149. *Мирза Сахба-би* — известный таджикский поэт начала XX в., казненный в 1918 г. в Кабадийане — местности в Восточной Бухаре.

Стр. 150. *Консул.*— Имеется в виду представитель русского правительства при бухарском эмире, так называемый «политический агент», после Февральской революции переименованный в резидента, местонахождение которого было в Кагане. *Мирза Назрулла* — участник демонстрации джадидов в Бухаре, организованной после обнародования манифеста эмиром (см. прим. к стр. 148). Схваченный и наказанный по велению эмира палками, он умер в Кагане.

Стр. 151. *Зирабад* — местность недалеко от Кагана.

Стр. 153. *Бурханиддин-махдум* — верховный судья Бухары, возглавлявший реакционное духовенство в борьбе против прогрессивных сил эмирата. Накануне объявления манифеста реформ на некоторое время был отстранен эмиром от занимаемой должности, но в том же 1917 г. восстановлен в ней. После Бухарской революции 1920 г. Бурханиддин был казнен по решению военно-революционного суда.

Стр. 154. *Туксаба* — начальник войскового подразделения в эмирской армии, седьмой в восходящем порядке чин военного сословия.

Стр. 155. *Караулбеги* — начальник караула, пятый в восходящем порядке придворный чин в Бухарском эмирате и название самой должности.

Стр. 156. *Ситара Махаса* — загородный дворец эмира.

Стр. 161. *Нас* — род жевательного табака.

Стр. 163. *Кадым.*— Кадымами называли представителей консервативного духовенства, противников джадидов (кадым значит «старый»). *Худжра* — небольшая келья в здании медресе.

Стр. 169. *Джугара* — сорт кукурузы с белыми зернами.

Стр. 173. *...евреи обязаны подпоясываться веревкой.*— В мусульманских странах все «неверные», то есть немусульмане, обязаны были иметь «знак отличия». *...халиф Стамбула...*— Здесь имеется в виду турецкий султан. Турецкие султаны объявили себя халифами — преемниками пророка Мухаммеда, то есть политическими и духовными руководителями всех мусульман. *Муджтахид* — высшее духовное лицо, имевшее право самостоятельного толкования шариата.

Стр. 175. *Ширин* — кишлак в Бухарском эмирате, жители которого стали героями многих народных юмористических рассказов. Персонаж С. Айни рассказывает широко известный анекдот, приписываемый ширинцам.

Стр. 178. *...ушел с помощником к деду.*— Дедом называли главу ремесленного цеха. О характере этих ремесленных объединений писатель подробно рассказывает в своих «Воспоминаниях». *Диванбеги* — четырнадцатый в восходящем порядке чин в Бухарском эмирате; диванбеги ведал эмирской казной.

Стр. 179. *Анджинар* — искаженное «инженер».

Стр. 183. *Лукман* — легендарный врачеватель и мудрец.

Стр. 184. *Александр Двурогий* — Александр Македонский. О том, почему ему на Востоке было дано прозвище Двурогий, существует несколько версий. По одной из них, Александр в Египте удостоился высшего духовного чина верховного жреца бога Амона. Головной убор верховного жреца украшали два рога. *Святой лев божий.*— Имеется в виду Али — последний из «четырех друзей» пророка Мухаммеда, его зять, четвертый арабский халиф.

Стр. 187. *Чарджуй* (Чарджоу) — город на Амударье. *Зирабулак* — местность юго-восточнее Бухары.

Стр. 189. *Кызыл-Тепе* — железнодорожная станция, расположенная между Бухарой и Самаркандом. *...завод не работал.*— На этом хлопкоочистительном заводе в 1916 г. некоторое время работал Садриддин Айни. *Младобухарцы* — члены джадидской буржуазно-националистической «Партии младобухарцев», организованной в 1918 г.

Стр. 190. *Колесов* Ф.— председатель Совета Народных Комиссаров Туркестанского края, который по настоянию младобухарцев в марте месяце 1918 г. начал поход против эмира. Но бухарские войска окружили небольшой отряд (в 500—600 человек) Ф. Колесова и, разрушив железную дорогу и линию телеграфа, отрезали его от Самарканда и Чарджуя. Только организованные в ряде городов добровольческие отряды спасли Ф. Колесова, который, восстанавливая железную дорогу, с тяжелыми боями отступал в сторону Самарканда. После победы эмира в «колесовских событиях» в Бухаре началась новая волна реакции.

Стр. 191. *Амирабад* — железнодорожная станция на юго-востоке Бухары.

Стр. 195. *Кали-Султан* — Султан-плешивый.

Стр. 196. *Бобо Тахир Лури* — поэт XI в., известный своими четверостишиями.

Стр. 197. *Хаджи Сираджиддин* — брат Садриддина Айни, казненный эмиром 9 марта 1918 г.

Стр. 215. *Маддах* — профессиональный рассказчик историй о святых. *Рамазан* — девятый лунный месяц, в продолжение которого мусульмане должны соблюдать пост. *Хауз Диванбеги* — водоем в центре города Бухары, окруженный ансамблем памятников архитектуры, наиболее многолюдное место в городе.

Стр. 216. *Святое семейство* — пророк Мухаммед, его дочь Фатима, ее муж Али и сыновья Хасан и Хусейн, которые считаются у мусульман свя-

тыми. ...*четырех друзей.*— Четыре друга — преемники пророка Мухаммеда, первые халифы Абу-Бакр, Омар, Осман и Али.

Стр. 217. *Курпачи* — род подстилки.

Стр. 222. *Хаджи Абдулхалик Гиждувани* — мусульманский мистик XII в., глава и наставник местных дервишей; его могила находится в Гиждуване.

Стр. 223. *Эмир побежден, революционеры захватили город.*— Бухарский эмират был уничтожен в сентябре 1920 г. восставшим народом Бухары при помощи советских войск. Здесь описано бегство последнего бухарского мангытского эмира Алимхана, свергнутого после победы народного восстания 2 сентября 1920 г., при содействии частей Красной Армии под руководством М. В. Фрунзе.

Стр. 226. *Назир.*— Речь идет о народных назирах, членах правительства Бухарской народной советской республики, образованной после победы революции 1920 г.

Стр. 227. *Махмуд-ходжа Бехбуди* — один из виднейших деятелей джадидского движения в Туркестане, идеолог среднеазиатской крупной буржуазии. В конце апреля 1919 г. Бехбуди случайно попал в руки правителя Каршинской области Бухарского эмирата и был казнен.

Стр. 247. *Энвер-паша* (1881—1922) — бывший военный министр султанской Турции, изгнанный из страны во время турецкого национально-освободительного движения. В Бухару Энвер-паша проник в 1921 г. и выступал как агент английского империализма. Он возглавлял контрреволюционные басмаческие банды, действовавшие в Бухарской народной республике. Убит 4 августа 1922 г. в Восточной Бухаре в бою с частями Красной Армии.

Стр. 249. *Мирахур* — шестой в восходящем порядке чин в Бухарском эмирате, занимавший пост придворного конюшего.

Стр. 256. *Мухиддин-ходжа* — старший брат Садриддина Айни, убитый басмачами.

Стр. 261. *Да будет твоя тетка жертвой за тебя...*— Здесь говорящая имеет в виду себя.

Стр. 287. *А теперь Бухара соединилась со всем Туркестаном.*— Имеется в виду известное историческое событие: в 1924 г. Бухарская народная советская республика была преобразована в Бухарскую советскую социалистиче-

скую республику и добровольно вошла в состав вновь образованной Узбекской ССР и через нее в СССР. В Восточной Бухаре была образована Таджикская АССР (в составе УзССР), преобразованная в 1929 г. в союзную республику. *Танаб* — буквально «веревка», мера земли, разная в различных районах (от 0,25 до 0,5 га). Речь идет об «Основном законе по землеустройству и землепользованию в БНСР», принятом Всебухарским ЦИК Советов в 1923 г., на основе которого произведена была национализация земли. Общая земельная площадь для семьи среднего состава (до пяти едоков) не должна была превышать 30 танабов (примерно 7—8 га). Эта мера ограничивала рост байских хозяйств.

Стр. 288. *Машраб* (1657—1711) — известный узбекский поэт-вольнодумец, дервиш-странник, обличитель феодальной знати и духовенства. Казнен по повелению правителя Балха (северный Афганистан). *Мирзачуль* — Голодная степь. *Хаджа Ахрар* (1403—1491) — один из шейхов суфийского ордена Накшбанди и крупнейший феодал своего времени.

Стр. 293. *Апа* — форма вежливого обращения к женщине.

Стр. 303. *Есть такой рассказ.*— Здесь приведен широко известный в Бухаре анекдот. Героями этого рассказа выступают разные падишахи и эмиры. В данном случае использован вариант с эмиром Шах-Мурадом.

Стр. 320. *Лот* — библейский Лот, признанный исламом пророком.

Стр. 361. *Джан* — буквально «душа»; ласкательная приставка к имени.

Стр. 368. *Курак* — нераскрывшаяся коробочка хлопка, которая дает недоброкачественный хлопок. *Я еще не сказал «дад».*— Игра слов основана на том, что слово «худа» значит «бог», а «дад» — «дал». Отсюда собственное имя «Худадад» («Богдан»).

М. Шукуров

СОДЕРЖАНИЕ

М. Турсун-заде. Наш Айни 5

РАБЫ

Перевод С. Бородина

Часть первая

1825—1878 19

Часть вторая

1913 117

Часть третья

1917—1920 147

Часть четвертая

1920—1923 225

Часть пятая

1927—1933 284

Примечания *М. Шукурова* 403

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 128

Садриддин Айни

РАБЫ

*

Редактор Ю. Розенблюм
Оформление библиотеки
Д. Бисти
Художественный редактор
Ю. Коннов
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор Н. Усольцева

*

Сдано в набор 3/VI 1974 г. Подписано к печати 12/XII 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 26 печ. л. 24,258 усл. печ. л. 26,259+1 вкл.+4 нак.=26,783 уч.-изд. л. Заказ № 1401. Тираж 303 000 экз. Цена 1 р. 55 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28